90 коп.

Индекс
70327

В СЕДЬМОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

Владимир КОРНИЛОВ. Демобилизация. Роман.
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. Роман (продолжение).
Андрей КУТЕРНИЦКИЙ. Два рассказа.
Стихи Александра ГОРОДНИЦКОГО, Виктора МАКСИМОВА, Романа СОЛНЦЕВА.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

В. ФРЕНКЕЛЬ. Читая письма Капицы.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Наталья РОСКИНА. Воспоминания о Н. Я. Берковском.

КРИТИКА

Статьи Евгения БИЧА, Александра ХОДОРОВА.

МЕМОРИАЛ СОВЕСТИ

О. Л. АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ. Из пережитого.

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания (продолжение).

С № 7 открывается новая рубрика журнала
КНИЖНЫЙ УГОЛ
(обзор изданий русской эмиграции за последние 70 лет).

ISSN 0321—1878. Звезда. 1990. № 6. 1—208.

ISSN 0321—1878

6

1990

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20
Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора — 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41
Издательство «Художественная литература»
Сдано в набор 19.02.90. Подписано к печати 05.04.90. М-28164. Формат 70×108[1]/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 25,31 уч.-изд. л. Тираж 360 000 экз. Заказ № 253. Цена 90 к. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Александр Крестинский

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Памяти Я. и Н. Рожновых

Помню, помню тетю Надю
В кашемировом платке,
С бесениночкой во взгляде,
С черной сумочкой в руке,

Помню Невскую заставу,
Деревянный старый дом,
Где жила она на славу
С дядей Яшею вдвоем.

И чем дальше, тем все ярче
Вижу — едем на блины,
На грибы, на самоварчик
С Петроградской стороны.

Дребезжит автобус ветхий,
Город снегом замело,
Ель отряхивает ветки
О морозное стекло.

Остановки заводские —
Трубы, краны, корпуса...
Прокопченные, стальные,
Угольные небеса!

Вижу звонкое крылечко,
Окон отблеск слюдяной.
Дверь поет, стреляет печка
У хозяйки за спиной.

В гостевом веселом гаме,
В полушаге от зимы,
Задохнешься пирогами:
«Тетя Надя, вот и мы!..»

За окном пейзаж суровый,
К цеху цех стоит впритык.
Паровозик маневровый
Знай свистит, как озорник.

Маневровый паровозик
Как начнет свое ту-ту,
Так всю ночь куда-то возит
Суету да маету.

Трижды клепанною грудью
Он выкашливает дым.
Трудновато добрым людям
Жить на свете рядом с ним.

Нависает он над домом
Раскаленным круглым лбом,
Дымом, скрежетом и громом
Наполняя всё кругом.

И, наверное, недаром
Снится жителям порой,
Что разбужены ударом,
И угаром, и жарой...

Что ни крыши, ни кровати,
Ни комода, ни стены,
Только фикусы некстати
В небеса вознесены.

. . . .

Уведи нас от окошка,
От грядущих грозных вех,
Дяди-Яшина гармошка,
Тети-Надин милый смех!

Пусть цыганочку нам спляшет
Да прищелкнет каблуком!
Пусть приветливо помашет
Кашемировым платком!

Всю-то музыку до крошки
Разыграть хозяин рад,

Александр Алексеевич Крестинский (р. 1928 г.) — советский поэт, детский писатель. Начал печататься в 1958 году в журналах «Костер» и «Искорка». Первая книга стихов — «Отзовется душа» — выйдет в свет в текущем году. Живет в Ленинграде.

Лишь бы дрогнули сережки
И поплыли — песне в лад.

Кабы знали — не плясали.
Кабы ведали беду,
Вы б соломки подостлали
В тыщу-памятном году.

Ах, соломка ты, соломка,
От тебя одна тоска.
И колюча ты, и ломка,
Не годишься под бока.

И, пожалуй, слава богу,
Что не плачем наперед,
Что на цыпочках к порогу
До поры беда идет.

1981

ЗАСОН

Городская баллада

Матросов дядя Яша
Был мастер заводской,
Однажды дяде Яше
Приснился сон худой.

Как будто хоронили
Великого Вождя,
И плакали, и пили,
Любили не шутя...

А после дядя Яша
Попал в огромный зал,
У гроба, ошарашен,
С правительством стоял.

И кто-то из чекистов
Сказал: «Сыграй, отец!
Гармонь твоя речиста,
И сам ты молодец...»

Матросов дядя Яша
Старинный вальс играл,
И плакал с дядей Яшей
Колонный этот зал.

Наутро тетя Надя,
Заваривая чай,
Сказала: «Бога ради,
И рта не открывай!»

Неделю дядя Яша
Ходил мрачней дождя.
Уж больно был он страшен,
Сон этот про Вождя.

Совсем довел до ручки,
Замучал сон дурной!
И в пятницу с получки
Засел старик в пивной.

Эх, белая головка
Да рыжее пивко!
И стало сразу ловко,
И сделалось легко.

Братва-то рядом наша,
Рабочие, свои...
«Молчун ты, дядя Яша,
Чего там, не таи!..»

А утром дядя Яша
С похмелья сам не свой.
В башке такая каша,
Что только ой-ё-ёй!

Понять он очень хочет,
Откуда этот шум?
Кувалдами грохочут?
Как по лбу — бум да бум!

Жена вскочила с койки,
В глазах у ней испуг:
«Очухался с попойки?!.»
Сама скорей на стук.

Вот в комнату без спроса
Заходят — вчетвером:
«Вы будете Матросов?»
И всё пером, пером...

Застыла тетя Надя,
Руками стиснув стул,
На дядю Яшу глядя,
Заплакала: «Сболтнул...»

Один, видать, не старший,
Схватился за гармонь.
И добрый дядя Яша
Нахмурился: «Не тронь!»

Очнулся дядя Яша
Лишь к вечеру — в «Крестах».
Вонючая параша,
И небо — всё в крестах.

И новые соседи:
«За что, старик? За сон?!.»
Так в первой же беседе
Он был перекрещен.

В России, слава богу,
Глухие есть углы.
Казенная дорога,
И конвоиры злы.

Снегами изукрашен
Последний перегон...
Прощайте, дядя Яша,
По прозвищу Засон!

1977

ВСТРЕЧА НА ПОЧТЕ

Старый еврей ко мне подошел на почте.
Мог подойти и русский, дело не в этом.
Я посмотрел на него —
он дошел до точки,
Лицо его голубело мертвенным светом.

Он говорил мне, и слышали все на почте,
Про поясницу, больницу и чьи-то укоры.
Про диабет, размен, осложненье на почки,
Про диуретин, папаверин и уколы.

Он говорил и о кафель палкою стукал —
Про военкома Сивкова и Кучерову
из собеса.
Про какого-то Изю и какую-то Раю-суку,
А я все кивал и не понимал ни бельмеса.

Мыслей и слов обломки, обмылки,
осколки...
Цельное что-то сложишь из них едва ли.
У них печальное сходство с толпою
на барахолке,
А также с кирпичною крошкой
в темном подвале.

Однажды я видел, как хозяина ищет
собака,
Посреди миллионного города
с одиночеством споря.
Она проглядела все очи, однако
Никому не могла объяснить своего горя.

А я всё кивал отрешенно, потный
и красный,
И руками зачем-то перед ним разводил
виновато.
«Вы фронтовик! — кричал он.—
Это же ясно!
Вы понимаете, я сразу узнал солдата!..»

Бог мой! Я промямлил, что это ошибка.
Он твердил все о том же, с прежним
пылом...
Передо мною беззубо светилась его улыбка,
И незащищенно пахло розовым мылом.

Телефонистка дежурная крикнула:
«Хватит!..»
Видно, фигура эта давно уже ей знакома.

Сбоку послышался голос, словно тонущий
в вате:
«Это наш сумасшедший, из нашего дома...»

И тут, сквозь изъеденную склерозом
немочь,
Родившись в каком-то бездонном
подспудье,
Прорвалась на волю одна живая фонема:
«О-о, люди! О, как мне худо, люди!..»

Я не мог больше терпеть эту пытку,
Я взмолился: «Чем помочь вам, скажите?»
И тогда он протянул мне открытку:
«Напишите. Прошу вас, Ему напишите!

Я бы сам написал, да не вижу буквы.
Пусть он знает, посреди какого кошмара...
Не забудьте, моя фамилия Будкер...» —
«Но кому?» —
«Президенту Земного Шара!

...Ах, он летает всюду, бывает в Америке,
в Индии,
Где-то живет, я знаю... Возможно, в России.
Понимаете, мне не сказали индекса.
Девушка сердится, вы бы ее попросили...»

Я открытку держал непослушной рукою,
Между явью и бредом случайный
и слабый посредник.
И стучал мне в виски, не давал мне покою
Чуть живого сознанья отблеск последний.

Мы стояли на почте, нелепая, странная
пара.
Пять минут. А казалось, протикали сутки.
Я прочел ему вслух:
«Президенту Земного Шара.
Мне очень плохо. Очень плохо. Будкер».

Он смотрел на меня, как смотрят
на блудного сына,
Что вернулся домой из странствий своих
бездарных.
Он качал головой, и на ней шевелились
седины,
И стояли в глазах две слезы, две сестры
благодарных.

1977

* * *

Довоенная пластинка,
Сокровенный тост,
Полумесяц,
Паутинка,
Сеть для ловли звезд.

Этой песенки соседство —
Радость или грусть?
Мы ее твердили с детства,
Помним наизусть.

Вот руки прикосновенье,
Вот движенье в лад,
Ворожба,
полет,
круженье
Двадцать раз подряд.

Мост Аларчин,
Мост Калинкин,
Поцелуев мост,
Полумесяц,
Паутинка,
Сеть для ловли звезд.

Так уж спелось,
Так сложилось,
Так сошлось у нас,
Небеса явили милость
В предвечерний час.

А у песенки старинной
Голова седа,
Погуляла в жизни длинной,
Забрела сюда.
То заплачет под сурдинку,
То поет, как дрозд.
Полумесяц,
Паутинка,
Сеть для ловли звезд...

МАЛЕНЬКАЯ БАЛЛАДА

Три матери седые на скамье,
У каждой горе горькое в семье.

Сын у одной погиб в чужом краю
За родину, да только не свою.

Сын у другой безумьем поражен,
Не узнает и мать родную он.

У третьей сын вполне в своем уме,
Да он не дома, он в глухой тюрьме.

А мимо них, прижав к себе дитя,
Как бы на крыльях праздничных летя,
Мать юная спешит... Куда — спроси.
Старухи шепчут: «Господи, спаси...»

Андрей Арьев

ПРОСТРАНСТВО МЕТАФОРЫ

Проза Виктора Сосноры непривычна так, как непривычен впервые увиденный континент. Все на нем для путешественника вкове, но, обжив эту землю, он удивится еще больше: уж не Эстония ли перед его взором? А скорее всего, мы и из Ленинграда никуда не уезжали, сидим себе на берегу Финского залива... И закат в синих морских шелках — тот самый, на который глядишь ежевечерне. И как это ты не замечал до сих пор, что девушки, выходящие из воды, отсвечивают гладкой мокрой кожей, как зеркала? И «туман на море скользит как тень». И «луной без солнца пахнут ландыши»...

Все, что изображено у Сосноры, произошло и на наших глазах. Разница в том, что мы — увы! — не ощущаем мир как творящееся и творимое изо дня в день чудо. Не понимаем, как нужно читать жизнь заново. Каждый день. В «Доме дней», возведенном поэтом, искусству этому научиться можно.

«Книга,— пишет Соснора,— цветок, но ему нельзя доцветать, это уже будет плод». А мы все склонны доверять лучшему завтра, ждать ягодок. Сегодня же — потерпим. Утро вечера мудренее. Не мудренее. Утро уже случилось — сегодня. Этим утром, разглядев ландыши, мы увидели бы и иное: «след кованого солдатского сапога, двух ног, вставленных в голенище и выставленных как знак черного размножения».

В искрах метафор, в живой путанице ассоциативных ходов — за ними и мысль не всегда поспевает,— в мгновенном слове прорастает, раскрывается мир, напоенный ливнем, смывшим с вещей и пыль и культурную патину. Не всем это по душе — со старым, привычным уютней.

Однако принципы сосноровского письма на самом деле, может быть, древнее самых древних литературных канонов. Этот новатор старше любого из архаистов. Поэзия возвращена у него к временам, когда каждый звук — не слово! — еще значил для человека что-то особенное, сакральное. И сам человек опознается в «Доме дней» по звуку «ч», а люди по звуку «л». И еще неизвестно, что за этим «ч» воспоследует: в нем закодированы и крылатая чайка и бескрылый чеек, и чаёк, и чек, и чека — эволюционных возможностей не счесть. До человека каждому дано вырастать самому. И «л» — люд — в «Доме дней» тоже бывает всяческий. Об этом и «л» — литература. Звуки у Сосноры как бы еще начинают вытягиваться в смысловой ряд, слов и предложений почти не заметно: «...на юг — ну их!» — складываются из звуков смыслы едва ли не вернее, чем из слов.

Но проповедовать на этом языке уже можно и самое время — для понимания его нужна не грамота, а умение и желание слушать: вспомним, как Франциск Ассизский завораживал своими речами диких зверей и птиц, а темные рыбари внимали Христу.

В поэте творимое им слово, выражающее дух вносимой им в бытие гармонии, рождается изначально и как бы независимо от него. Поэтический алфавит и поэтическую грамматику вырабатывает ему его собственная природа. Искусство возникает из «Божьей дрожи художника,— определяет Соснора,— а кроме нее ничего нет». Поэзия уподобляется им трагической — ибо неадекватной бесконечным возможностям — деятельности Христа: «Стихи — это сети братьев Заведеевых, попался Христос, а думал, что завербовал их. Братьев-то завербовал, а сети поволок. Пока три Марии не сняли его с креста». По этой интерпретации художественная проповедническая речь — выше, сильнее того, кто ею наделен. Поэт, чтобы быть поэтом, не может ее ослушаться. Речь («дрожь») владеет им.

Это значит, что внутренняя гармония сильнее внешней и что автор настаивает на одном: духовная жизнь человека должна быть просветлена независимо от внешних условий существования. Романтическая идея. Никто, однако, не доказал, что романтизм умер.

Нужно «разучиться» читать (тем более, пренебречь современной наукой быстрого чтения), чтобы научиться понимать речь Сосноры. Магические преимущества ее очевидны: она преображает наши ощущения, помогает увидеть, что живем мы не в унылой тиражированной «реальной действительности», а в неведомом «прекрасном и яростном мире» (Платонов как художник делал ту же работу, что и Соснора, а еще раньше их обоих—Хлебников). Обращаясь к этим художникам, с резкой отчетливостью понимаешь, что такое поэтический язык, в одно мгновение наполняющий душу неведомым прежде, но истинным смыслом.

В поэтическом слове концентрируется мощь — не штыка или кулака,— осязаемая мощь символа. «Лира,— говорит Соснора,— это бык за решеткой». И действительно: ее струны — железные прутья, скрывшие морду быка. Но обрамление из страшных рогов — не скрыто. Поэтический образ всегда объемнее мимолетно отразившейся в нем реальности. И тем самым полнокровней, долговечней, сильнее ее. Ясно, что Соснора никого не эпатирует (как это часто можно услышать в разговорах о нем), когда заявляет *о* себе: «Ненавистник реальности, во имя жизни...» Жизнь для него — это внутренняя суть вещей, проявляющая себя в художественном образе.

Не имеет никакого отношения к нарочитой экстравагантности и собственно литературный сюжет книги, ее культурологический мотив. Хоть нарисованные в произведении портреты Мая-

ковского, Асеева, Каменского, Крученых, Брик и других всем известных личностей даны в несомненном противодвижении к школьно-академической сложившейся трактовке. На них Сосноре не потребовалось масла — речь у него идет о формулах — творчества и судьбы. «Никто не начинал поэзию тюрьмой и Библией, в 16 лет». Это о Маяковском — исчерпывающе. Так же и о футуризме в целом: «Футуризм — это будущее,— смерть. Футурист — смертник».

Я рискнул бы даже сказать, что Соснора сам выступает в этой книге почти как педагог, как наставник, помогая нам освобождать мышление от грозных и грязных штампов.

То, что мы наблюдаем вокруг, мы наблюдаем чаще всего без толку, напрасно — чужими глазами. Жизнь наша уплывает от нас самих, как будто ее и не было. А вот Соснора говорит: «Я помню, как я родился». И это в меньшей степени декларация, в большей же — хоть и поэтический, но факт. Художник, по Сосноре, это тот, кто видит не напрасно.

Мы живем в том же «Доме дней», что и автор этого романа с бытием. Не грех и поучиться у него его легкому отношению хотя бы к быту, если не к бытию: «Кот съел рыбу, вчерашнюю, ничего, я купил сегодняшнюю». Право, лучше удивленно улыбнуться вместе с поэтом, увидев ласточек: «...их сделали китайцы из иероглифов; остренькие, с нажимом», чем опустить шторы и уткнуться в телевизор. От «нашего бурного времени», что пенится ежедневно в этом ящике, останется не сия самоласкающая, льстящая нашему положению формулировка, а в лучшем случае ее иронико-поэтическая интерпретация — «бурнОгО времени». Это «ого! — время» пребывает в «Доме дней». Веселость этот дом не миновала.

Конечно, «Дом дней» можно рассматривать и как мозаичное собрание «поэтических миниатюр», «лирических новелл», «литературных портретов», рассматривать его как бы с увеличительным стеклом, перенапрягая порой зрение. И все же этот роман не следует путать с радужным калейдоскопом: верти как угодно — все равно сложатся гармонические узоры. В книге есть сюжет — жизнь поэта от рождения до им же самим прогнозируемого финала. Есть в ней совершенно точная хронология, есть то, что называется фабулой, есть знакомые лица, балтийский пейзаж... Это жизнь нашего современника. Жизнь, крепко связанная с историей. С ней самой, а не с ее пересказом. Соснора живописует ее как природу после грозы — такой же омытой, яркой и разгромленной. Чем «фантастичнее» этот исторический взгляд поэта, тем, как мы теперь убеждаемся, вернее: «1937 г., обыск. Нашли костюмы: английский, немецкий и японский. Взят как а-н-я-ский шпион».

Книга Сосноры в генетическом родстве с тем, что создавали в прозе и в стихах Хлебников, Цветаева, Заболоцкий... В ней так же, как у этих поэтов, самоочищается русский язык, обретает новую энергию его синтаксис, выявляется музыкальная природа его звукообразов. Делается это для извлечения из русской речи, при ее помощи и для нее самой новых смыслов. Не форм, нет, а именно смыслов. Формалистами следовало бы назвать как раз тех литераторов, кто больше всего с «формализмом» воюет. Ибо свою одряхлевшую форму, дряхлый сруб, из которого ушла жизнь, они выдают за правду дедов и прадедов, в нем когда-то обитавших, его построивших. Нет ничего обманнее в литературе, чем разговоры о «неисчерпаемых кладезях», «бездонных родниках» и «животворящих источниках» старинной речи, к коим нужно непременно «припадать», как псам. Художник сам — «родник», и «кладезь», и «источник» родимой и родившей его словесности. Следуя ее строю, он говорит, как Соснора: «плыву с любви», как будто — «возвращаюсь с войны». Русский язык все еще позволяет творить, он-то не мертв. Мертвы те, кто думает, что вся его сила — в былом и ушедшем величии.

Книга Сосноры всемерно помогает преодолению, освобождению от власти придушивших искусство санкционированных неучами мнений и догм. Уверен, что «Дом дней» войдет когда-нибудь в славную все-таки историю нашей словесности.

Оголтело-увлекательному безмыслию щекочущего нервы чтива, потрафляющему вкусам «широкого читателя» (и развращающему его дополнительно), кабацким стилизациям под «русскую старину», вульгарному прямоговорению охотно противоборствующих рядов нужно все-таки когда-то начать противопоставлять индивидуальный, незаимствованный эстетический поиск. Этот поиск не понятен — и не может быть понятен — до конца. Ибо о результатах не осведомлен и сам автор. Конечные цели в искусстве неведомы, как и в жизни. Когда нам все станет ясно, поэзия умрет. Но именно поэзия и не допускает того, чтобы нам все и навсегда стало ясно. В этом ее смысл — ежедневного и вечного спасения мира ничем не оправданной красотой.

Виктор Соснора

Дом дней

Роман

I. У МОРЯ

В ЗАКАТ

Солнце ушло в шелках, как синее; загорается вода. Девушки с купанья идут по песку, как зеркала. Комары и куличики. Сети. Лодки.
Клюв у голубя похож на голубиное яичко, с острого конца, а клюв у утки — на гусиное.
Утки не боятся людных дней, сразу шлепают лопастями к северу, а там берут в руки два крыла и на юг,— ну их!
Одинокий рыбак, не тосклив, он из магазина везет в мешке рыбу размороженную — в море, и забросит ее на спиннинге к Кронштадту, а сам у Комарова, на резиновом ходу, на колесной лодке, морской, и тянет спиннинг за хвост, делая вид, что крутит катушку, как швея. Издали залюбуешься: Хемингуэй, и рыбка в мешке, и борода, и бутыль с алкоголизмом в лодке катается; нобелиат! Но рыбу (рыбацкую!) глотает утка, на спиннинге. И рыбак ее тянет, а утка идет вслед, думая, что рыба не в достаточной степени в животе. Но рыба в животе в достаточной степени. В той, что рыбак доводит утку на леске до лодки, сворачивает ей в воде голову набок и вынимает свернутой, как пакетик, как не утку. Разве узнаешь, что он вдали делает, браконьер, уткоед с яблоками? Туман на море скользит как тень.
Цвета свергаются, от заката остается облачко в выси, волны, как пузатые девушки, едут к берегу, ногами.
— На помощь! — кричат чайки. Зажги спичку, и они слетятся. Не зажигай. Каждая чайка собьет с ног (своим весом!). У чайки вес и взмах — бронзового коня!
Вечером гости оставляют угли, суховетки жгут; те, кто приезжают в лимузинах, купаются бедрами, едят пакеты и уезжают, не подозревая, что тут погребальные костры — памяти...
Пары стариков на каблуках сливаются в ночи.
Мои глаза слипаются; спит организм.

ЛИРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Лирические растения не то, что животные. Растения — дубы и платаны, бобы и каштаны, а животное — это женщина. Скала — женщина, нога — женщина, и ночь, и медь; а море — это где тонут рисунки. Тонут, да не тут-то было, со дна встают солдаты и колют их штыками в пятки. И мы выходим из морей, обтянутые солью.
Лирическое животное — это ветер.
А растения — это то, что растет; дом, день, люди. У них кругооборот.
А животные — только живут, в одну сторону. Как у женщины: расцвела — родила, дальше некуда.
Стихи — это сети братьев Заведеевых; попался Христос, а думал, что завербовал их. Братьев-то завербовал, а сети поволок. Пока три Марии не сняли его с креста.
Три Марии, тоже мне подсчет.

Все они — чистые животные, не мужское. И поэмы Христа — это нагорные ритмы, на горе, на женщине стоя.
Море — оно, и яйцо — оно, оба рождение. Третье — солнце.
А то, что водит от луны до луны, это лиризм. Я видел ноги святых, лежащие, на телеге, но я ж не плачу, как ч-к; рисую. Среди железобетонных игл современности я — один, жесток, животное, и раз в день, суров, рисую.
Господи,— говорю я,— неужели я видел напрасно? Неужели опять скажут — он основатель новой школы форм? Это я, кровавый?
Форм — чего?
Я — схоласт?
Ненавистник реальности, во имя жизни, я признаю одну форму — Золотого Маятника, и его колышет некий, созывая в переходный мир,— к жизни.
Но не собрать своих, не прийти к ним. Встречи наши — только на страницах, а они мокры от слез, золотых.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Был ливень; весь взмок.
Или вымок,— как хочется.
Сушу на окне красную рубашку, туфли и штаны, цвет жженой охры. Коллаж. Под окном жасмин и дуб, букетами. Мокрые сосны не золотятся, а с краснотцой.
Объявилось!..
Что ж, ливень был 2 час. 40 мин. назад, оглушительный, в 10 утра, из тьмы, широкий, как роща, бесшумный.
Значит, сосны золотятся в сухом виде.
Дети из-за заборов, из щелей лезут в белых панамках. Много хороших, заливистых, с чистыми волосами. А много детей дутых, надутых салом. Их жалко, они с неоновой кожей, солнце их не любит и не красит, а белит.
Бледнобелая девочка вышла из калитки от Николая Васильевича и идет к дому с банькой, к Федору Михайловичу. В правой руке у нее левая рука, и она ею бьет по жасмину, как клюшкой.
Ливень шел, высоковольтный, капли падали на голову, как лампы, электрические лучи бились в лужах, чешуйчатокрылые. Воды хоть отбавляй. А вот и воды нет, она у моря. Красная рубашка стоит стойко. Штаны висят прямо. Туфли в серенькую клеточку и выпуклые. Скоро высохнут эти трое. Асфальт сохнет. Громадные ливни висят на каштанах. А на дубе капли одноцветные. А сосны? Кто из них, кто вышел один из гнезда, почему растут по три? Птиц не видать, жаль. Птичку б описать. Не что чирикает, но в выси, а не в кругозоре. Это ласточки, их сделали китайцы из иероглифов: остренькие, с нажимом. Нельзя пугать перышком день и ночь. Сидят некто на дубах: Рипид, Фокл, Эдгар, Василий, Леонид, Сальвадор вышел из-под ливня, рисует пред зеркалом крест-накрест, как «скорую помощь». Пугает. Не пугай, сдохнешь.
Как радостен ливень, как редок! Дождь да дождь.
Я час шел, не клоня головы, и меня било. И я шел в красной рубахе и оранженых штанах, неустрашим, по потокам, у сосен, одетых в золото игл наперевес.
А я с головою наперевес, не наклоняясь, как то ребро Адама, из коего сделают кость и оживят ее. Я чужд натурфилософии. Я знаю, из чего состою, резали в 12 больницах, да и на 2-х войнах.
Но ливень — как мечтается о чем-то!
Длинные ноги у далеких людей обрастают мехами, обе. Да и деревья в воде обращаются в женщин. Вода сводит с ума чувственность тел. В морях реют вниз эмбрионы; и их ливни! Писать спелые фразы — счастье ль это? Как воздух, пропитанный звоном душ? Как солнце в трезвом взоре, когда идешь без дождя, без всякой связи с жизнью? Как та русская фреска горя у Феофана, Андрея, Казимира; у Николая, у Павла; и у Николая; у Николая, у Марка, Михаила и у Владимира; у Анатолия; как та тризна маятника за тех русских родом, униженных, убитых и оклеветанных — Петра и Иоанна; Иоанна, Иоанна; и Петра, и Иоанна, Александра и еще Александра; Михаила, Константина и Александра; Федора; Вацлава; двух Андреев, Виктора, Владимира, Василия, Сергея, Алексея, Михаила, Осипа и Марины; Анны; Бориса и Максимилиана; Анны; Марии; и еще Василия, Виктора, Иосифа, Бориса, Григория, Виктора, Юлии и ее трех Юлий; Марии, Катерины, Темпа, Игоря, Пауля, Эллы; и еще Николая; и Лили; Ульяны, Егора, Ивана, Вулфа и Гейбы; и Александра; и Марины; и Хавы; и Виктора.
На всей земле, от края до края, от моря и до моря — след кованого солдатского сапога, двух ног, вставленных в голенища и выставленных, как знак черного размножения. Как смысл множественности. Как стук механизма в шаре грудном — Земли. Но не Он это.

ОБУВЬ У МОРЯ

Кто у моря, тот встречает предметы для ног — ботинок, сандалетку, туфлю; я не видел их парами.
Это обувь утопленников.
Скажут: но ведь сапожок продырявил вихрь, туфельку сломала жизнь, башмак износился, и его пора убрать. И идут л. (люди) к морю, и бросают обувь в ночь. Просто!
Это лжелогика.
Редко, если один сапог сломался, а второй унесла буря. Таких видений раз-два и обчелся. Кто шьет обувь и ставит заплаты, чтоб сказать, что вторая туфля нужна про запас? Некоторые оставляют башмаки на память, но не один же! Два и оставляют. Бывает, что дама износит свои туфелькокожие, а не бросить, жаль, еще не издохли. Мужик, тот жалостливее, сносил, вынул револьвер, пристрелил в нос дважды и выбросил в мусоропровод. Правда, ну, ночью в подушку плачет. Это о них Тютчев писал — невидимые в ночи слезы. Видимые: под подушкой зеркальце, включит спичку, вынет зеркальце, смотрит, что морда старше со времен покупки башмаков, вот и их сносил, о время, друг! И плаксивые слезы льются, никто их не прячет в чулок. Но ч. (человек), идущий топиться, не может идти босиком. Он одевается, как есть, и идет в туго завязанных туфельных изделиях для ног. И входит в воду, пока не напьется, как хочет. Труп из вертикального становится горизонтальным, размокает, съедается рыбой и планктоном, спрутом, тюленем и т. д. Но башмаки плавают, и их выносит на берег, к моим ногам, так сказать, башмаки идут к башмакам.
Но по одному!
Потому что течения морские разъединяют эти пары, да и от трупов они отделяются врозь, у кого узел слабее; один, а потом уж второй, м. б. и через месяц с кости сойдет.
И где им встретиться? Негде. У них того света нет.
Это их атомы и кварки уж потом идут на тот свет, а сами они по себе не могут, не тот тип кнопок.
О Боже, как несчастлива обувь утопленников!

ВОПРОСЫ

Львы-альбиносы идут из-за моря, влажнотелы, как буквы Ы; веет. Формотворцы. А вдали кубические бочонки церквей, грани, стальные корабли у мола. На перевках. Я и купол вижу — Кронштадт. Качает, качает. ОтчегО? От бурнОгО времени?
Отмосфера.
Никуда я не уеду.
Если не удует в другой конец — земли.
Мениск моря, как в руке с рюмкой Бога,— двойное с содовой, вот и буря! А виды государств с музеями во главе — тоже на ободе рюмки? О да, если он — горизонт. А если Он — это кварк? то чтó ему на горизонте? Да то же, что и всем,— взгляд.
Если длину Волги поднять в высоту, то с этой точки — Париж? Я видел — ничего, Париж не видать, сквозняк. А Волга — не пример реки, заболоченный водосток. А вот Миссисипи, Миссури, Янцидзян, Хирохито и Сено-Нево? — жилки на малахитовой шкатулке. Вот и попутешествовали.
Путешествовать — это шествовать в путь, то есть гордо.
Так идут верблюды, неся на себе солдат со сталью. А в глазах у солдат мениск — есть?
Ветр рождается и сдувает с краев земли Гео архитектуру.
Я видел у моря свыше миллиона молящихся с головами. Вдруг дунуло и сняло им головы и куда-то дело. А они ушли, воздев руки. Отчего?

ЛАМПОЧКИ

Лампочки на берегу, туман за пять шагов; старинно.
Где дом, из которого выходят дни в ночь? Вот вышел денек из дому, увидит ч., без шляпы, с рыбкой в руке, ему и в голову не войдет, что это на него с ножом бросятся. Эх ты, неизвестность, милость. У дюны три ч., у них три мешка, высыпают лампочки под ноги. Яков, Тимофей и Антонина, поколение пятидесятилетних. Высыпают лампочки из мучных мешков, складывают мешки вчетверо и садятся на них. Что дальше-то? Гора лампочек, как муравейник.
Начинают жечь костер.
Все снимают с себя, плюют огненным ртом в это, загорается; горит. Остатки золота — тоже в костер, пышет! И они, уже оставшиеся ни с чем, Яков, Тимофей и Антонина, берут по лампочке и бросают в огонь. Момент напряженный, затем взрывы — раз, два, три. Берут еще по лампочке, переговариваясь, Яков гладит ногу Антонине, Тимофей смотрит

на руку и на ногу — рука красная, нога синяя, а и все ж он ревнует. Полустарик! До старика ему и не дожить, до ста. Чего ж ревновать, без толку?
Еще три лампочки взрываются тотчас, Антонина пододвигает вторую ногу, согнутую, как в молодости, и Яков гладит и эту. Тимофей смотрит свысока. Злобный огонек в глазах у Тимофея.
Взрываются еще три лампочки; две вместе, одна врозь. Тимофей уж хохочет не на шутку. Он спрашивает:
— А где ж третья нога? Две у Якова, а ты третью-то пододвинь, мне!
Антонина пододвигает Тимофею третью ногу. Тут уж Тимофей, выпучившись, смотрит и выворачивает ногу у Антонины. У той и третье бедро. Они и не знают, кто автор этого спектакля. Берут в руку еще по лампочке.
Не вмешаешься, это ход истории.
Яков и Тимофей чокаются лампочками, одна бьется, у Якова. Тимофей, победитель, сгребает ноги Антонины и тащит ее к себе на грудь, без всяких; лобзает.
Яков вынимает изо рта горло, приставляет к губам и наливается краской; трубит звук, мелодийный. И Антонина, изогнувшись дугой, кидается на грудь Якова с груди Тимофея. Но промахивается и летит в костер.
Не горит! Новость: Антонина не горит в костре, огонь ей нипочем. Долго смотрят на эту комедию Яков и Тимофей, потом берут по лампочке и бросают в Антонину, в тело, трехногобедрое, лежащее и раскаленное от огня. Лампочки вспыхивают, вмиг, без грома. Еще по одной. Та же картина: Антонина совсем нагая.
Желтеет. Это за море закатывается желток, желтый цвет, условность; и без солнца тепла не переводится, пример — Антонина; лежит на огне.
День опять ушел в ночь, а ночью войдет в дом, к другим дням, и скажет, что видел. Да, дня уже нет. Вечер, другие подробности. Вечер гонит с моря лодку любви. Прояснится, туман уйдет в ничто, у него дома нет. А у вечера — лодка.
Лодки на рейде, как галеры. Кронштадт в каске, Сестрорецк слева — игрушечный лубок геометрии, фольк-арт.
Яков и Тимофей встают и запрягают лодку на берегу, на ремне. Запрягли, выволакивают лодку, в гладь. Лодку качает.
О любви ль пою, как паук, купаясь в глади? Я с морским ромбом рожден! Самое интересное начнется сейчас. Два мужчины садятся в лодку и гребут вперед, уехали. Угли гудят, Антонина лежит, накаленная. Лампочки целые, не убавляясь. Не убывают и слова. Ворона выходит на сцену, из роз и дубов, грудь с серым пером, лапы врозь, сидит и приседает, а я иду мимо, то взлетит, то не взлетает. Я что. я белый лист, а ворона подходит к лампочкам и клюет их, быстро, и глотает, как леденцы, цветные.
Ту гору тех лампочек, что вылааливали трое из моря, из лодки, с любви, от Сестрорецка до Зеленогорска,— это наша ворона съедает в два-три присеста, как будто ничего нет святого.

ПЕРО

С кем живет воронье перо, отделяясь от туловища?
Вопрос вопросов.
Почему вороны, где б ни летали, а я шел, бросают мне, автору письменности, перо? В чем тут фокус? Это до того серьезно, что стоит скрестить руки на груди и ждать у моря, кто выйдет с отастом. Швед? Пень, вынесенный из Новой Зеландии? Зерно роз Цезаря?
Я вижу ложку, она новенькая, как линкор, круглая, длинная и стальная, как птица. На ложке к нам едут м. и ж., жено-мужи. В ложке 10 детей с зеленым горошком на плечах. Если Ты есть, на какую тоску ты подсунул к брегу эту ложку с живностью, к моим ногам? Я в белом.
На мне венец лучей.
А зеленоголовые лысые дети уж карабкаются по мне, спасаясь от силы земного тяготения, усеяли штаны, не отмыть. Жено-мужи идут тоже. Их хоть и двое, но они быстро размножаются методом деления. Они идут к дюне, где я, как солнце; ложка оставлена.
Она жизненная, на воде с блеском, и ноги гнутся, чтоб пойти на встречу с нею, осветить ее до дна, а там видно будет!
А дети ползут по штанам, а жено-мужи идут уж к подошвам; дюну прошли бегом, как в атаке, и подходят вплотную. Мы знакомимся, они люди, мне далеки. Что ж делать? Детей не стряхнешь со штанин, это еще никому не удавалось. Говорить придется о рельсах, о морском свете, о рыбах с лимфой для пития, об семитизме (анти). Но ложка приковывает мой взгляд. Если б я знал, что я рожусь, то я родился б в ложке, едущей по морю и живущей по-простому, с хвостом.
Для еды она тоже подойдет, но в ином мире, большом.
И тут из рощи, от шоссе, где море с краю, летит ворона, тоже жуткая, а дети уж рвут ремень и грызут зубами пряжку, молочными — американскую. От нее ничего не останется, будь она хоть из Байконура. По всему понсу моему висят дети, как гранаты.

И вдруг ворона бросает перо. Привет! Дети, видя, как летит перо, бросаются вслед, т. е. вверх, седлают перо и начинают мотаться над соснами, выше и выше — к грозам! Ничего они там не напишут, но наделают много. Их песнь слышна, они радостны в неведомом.
Не нужно было скрещивать руки на груди, может быть, эта семья поплыла б в другом направлении, жено-мужи стоят, как схлынувшие с волны, и побежали; и бегут вдоль моря, с дюны на дюну, бьясь об сосны, катая камни и перепрыгивая, как-то одетые небрежно, в шелковых чулках и с пулями во рту, в касках, и бегом выплевывают пули.
Не смейся, свист стоит.
Они хотят сбить детей огоньками свинца изо рта, сбить их с неправильного пути на правильный. Решение похвальное.
Я иду к ложке.
Она с граммофоном, на нем фрукты, груши; печенье и чашки. И светлый столб для сна, мачта, ведь мореплаватели спят у столба, один из них впередсмотрящий, вот он и высмотрел меня, или она,— кто-то ошибся во мне, и дети улетели.
А эти бегут ко мне, к ложке, и спрашивают, перебивая друг друга:
— А воронье перо возвращается?
— Летнцее? — говорю я.
— А какое же?
— А дети вернутся, если перо такое?
— Если блудные, то вернутся, читайте книги.
— Наши — внеблудные! — кричат они как доказательство.
— Не блудные не вернутся, это — аксиома.
И родители опять бегут, уж вверх, по соснам, колют ноги, но не вернутся дети, не вернутся, хотя б потому, что их нет уж в видимом мире.
А ложка мне нравится. Наверху, на хвосте, у нее пушка на колесах, можно выстрелить. Вместо того, чтобы взять ложку и ехать в другой мир и искать 10 детей, уж лучше б женомужи не стонали на ветвях, свесившись вниз лицами, плоскоиосые. Лучше б они выпили чашку с серебряной рукояткой и поехали б, буря взревывает, вот и выхватила б их молния, и отправила б в пучину, и воссоединились бы с праотцами, целым родом.
А этому роду конец.
Сейчас град грянет.
И песнь о пере закончится тоже, и мне кутаться придется, уезжая на ложке по желтому песку к дому дней.

РОЖДЕНИЕ

Я помню, как я родился,— апрель, 28, 1936. Имя акушерки Мария, санитары В. Волов и О. Аслевич, подстилка — белая простыня с гербом. В полдень взошла звезда Ю в области Сатурна и горела 54 часа. Объясню, как орфик. 28 — священное число, все, что есть великого, родилось у него, планеты и посланцы. Я проживу 54 года, если будет благоприятствовать рок; мой рок — птица Павлин, кликуша.
28 апреля 1936 г. в мире родилось 422.865 мальчиков, но посланец один — я. Из остальных в живых на сей день 4. Меня уже дважды вычеркивали из списка, снизу, но Верх восстанавливал.
Я родился с двумя головами.
Одну я ношу, а вторая была — вздувшаяся, кое-где обозначены глаза и рот, безносая, уши нарисованные, бескостная, из хрящей, но в ней много мозга, было. Ампутировали. Втайне, инквизиция могла б направить мое тельце в колбу или в кунсткамеру.
Вторая росла из темени моей, оставшейся в живых, и шейка была, с лепестками.
Я был обезглавлен, помню, как резали, без наркоза, а я рукой грозил хирургу, он дурак. Если нужно, я расскажу трибуналу, а писать об этом не буду. Та была полна крови и вен. Остался от нее рубец, на темени.
Так и рос я, человечен к братьям нашим меньшим — к людям. А ум обдумаем после, лежа средь звездной пыли, с бокалом.
До 30 лет я выступал на сценах, поя, в роли воскресителя усопших. И слава моя затмила (осветила?) мир, советско-заграничный. Но вдруг как отрезало, я совершил хадж, ушел в глушь и пил. До смерти. До потери второй головы, хоть и удалось сохранить ее, но многого уж нет в ней.
О головах: и с одной я достиг в Олимпийских играх в беге на колесницах венок из фиалок с надписью.
Что есть я.
Но страшно подумать, что был бы я — идет с головою, а над нею возвышается вторая, еще более возвышенная. Реакция современников была б трудноописуемой.
Та! — похожа на кобру, с знаком скрипичного ключа, с пятью линейками, глаза — черные

и белые кружочки. Много музыки было в ней, полно крови, ее и отхватили, оторвав от людей. А толку-то? И моя сегодняшняя изумительна — кру́гом фаса, профилем, да и содержанием, мало кому доступным. А в той, отрезанной, было чего-то и близкого людям, но не вернешь.
Не вернуть.
Когда я пил, она мне снилась. Но это ж сны.
Вот не пью, и не снится, а как же? Выпью — и опять войдет в жизнь, в двойных видениях, но я ж не выпью, после смерти никто не пьет.
Непьющий я.
С головой оттяпанной.

РОДОСЛОВНАЯ

Он слил в котел 16 кровей, кипятил. Вышел я. Ярки три цвета, русских, о них речь.
Со стороны отца —
Арвит Роонксс, герцог, Светлый, эст, конунг, сведения о нем в моей книге «Башня», они архивные.
Промежуточный — светлейший князь, фельдмаршал, наместник Эстонии — Б.д.Т.Прейсиш-Эйлау, Аустерлиц, арьергард, по колено в крови, белый конь, ядр скок при Бородино, инцидент русского стояния при Ватерлоо. Это слишком ново.
А Арвит Роонксс — один, основатель эстского народа, государства.
Его смерть: из Рима двое в белых хитонах; они ушли, его жалобы на левую руку; через час мертв.
Это линия бабушки: эсты, шотландцы, немцы.
Линия дедушки: цыганского типа, поляк, аристократ, жокей. В 1905 г. дед выстроил полки в Варшаве и сорвал погоны; с себя; под барабан. Сорвал парадный мундир, штаны, сапоги, склонился и сказал:
— Жовнежи! Царь стрелял в Бога, а Богоубийце я — не воин.
И ушел, в нижнем. С 1917 г. мировому пролетариату не служил, из-за алкоголизма. 1941 г., арест деда, высылка в Вологду; как иностранца. Тогда всех не народностей СССР высылали из столиц в тюрьму. Шел, пьяный по озеру, и ударился головой о лед. Это версия. Следом видели двоих, в маскхалатах. Был принесен мертвым, с отвисшей левой рукой.
Отец:
1937 г., обыск. Нашли костюмы: английский, немецкий и японский. Взят как а—н—я—ский шпион. Пытки. Год пыток. Мать — нас под мышку и на прием к Высокому Родственнику, в Москву. Освобожден.
Отец и карьера.
На Ленинградском фронте командует истребительными батальонами. Здесь множественное число на месте: после боя оставалось 3—4 бойца от 500. Опять формировали, в бой. Это — лыжники, их вели тропами в немецкий тыл. Цель: уничтожить немцев, как можно больше: о возврате — ни слова. В морозы. Уничтожали, но чем? Винтовок не было, одна на 7. Зубами? И их мало, цинга. Были финки. В статьях папы есть такие штучки: «Когда ж приготовления к бою закончены, командир дает команду: „В ножи!“»
О приготовлениях к бою: «Боец-истребитель, приземлившись, срезает парашют, снимает маскхалат, шинель, гимнастерку и шапку и выбрасывает это, не заботясь. Он надевает на ботинки лыжи и в белой рубахе, с ножом в зубах, идет в бой».
Руки заняты палками, потому нож в зубах. Лыжник — на доты! На пушки морского калибра! С открытой головой! На танковые армии! На моторизованные дивизии с пулеметами в колясках! С голой шеей, в белой рубахе — на миллионы голов в касках! Да, и шли. «Белая гвардия красных убийц», «белые идиоты», «ночные банды голых» — называли их немцы. А папу персонально: «белый волк», «сумасшедший акробат», «голый призрак коммунизма с ножом в зубах», «белый клоун Тейфеля». Наши об отце не писали — у нас «не было» камикадзе. А за знамя полка (отцовского!) сражалось 16 немецких дивизий, и я храню в папочке листовки: «Сдай лохмотьи, король Лир!» В армии К. Рокоссовского папа командовал дивизиями, но не оставлял привычек. Как-то его жовнежи брали крупный центр Д. Высоко число немцев, не взять. Лето, Лорелея. Лихачи купались то в Одре, то в Майне. Немки в белых платьицах крутили велосипедами: в бинокли. Национальный дамский день. И вот по узкому шоссе покатили в г. Д. велосипедистки, как полагается. На них никто (из немцев!) не обратил взор. Схватились за кобуру лишь тогда, когда первая тысяча в белых панамках резала кварталы.
К. Рокоссовский папу любил и назначил комендантом Варшавы.
Через несколько лет по смерти И. В. Сталина в нашу виллу во Львове приехали в черном лимузине, в белых халатах. Они уехали, Ванда вошла, папа сказал: «Левая рука, укол, конец».

У гроба отца маршал К. Р. сказал: «Так будь же счастлив, дорогой друг, в этой жизни — ТАМ!»
Со стороны матери —
род: раввины Г., см. Энциклопедию. Прибавлю, кто не посмотрит,— ведут начало от Иоанна с Патмоса. Много пишут о моей божественности. Это не совсем так. Я с одной стороны посланец, на большее не претендуем.

ОСКОЛКИ

Я еду, узкие салазки, а рядом едут трупы.
— Тпрру-ппы! — так их называют, с вожжами.
Ленинград переполнен осколками, мы их лижем. Вкус — с кислотцой. Книги о блокаде лгут. Спроси, как я страдаю,— отвечу: миф. Нельзя писать о блокаде тому, кто не был в ней или был взрослым. Его год лжив. Нельзя называть героем того, кто был живой? Но и нельзя отдавать военные успехи умирающим.
Я крыс видел.
За два дня до пожара Бадаевских складов пошли крысы, по Ленинграду. Со складов — широким потоком до Лавры, по Старо-Невскому, на Невский, по Невскому, до Адмиралтейства и к Неве — первая колонна. Вторая: по 8 линии Васильевского острова, к университету; третья — с Крестовского острова, мимо дуба Петра I, по Кировскому проспекту, с поворотом у парка Ленина, по Горького, мимо зоопарка, через мост к зданию Коллегий; три колонны соединялись у Ростральных колонн и уходили в воду.
Навек.
Вообще-то, когда идут крысы, то не страшно, а ужасно. Они идут от стены до стены. Они человечней людей, не терпят, а поют! — их головы поют, как пули! Они идут, непобедимее легионов Цезаря и танковых дивизий Гудериана, и в первых рядах — суперстар, ростом в метр, на задних ногах, а ручки висят, как у барабанщиков. А ряды толкают носами сзади.
Я видел их с крыш. Город сел на крыши, ужаснувшись. Весь Ленинград сидел на крышах, и прекратился артобстрел — немцы в сорокакратные бинокли смотрели на крыс, не выстрелить. Миллионы! Транспорт стал, ленинградцы полезли вверх, не из любопытства, те сминали и ели на пути — кирпич, человека, железо. Но крысы не лезли вверх. Ни на ступень не шли никуда, а в воду.
Это самоубийство, никто о таком не читал. Тема: крысы и вода — неисчерпаема. Что они в ней, воде,— видят? Почему идут? Потому что вода всегда есть и ее больше, чем огня? Или же огонь сложно зажечь, а вода стоит готовая? Крысы не боятся огня. Не боятся они орудий.
После того как три колонны крыс ушли в воду и их унесло в Неве, почему же л. (люди), кого засыпало при взрывах, объедены крысами? Как они делятся — кому тонуть, кому жить?
Когда от голода женщины долбили лед в Неве, чтоб взять воды, вокруг них уж стоял круг крыс; вода из лунки — и крысы пьют, первыми. Так и стояли к прорубям цепочки — женщины и крысы. Друг друга не трогая. Чумы не было! Все было чисто в Ленинграде, все! Может быть, те первые миллионы смертниц, уж не больны ль они были, приговоренные? Чтоб очистить город? Во всяком случае, крысы ничего плохого в блокаду не сделали. Наоборот — они предупреждали, они встали от Бадаевских складов, и никто не догадался увезти продукты в разные места. Да о продуктах (сгоревших!) — тоже лгут, оговорка. Много ль их там быть могло, пищь?
Я видел, как крысы пьют: подходят ряды к Неве, спускаются на задних ногах по ступеням и валятся вниз головой в воду, и пьют ее, не уплывают, не тонут, а пьют, вздуваясь, до помертвения. Они опиваются, а не тонут. Тонут уж мертвые тела их. А за ними хлынет уж миллион народа (крысиного!).
Нельзя писать о голоде детей. Вообще нельзя писать о голоде. Грех в том, что писатели, любя нравиться, рассказывают голод, словами. Это словам же не поддается. В 9 лет я прочитал Кнута Гамсуна «Голод». Книжица! Это не голод — кокетство человеко-свиньи, у него, видите ли, отнята на денек-недельку привычка в виде бифштекса. Вообще нельзя писать о том голоде, к-рый принудительный. Выбор ведь был. И все знают, кто обрек на голод 1 миллион людей и 1 миллион детей. И известно, кто уничтожил их и какими методами. Я об этом писать не буду — кто, что. Сказал об осколках — и весь рассказ.
Не буду я писать про ноги детей, возимых из конца в конец войны. Вес совести.
Дети в подземельях Пискаревки. Мне 5 лет, а мать ставила меня на ладошку, как звоночек. И держала на вытянутой руке. Из детей блокады рождения 1936 г. в живых сейчас 4 мальчико-девочки, и это то, что осталось от 12.000 в замкнутом кругу осени 1941 г. Все забыты и все забыто.
Горящие осколки — как расплющенные гигантские фиалки!

О БЕЛОЙ ПРОСТЫНЕ, В ЕЕ ЗАЩИТУ

Нету печальней луны из-за дома, многоэтажного.
Цветочки не мнутся, на них крови не видно, тело лежит, а вокруг цветочная простыня, нарисованная.
Луна и снег, вот двое белых. Если положить луну па снег, они не сольются, а станут заметней.
Скажем, идет телега, и нет ей покоя. Светит луна. На телеге ящик, а под ним снег в цветочках. Продолжим. Ямщик Абдул и мужик Тибулл, двое едут. Один другого убивает (неважно, кто кого!). Тот падает в снег, белый, а снегу нет, грязи. И белые рученьки убитого Абдулы в грязях; лежа. Я лежу.
Белы рученьки разжал, чтоб не дотронуться до девы, восходящей надо мною, а на ней нарисован цветочек. Считаю в уме ряды непрерывных дробей.
Древний народ — как вихрь в моем сердце; мать; пишет:
«Мой сын! Я вышла замуж, когда мне было 19 лет. Твой отец буквально преследовал меня и клялся, что будет любить до гробовой доски! Моему брату Ильюше (раввину) нравился твой отец, и он убедил наш народ. Я же долго колебалась, любви не было. Но я ценила его нежность, деликатность, стремление порадовать меня. Любимые его слова из поэмы Лермонтова:
«Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака, Я дам тебе все-все земное,— ЛЮБИ МЕНЯ!..»
Вот луна уж эллипс.
Или же: летит луна, а простыня в свету, на коврах желтые лыжи заката. Куда лучше, чем пейзаж с женщиной. Вообще, небесные светила лучше женщин. А простынь — белей. На ней вышит вензель, гербовая, с 4 в. до н. э., род мой, спим, а она лишь белее. Я на ней рожден, и видно было, кто я. А если б я родился на цветочной,— кто б увидел в пестроте? Так бы и скинули в горшок.
Нужно б восстановить связь с жизнью, чтоб был не только я, но и ряды других, лежащих на белом, как ново было б!
Ново-то ново...

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 71-ЛЕТИЯ МОЕЙ МАТЕРИ

Закат заслонился.
Идут редко, в белой манишке один прямо на дом надвигается. Бого-Бес он?
Кто-то пальцами звонко щелкает.
В лужах окон — отражение, с шестого этажа. Странное строение у луж. Но стеклышки в домах! За ними светлые л., целые, руки-ноги крутятся в комнате, как в воде. Ничего, не все кончено.
Чудится яичко, свежеочищенное!
Вот и светлое воскресение, 4 августа. Через пять дней моей матери 71 год, а что я подарю? Врача? У нее были золотые волосы, листовые, с волною. Теперь бело, не старость, не радость, в граненой рюмке со стола Николая II (имп!) — полутаблеточки, мать пьет. У нее руки мои.
Не жилец она, уж иных ног ходок, а эти больны, столы августовские ей нелюбимы. Память ее мутнеет, выпал янтарь.
Я много грущу.

ДАНАЙЦЫ

Юную пю у веселого в шелках голландца с большущим бокалом—сжег дима сидоров. Нет холста,— ободок.
Сожгли юность, Саскию. И то долго жила, сколько ж? — с 1636 г. Эмиль Верхарн, поэт, писал:
«Гарманец Рембрандт ван-Рин Герритсзон изобразил свою жену фризскую патрицианку Саскию ван-Уйленбург. „Даная" Петербургского Эрмитажа — это тело изображено Рембрандтом во всей его интимности и с полной правдой».
Нету. Энд. Генуг шон,— 351 год! — жизнь женщины! Что с возу, то пропело. Столько это продержалось на глазах!
Ну, Балашов, фрукт, спору нет, полоснул бритвой Репина (то же Ре!), но это был мах, футурист, начало века, идея, чистота, искусство т. ск. шло на искусство, братоубийственная война в кругу рода; художник — художника. Сумасшедший.
Этого (сжигателя) медкомиссия признала психически нормальным. Еще бы! Уничтожить Рембрандта — что нормальнее!

А почему?
А потому, что до этого за 9 дней, другая комиссия, ВТЭК, не дала сидорову инвалидность. Он инвалидом хотел стать, а ему не дали (денег!). Подло! И он сжег Данаю. Он нес бутыль H_2SO_4 открыто и целился при всех. Плеск! — и нету! Он нес и стакан, и плеск! — и сжег красочное тело! Цвет невосстановим.
Кто сжег? Я ж говорю: дима сидоров, Дмитрий. Инженер. НИИ. Судимостей нет. А Рембрандт, безмерный старик, идет по Голландии, как пепел Клааса.

ПЕПЕЛ

Американка из США, однофамилица, джузеппе сидорофф, доктор-искусствовед, пии шампанское 9 августа 1985 г. в Москве, сказала:
— Вашу страну нужно было обуздать, вы далеко зашли по Европе, топотом.
Согласен. А что ж вы в ночь взлетели, как дети, и сбросили 2 бомбы в сторону от Москвы на 14 тыс. км — на японцев, мирнонаселенных?
И еще один мститель, что не дают пенсию, идет не в Москву, «оплот режима», не с револьвером к тем, кто лишил, а в Эрмитаж — плескать кислотой в жену великого художника, из Голландии.
Грязные, грязные не мужчины.
Ходят слухи, что — по мировым стандартам — это одна из 10 картин мира стоимостью 25 млн. А остальные 9 картин — кто автор? Почему о них не слышал сидоров? В какой валюте нью-йоркца или москвича, слухачей — эти 25 млн? Сожгли КРАСКУ, суки.
Не всколыхнуло. Этот сидоров будет рубить дровишки в тайге, а кончит срок и выкатит уж бочку с пламенем.
«Инцидент» забыт. Рисуют копию, академик федоров, колорист. Была мысль — другие шедевры закрыть стеклом, да стекол нет. Сказано: что каждый взгляд на картину отнимает у нее малюсенькую частицу цвета, такова физиология глаза. Смотрят миллиарды. Это не масло тускнеет, а взгляды цвет уносят. Кто-то решил, чтоб ограничить вход из народа, но этого не будет, народ и искусство — одно и то же. Идут табуны, идут и идут далее, зловонные, по залам, царским. Ноги, как тонны.
Что-то нужно делать с этой духовностью.

МАТРОСЫ И ДЕВУШКИ

Красные башни на престолах.
Светло!
Три башни в одном окне и неодом, усеянный стеклами, в таких условиях книги видят, но не пишут. По ТВ молодые матросы с обнаженными шеями — для педиков.
Дождь настолько маленький, что и штриховки нет. У грязи формы красок, печати, отливки тел, гусениц и шин. Дождь — как свод. Как у Тинторетто, бело-красный свод. А белье мокнет, любовное; отожмут.
С утра жду гостей из Америки. Купил свежих огурцов, петрушки, жарю картофлю новенькую, молоденькую. Жарю я ее, как девушку, на сковородке, если б пришла в дождь. Боятся. А казалось бы — чем лучше смоешь следы, как не дождем? Вот следом муж, итало-киргиз, а следы танковые да старинные печати, а женских нет. Откуда ему знать, что смыты? Иди, иди — избежим кровопролития и родим татаро-монголо-исаков. Это смотря какой муж ходит вдоль и поперек окон в день зачатья.
По ТВ пушки наводят, двудульные, морские, и мушки в виде кругов паутины. И матросики у трюмов кланяются офицеркам. По ТВ матросы, и идет духовой оркестр, тоже с дулами. Отведешь от окна взор, а в глаза наводят дула. Какие снаряды плюет в мир прапорщик, играющий на дуле трубы? Пускают парашютистов, как фантики.
Есть ли несоответствие в словах МЫШЬ и МАРШ?
По ТВ: взрослые идут, взявшись за руки. Видно, за деньги.
Идет девка в белом, на шее ошейник с дощечкой, надпись: КУБА. Не очень это соотносится с головою майора Фиделя. За ней девица, с головой улыбающейся, надпись: АВСТРИЯ.
Негры несут портрет негра.
Не верю!

АМЕРИКАНКА КА-ЭР-ЭМ

У Капитолия шьют штаны.
Американка К.Р.М. из Фонда мира берет швейную машинку, садится на дом и шьет. И надевает штаны у двери Президента.

Президент Кеннеди, раздраженный этим, дает приказ ФБР бить швею водой из шланга. Бьют. Не помогло. Вода разбивается о голову американки К.Р.М. В сутки она шьет одни штаны. Вторые сутки — другие. И так далее. Она уже сшила уйму штанов и ходит в них по всем странам. Особенно она любит ходить в штанах в СССР. Известность.
Я спросил, сколько стоят фирменные джинсы? — 20 долларов.— А зарплата у нее? — 1.000 долларов, низкая. При всей низости нетрудно подсчитать, что на рубли в США джинсы стоят 2 рубля! Из-за этого шить?
— Да,— говорит она,— стоит шить. Я и здесь куплю машинку и у Кремля буду шить.
— О нет, не здесь,— говорю я.— Дешево не обойдется!
— Здесь! — говорит она.
Я говорю:
— Придут молодые с дулом и позовут за собой.
— Не подойдут,— говорит она.
Фирменные речи.
Молодая американка из политкаторжанок К.Р.М. уже шила в Китае. Ее зашили в кожаный мешок и отправили в США. Выйдя из мешка, она тут же в порту заявила, что будет шить в порту. Штаны для Статуи Свободы. Ее просили не шить. Она все равно сшила и уехала в СССР, воздухом, на лайнере.
Она спросила меня, не нужны ль мне продукты?.. Мой ответ — ... (три точки). Она утверждает, что у нас голод. Какие продукты я хотел бы? Такие, сказал я: костер, мясо мамонта, кремневое оружие.
Привезла все это в консервных банках.
Я спросил: чем она занимается?
Ответ: устраиваю выставку Демьяна Бедного в Оклахоме.
— Что это? — спросил я.
— Что — Демьян Бедный или Оклахома?
— И то, и то!
— Это первые годы Революции,— сказала она.
— Что еще у нее на уме? — спросил и.
Да, она землю купила, дом делает на ней, с комнатами.
Но и она спросила: умею ли я обращаться с кремневым оружием?
Я сказал, что я огурцы на потолке в уборной выращиваю аллювиальным способом.
А она сказала, что у нее муж есть, а она, т. е. К.Р.М., рыбу любит. Принесет из океана, запрет мужа в ванной и бьет голой рыбой по яйцам. Сексуальная революция.

ЧТЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ МАЙЯ

Ты, с асфальтовым блеском, Господи, тушит фонари, зажигает; л. бегут, как разбитые колоды карт. Автобусы похожи на бастионы, двигаются. Не поздно. Много зонтов. Чего гнутся под дождем?
Собаки у домов белеют, даже черные. Я устал ходить за двух, кто второй, не зная. Постою под светом, фонарь дождь ест. Если б ел! Вымокну 1 октября, опущу два письма и открытку в п/я и пойду к себе, сидеть. Мысли? — нет, одни смеси. Бьются в дом, лопаются водяные пилоты. Сейчас бы погладить янтарь.
Глажу, шары с подсолнечным маслом схожи, красненькие. Ну, что-то сбывается? Да. Янтарь я глажу, электрический. Фауст — это Стефан по-польски, только «у» на «а» заменено. Бьют часы, собачьи — восемь. Час Кассиопеи. Не отрицай то, что не твое. Если уж на то пошло, отрицай себя. Но нет, наоборот.
Вечером — чтение, на языке майя латинскими буквами, вот как они пишут о европейцах: «Потом начались казни на виселицах и пытки огнем, подносимым к кончикам наших пальцев. Потом на свет появилась веревка и кандалы. Потом были провозглашены семь заповедей слова Божия. Будем же сердечно приветствовать наших гостей: пришли наши старшие братья».
А потом.
Пишут:
«В это время вспыхивает пламя в сердце страны; загорится высота. В это время будут взяты запасы овощей. Пища погибнет. Заплачут совы на перекрестках по всему небу».
Ночь наступила, холод в холод.
И голубые болгары.

МАРК ШАГАЛ И АНТОН ДЕЛЬВИГ

Если лошадь взять на вкус, кислая? Если коня постелить как накидку на пол? Если в декабре от земли до неба растут видения моркови, когда хожу 1400 шагов вокруг дома, с конвертом?

Как-то я получил письмо от М. Шагала и пошел вокруг дома (другого!), с собачкой с меня ростом стоймя, пудель была. И так мы шли, и в кругах фонарей читали, что в Париже мне будет хуже, чем М. Шагалу, что он скоро умрет, впрочем. Но он умер в этом году, через 20 лет. И я получаю письмо от М. Кулакова из Рима, что он увидеть меня хочет в Москве, через несколько часов, что в Риме мне было б хуже. Собаки нет, не с кем смотреть текст, но и М. Шагал хотел меня увидеть, и М. Кулаков хочет. Многие хотят меня увидеть воочию, но мало кому выпал этот билет. Мне ведь лучше в Ленинграде. Жаль, что так мало л. меня видят. Все больше на картинах мой образ показывают в чалме лучей.
Как бы я хотел быть похожим на Дельвига, да и Антоном чтоб звали — тоже хотелось бы. Хотел бы я быть похожим на него душой, а не телом. Тело он раньше угробил, алкоголизмом. Но за это ему петушки поют. От него писем нет.
Забавный век! Если я скажу: я — Россия, это будет правда, но известная некоторым, да и те в гробу. С правдой нужно обращаться бережно, а то дадут психоблины в ртутных столбинах.
Я знаю, почему стекла в окнах черные: с приходом ночи мы красим окна дегтем. А спим при электричестве — плюс! Утром же стекла смазывают — и снова светло.

ГОТОВНОСТЬ К УХОДУ

Дует сильный ветер, он поднимает монеты, а кто их ищет?
Кто готов уйти?
Фауст — это Гете, ищущий межчелюстную косточку у любви. Вечный Жид — бродячая собака и бродячая кость, ходит, бродит сам за собой. Не партнер. Да и Дон Жуан и его секс — суетен, провалиться ему на месте в подвал с вином, адским. Испанский вариант. Эти трое — мечты, тем они и человечны.
Рост чуждого семени в животе у женщины до выхода в свет — от такого унижения сходят с ума; родившие и сошедшие с ума от родов — почему? Чуть не все матери поэтов сошли с ума, к примеру: Дж. Байрон, О Бальзак, Г. Мопассан, Э. По, Ж.-Ж. Руссо, К. Батюшков, Р. Акутагава и т. д.
Это ношение плода с его невнятицей рифм, с копошением... Родив, женщина считает себя свободной. Она интуит, ей нужен тот, кто готов уйти, и они идут навстречу друг другу, и здесь и есть камень любви. И есть только ход вокруг камня.
Мечта о мужчине — это мечта о смерти.
Море и лев похожи по шкуре,— это тысячи львов кидаются на женщину. Тысячи! — в ее воображении. А их и двух-то нет (штук!), к примеру, в СССР. Кто ж кидается? Вода, мыльная, с грязью, химическая. И вот Марфа моет ногу Иисусу, а Мария вытирает волосами. Мар-и-Мар — у них это метод позы. Но Он не откликается на многочисленность. Лев — роза в цвету, Христос — жемчужный мужчина с женскими ножками, а над ним меч, и он им водит. Но кому его вид? Он же холоден к золоту и к птичкам. Он не был готов уйти. И не любим он женским номом.
Кто готов к уходу, он не пойдет к морю, а пойдет — вернется, мелководье, солнце не круглое, буря не выходит из-под пера, дни сеточкой, старушки с ночами на лице. Выйдешь и уйдешь, зря точил ободья.
Текут киты.
Где же — те же? Куют тюки в Финляндию? А что в тюках — тютюн? Ходят ряды солдат по шоссе, несут на шее снаряды, просмоленные. Мы еще повоюем! О нет, это, меняя трубы водопроводов, применяют солдатский труд, как детский. М. был 21 год, ситец в цветочек. Вернемся к морю. Летают потомки тех чаек, 26 лет назад летающих в объективе фотоаппарата. Вернемся — Пикник! Что ж мы ели? — морской окунь холодного копчения, старка, лук, колбаса твердая, тресковая печень в масле, семга в бумаге, красная икра в кульке, анисовка, шартрез, венгерский бекон листиком, холодная картошка, железный котелок — постсталинизм, зловещие времена, хрущовщина, волюнтаризм. Роняя в море золотые перстни, мы их не искали, пусть телепаются по дну. Из серебра я лил рамы для фотокарточек. Это сейчас нет ни пропоиц, ни дна жизни. Тогда — смерти не было, ошибочно. Вот у дюн, у моря и летала М., лепестковая, розовая и в платье, вьется по-фарфоровому. Ею был встречен тот, кто готов уйти,— Я, Он. Его слова ловились на лету, и пускались из них олимпийские диски. Но она одна ушла из жизни, а Он все не идет. Слишком светло, чайки в песке, как яйца — Сатаны!
Не люблю литературу, не люблю!
В 21 год М. сказала: я умру в 40, дальше позор. Она не дошла до 41 — 15 дней. Но все же в 40! Полная готовность. А 15 дней ей невтерпеж, план срывался. И вот берет склянку и пьет яд. К 40 годам — готовая.
Жизнь жжется, но не пороховая, она — скальпель в винном соусе!
Скот стоит дольше, а готовый к уходу не пойдет врозь. По этой костяной пустыне! Ну что ж, что море! Ну что, что сердце!
Есть ведь путь, есть,— и это конец пути.

2•

— Отнюдь! — поет птичка.
О, и новая птичка с именем Отнюдь летит в новом мире, за этим. За этим, строенным, есть мир иной, с птичкой Отнюдь, и грешник кричит ей:
— ОГНЕННО!

ЕСЛИ Б ПРИШЛОСЬ УМЕРЕТЬ. КОНЕЧНО, ТЕБЕ

«Не потому, что ты неправ, ты прав всегда, потому что так впушил себе, с момента осознания в себе дара Божия,— а ты неправ по счету человеческому. Я попытаюсь объяснить тебе твою неправоту. Опять же по праву человеческому. Ты волен делать все, что хочешь, ты вправе вести себя как заблагорассудится. Ты — венец творения. Я — это без иронии. Но ты не вправе позволить себе видеть тебя близким существом в нечеловеческом обличье. Опять извечный вопрос для меня. Почему позволила и не ушла. И добавят бездари-врачи: «Такая молодая и красивая». И скажут, что жизнь была бы вся впереди. Без тебя. Я не уверена, что будет у меня жизнь без тебя.
Но я ведь не об этом тебе сейчас пишу. Я хочу, чтоб у женщины, которая будет после меня, не было таких мучительных маразмов. Твое личное дело — пьешь ты или не пьешь. Если ты спиваешься, то делай это в одиночку, не так громко. Если не спиваешься, то научись уважать людей, что живут, пусть не живут, лишь существуют где-то около. Нельзя не давать людям спать. Нельзя не есть еду, которая приготовлена с любовью, и с тоской, и со страхом, что ее не съедят, а может быть, и бросят в лицо. Если бы все это было неправдой, я просуществовала бы еще два или три месяца. Подумала бы, что это — у меня — алкогольный психоз. Спиваться — дело личное каждого. Только не громко, а в одиночку.
Я не знаю, как ушел из жизни Ж., громко или незаметно. Я не знаю, сколько мук он причинил Л., своей жене. Наверное, много. Она воспринимала их по-другому, чем воспринимаю я. Она сознательно толкнула его в петлю — избавиться от пьяницы-мужа. А у женщины арсенал — как у Гитлера, когда он решал, что народам нет права на физическое существование. Я всегда все не то говорю и всегда все не то пишу. Давным-давно отреклась от права обличать тебя. Пишу, потому что общение, устное, потеряно. Потеряна близость. Потеряно *это*: «Вот и рядом...» Я столько умела, когда мы были рядом. И еду варить, и белье стирать, и говорить на разных языках. И мозги заморочивать, и легенды плести. Умела любить, забыв начисто о том, что нервные клетки не восстанавливаются, что в конечном счете от такой безрассудной любви я окажусь в проигрыше.
Мои измены... Если б когда-нибудь ты думал об этом, то понял бы, что они вызваны опять же безрассудством любви к тебе. Прощая все тебе, я не научилась прощать. Я сейчас, действительно, больное, загнанное в западню животное. Переоценила свое железное здоровье, свои нервные клетки. Речь не о том, кто больше Зла причинил кому — ты мне или я тебе. На протяжении многих ночей, ложась спать, я говорю себе: хочу встать здоровой.
Люблю траву, солнце, зверей, людей. Кажется мне, что я столько хорошего сделать могу. Помнишь, мы принимали роды у Руны. Мы были вместе.
У Казимиры есть письмо, датированное серединой мая 61 г. Меня тогда лишили способности рожать. Нужно бы изъять оттуда эти письма. Мне было тогда 23, но я сказала о тебе все то в тех — после прихождения в себя — наркозных письмах, что пишу и сейчас. Уберегите! Тогда осталась Любовь, я весила 48 кг, а гемоглобин был намного меньше. Ты взял за меня ответственность.
Ты не можешь сделать этого сейчас — взять ответственность, ибо я — не та, сломавшаяся не по твоей вине, а в силу обстоятельств. Так хотя бы не мешай уйти мне по-хорошему неважно откуда — из жизни, от тебя, от себя. Я люблю жизнь. М.».

ГОЛУБЬ

Я пил с молодой сволочью, с молодежью; пил я как в прорубь, в Москве, в Новый год. В Ленинграде — 4 январь, ночь. Я жил на Зодчего Росси, в Доме Балета, 5 январь, я спустился по 72 ступеням и ушел пить. Продолжение. Не объяснять же, что́ есть алкоголик утром. Первая кружка пива и посетившая ум мысль, толчок:
— Иди к своим. Они нечеловеки, они ломка голов, но ты их день, иди к ним.
Я пошел к М. Мы не виделись 7 лет. Улицу-то я помню, а дом не помню, обменяли ту квартиру. В такси я вернулся на Невский. Выпил стакан коньяку у Пяти Углов и пошел в свой дом за адресом. Дома адреса нету. Я звоню, безрезультатно, ни у кого нет. Неведомость. Я вышел и выпил стакан коньяку у Дома искусств. Я взял такси и поехал к подруге М., чтобы поехать к М. вдвоем: но подруга была в Месопотамии. Не знаю, правильно ль и пишу название страны и есть ли она тут вне древнего мира? Я сел в такси и вернулся на Невский. В «Сайгоне» я выпил стакан коньяку. Я пошел в справочное и спросил адрес: мне дали 122 улицо-дома по ее фамилии. Я пошел на Марата и выпил стакан коньяку; уж вся жизнь у Марата закрылась, и мне дали стакан в окно. Все закрывалось, все закрывалось. В ресторане «Москва» швейцар впустил меня за 25 руб. золотом и вынес стакан коньяку. Я сидел на диванчике, смутно пия этот стакан, и взял с собою бутыль за 50 руб., бумажкой.
Было: 6 января, 00 час. 20 мин.
В ночь на 6 января в 01 час 00 минут М. была уже мертва.
Разница в 40 мин.
От Невского до пр. Анникова, где она жила, такси идет 17 мин. Я мог бы вышибить склянку с карбофосом из ее рук. Я ж вынимал ее из окон, когда в них кидалась, снимал с балконов, когда висела, выхватывал за ноги из-под колес. Я ехал к М. твердо, п. ч. я вспомнил, что мои друзья, писатели ляленковы,— ее соседи. Я вышел из такси в таких шатаньях, что мог лишь встать к столбу. Я стал. Я дал пьянице (он шел) 25 руб. серебром, чтоб он поддержал меня у столба. Он подержал. Я постоял на ногах и пошел к ляленковым, но не мог найти квартиру. Я дом знал, я жил в нем в бытность с М., но я ничего не мог. Я вышел и швырнул бутылку — в горящее стекло (как оказалось, оно и было — окном ляленковским). Я лег в такси и уснул в нем; у дома я проснулся, вошел в дом, по 72 ступеням, и уснул в нем. Да, я дал шоферу 10 руб. медью.
В 6.00 раздался звонок, телефончик, и женский голос сказал, что М. умерла, самоубийство. Карбофос.
Я так провел последний день ее жизни.
Шесть раз я рвался спасти (может быть!), меняя такси, стаканы, справки, телефоны, ляленковых, и я не доехал.
В книге «День Зверя» я пишу:
«Нет ничего постыднее, чем приписывать чужую смерть своей вине. Это верх самомнения».
Но и это ведь роман, а фразы — грамматика, а не смерть. Что мне до слов твоих, книга?

ДЕНЬ-НОЧЬ, ДЕНЬ-НОЧЬ

— Как живете, караси? — Ничего себе, мерси!
Это утро.
К открытию глаз М. будит меня. И рюмочку на ножке тянет.
Пьем. Поем. Это с утра. Ночью ж: отпето, бойцы после боя, в крови. Гимнастерки разрезаны пулями до ног.
М. у окна синей ночью, запевает заново. Луна пускает пузырьки нулей. Собака Р. сидит, с бифштексом из Парижа, вечно-вкусным (стальной он, с запахом. Обманный). Пол паркетный, как фортепианный. Цветы на окнах цветут, в комнатах. На балконе в фарфоровых бочонках — огурцы, свежевымытые. Малосольны почти.
М., поющая:
— День-ночь, день-ночь мы идем по Африке, день-ночь, день-ночь все по той же Африке, где только пыль пыль пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату. Пыль, пыль, пыль!
Взводит руку на меня, М.:
— Друг мой, мой друг, можешь ты меня не ждать, я здесь забыл, как зовут родную мать, здесь только пыль-пыль-пыль-пыль из-под шагающих сапог. И отдыха нет!
М., мне — грозно:
— Счет, счет, счет, счет, счет веди патронам всем, мой Бог, дай сил не сойти с ума совсем, здесь только смерть, смерть, смерть нас избавит от забот, верю в нее я и жду, как Бога,— смерть, смерть, смерть, смерть!
Песнь прервана, рывок к выключателю, свет, оскал зубовный, и М. вскакивает на окно, руки в раме, и летит вниз, с 9 этажа. Я втаскиваю за ноги, ломаю стекла.
Ничего, ничего, рассказ.
М. ела мои цветы (я сажал!).
Я сажал, она ела. Она уничтожила мои коллажи из коктебельских камней; аметисты, сапфиры, сердолики, топазы и т. д. Она их била в порошок молотком. Пила с ними, подсыпала. Она выколола глаза мне и сердце ножом на портрете, а потом в них стреляла. Водила на постель молодых лебедей.
А утром солнце встанет, и собака-пуделица мне голову на голову положит. М. стоит уж, от радости сияющая, с веснушками. Рюмка рому на полу — на золотом подносе:
— Как живете, караси? — Ни-че-го себе, мерси!

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Кони идут по-женски, по комнате, на стене пишется огнем:
ЖАЛЬ.
ЛОЖЬ.

УЖАС! —

о том, что жизнь — эхо.

Лампочка не горит, а месяц горит. На Зодчего Росси входит луна и выходит. И солнце есть, но из-за цинковых крыш, как отдельное. Луне моей темно! А вот кони, сходные с гладиолусами, пишут о прошлом:

ЖАЛЬ ЛОЖЬ УЖАС!

Что́ жаль, знаю, и что́ ложь, что́ ужас; слезы летят с глаз и, горячие, идут по горлу; я бинтом макаю, выжимаю жидкость в статуэтку рюмки. Будет стакан слез. Дадим даме. В ночь я был в Новгороде, в драматическом театре, в шубе, и пил истошно. Чай, воду, лимонад, соки капусты и др. дряни, алкоголь я пить не мог, 7-е сутки без сна, обуял Бог голову мою, и не ел я. В театре ж, читая мои стихи на «Ц»,— «он принЦ принЦипиальных пьяниЦ, ему венеЦ из Ценных роз, куда плывешь, венеЦианеЦ, в гондолах собственных галош?» — я вижу: плывут по-арбузному две луны, а март, ночью. Две луны не сливаются. А я шаг, и они шаг, преследуют как бы. И вдруг! — громансамбль в тысячу труб, играют «Русское поле». И идут слезы. Дали машину, и я уехал на шоссе, и я летел на колесах один под звонкий аккомпанемент этого «Полюшка», да в сверканье лун, и кони писали по ветровому полю:

ЖАЛЬ ЛОЖЬ УЖАС!

Я прикатил, съехал с моста Ломоносова и взял руль вправо, во двор Дома Балета. Там я пошел по лестнице чудно. Три-четыре кота плакали, где чердак. Взошед, лег я. Оркестр — был, но луна была одним кругом, не двумя. А комната — золотым шаром. А по стене:

Ж-Л-У!

И в водопроводной трубе голос, как солнце:

— Надо убить!

Не надо, думал я. Если тебе не поднять руку, то не надо. Но голос:

— Надо убить!

Я вызвал «скорую помощь». Во дворе сирена. Врач вошел.

— Встаньте,— сказал он.

Я встал... бы, но ноги не те, опухли вдвое. И веки не смотрят, гляжу в щели, врач приятен, с придурью.

— Не звоните больше,— сказал он по имени-отчеству. Мне было мило, что меня знают. Еще бы! Кто из врачей в те годы меня не знал!

— Я сделаю Вам укол от сна, а утром заеду.

— О да, друг! — сказал я.— Заедь в санях, с цыганкой и гиацинтом! И мы умчим в чум! Будильник бил в глаз, я очнулся через 24 минуты после укола. За столом, под настольной лампой был матрос с набеленным лицом и с бровями, тельняшка, острижен, без волос. На столе бескозырка, на ленте надпись: КРЕЙСЕР ВАРЯГ. Матрос, уловив мой взгляд, раскрыл рот, и тут я вижу, что за ним — конь в красном, в шубе до пят, стоит, африканскими губами шепчет на ухо матросу, склоняясь. Конский глаз, косит. Матрос с конем поют:

Все вымпелы вьются и цепи гремят,
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Не встать. Я вижу: у матроса лицо Леночки Блавацкой, с нетрезвыми прорезями глаз, и за тельняшкой груди. Я вынул револьвер и выстрелил. Дым не мог рассеяться, это пневматический револьвер, с 5 шагов — наповал. Нет матроса, и лампу унесло. Я завернулся от ветра. Кто-то звонил. Гудел. Я открыл: два морских офицера, с кортиком, и пакет, один подает, его слова:

— Мы ждем Вас. Внизу — четвертая зона.

Они сбежали вниз, тарахтя по ступеням, зовя меня руками за собой. Во дворе меж двух лиц надпись:

ЧЕТВЕРТАЯ ЗОНА

Машина с красными крестами, в ней штук 6 матросов в гриме, в руках по голому ребеночку, поют: пощады никто не желает! На месте шофера мертвецки пьяная Леночка Блавацкая с патефоном на голове. На ступеньке машины Ф. М. Достоевский, лысоглазый, сидит. А рядом с ним — стоит Ф. М. Достоевский с ведром воды. Ждут.

Я взял за бок Леночку Блавацкую в образе матроса, мертвеца, снял с нее тельняшку и, прикрывшись, ушел в туннель Дома Балета.

К слову: Леночка Блавацкая — столовертительница, москвичка.

По Зодчего Росси шли собаки, в 4 утра, в марте. По левой стороне — собаки к мосту Ломоносова, по правой — от моста к Пушкинскому театру, всех пород, внушительные. Вели их девочки, полузрелые, лица вымазаны, как у проституток в Марселе: и губы, и глаза — мазаное. И острижены, наголо, в шапочках шелковых, мужской пенис — вакушен во рту.

В Новгороде Феофана Грека съели собаки.

Он красиво писал кистью по стене. Народ же был поголовно грамотный, рисующий, а в таком виде, как Феофан,— никто не мог, их и подмывало его кокнуть.

Строят пустой храм, и вот он выстроен, на лесах Феофан с ведерком, пишет святые сцены. И ездит в люльке на блоках, веревками крутит. Как-то он уснул на полу, на глине, земля. Проснулся, видит — храм полон собак, едят мешки костей, заманены, значит. Стены пусты, без люльки. Посреди храма сверху висит лишь толстая веревка, с колокола. Но до нее далеко. Трое суток Феофан вынимал плиты с пола, клал их под веревку, чтобы бить в набат. Собаки ж сидели вокруг, чтоб сожрать. На четвертые сутки он вознес последний камень, кровавый, сел вверху, взялся за веревку и ударил в колокол своим сильным телом, вися и биясь, вися и биясь. Он бил знаком удара «4 — опасная зона — 4», это и наш SOS, но шире, тот знак мог дать лишь посвященный. Это тайная тайных, из далека, от тибета, шумеров, скифов, халдеев, египтян, греков — а Феофан был грек.

Народ стал и ринулся в храм. 40.000 новгородцев с мечом в руке добивались чести освободить Дающего Знак. «Четвертая зона» — ганзейский вариант,— это два удара билом, один тяжкий, протяжный и остаток — дробные винты по ободу колокола, как по рюмке пальцем. Но псы опередили. Он упал с веревки, его съели. Пока новгородцы рубили двери и железные засовы, а войдя — рубили мясо собак, художника не осталось. И долго Господин Великий Новгород стоял у свеч, и многодневный пост, и тысячные молитвы не дошли до Верха. Племя в черном сожгло Новгород. Когда они уходили, на громадной телеге стоял Колокол, и генерал их, с косицами, веселый, бил «четвертую зону», вариант темуджинов.

Потом Иоанн Грозный и его спутники с музыкой отрезали головы (ножницами!) — всему населению этой республики и жгли, жгли.

В. Ч. УЛКОВ И КИТО-ПЕС

...Камни, камни, полигамни.

Кладбище в Комарове — земли А. А. Ахматовой. Тут лежат, жмутся друг к другу, а к НЕЙ — отдельная аллея, широка, как река к жизни. У Гитовича — единственная могила, где растут лисички, их рвут, в лесу костерок, и закусывают.

Золотого, как небо А. И. Гитовича.

А на море! — одна профессура, гладко. Что — надувные камни или каменные лодки? Машины въезжают с шумом в воду, мотор ловит ртом воздух. Говорят, здесь вороний монастырь.

Вороны чернеют, пора им чернеть. Вон люди, как нечисть, у них спины белые плывут. Вороны-монахи ходят за водой и рыбой, а братия ждет, высунув язык. Долбят деревца, устав учат, как в монастыре жить. Птички думают, что монастырь — это сельскохозяйственная выставка, где сушат рыбу, любят лососину и шьют шубу. Как бы не так! Русская ворона, а ни к чему не привыкла.

Пароход с трубой.

Профессор В. Ч. Улков рвет зубами девочку в купальнике: у него час чувств! Из-за дюны выходит сенбернар. Я думал, из-за скалы выходит кит. Профессор В. Ч. Улков бросается от меня вбок. Но я-то никого не рву. Сенбернар приближается, как ревущая гроза. В. Ч. Улков — доктор элементарных частиц, но ум теоретика не соперник зубов китособачьих. И пес цедит сквозь зубы:

— Кто тебе сказал, сволочь из человечины, что под тяжестью тела Джонатан Свифт рухнул?

— Квадратно-кубический закон! — вскричал В. Ч. Улков.

— Кто это? — спросил кито-пес.

— Это Г. Галилей открыл. Если ваш рост увеличить вдвое, ваш вес увеличится в восемь раз. Великаны Бробдингена не смогли б ходить по земле от своей тяжести. Слегли б. У них рост 21 м.

— А я хожу? — спросил кито-пес.

В. Ч. Улков не отрицал, но не верил. Девочка, которую доктор рвал зубами, подошла и плюнула в него и собаке сказала:

— Пойдем.

Они ушли, отмщенные.

Мне грустно. От грусти я кричу! Куда ушли девочка и собака, я б им сказал. Ушли в монастырь, охраняют ворон.

Куда деть физика-сексомана? Я б пустил его в море, как яичную скорлупу, у меня нет нужды в умственных способностях.

А вверху, над лжеморем, я вижу академика Д. С. Лихачева, в живых!

Его год хоронили, 78-ой, а его только резали. Как всех!

Мы рады друг другу.

Я говорю о своих смертях, он о своих. Мир славизма отпел великого Издателя, а он

загорелый, с парохода, с Волги. Я рассказал о хождениях у моря. И об Антонине, горящей на костре, о ливне и о только что виденном, св. Бернаре.
— Профессор, он физик-теоретик, мне знаком,— сказал Дмитрий Сергеевич.— Его зовут В. Ч. Улков. Знаком, знаком,— сказал он бодро.— Это из тех, кто рвет девочек зубами. Плюньте. Они ж молоденькие!
Куда я плюну? Я и так рад встрече, после 5 лет взаимных смертей. Как Вергилий с Данте.
— Вьетнамцы очень красивы,— сказал я.— Домоседы.
— Да! — воскликнул Д. С. Лихачев.— Но не женитесь на вьетнамке, землю растить придется, в Польшу ездить за алебардами.
Мы тепло пожали руки.
— Дай бог здоровья себе да коням! — кричал Д. С. вдогонку.

В НОВЫЙ МИР

Вот — настали дни, и на Невском девушки с собачьими носами.
В Академкниге купил: В. Маяковский «Человек». Вещь. 1916. Открыл: «ЛИЛЯ — ТЕБЕ». Чем же я связан с этой семьей и что? Громомузыка В. Маяковского очень чужда, но он Поэт Мира. Лорд! — как Байрон! — красив, эстет, хромой, левша, толстый к 33 г., избалованный до смерти. И смерть. Я об Эмпедокле напишу, о сходстве.
Эмпедокл бросился в Этну, и вулкан выбросил один медный башмак его. Сгорел. Маяковский пустил пулю, и Шкловский нашел от него 6 пар башмаков с подковами. Сходство! Еще: Эмпедокл — поэт-философ, монстр; Маяковский — поэто-пролетарий, монстр. Почему? Да потому, что не бывает ни философов, ни пролетариев в поэтохронике. Слава им! «Человек» — вещь. Новатор.
Читай книги тем шрифтом, русским. Шрифт, что мы пишем, не русский, а революционный. Это Вася Каменский его изобрел, и шрифт пришелся по душе наркомфину. А меж тем наркомфин был домашним учителем В. Хлебникова. Потом и фамилии их напишу. Но Хлебников любил яти как истинный мистик. Вышел закон «ОБ УМЕНЬШЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ПЬЯНСТВА В ИМПЕРИИ». Алкоголи в бутылях продают от 18 до 19 час., недолог путь. А я помню в Елисеевском и Соловьевском с 8 до 01 час. ночи. С 8 утра! Т. е. в сталинскую эпоху отводилось время только на сон. Жизнь текла звенящей рекой, с перекличкой.
Как псы, 150 млн. мужчин сидят, поджав хвосты и дрожа. Но в 18.10 уж всю армаду валит с ног. Ведьмовщина.
Пьяницам — узду из денег, и приутихнут. Будут работать с огоньком, купят в Академкниге еще экземпляр В. Маяковского «Человек-вещь», принесут к котлу, станут к жене с кулаком у рта и крикнут:
«ЛИЛЯ — ТЕБЕ!»
С пьяницами будет мир, это народ. Он пьет в пузо, недостоин и кивка, рационалист. А настоящий мужчина — запорожец, еврей, поляк, ирландец, русский светлейший князь — это клинические алкоголики. 1-ой степени посвященности. Это полубоги.
Они пьют от открытия правого глаза и до закрытия левого. Они богаты и нищи; если богат, у него у ноги бутыль, в руке стакан для бритья, а если ж нищ, то найдутся меценаты, духовно близкие, они нальют и погладят, жалея лежачего.
В Париже нет антиалкогольных законов. Клошар кричит, как Гизы при Карле-католике. Из окна выходит француз, освещенный. Вяжет к веревке (за горлышко!) толстую бутыль и вниз ее. Клошар за бутыль схватился. Гитары мансарды! На многих веревках идут с небес бутыль за бутылью. Как в музее! Пей до потолка! И пьют из ложек клошары. Потому-то в Париже буржуа здоровы.
Скоро и у нас будет так.
Я уж готовлю бутыли с веревкой, на балконе, и ряды водок, портвейнов, мускатов; джин. Но никто что-то не кричит снизу. Скоро закричат.
Я хочу стать в 50 лет шофером, чтоб держать в руках круг судеб, смотря, кто выходит из-под колес,— цел? А кто остается, лицом плашмя, и складывают эти фанерки на грузовики, и везут, играя тузами, чтоб поспеть к 18 часам, к открытию дверей в новый мир.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Потемнеет на метр, и — светозарно!
Бедный Всадник над родиной, русский ужас, созданный с двумя усами, в лаврах — от итальяночки Анни Колло. В портрет она ему врезала по сердцу, зрачки в форме сердец. Или червонных тузов?
Ни один конь в мире не стоит так на месте и в своей стране, как сделанный Петр I, Медный всадник, Бедный.
Как скоро умер он, в 54.

Как геройски сорвал голову Монсу за классический тройной грех, кому — мальчику, французу, и кто — Император Всея Руси, полный Бог. И это агония, за нею конец. Он стал опасен — он стал человечен. Это от человечности он казнил Монса и орал, чтоб свергнуть и убить Екатерину, жену. Он от правоты своей не назвал наследника. Его дети уж могли быть и не его, он вознесся как человек. Бог это б не допустил, Петр изнемог.
Нелюбовь жены и анекдот Монса сокрушили силача. «Страшнее кошки зверя нет!» Бедный Всадник!
Пушкин, новичок в крови, смятенный от документов, увлекся гуманизмом в истории, а т. е.— обратным ходом. Руки крови не совпадают с божеством Царя. Бедный Пушкин! Петр I не темней, чем у других. Нельзя быть вверху и исполнять ч. законы. Это посылка истории, что верх — круг нелюдей. Это аксиома, а не метафора. И назвать вечную силу верха слабостью — анархизм. Фигура Петра I не похожа ни на какую, это новое лицо. А история верха — кинолента, где суперактер — одно новое лицо, и больше нет поблажек. Если ты похож на тех, кто были,— сойди, все равно народ сотрет резинкой. Кто такие Октавиан Август периода царствия, Марк Аврелий и пр., положительные? Дурные актеры. Но чудны Цезарь, Нерон, Коммод, Гелиогабал. Их и вообще-то нет у народов тысячелетиями, но в русской истории — Петр I, один. Он обладал теми чертами лица, чтоб быть в первой десятке Мирового Кино.
Именно кинематографичность: ноги, голова, рост, свойства женственности, одинокость, имперская цельность, и — где? Единственный рабочий и мятежник во всей своей многомильонной державе.
Об его убийствах — закроем рот, погасим гром. Несколько сот стрельцов, да пяток министров, да сын, да Монс. Кто они? Стрельцы — на предательство один ответ — казнь; сын — отцовское дело, это уж не наша, а их мука; министры — верх, воры, бери в любом веке первого, без выбора, и вешай, не ошибешься. Вину выдумали — вешать министров! Монс — вот где точка над i.
Там уже полыхала драма.
У Анны Монс, любовницы Петра, в 1694 г. родился ребенок, мальчик. По этому случаю Петр порвал с нею связь. Кто этот мальчик и где он? — след простыл. В том же 1694 г. у Анны Монс появился брат Виллиам, новорожденный. От кого?
Его карьера безупречна. Красавец, щеголь, высок и лицом вспыльчив; Петр I сделал его камергером собственной жены. Почему Петр назначил его к интимным делам жены, ведь поведение Марты Самуиловны (Екатерины) до замужества не засекречено. Это ход тех женщин, которых не остановит и сабля. Назначить блистательного дон жуана—в постель жене, не проще ль его было б предварительно уж казнить? И тут две птички запели. А Петр, что думал он? Что знал он о датах и о детях?
Пойманный на месте, Виллиам Монс казнен через день, без суда. Пошатнувшийся Петр повез жену, показать голову, сам рубил. Пошли круги над головою Петра Бедного, он пошел на дно.
Все оппоненты Императора убиты заслуженно.
Да и убийства эти — наброски, штриховки рядом с живописью кровей Египта, Рима, Меровингов, Капетингов, Борджиа, Медичи, Стюартов и пр. и т. д. На этом фоне Петр Бедный — наимилосерднейший. Я б его казни читал в школах как образцы человеколюбия.
Жуток Ленинград центра в белые ночи. Пушкин, Одоевский, Гоголь, Достоевский, Некрасов, Блок, Маяковский, белых ночей ихних — нет. Это как-то истерлось, изгладилось, сглатываем их.
Вот с октября черные ночи, тут уж беги от черноты, тут уж бездна, и у Медного Евгения на тяжелозвонком коне, а император всея руси бежит от него, рвя волосы, как футурист. Петр Первый, как шрам, разрезал русскую историю на две части — до и после. Других персон нет.
— Что мы сделали, Россияне, и кого погребли? — слова Ф. Прокопоаича на погребении Петра.

ЧЕРНЫЕ ЗОНТИКИ

Зонтик — быт болот. День с зонтиком и ночь.
Ночь — с черным зонтиком! Ночь — война, а зонтик — щит при штурме, будто целятся с пассажирских самолетов, из горящих окошечек, будто головы людские — сверкают, и пули, как мухи, застрянут в черных перепонках. То есть некого убивать, но прячутся под черное, ах, и мое я — тоже ночь. Серая грудка, рисовая головка, серый рост — что тут черного? Зачем зонт? Но несут.
Я видел с зонтиками в Ленинграде, Венеции, Ялте, Архангельске, Иркутске, а Берлине, в Будапеште, в Омске, в Риме, в Барнауле, в Ташкенте, во Львове и в Отепя; в деревнях не видел, не был. В Париже в 1979 г. я купил свой первый зонт. Он висит на вешалке для шляп, как автомат с рукояткой. Я пошел с ним как-то, но ветр сминает, как парус. Этому

нужно учить в школах зонтиконосиков, они ходят согнувшись, будто боги на них плачут. Полная чаша огня, едят мглистое, женщины, как животные, в галстуках, а эти мир портят чернотой, будто богу нет дел, кроме ножей, он запускает их в каждый внутренний карман, где паспорт гр. СССР. А зонтик предохранит. Будто, если сложить зонтик, то посыпятся пули в темя вперемежку с дождем — и простудят особь.
Я гляжу в окно, ткнувшись, как конь в ночь: держится за ручку, под зонтиком висит ч. Видимо, дуло, и его покачивает за стеклом. Это ч. в 70 лет, в кителе, галифе, с усами, в модной маршальской фуражке, в руке зонтик. Если б он ожил, я б сказал — это И. В. Сталин. Но я не скажу, он не ожил. Значит, кто-то переоделся в музейные вещи и летает в окнах у третьей мировой войны — как Би-би-си, из их клеветнических измышлений. Есть у Ст. Лема санти- и секс-роман, где Зося кончает с собой, п. ч. Стасик не погладил ее, где следует. Стасика отправляют на космической штуке вверх, к планете Солярис, это океан, и он воплощает образы любимых, умерших во плоти, и возвращает их из смерти, в каюту, в постель, как полнокровных. Ых!
Но в окне висит не Ст. Лем, океанский воплощенец. Хорошо, что сквозь стекла не пройти, а на зонтике он провисит и жизнь, как чайка, воздушный солдат, маршалолепипед.
Но в том же романе о возвращенках есть и деталь: океан сделал копию, анатомию, а вот мелочь: молния на юбке не расстегивается, они рвут юбку. Океан думал, что молния — декорация ткани, а это символ железного пояса на юбке у Зоси, рыцарского.
Так тут: не зонтик бы этому, а знакомую курительную трубку, покойник это любил, и его мы любим за курение в Кремле. На Спасской башне. А в океане? Висит на зонтике полувозрелый грузин, что делать?
И ночью он висит, и на полки смотрит, какие книги написаны на корешках. Я уснул. Запел петух. Гляжу — этот взвился на зонтике, как месячный серп, и исчез.
В ту же ночь исчез мой зонтик.
Думаю.

ВЛАСТЬ

О, если б навеки так было! — Федор Массне.
А нам от этих «если б» одно веселье. Листните у римлян: бонапартизм, мезонины, мир рубят, мясо солят, лиры не лгут.
А правочитатели? Рост отцов в атеизме, как в соляной кислоте, стихи пишут шапками и мне шлют. Из Киева: конверт, листики, и что-то с них летит, как с цветочков. Читаю с лупой, рифмы и — пепел! Радиоактивный! Это — мне посылка к 50-летию. Нашли, чем почистить мой шлем. Сдунул.
Взорвался реактор под Киевом, в Полтаве и ниже. Гибнут банкеты без молока, оказывается, в каждом бокале молока — звонок Гейгера, облучишься. А теперь ведь пьют одно молоко, до дна. Так мне пишут в письме, поднося пыльцу, чтоб и я испытал. Как будто никто не знает, что нет мирных реакторов, что все они взорвутся, по всей стране.
О, если б Тот Отец не знал! Знает. А Ему-то! Он все во всем, как Анаксагор. Науки претендуют на ум, некий химикалий, бионик, ядерный физик — софисты, видите ли, орденоносцы, вестибулярные аппараты власти.
Нехорошее еселье, друг-грудинка, если науки — убийцы, а врач-черт держит мою грудь, чтоб найти в ней место для пули.
И если возьмут власть академики физико-, био- и химионаук и психоартритов,— стреляй или стреляйся, это близко. Это — высшие лицемеры и ханжи ума технического, машинного, они и есть — антиживое, это и есть те, кто послан черным по закону казни.
В нише скажи себе о мире, но встань, вот длинный меч и платиновые пули, не медли, отведи острием руки академика — от человека. Японцы не чтят фотокопии Э. Резерфорда, Э. Ферми и Н. Бора и пр. цунами. А мы, солдаты с 1955 г., не скажем слова в дом академика Сахарова. Ум в амбиции достоин позорного столба. Нищий духом ошибется, и плач его бедный, но ум, носящий в голове академию атомной бомбы,— он шантажист нищих. И это пишу не я, это под пером мозг единственного, кто понял (на заре ядра!) гнусную сеть этих кассет — Альберта Эйнштейна.

БЕЛЕНЬКО

Беленькая собачка во мгле.
Пошел в рощу.
Навстречу мужик без рукавов, пузо на резинке. Мужик дает стакан с грибами, больше нечем наполнить стакан.
Плохи мои планы.
Пошел из рощи.

Опять беленькая собачка, блондинка. Объявление на столбе: «ПРОПАЛА!», а под столбом — она стоит.
И некоторые л. скажут собачке:
— Не судьба, киска!
Эта беленькая — сучка, по телу вижу, длинноватенькое.
Я вынес мяса из супа,— не берет с рук, из-под блондинистых бровей горит глазами. Кладу на камень. Мясо. Без рук. Съела с жаром. Второй день без дома, ее вымыли набело, чтоб выбросить. Через неделю будет сосать кость от повозки, а с рук не возьмет.
Дождь, серая рассада. Рифмуй: дождь — жизнь.
Д. С. Лихачев по ТВ, после операции, галстук в белую горошку, без очков. Он о садах, о Растрелли, о Пушкине. В общем, его водит по мусору диктор и обещает, что вместо Пушкинской квартиры в том доме будет город-сад. Кажется, Д. С. не очень-то верит. Развaленные стены, хоть нет немцев (бомбежки!). Д. С. похудел.
Он не умрет, у него лицо с большими ушами, прижатыми к голове.
Не печалься в жизни с большими руками — перед объективом.

ЖЕНЩИНЫ

Я стою у входа в юность женщин, вхожу, а внутри — пахнет мясом.
Стоят счетчики: кто вошел, пишут мелом — 100.
Женская юность — это индус, сидит на виду, фиолетовая, ноги на кресле.
Или же: лежит фригидка, гофрированное железо, а маляры ходят по ним, суп дают из сапога.
Юность похожа на гири на двух ногах, джинсовых.
А сними тогу Катулла, и увидишь, что Лесбию целует не воробышек, а задницегубый раб — Рубль,— индульгенция.
Но эти ж женщины не будут позваны и на Страшный суд, серенько. И л., о ком я выше, не попадут туда, это была б незаслуженная обида Высшему Судне.
Лягут они жалобно в землю, мелкие, как детские вилки, ящиками, и уйдут вглубь.
Солдаты!
Мужчин впрягут в колеса электрички, чтоб они ожили. «Наше время требует полной отдачи». А кому? Мукомолу?
В юных женщинах попадаются души. Я еще доживу, что и от содомии откажутся.
Женщины — желтоволосые бочки под сводами времен.

НАДЕЖДА

Я становлюсь похож на Б. д. Т., облысения вот нет. Придет! И я похож на Иоанна с Патмоса, с картин. Не удивляюсь. Над головою все более туч. Тучи — чтоб ударить в высокое, и ударят, и раздастся невыносимый треск. Но я вынесу. Скажу фразу, упрусь в землю и устою, поводя глазами. Но до этого я не доживу.
Вот что обо мне пишут:
«...Много раз спрашивала я, показывая его фотографии:
— Кто это?
Ответы одинаковые:
— Поэт.
— Авантюрист.
— Король.
И вдруг однажды:
— Пришелец!
Само его имя кажется мне произведением искусства. Само его лицо, про которое миллион женщин сказали потрясенно: «Какое старинное лицо!» — в равной мере принадлежит и прошлому и будущему. Это лицо с флорентийских портретов, это лицо инопланетянина».
Не доживу я до смерти, не тот типаж. Я слишком чисто пишу, чтоб любить свой посвист, я укорачиваю фразы и книги, делая их с семенами, чтоб они были ясны слову стрелец. В яблочко! Равенство с любым писателем меня не успокоит, а насмешит. Я становлюсь, как Маятник, движением томим в ту и обратную сторону, не устоять.
Я становлюсь похож на того, кого не видят, но читают на бумаге, а она в продаже везде Кто читает, им все равно, жив автор или умер, а автор предпочитает жить. А л. же предпочитают, чтоб он был мертв, их тревожит тот, кто невидим. Боязнь — а как он на них смотрит?
Слезы людские — нули водяные, хуже всего человеко-поэты. Это как раб, как бык в треугольной позе. Как однофамилец!
— О слезы людские! — сходится с ослом Люции, с итальяночкой. И я, как и Тютчев,

ленив, ищу щель, чтоб лениться; спрячусь в щель и сижу, ленюсь. Одинок тот, кто привык водить толпы. Тот, кто всегда один — не одинок. Какой стеклянный пейзаж в субботу, с балкона, в 23.00, как дома многоцветны! Как устроены слова: дом — день, а дно — надежда.

НЕНАКАЗУЕМ

Я видел образ прощальных дней.
Альбатросы!
Сегодня море — купол, волна!
Альбатросы, альбатросы ловят рыбу, хвост во рту, окунь. Мне так не поймать, да и сколько их съешь? А потом загрустишь, как сосулька в воде.
Уезжающий, как и пьющий, печален. Никто не уймет душу в доме, была и абидосская невеста, и то ухожу. Я не пишу на сосне: «К морю. Свободная стихия. Пушкин». С тучами не толкаются.
Перенесу я судьбу, но не матрас, надутый щеками. Это не ковер-водолет! Сели, летят в воде двое, и выброси матрас, дутый. Чтоб умереть от любви в заливе, где воды не наберется на два ведра, чтоб облиться. И это и есть — погибнем оба до гроба, с любовью — бульк! Если только спрыгнут с матраса и размозжат голову о валун (дно мягкое!).
Вот так-то: океанская молвь, а дурак и дура портят мне отъезд. Я их знаю, это старик-блюдолет Ш. Ш., поэт с обстриженной грудью, международник, и его девка из младохохлушек.
Я вспомнил М., волжанка, бегущая из моря до моря, и гиацинтовые глаза из жизни! — убита, без боя.
А эта мразь, Ш. Ш., лакей на побегушках, по ТВ, и Копонелько — живут взашей, гребут берега!
Я давно умер. Если я пишу, это не долг, а так.
Я давно уж знаю: сокол — это колесо, а солнце — то горит ромбом с 14 сторон, то и днем с огнем не сыскать.
О гордый друг мой, биющийся, я уже делал и так: вставал на пути, и что ж? Я закрою ход, и разбиты оба! Но я начинаю снова и без тебя, М. А без тебя боги лгут, множественные, как и их создания — вот эти Ш. Ш. и Копонелько, на водных матрасах, как два рубля продажи. Не хочется ни сюжетов, да и ни жить, да и уеду.

ТАНЗИРА

Сейчас редко встретишь колючую проволоку на берегу.
Я встретил. Это от северных гаремов русским красавицам; шведы, норвегцы и финны рассултанились и живут со своими. Моток колючей проволоки море выбросило, с 1939—40 гг. Отойду, полюбуемся. Поубавимся в мнении о Нем.
Рядом просмоленная лодка, у нее бок бочки, и разными гвоздиками пишут: Толя и Коля, Лиля и Оля, и Жиржа — дружба. Оля и Жиржа зачеркнуто, и чуть ниже: Оля и Жиржа — любовь.
От памятных мест в море надолбы, от танков, от линии Маннергейма. Закат странен, одни надписи. А чайки освещенные. Из ч. состава здесь один я. Мушки-нейтрино облепляют тысячью. Чувствуешь, что уши прозрачны, за неимением лучшего.
Скоро и я разденусь, закутаюсь в закат и буду ждать те 43 ножа от Брута, мирного пловца. Он и есть Жиржа, вышедший из колючей проволоки, ловец Оли, Вали, Люли и Танзиры. Эти имена тоже написаны и равны дружбе. Но тут мы столкнулись с преградой: кто — Танзира? Может быть, она — Галя?
Анна, Нина, Минна, Лина, Марина, Инна, Капитолина — это уж другой ряд колючей проволоки. Даже Коринна — у них, в ряду.
Сомневаюсь, чтоб Жиржа полез в воду (с таким именем!). Но уж совсем дико, чтоб он равнялся любви к Танзире. Или они оба — и несклоняемы?
Ответа нет — море, море, лодка и чайник в ней.
Я оглядываюсь, как циркуль. Нет ли имен еще? Нет.
Правда, из моря торчит ракета, но давно, с девонского периода. Я входил в нее, такие надписи: Раиса, Лариса, Сергей, Андрей, Поэль, Ноэль, Рита, Грита, Тося, Зося, Ядвига, Тыдвига. Мужские рифмы плохи, женские терпимы, а Тыдвига — не Танзира; Жиржи нет в ракете. Или Жиржа — не тот, Брут у валунов, а женщина, она, как же быть нам с Олей и любовью к ней? Примем как должное.
Я забуду — белые ободы камней, черные ночи монет, ягодные домики лилихвостов и лодки-луны, круглые, с углом 45°. Забуду и Жиржу, и Тыдвигу, но Танзиру! — уж никто не вырвет из моей памяти.
Танзира Маннергейм.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЕТР

Ровно в 9 выходит луна на 6 минут. Вот, вышла. Я надеюсь, меня понимают, о чем я. В небе полно бискайской воды. Окна леопардовые. Нет надежд. Всюду освещенные кубы, лампочками; это дома.
Звонит в дверь Ваня Небиаду. Я смотрю в глазок, если б с топором, я б дверь раскрыл, пошли бы топор на топор, и был бы один зарубленный ровно за месяц до Нового года. А на что мне безоружный, не пущу.
Луна высоко-высоко. Вон как раскрашена, и огоньки с нее висят на нитях.
Ирландский сеттер — я, лежу на ковре, с подпалинами, жгу электрокамин, изящнейший, и жду 2 декабря. А зачем Ваня Небиаду? Он стар ростом и с глазами сумасшедшего, доктор наук из Якутии, с алмазных копей; он пьет. Не пущу.
Я в зените.
На окне трещина. Если б он вынул трещину из стекла и вставил бы алмаз, к слову... Пойду, спрошу.
Но он ушел, в глазок я вижу только его глаза, охваченные безумием, алмазника. Я открываю дверь: да, нет его, а глаза стоят в коридоре на двух столбиках. Грустно.
А из трещины сквозит непрерывный ветр.
Взял том 3, нарисовал собачку и поставил на полку. Дни проходят, как киты. Как заснеженные лесенки. Что ж делать по вечерам? Помылся, жду, с галстуком. Если сидеть, спина прямая и лопатки звенят. Кипяток в кастрюле идет пузырями, заварил чай, глянул в глазок — те же два глаза на столбиках, я их и бросил в стакан, и выпил. Снится небо в алмазах. Хуже просыпаться. Но до этого далеко. Не могу вспомнить, была борода у этого Вани Небиаду или один подбородок? Или два?

ДНИ

Дни водяные.
В доски бьют молоточком, невидимые пианисты.
Затребовать стул с твердым дном.
Встретим грусть мы грудью. А я лягу и буду лежать всей тяжестью.
Носки на ногах очень низкого качества.
Голубь рта.
Отлично, отлично, мороз. Темнеет в Микенах. Самовоспламенение.
Я не могу писать с позиций равнины, людей; может быть, я худший и самый людь из л., но с этих позиций я не писака. Громовая усталость.
Кастильский клен.
Говорят, грязные ругательства. Лишь бы ч. был чистый, а там пусть ругается, грязней грязного. Книги пишут не для того, чтобы их читали. Я — тень тумана.
— Во мне мало королевской крови,— посетовал он.
— А что так? — посочувствовал я.
Абрис Наполеона похож на овцу, на стриженую овечью морду в фас. Сколько у нас царей-самозванцев и их детей? Вся страна — самозванка. В очках писать то лучше, то хуже.
Спокойствие дает сон — он без конца. Вороны пролетели мимо окна, как занавес.
Мороз, мороз, мороз. Женщины особого вреда не приносят. 27° — ниже меня. Ох, хорошо.
В 50 лет юности нет. Все ж показательная гениальность: за год я воспел синий глаз, а через год он посинел, катаракта. Болезнь лжи — от нерастраченной сексуальности. Люди в браке лгут меньше. Подумать о графическом рисунке новелл.
Ел балык из осетрины холодного копчения; мини-царизм. Счастливый день, много снега.
Говорят, что носки на левую сторону надеть — к несчастью, а как поймешь, где лицевая, а где обратная сторона? — везде дыры. Вот и надеваешь как попало, рискуешь. Три ели, три ели! Беднодубье. Слово не воробей, а диагноз. Шизофрения — это, видимо, жизненная сила.
Академик, политик и кучер хотят говорить красиво. Поэту — говорить красиво не приходится, его стихия — слово, а оно любое. Говорить красиво учат глухих и заик. Поэт говорит любым языком, это его *дело* и право.
— Но вы далеки от любви.
— Единственное, что сейчас спасает людей, это любовь ко мне.

КНИГИ

Я издаю книги врукопашную; сегодня я разбил много посуды, если это к счастью, не многовато ли? Хоронить учтивее, чем рожать.
В декабре мне кажется, я сойду с ума, и я покупаю книги сумасшедших — маркиза де

Сада, Мопассана, Клейста, Нижинского, Арто, Сезанна, Батюшкова, даже письма Ван Гога в оригинале. В писаниях сумасшедших — здравый смысл, это противно.
Это противней декабря, и я читаю. Минус на минус дают сон, с кошмарами, свинскими. Февраль я люблю, светло, я книги продам (эти!) со скидкой на 20 % — в середине февраля.
Я в Музее устрою выставку книг здоровых (психически!). Да нет, от одного Тургенева будет сон в гардеробе, и о ком мы? Бальзак, Золя, Джеймс Генри, нобелиаты — кусты скуки по лестнице.
Словоблудье — творческий экстаз, реализм.
А поэт — как вожжа под хвостом, увидит диво и пишет слово. Или же ни слова, как я. А сюжет, лирика мировой души, музыка и заумь — наживные кони, уйдут с грифом, на рогах.
Нет в живых тех, кто любил. Когда издадут мои книги, не будет ни одного, кто б меня видел. А когда мне присвоят звание полного Мертвеца («великого»), и не вспомнят, с каким хоть веком-то мой ум был связан, в кругах у глаз.
Винить себя не в новинку, но и те, кто тебя не любят, и они винят тебя. О себе думают в превосходной степени миллионы, а ты о себе думай, как о говне, будешь умней этих, хитрых. Ведь они станут плоски телом, и ты их покажешь, как диапозитивы, в иных мирах.
Еще не анализировали Мул без узды, Майен из Мезьера, Шампанский, начало 13 в. и Соловьиный сад, А. Блок, Петербург 20 в., начало. Тема: рыцарь — осел, но рыцарь — ездок лишь, а осел — всемогущ.
Это я пишу после ванны. Если мыться трижды в день, то напишу три строки, а не одну. И закончу страницу.

ОБО МНЕ. РАЗНОЕ

Я — думающий о том, что через 49 лет будут скалы и сядут у них бриться, так гладки. Разве жалуются, живя в аду?
Та львица, о которой речь, вскормила меня молоком, а потом разорвала на куски, чтоб не жил меж чужих.
Я ж живу.
Я — глас поющего в пустыне.
Еще хорошо: она встала мне на ноги, нагишом.
Дожить до 22 декабря, до низшего падения света.
Говорят, в те дни, когда я писал эти строки, 9—14 дек., из Америки, из Филадельфии сказали, что я — самый величайший Он медного века. Об этом я слышал и до. Хорошо, что в Америке стали объективно относиться ко мне. И просто.
Вот уж что не вымышлено, то это мир моих книг.— Не делай этот шаг, он роковой,— говорили мне футуристы. У них нет будущего. Я сделал шаг. Потом второй,— это уж было за роком. Теперь третий,— где б взять деньги? Сев в автобус, я по обыкновению даю 5 коп. незнакомке, и она пробивается локтями к кассе, за билетом, мне. Пробилась, но пошла дальше. С 5 коп. в руке, билет не взят. Дошла до выходной двери и вышла. Мои пятачки — на вес золота. Она слышала сообщение из Америки, кто величайший. Да многие знают и так. Гете неглуп: он сказал — если нарисовать мопса схоже с натурой, то от этого станет лишь одним мопсом больше на свете... Когда я еду в автобусе, я думаю о Вильгельме Мейстере: «Если найдется виртуоз, то и найдется кто-нибудь, кто срочно учится на том же инструменте. Счастлив, кто на себе убеждается в ошибочности своих желаний». Таких счастливцев нет. Все пишут под меня.
Тем-то и велик Гете, что эти прописные истины мог изречь и мопс. Писать, пока я живу,— это то же, что ссать себе в рот. То же думал и Гете. То же он думал и о своей писанине, живи он тут, и прятал бы мои пятачки как сувениры.
Что читать! Голова, как у соловья, маленькая и тупая. Великий тупик. Люблю мороз. «Это искусство, и я готов ради него на любые труды — способность, которую один прославленный идиот объявил равноценной гению». И это — о Гете. Автор цитаты — автор «Острова сокровищ», Р. Стивенсон.
Эдгар По и Чарли Чаплин — как велико сходство, портретное, Николай Гоголь и Генрих Гейне — это сходство озадачивает. Белые клоуны Бога.
Могильщиками теперь — дежурные по кладбищу милиционеры.
Я — видящ.
Тучи серые, влажнее, пусты дни, во мне свет, хоть и упадочный. Полежу немного я, как Эдуард.
Я говорю: только без восстаний, без восстаний, ты не Рафаэло Джованьоли, одни реалисты считают, что царь, взятый в плен,— это раб. А я говорю: восстание Спартака — это восстание царей.
Были годы, когда меня еще можно было видеть в 9 ч. утра, пьяным у Дома Балета. В 11 ч. я уже лежал на Невском, как слепок из гипса. Моя слава — уже из научной фантастики.

Кир Булычев пишет: «Создатели Эксперимента кажутся небожителями. На самом деле они существуют — в виде портретов в актовом зале. Дарвин. Мендель. Павлов. Он. Джекобсон. Сато. Далеко не все понимали, что Эксперимент выше всех знаний человечества. Но во главе института стоял Он. В самом принципе его деятельности было нечто иррациональное. Это была наука с претензией на божественность».
У меня 2 года пульс был 200.
Много еще стран, где стужа. Бесплодие у животных — это когда их слишком много и в одном месте.
Учитель сказал:
— Теперь чаши для вина стали иными. Разве это чаши для вина? Разве это чаши для вина?
Ох, тошно мне на чужой стороне! Чужая сторона — Земля.

ЗАСТОЛЬНАЯ

Л. идут параллельно, по городу; если смотреть на урбо сверху,— идут л. рядом. Это — утопия. Л.— не литература, и живут они по законам л.юдским, не словесным. Кто много жил, тот низко пал.
Наливай на дно вина, на метр!
Такое тусклое время у МЯ.
Снился во сне грустник, стограммик.
И этот день к концу, убитый мною.
Останется от земли несколько колонн.
Наливай на дно!
С годами бумаги жгутся, а миры сжимаются до Я, а потом и до я. Это я могу понять и унести с собою на стадию катастроф.
Но у низших катастроф не бывает. Певцом солдат мне не стать, а солдаты — это пушки, они говорят сами за себя. Заговорят. А музы? — это телефоны в землю, где лежит, готовая, полиция. Ей мой лоб некрупен.
Сильные листы пишет рука героя.
Декабрь, силлабо-тонический! Но еще ноябрь, он: черные речи мои. Я вышел на балкон, шагая, и поднял золотую кепи, прищурившись. Я с грудью в ледяной коже, народ стоит в раме марша.
Время у МЯ в яме, наливай на дно, на метр — вина!
Корабли плывут, белокурые, постель на лестнице ждет ч-ка с железной звездой в глазах!
Он топнет, а уж — пятница!
Плохо видеть много, я вижу и не выживаю.
Ослабли молекулярные руки.
Я не верю, что кто-то будет жить за меня, не верю, не верю.

II. МОТИВЫ

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В России нет армии, годной, полководцев с нагревом имени, умного царя. В 1812 г. Россия не готова к войне с Наполеоном, хоть и воюет с ним 9 лет. Казалось абсурдом, что Наполеон войдет в Россию. Это и абсурд: регулярная, могучая, плановая, оснащенная теорией и гением Наполеона и его королей, армия вошла в настолько громадную географию, что островитянин-корсиканец не мог выдержать этого. Этого пространства психики.
Наполеон и Европа уже больны атеизмом. Воспитанники жестокосердного мещанина Гете, в Вертере и есть вся Европа с ее юбочными страданиями. И молодой страдалец Наполеон, уже взрослый европейский самец, водит двуногих на убийства. Их любовь — фаршированные колбасы и яичница с пивом. Полки мещан вошли в край рабов.
То, что от немытых французо-солдат пахнет духами, как от русских генералов, приводило крестьян в неистовство, и они рубили их вприсядку.
Войдет француз-офицер в лес, отстегнет саблю и панталоны, сядет на пенек, поя марсельезу,— ночь в луне, дуб дремуч, совы со щеками, с щебетаньем. Гриб, как шампиньон. Муравей по голой заднице ползет, как звезда, кислый.
Встанет француз, опорожненный, хочет подойти к другу-мсье пить шартрез, а ветвь его не пускает, на ней свет. И вторая ветка его за руку берет и к пояснице гнет. Завоеватель кричит, и тут-то его и склоняют над тем, что он наделал, сидя, а потом и макают мордой. Драма!
А и не лес это, а целая история. Идет миллион народа по полям, от врага. Видят поле, а уж ночь над миром, месячная, и ни избушки не виднеется. И стал народ в степи, как дуб

к дубу. Встал народ, стоит, спит. А тут француз с революционной песнью на ветру. Его и повесили на ходу — два мужика взяли бревно и веревку, положили бревно на плечи и на веревке повесили марсельезника. Когда он отдал ветрам душу, а те унесли, шумя, ее в Париж, на Пер-ла-Шез, в урну,— тогда двое Егоров сняли бревно с плеч, покрестились, отвязали про запас веревочку и, как мы видим,— опять стоят, спят, на ногах. А труп? собакам тело дали.

В какую сторону пойдет этот миллион народа завтра? Никто не знает, ни Бог, ни Царь, ни народ.

Как ты его победишь? Земля его — куда хочет, туда и скочет, этот, спящий стоймя посреди поля. Бог только видит движение на северо-востоке и говорит громко миру:

— Сегодня в 4.30 пополуночи русский народ пошел на северо-восток, это севернее Таймыра и восточнее Токио. Дальнейший его путь Мы сообщим особой сводкой.

ТЕМА ПАМЯТИ

В 9 вечера прогуливают собак за шеи. Собаки — что? запасы топлива?

Дом дней стал тошен, а другого нет.

Есть несколько улиц в г. мир, и свод входа у них — холстяные клеточки видений. Исчез тыл (пыл!).

Не лги о мертвых, не пиши о женском досуге, я люблю лес, туфли, сухие, и рубаху в герцогском стиле. Алую.

Я помню их, надеванные. Мечты о будущем — это от невоспитанности.

«Дорога Жизни!»

Мы катались, как вода. Низкий звон самолетов, пульки лопаются в досках, как в дождь.

Если скажу — шел пулевой дождь, от немцев, с самолетов,— я не ошибусь.

А на катере дождя такого, водяного, весеннего, не было, с Ладоги плески, но Ладогу дождем не называют — море! Море и низкие самолеты. А встанешь — голову отхватит крылышком!

Морская болезнь — это сморкаться, по телу течет. Другой не знаю, мы ж хохотали, как петухи! Дети ж мы блокадные! И самолеты сами в руки идут, с бомбочками!

Много лжепамяти от фильмов, нельзя их давать детям, будет другая жизнь, насильная, и снится им она же, а детская — где? У нас была детская жизнь, без фильмов.

Как-то я вычитал о великом поэте: «На дне сознания возникла моравская деревушка Биокоупки, где новорожденному приветливо улыбалась заглядывавшая в окно сирень» (любимейшие цветы!).

И он вспомнил об этом! ЗагляДЫВАВШАЯ — надо же!

В детство моего окна заглядывали автоматные дула гестапо.

Первая моя игрушка — браунинг. И фарфоровые круги фугасных бомб.

Я бросил жизнь и хотел уйти в другой дом, а Он не пустил.

Я пишу.

Скот идет с дулами на голове.

История — это старость. Юность — это возмездие,— сказал один фразер. А если юность за колючей проволокой — это что, дар?

ГУСИ-ГУСИ, ГА-ГА-ГА!

На Кубани гуси идут гуськом. Домашний гусь — гадюка! Есть песенка об их жалобах на волков. Серый волк гусю! Я видел, как волки несутся у хат, ощипанные и полусъеденные. И лисы, многострадальные. Лезли к курам, а это в гусятник!

Не уйти от гусей.

Утром я хожу с абрикосовой косточкой. Свищу. Из Эйска фашисты, смотрят; в гестапо.— Ты юрка (еврей)? — Я — урюк! — Не дури, откуда у тебя такие уши? — От бабушки.— Бабушку ведут штыком, а мы по паспорту из Гогенцоллернов. Смотрят, как сумасшедшие.

Как-то китайский император Ц., проезжая по улицам опустошенной Маньчжурии, видит двух маньчжур.— Многовато народу в Маньчжурии,— воскликнул император и велел уничтожить их.

Гуси, гуси, есть хотите?

Докучают немцы, едят дом. Я бросил бутыль бензина. Несколько солдат взлетели в воздух. Взрыв красив, серебро с музыкой. Часовые обгорели, как гранаты, кусками. На этот раз команда СС. Гестапо! Я к этому привык.

— Почему ты так сделал?

Я говорю об императоре Ц. Зовут бабушку. На мотоцикле. В коляске — бидон, обжигающий душу. Водка, довоенная. Немцы удивлены таким оборотом.

Так летите, под горой!

Невдалеке от станицы, в степи партизанский отряд, у р. Кубань, так вот — по воде они читают ход мыслей фашистских войск. О немцах, чего они хотят от нас. Гул орудий вдали, это идут армяне-освободители. Пришли. Но до прихода.

Расстреливают отряд. В меня бросают мину издалека; и раскроили череп; облитого кровью, несут в гестапо и пытают, повесив на стене. Вишу.

— Сколько в отряде чел.? — 11.— Лгешь, 10.— Сосчитайте трупы.— Сосчитали — 11. Их на мотоцикле по степи собирали.— Что они делали? — Мышей ели.— Лгешь! — Поройтесь в норах (жили в норах, под землёю).— Порылись, кости выдр. Правда. Зовут бабушку.— Сядь в уголок.— Сидит, лицо белое, платочек комкает. С меня кровь течет.— Отдайте внука! — Глянули — а это она не платочек комкает, а бикфордов шнур развязывает и завязывает, в подоле мина катается. А шнур горит, горит, ясный!

Ну, летите, как хотите!

Идут армянские полки, под барабан, как валеты. Нас посадили на грузовик (немцы!), едем наперекосяк, грузовик пустой, с гусями за пазухой. Штук триста гусей везли, и они гудели. Да, еще гуси подняли на крыльях грузовик и как духи врезались в армянскую рать. Рельсы «катюш». Я отлично помню холодок на шее, подколесный. Полки перевернуты, грузовик валяется.

Небо в облаках, и голод, голод.

ОГОНЬ

Я жег сундуки стихов, покидая.

Это как револьвер, из которого можно задеть кошку за живое.

Жгут же бочки вина, соломы!

Во что б завернуть мою тоску по пулям? Делают копию сожженной Данаи, и это будет надувная Даная. Разве восстановить ту мою 11-летнюю руку, для которой револьвер был — как радиус жизни, а пули — как пальцы, бьющие в одно? Смотрю на свою — ногти древние, гранеяые, розовые.

Красота — это Этна, от Эмпедокла рукописей нет, а лицо на скульптуре занавешено камнем.

Громыхают всевидящие, а что есть ниже туч?

Жгу я кучи листяные и сейчас, но без прежнего огня, по строчке, нечто от Филиппа-Испанца. Сколько жечь — столько жить. Привет, праотцы, мы лодки вокруг шара с надписями.

Как-то я убил пишущую машинку, бросил в окно. Потом спустился, взял, принес кости. Приставил к литерам зеркальце — не запотело!

— Бабушка, ты завтра умрешь! — сказал я. Она чесала волосы гребнем, до пола, черные. Утром ее нашли в саду. Я помню ее лицо, разбухшее, широкоскулое, белое, больше, чем она, никто не любил меня, не спасал. Сердца разрыв. Я залез на дуб, трое суток сидел, от судорог. Потом упал. С дуба. Уж похоронили.

Ее гребень в бриллиантах я подарил М.

Но М. носила короткую стрижку, ей гребень что́, и она подарила его Л. Ю. А Лиля подарила подруге — Полин Ротшильд. Та была изумлена и долго дарила Лиле изумруды. А в Париже Полин Ротшильд, спрашивая меня, что б подарить М., вдруг взяла и подарила гребень. М. страшно задрала нос с таким подарком, пока не выяснилось, что гребень — бабушкин. Ох, и хохотание! Бочки богачей!

Многих я сжег страстью, а многим сказал смерть. В частности — Заболоцкому. Но список такого рода жертв не вместится на 100 страницах убористого текста, на моей машинке Гермес Бэби. Гермес, кстати, тоже посланец. И он — тоже.

МНЕ — 13 ЛЕТ

Мы жили на виллах, правя миром, а за садами — дуб, как туз! К «бабушкиному» дубу шла дорожка, и где падал обрыв — государственные сады с вишнями. И в них солдат с ружьем, ствол ружья рос у него изо лба, как дуло винтовки. М. б. солдат в зеленом платье — посланец эпохи кватроченто? Сбоку — электростанция с молодыми рабынями. Плоды молодости.

Эрос я знал, знаком с эротикой. Волосы мои вились, физиономия и ручки греческие, ноги идеально сложенные, правда, одна короче на 1,5 см из-за гипса в детстве, но любовь нимфеток и юных ню не мерит сантиметром длину ноги.

Не помню, какое тело у девочек, гладкоствольное или пернатое; сексуальные выходки. Среди паров и вод, в мыльной мгле я смотрел на женщин в упор. Горячие шайки, мокро. А после мытья — абрикосовые! В галифе револьвер.

Если человек с гаубицей идет на ч-ка безоружного,— это пропащий, стреляй из галифе и брось падаль в саду жизни.

Мое двенадцатилетие (13?): я, Виктор Сумин, Бур Великий и Игочка Домнин налакались водки, попали на Высокий замок и летели оттуда долго. Любовь к бутылке и бутылкам. Многообразие гроз.

НЕОКОНЧЕННОЕ

Дом Артура скрыт дубами — 14 громад-ангелов стали в круг, тут и дом. В. Жуковский и Н. Языков; В. Даль; заглядывал Пушкин. Тут пил, как ликерная рюмка, Игорь Северянин. Черный баран — это Араб Петра Великого, я ношу жилетку из тех кудрей. Бармен Артур Рут назвал дом (хутор!) «Ананасы в шампанском» и открыл бар в подвале, где лопаты. В Оперном театре процессы над космополитизмом. На афише А. Вертинский с поздне-польской отвислой челюстью. Песнь пояше: «Весь я в чем-то армянском, в чем-то азербайджанском!» Т. е. костюмы нацменьшинств. Поет: «И, может быть, теперь в трущобах Сан-Франсиско лиловый негр вам подает манто». Плакал он. Буря рук! Бриллиантовый космополитизм! Шлем воздушные поцелуи. И уехал бы он целенький в Москву, в молве с рулоном рублей, но не сообразил, где он. Он шагнул через край. Он стал на колени. Он стал целовать пол. Это потом сказали, что он целовал русскую землю таким путем. Но это был 1949 г., а парижский слюнолиз целовал доски сцены, где шли, не переставая, суды № 58. День-ночь. Встал Бур Великий, тончайший. Он сказал: «Пепел Клааса стучит в мое сердце».— Бей бебонова Ияу! — крикнул Игочка Домнин с выбитыми зубами. Виктор Сумин положил на пол гранаты (холостые!) бить башку. Нюся Черепичко (цыганка) и Милка Файнберг-Тохтер, мастера стрельбы, легли плашмя. Настоящие подруги! Загремели «танки», мы срывали башмаки и шыряли на сцену, косяком. Воздух вавился веревочкой, ль... ие бежали потоками в г. Ль. Как хорошо обученная свора, мы шли к сцене. А. Вертинского взяли в круг мундиры. И это б ничего, но уже у сцены вошли войска, курсанты Политучилища, эти спустили ремни со свинцом. Зашатались головы. Кровь брызнула рекой. Прошумели первые пули. И в этот трагический час на галерке вскочил самый маленький, сын коменданта г. Ль, Виктор Курсанов, ему и было-то лет 7—8. «Время звенеть бокалами!» — вскричал страшно Курсанов. Свою галерку он вел с зажженными флаконами огня. Загорелись сотни солдат. Милиция стояла в лимонном свете, горя. Заполыхалось! Потом тушили театр и сказали, чтоб шли в домы. И пошли, крутя побитой башкой и говоря сквозь кровь: «О беда, беда! Взяли наганы, а не взяли патроны!»

СМЕРТЬ И. В. СТАЛИНА

Я хоронил М. И. Калинина, его гроб несли на плече, как на субботнике — Сталин, Берия, Молотов, Ворошилов, Каганович и ряды друзей Всесоюзного старосты. Этот умер в Москве, реальнейший из реальных, от водки.
Где умер Сталин? Сколько дней не сообщали о его смерти? И т. д.— это народные нервы, позабыли, что в Кремле старик, с тяжелой биографией. И умер. Думали, что СССР восстанет против его смерти, будет землетрясение у ног, враг, лей медь, куй пули-люли! Ничего такого.
Когда умер И. В. Сталин, по улицам земли пошли машины в черных подковах. «Маруси». О чем говорить? — Говорят о смерти И. В. Сталина, как это хреново для народов. Потом жгли звезду и, крича «ой, ой, ой!», бегали у огня. Март, иды.

НАБРОСКИ

Наброски важнее, чем книги, где главы — раскрашенные картины риторики. Не стоит доводить фразу до редакторского совершенства, она станет точной, но будет мертвой. Пусть уж живет в черновиках, не выходя от автора. Ксенофонт и Геродот. Их фразы настолько самостоятельны, что приближены к жизни. Уж и забывается, где документ, а где бред. И сивая кобыла у Геродота вздохнула к ржанию в битве — к тексту.
Образец русской живой речи — Российская Грамматика Михайла Ломоносова; знаю, иду; странствую, воздаю, охаю; трясу, глотаю, бросаю, плещу; колеблю; пишу. Глагольная биография!
Русская проза неизвестна. Этому мешает неправильное развитие детей: авторы 12 в. напечатаны лишь в 19 в. А авторы 20 в. не будут напечатаны никогда, до них русские не доживут. Так что русский язык — это порыв, каждое поколение идет с нуля, если физически не уничтожено — оно. И приходило к нулю, у него нет ведь степеней. Уже «Евгению Онегину» Пушкин придал вид апокрифа, незавершенности, антиквариат при жизни. Через сто лет это подхватят футуристы. Незавершенность жизни, ранняя смерть — тоже набросок, колорит точки. Самое красивое в этой системе — многие точки. Не ломай цветок, дай ему дохнуть просто, без словесности. Геронтизм «великих» не красноречивей их умственной отсталости.
Молодость — это набросок.
Набросок женщины волнует, а сама — нет. Леонардо бросал кисть в миг большей силы цвета. К примеру, в донне Лятте — ультрамарин, с плеча. То же у Пушкина:
— Плывем... Куда ж нам плыть?
Ультрамарин. Пиесе нет конца. А хотелось бы знать — *куда* плыть? Но Тот, Кто знает, руку взял в свою — не ной, поэт!
И мастер Жуковский, честный рыцарь, сидя над мертвым гением Александром, только и сказал, в священной тоске:
— .... И что-то
Над ним свершалось.
А что? Точка. Пушкину 37, Жуковскому 54. Сошлись две роковые цифры — смерть и крах. У 54 уже крах, холостяк, он еще будет жить с женщиной, нимфеткой, сладость, очаг, дочки. Его жено-человек будет сумасшедшей, и у учителя царей и министра — впереди 16 лет беснований, а не песнопений.
Тяжелые песни говорятся в прозе.
Книга — цветок, но ему нельзя доцвесть, это уж будет плод. Все книги Пушкина — цветы, а Жуковского — плоды. И Гёте — плоды. И Жуковский дружил с Гете. Плод с плодом. А цветок с цветком не дружны. Закон красот — кто кого?
Кто — кого! — закон любви.
Любви — убви.
Я не верю в труд, он напрасен. Где пот, там и видим потное — Саламбо, Воскресение, Бальзак. Не стоит писать о писателях, а не обойтись.
Лучше б жить, одни дни ведь — полнота. Но в доме дождя, ведущего рев 5 дней, что делать с 6-м? Поставить на нем много точек...

ЖИЗНЬ — И ОДИН РАЗ!

Прошлым живет тот, у кого его не было, и пишет тетрадь-самоутешитель, к примеру Марсель Пруст.
В литературе Байрона фатовство и пустозвонство, но в жизни он гениальный поэт.
Почему тяжелый осадок от людей? От всех.
Лира, ее вид — это бык за решеткой.
Я обеспокоен, пора стелиться. Лег. Смотрю в окно: чьей ногою гоним летит с лестницы ребенок?
Как оскорбительно Гоголю было всеобщее русское признание, до побега в Рим. Смех над Гоголем, заливной — вот что оскорбляет.
Октябрь — месяц восьмой, окта, по римскому календарю. Ноябрь — девятый, а декабрь — десятый. А где ж еще два? Какой хороший свет с утра был, а вечером по ТВ монгол поет, это трудностями веет. Монгол по-французски: мон гол'д — мое золотце!
Может быть, есть иная, другая жизнь? Много женщин-подонков, чешут свою жизнь, как продажную шкуру. До сумасшедших всем далеко!
Здесь организованный хаос и пропаганда агонии. Отключили холодную воду, и нет света в коридоре, сломан лифт — не хватает войны. Только в темноте до меня дошло, что собак любят от страха, отнюдь не от нежности; собак и старух.
Что-то было между жилеткой и тележкой — буквы равны, до одной, п. ч. «те» произносится как «ти». Я уж давно пишу справа налево. Есть Божья дрожь художника, а кроме нее ничего нет.
Немец Томас Манн в те годы крушения людского вез через океан в Америку с фашистской родины — шкаф белого дерева, письменный стол и диван, чтоб давить его задницей. Не считая трех танкеров, пиджаков, галстуков и носков. Это — реалист, нобелиат.
Американец Эдгар По сдох пьяный, как лошадь, пал на четыре ноги, крестцом об пол, и долго догадывались — кто это: Дух Святый или конина? Это — поэт. Твоя страна не та, где ты, а в какой-то другой стране.

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ

«Очерк о золотом льве». Речь о статуэтке льва, а смысл — золото и живой образ.
«Если смотреть на льва, а не на золото, то лев будет ясен, а золото будет скрытым. Если смотреть на золото и лишь на золото, а не на льва, то золото будет ясно, а лев будет скрытым. Если смотреть на обоих, то оба будут ясны, оба будут скрытыми». Как просто, до слез. Перевод мой.
Пасмурно, письма не едут.
И о Десяти ступенях. 10 земель состояния Будды.

1. ступень радости
2. ступень покидания грязи
3. ступень понимания
4. ступень совершенства в смелости и силе
5. ступень труднопобедимости
6. ступень настоящего и будущего
7. ступень дальнего пути, начало проявления милосердия ко всем существам.

Стоп, ни шагу, не быть Буддой. Дальше начала милосердия я не могу. Начну и кончу, другие обеты не дают сердца. Мне не достичь трех верхних ступеней: 8. завершения странствования, 9. доброй мудрости достижения десяти святых сил и проповедь ее повсюду, 10. ступени идеального облака — состояния Будды — мне не достичь.

Это три стены, и каждая из лжи.

Это уже отвесная скала, о которую бьются, кто хочет стать Буддой.

Но они люди.

ВОТ ТАК ТАК!

Без воображения, а то я б создал биографию августа, башни, луну и даму, и двух псиц. В 01 час из-за башни выходит луна, а из-за нее дама с двумя псами. Или ж из лужи они вышли, в августе лужи глубоки. И идут, идут,— новелла, как у Боккаччо. Но я не он. Мой ум в ландышах. Я пишу без выводов. А столяр строгает раму морали. Мое дело — заполнить холст.

А чем? Сон начинаем с ног. Позвонил девушке в шелку, а в трубке АЛЛО, голос Создателя! То есть, у девушки в ногах знакомый. Что ж плохого? Не звони, веноз. Девушки не сидят на ветке с надписью ЖДУ, они летающие. Их АЛЛО зовут.

Бедная тишина.

Хоть бы кто-то закудахтал, как ребенок!

Луна дошла до угла.

Был у меня друг, длинный, в шляпе, коммунист, с маленькой головкой. Он говорил на О, как волжанин. Он говорил: О, Рондо! До! Алло! Рококо! Стоило мне влюбить девушку, как он поил ее рюмкой и без любви, по-чалдонски, делал ей «лабэ». Лабэ-то лабэ, а опасается мести, вот и сейчас в трубку АЛЛО сказал, и ему тяжело, тяжело, окутан модуляциями.

Спасибо за тоску.

В этой цветочной ночи — река книг, плывут челнок и колечко, и окружности. Значит, луну ловлю после 01 часа.— Вот так так! — сказала б Лиля Юрьевна Брик.

РОЗЫ И РУКИ ЛИЛИ БРИК

Розы в чаше с вином (бывшим), я купил чашу, гравированное серебро, к 85-летию Лили Брик.

Нет никого, как Лиля! Огненно!

Мы отметили День. Я пришел через месяц.

— Вы мне урну купили, гробовую,— сказала Лиля.— Вот, возьмите, подарочек! — Вынесли чашу, в ней розы, те же! Высохшие, как живые.

— Как я! — сказала Лиля.— А роза упала на лапу Азора! — если Азор — это смерть, собачья.— Смерть, не сметь! — сказал В. В. и выстрелил в ребра.— А и мне шею хотели свинтить,— сказала Л. Ю.— Пришли, один со шрамом, второй в бэрэте. Бандюги. Говорят, их Музей Маяковского прислал. А там таких и нет. Говорят, отдайте кольца.

У Лили на золотой цепи, на груди, два перстня: ее и Маяковского с инициалами ЛЮБЛЮ, свадебный дар поэта; громадные, много золота. С нее 40 лет срывали эти кольца в Фонд мира — то те, то эти войска; не отдала. Лиля до конца жизни ела кровавые бифштексы. Ни диеты, ни режима. А руки длинные, девьи, маникюр алый, веснушек много, она ж рыжая была.

Рыжая, рыжая с косой. Своею. Блестящей. Глаза громадны, лоб открыт и — смеется, широко! Всегда!

Когда мы ходили на премьеры (кино, театро, музык), и с Майей Плисецкой, Лиля обязательно встанет среди помпы, плюнет и узким кулачком себя по башке стукнет:

— Эх ты, балда, идешь, не знаешь куда!

Всегда скандалила.

Она дважды пыталась покончить с собой. В третий раз — удалось. Когда им было по 20, Маяковский позвонил, рыданс и крики: если не приедете, застрелюсь! Голая, из кровати, вдев соболя, Лиля вскочила на лихача и понеслась к В. В. Поэт открыл дверь, сдержанно.

— Где револьвер? — крикнула Лиля. Она была очень правдива: стреляться — так стреляться. Маяковский тихо показал. Лиля вырвала, взвела курок, приставила к виску и выстрелила.

Осечка.

— Вы лгун, негодяй, провокатор, скотина! — взбесилась Лиля.— Я вас изобью вашим дулом! Не впутывайте меня в ваши пуанты, трус!

Владимир Владимирович, носивший тогда густую гриву а ля лев, ложившийся в постель, как в кинофильм, в смокинге и с палкой сбоку, с напомаженным ртом, он легко взял у Лили револьвер и вынул барабан.

— Вот ваша пулька,— он дал ей пульку с осечкой.— Отложите ее.

Она отложила.

— А вот еще шесть,— сказал поэт,— посчитайте.

Патроны выпали в ее руку, она осмотрела — еще один был с осечкой, свежей.

Он не верил, что она кинется к нему, бросив ночь, жизнь, Осю.

Она — кинулась. А он, пока ждал, не утерпел, выстрелил.

У этих двух была связь больше любви.

И ДАВИД БУРЛЮК

У меня 124 письма от Лили Брик. С 1960 по 1978 гг.

Из разных писем Л. Ю. Б.

60 г.

«Жаль, что нельзя послушать Вас. Только иногда магнитофонную запись. Я убеждена, что Вы сейчас № 1».

62 г.

«В Антологию Эльза Вас включила. Говорит, что труднее всего перевести Пушкина, Лермонтова и Вас!

Не помню, написала ли Вам, что 1 экз. Вашей книги послала в Париж и один в Прагу, я рассказывала редактору журнала «Культура» о Вас и заместителю министра культуры. На обратном пути буду говорить еще и еще, чтоб запомнили.

Вот цитата из письма Иржи Тауфера: „Благодарю за книгу Его. Удивительная, мне нравится. Когда кончу Хлебникова (я увлекся и не могу оторваться), начну переводить Его. В Праге увижу Иржи и еще подбавлю жару. Каждый день говорим по телефону с Асеевым. Ничто, кроме Вас, его не интересует“».

64 г. (я уничтожаю стихи и повести).

«Дорогой, сегодня получила Ваше письмо, огорчилась, стала звонить Вам — от Вас нет ответа. Стараюсь думать, что это — настроение, а не состояние, что временно. Вы удивительный, ни на кого не похожий. Надо стараться, чтоб это поняли. Ради Бога, ничего не уничтожайте! И не „подводите итоги“ — слишком рано! А уничтожить под влиянием минуты можно много хорошего. Кто, по-Вашему, Великие? Почему до них расстояние — 10 лет? Эти десять лет у Вас уже позади. Уже идете с великими в ногу, уже начали обгонять».

65 г.

«Мы дома! И очень этому рады, хотя съездили хорошо. Привезла Вам карандашей массу. Завтра прилетает Бурлюк. Вот так так! Надеемся, что он (ему 83 года!) и его жена Маруся долетят живые и мы их встретим на аэродроме... Сегодня нам привезли Ваше письмо и „Триптих“. Завтра будем в городе, и я передам книгу Давиду Давидовичу. И рукописи».

Алексей Елисеевич Крученых тут же позвонил мне и вскричал:

— Давид — да! Давид сказал: Да! Это — Он!

— О чем вы? Что это значит?

— Это значит, о Вы, что Вы — настоящий Он! Давид — это пантеон мировой гениальности, и Вы пробили его сердце, как стрелец. Вот это восторг!

Тут же Е. Р. привез открытку от Д. Д. Бурлюка. Вот она:

«Ты — настоящий Он! Жми! Я вырастил весь футуризм, я вырастил двух гениев на В., и вот вырос другой, без меня, но наш. Не третий, а другой, самый высокий на В.! Победа! Ты жми, и я жму — руку! Летучий пролетарий — Давид Бурлюк».

И ЕЩЕ ИЗ ПИСЕМ ЛИЛИ БРИК

68.

«Только что позвонила Хохловой насчет пуделя. Есть белый пудель! Ему один год. Он золотой медалист, но недавно сломал клык, и его хозяин, негодяй! хочет его застрелить!!! Если Вы хотите и можете взять его — сообщите мне до 25. Я забыла только спросить — надо ли за приговоренного к расстрелу что-нибудь платить... Постараюсь дозвониться еще раз Хохловой. Из Переделкина это мучительно трудно. И стоит ли Вам брать беззубого? Обнимаю еще и еще. Лиля».

69. (Нас не пустили в Париж, сняли с самолета.)

«Дорогие наши М. и Вы! Мы в полном омерзении от случившегося. Думаем, что это не

столько из-за вас, сколько из-за Клода. Всю ночь сегодня мне снились кошмары — погром: проверяли мою национальность. Я просыпалась, засыпала, и кошмар продолжался! Ну да что говорить, когда нечего говорить. Ни одной душе не говорила о том, что Вы собираетесь ехать, и только избранным скажу о том, что не поехали. О господи, что же делать? А мы никуда и не просимся. Не хочется писать обо всем том, что я передумала за вчерашний вечер, сегодняшнее утро... У меня давно не было такого огорчения. Как обращаются с Таким! Как не щадят!»
14.5.78.
«Дорогой Наш! Спасибо за удивительно интересное письмо. Не спрашивая Вашего разрешения, я всем его показываю. Не удивляйтесь моему карандашному почерку: два дня тому назад я упала и зверски расшиблась. Идти в больницу категорически отказалась. 16-ого мне привезут рентгеновский аппарат, и мы узнаем, что к чему: перелом шейки бедра или что-нибудь полегче — вывих, ушиб, растяжение. Но скорее всего все же перелом шейки бедра!!! Несмотря на это, ЛЮБИТЕ МЕНЯ немного. Жить мне осталось недолго... Вася и я крепко обнимаем Вас и очень-очень любим. Ваш верный друг Лили».

ЛАВРОВЫЙ ПЛЮЩ

Л. Ю. Брик и безделушки.
В простенке у окна Пиросмани, на клеенке, где он с чайником и ЧАЙ буквой написан. Темновато. Деревянная статуэтка Тышлера и Лилин портрет, он есть на обложке монографии. Рисунки Маяковского и Бурлюка; в ноги — толстый ковер. Ф. Леже, я засматриваюсь — бутылку под голову и лечь бы. Но нет, ногами топчут. Настоящие подносы, Палех. Масленки в горке, старинные, из Руси. Их пришлось продать, когда Эльза умерла, жить стало не на что, наследство Арагон заюриспруденцировал. За эти масленки (с них!) мы сосиски варили, как в блокаду. В коридоре портрет Маяковского, Чакрыгина, фолькартом навязанный, это больше лже-Чакрыгин, мазано сильно, а тот не сильно мазал. Лубки Малевича. Живопись М. Кулакова, его наилучшая НЮ второй половины 20-го века. Этого (МК) я навязал в други, но потом Лиля его полюбила. Набор бильбоке. Соломки Тышлера. Портрет Лили, Штернберга.
Думаю, что большинство взято в музей, т. е. в никуда и никому, лежит в бочках, подвальных, загипнотизированное; как Филонов. Как Лиля лежит, исчезнувшая.
Но на окне! — большой горшок, глиняный, с плющом. Толстые лавровые листья, стебли завили в шар, и сидит попугайчик, разноцветный, с клювом лаковым. Иногда глазом мыргал.— Он живой или неживой? — спрашиваю Л. Ю. Как она смеялась, существом жизненным! — Потрогайте-ка ему кожу, щипните! Нюка! — так его зовут,— мыргни глазиком, мырг-мырг сделай, пжалста! — Пжалуйста! — шипел попугай и мыргал, глазом. И головкой вертел, как самолет, если всходит. Никуда он не взмыл. Шутка.
Зимним вечером, заря красит окно плавкой марта. Я пил глоточками скоч, на фоне окна и яркости за окном — птица изумрудная!
Я: — Лиля Юрьевна, а вы-то знаете, живой попугай или неживой?
— Как я! — ответ, рапира.— Я ведь тоже попка, я живой или неживой? — и ее глаза повернулись. Они часто были *оттуда*. Что в них?
Над твердым лбом волосы, крашенные хной, и коса, большущие глазницы, и в них рожь морская. «На серебряной ложке протянутых глаз мне протянуто море, а на нем буревестник!» — это о Лилиных глазах Хлебников, тихий хитон. А Лиля о нем говорила с удивлением, что повидались же таки на этом свете. Души повидались, со стеклянными головками, встал за окном гром и убил. Заря русская!
Лиля очень любила М., они без меня — перезванивались, страшно хохотали. Когда стало не смешно, и Лиля ничего не поделала, не смогла. Она только *так* смотрела, горестно и огромно: — Что ж вы наделали? Эх вы, делегат Высших весей! Ведь жена ж ваша не поэтохроника, у нее ножки в ямки ступили. Подарите ей сапожки! Но не бросайте вы без толку! Эх мы,— грозила она попугаю,— пропащие щепки, а, Нюка?! — И тот фыкал: — Люб-люб! Пжалуйста! — и мыргал веком, кованым! После смерти Лили я хотел его выпросить, да буднего дня не шло, наследники новый дом выветривают, не до попугайчика, пятимонетного.

ЛЮБИ МЕНЯ!

Жизнь — внешнее, а есть кому сказать слово — не гибнут. Но некому. И это отсутствие — смерть.
Не живут же Эти молча, с красной скатертью на спине, а кричат на весь мир! Послушали б они со стороны, что кричат.
Дни хороши.
Окна, как стан акварелей. Дома из электроплиток, фаянс. Чай в стакане, черно-дымный.

Снег взлетел, как кипящий орел.
И снова декабрь, окна как бы поставлены под углом.
— Я дам тебе все, все земное,— ЛЮБИ МЕНЯ! — это Демон — Тамаре, в Грузии. А она в ответ — грехопадение.
Грехопадение! У Тамары!
Маяковский в последней эпистоле Правительству не вынес речи векам, и приписка: «Лиля! Люби меня!» — живой Лиле, уже загробный. Демон — одаренный одиночеством, женщины от них безумеют, но любят они человечков.
Те говорливы, а эти молча, весь декабрь, до 22 — живут.
Культ Лермонтова широк у футуристов. Демон:
— И будешь ты царицей мира, подруга!
Пастернак:
— Спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще!
Асеев:
— Царица, жемчужина мира! — это он о жене, Ксане.
Маяковский:
— Ослепительная царица сиона евреева! — о Лиле, только ей.
Крученых:
— Люби меня, царица мира, не лай! — Ольге Розановой.
У Хлебникова много цариц, и Синяковы, чище вод петрозаводских.
Футурист любит один раз, потому и требованье: ЛЮБИ МЕНЯ!
Но на пути любви одни смерти. Этот Бог беспощаден, я подчиняюсь, п. ч. я его отпрыск, но не люблю его.
Нет ничего хуже грязных дней, это о 12 декабря. Хуже худшего — это грязь, а днем и того хуже.
Я и Флобер — тема вечная. Я вот уж 4 дня пишу одну страницу. И не допишу. А еще ее приводить в вид искусства —... 100 дней.
Я нес поражения сам, но когда их слишком много, это уж скучно, да и вопрос: что ж с ними делать?
Что там внутри в этом месяце во мне?
Творится?

МАЯКОВСКИЙ В БУТЫРКАХ

Рост Маяковского 1 м 81 см — не чрезвычайная высота. Блок был равен, а Хлебников — выше. Каменский еще выше этих, пока были ноги. Отец Маяковского — глухой, он и булавкой поранился, у глухих осязание и вестибуляр слабые. Чин отца — лесничий Кутаисской губернии; не лесник. Переводя на наши ведомства — генерал; не бедиота.
В. В. Маяковский родовит — мать урожденная Данилевская, сестра писателя-историка, род Мировичей и Полуботков, династия канцлеров Запорожской республики.
Лучше скажу: не лгите, сыны фабрикантов М. Горький, еще один волжанин с пачкой купюр во всех карманах штанов — Ф. Шаляпин и а ля сибиряк С. Дягилев. Даже купец-миллионщик Алексеев носил костюм интеллигента под фамилией Станиславский. Нищий дервиш В. Хлебников имел домашними учителями двух будущих министров советского правительства — Н. Брюханов, наркомфин, и З. Соловьев, замнаркомздрава. Асеев писал: мы — плебеи. Интересно, что получил бы он вместо Сталинской премии, если б написал, что его фамилия — столбовые дворяне, что он встречал сестер Синяковых в лучших ресторанах, в енотовой шубе.
Все они денди, а Каменский — и титулованный.
У В. В. Маяковского от избалованности комплекс: ах, умру, заплачут земли у юных женщин. Он стрелялся и в «Барышне и хулигане» с Верой Холодной. Чтоб сыграть в фильме с этой звездой, нужен солидный банковский билет.
В. В. Маяковский попал в Бутырки в возрасте 16 лет. На фотографии (тюремные) страшно смотреть: рыхлотел, девственник по губам, недоросль. Там, в тюрьме, дают Библию. Он читал ее 144 дня, до отбоя. Он ее изучил наизусть, и больше ничего не читал, он слуховой поэт, с плохими глазами. Он — ритор, пророк, но получивший в юности удар Маятника, гениальности. Потом он от нее отрекся, наступил на горло, а она его взяла за горло, и боролись эти двое.
Никто не начинал поэзию тюрьмой и Библией, в 16 лет. Это шел громоподобный тигр, желтый. У него и рот, как у тигра, однолюб.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В. В. МАЯКОВСКОГО

«Этот человек был этому гражданству единственным гражданином» — о Маяковском — Пастернак.

Этот гражданин — целен; кроме свежевымытой сорочки с выстрелом на груди, у него ничего не нашли. Еще 6 пар подкованных башмаков, американских.
А искали.
Копию письма И. В. Сталину, 17 страниц, книжечка.
Отпечатки рук-ног посещавших Маяковского в ту ночь. Чьи-то найдены, но их замыли. Кто? Поэт полы не мыл. Если ж это убийцы — кто мог мыть пол? Убийцы — не поломойки.
Кто первый сообщил о смерти Маяковского и прямо — Вверх, значит, знал секретный телефон. Жестче вопрос: кто был рядом при смерти поэта, чтоб сообщить?
Если ч-к стреляет в сердце, должен быть револьвер. Револьвера на месте не было. Далее. Я исследовал рукопись «про это»: Маяковский левша и писал левой рукой. И стрелял левой.
Он стрелял левой рукой в сердце, лежа на левом боку. Не акробатика, удобство. Из этого сделали скандал — труп найден на левом боку! Кем, кстати? И уже закрытый одеялом. Он стрелялся под одеялом, тайком от Времени, для себя.
Накануне.
Он писал Сталину, а потом плакал — Сталин не согласился на его условия. Маяковский берет дуло с огнем и сжигает сердце.
Я уже писал о стрельбе В. В. М. по мишени — по Я. Но слом психики с кругосветной поездкой, с возвратом в ад. Как до него Есенин. Как до Есенина обезумел Блок. Как после Маяковского ушла из настоящего ада в условный Цветаева.
С неслыханной славой — одинок, до неправдоподобия. Его женщины принадлежали другим и не уходили к нему. Их стало слишком много. Лиля Брик о ту пору — верный друг, оставим. На лбу у льва филологические шишки, это лев толстой со своей бездуховностью. И у тигра шишки, но лоб узок, велики губы. Мир он впитывает губами. Женщинами. За неимением иного.
И тигр начинает метаться в 37, смена крови. Ему нужно много мяса, с утра до ночи, круглосуточно. Ему ничто — свидания в углу. Он предлагает брак сразу 4-м женщинам: Веронике Полонской, Хохловой, жене Хосе де Ривера и нескончаемый звон в Париж Яковлевой, любовнице. Все отказываются по своим резонам. Хуже того — отказываются от брака и женщины на ночь. В. В. М. в тупике.
В 60-е годы журнал «Огонек» открыл полемику о смерти Маяковского. Адресовались к Лиле. Лиля с Осипом в Лондоне, когда застрелился Маяковский. Сложно убить из револьвера поэта, еще никто не целился из Лондона на Лубянку, а если целился, не попадал.
А некто из гос. чиновников, т. В., пытался доказать, что Лиля Брик является именно тем типажем, кто стреляет так метко.
Что началось! Лиля стала чуть не антинародным героем. Т. В. уверял, что она и сейчас во Франции, живет в золотых кладовых. Французская компартия опубликовала открытое письмо о том, что Лиля в Москве, советская. Писал лауреат Международной премии Мира, культуртрегер ЦК Луи Арагон. Это было как удар грома — т. В. Он и знать не знал, что Луи Арагон — муж Эльзы Триоле, родной сестры Лили Брик. Тут же Скотланд-Ярд и Интеллиджент сервис напечатали документы о пребывании Бриков в Англии в тот день и час, в час стрельбы. И что не надо льстить Великобритании, у них еще нету такого револьвера, который был бы так дальнобоен. Подписи руководителей этих дел скрепили 9 членов Академии оружейников.
Т. В. запретили заниматься Маяковским.
Еще автор этих строк писал, что подозрения неизбежно ударят по гос. аппарату, хотя это и не так. Потому что у здраво мыслящих возникнет вопрос: от кого защищается т. В. столь страстно, что обвиняет лиц с абсолютным алиби на нашем красном свете?
В последние месяцы Маяковский запустил внешний вид, перестал стричься и ходил в советском костюме с жилеткой. Никто его не убивал. Никому он не нужен уж был. Ему уже некуда деться... было.

ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛИЛИ

Маяковского везли, как вождя, на броневике, по-неоцарски. В почетном карауле стояли те, кого расстреляют, потому и нет фотографий. Н. Оцуп, поэт-фотограф, сказал их имена, одно другого громче, мировая политика.
Некрологи были от каждого члена Политбюро, в частном порядке. Мировая пресса бесновалась. Лев Троцкий опубликовал плач о Маяковском как память о своей буре. ВЧК вывесила флаги с изображением Маяковского в Монголии. В Тбилиси 37 юношей-грузин (по числу лет Маяковского) на центральной площади застрелились. В Мексике дочке Маяковского дали пожизненную ренту.
В СССР на Маяковского был наложен запрет. Для народа еще выходили кое-какие книженции, набранные при жизни, но имя снято из критики, вычеркнуто из Энциклопедии, книги из библиотек изымались, и жгли их. А публично заявил анафему один РАПП.

Забавные бездны: еще жив его председатель, он на днях поздравил меня с 50-летием. Б. Пастернак сидел в Президиумах, счастливый. Ося — тоже.
Лиле это — надоело.
Она вышла замуж за предмаршала Примакова, с условием: он идет к Сталину с делом Маяковского: в 1934 г. вышло официальное запрещение на издания. Примаков, легендарный вождь красного казачества, из тех, кто в роковые времена слагают стансы и идут на плаху. Он пошел к Сталину, а Лиля написала письмо, длинное, по всем пунктам Маяковского. С этим письмом и явился предмаршал пред очи Генерального секретаря. Один был молод, второй сед, но Сталин ценил рискованных, что и доказал потом пулей — в Примакова.
Сталин недолго держал письмо. Уж утром оно на столе у Февральского, в «Правде». И появились знаменитые сталинские слова о величайшем. И началась мистическая чехарда, когда живейшего облили бальзамом и — ну, делать мертвеца! Мумификация, как видим, удалась. Мы снимем некоторые мифы. В частности, что не было письма В. В. Маяковского И. В. Сталину. Я читал эту копию, но из рук у Лили. И что не было письма Лили Юрьевны Брик к Сталину, а это нажим народа. Письмо Лили — не секрет. Вот, скажем, цитата из письма Лили Сталину, я выписываю дословно:
«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Это и далее — слова Лили, подчеркнутые Сталиным и подписанные его инициалами, красным карандашом.
А оба письма переснял на стеклографе А. Е. Крученых, не в одном экземпляре.
Героизм русских женщин не поддается слезам.
Долго удивлялись, и ходили грязные подозрения — почему Лиля и Осип не расстреляны, если весь Леф и Реф пошли в расход? Почему они уцелели? Они об этом не знали. Ося на этой «почве» ушел из жизни в 1945 г. И лишь в 70-е, кажется, Ж. Медведев опубликовал в Англии документы, где сок выяснился: они были расстреляны, как все, без исключения.
Были б!
Но в списке-меню, поданном к столу Сталина, напротив фамилий Лили и Оси стояло: «Семью Маяковского не трогать. И. Сталин».
До сих пор советский, да и не один он,— народы убеждены: Лиля умерла в Париже, в Америке и в Лондоне. Лиля Юрьевна Брик покончила с собою 5 августа 1978 г. в пос. Переделкино Московской обл., а всю советскую жизнь жила по адресу: 121248 Москва, Кутузовский проспект 4/2, кв. 431. О русских женщинах прибаака. Если б копии писем В. В. Маяковского и Лили Брик — Сталину были б распространены, под расстрел пошел бы еще один слой русской культуры. Эти штуки хранила М. Синякова, на даче у Н. Асеева, на Николиной горе, под боком у дач Правительства.

СИРЕНЬ

В Советскую Азбуку не вошли некоторые поговорки Маяковского, вот эта:
«Горы времени у Ноя,
Гонорея — грань героя».
Венерические заболевания привезли комсомолки из провинции, неповинные. И с фронтов — солдаты революции, об этом отчетливо у Бабеля (из разрешенных). У Булгакова этого хоть отбавляй — для «Бережки». И т. д.
Как-то у Бриков шел пир. Вообще-то среди футуристов не было пьяниц. Но пир — не запой, а веселый стол. Поэтому и пили. Хлебников, к примеру, любил красное вино, страшно. Мог, не отрываясь, выпить несколько бутылок. А мог и не пить годами. Вася Каменский пил уж потом. Асеев шумел от стаканчика. Крученых в рот не брал. Осип — слизывал стекло. Маяковский любил пробовать вина, как занятие. Откроет бутылку, глотнет и отдаст, за это его в компаниях любили больше.
Но в курении беспощаден. Отпили, игра в карты — горой, всех тянет к дыму, просят найти папироску, молят, иначе и игра не в игру.
Нету!
Ушли. В. В. М. идет к шкафу и несет коробку, непочатую. И — дым столбом! Лиля:
— Это свинство, не по-товарищески, как вы жалки, скупы!
В. В. М:
— Эти товарищи не курцы, а так. Мне нужнее.
Он и спал в окурках.
Но о наших девушках.
Пришел Маяковский, его именной стакан, налитый, на столе. Он берет его рукой в платочке, ставит на шкаф.
— Что с вами, В. В.? Вы — больны? — обеспокоена Лиля.
— Я здоров,— говорит В. В. М.— У меня триппер.
— Господи, и кто же? Какая гадина вас наградила?
— ... (называем имя, отчество, фамилию).

— Ах ты, так сказать! И что вы ей сделали?
— Послал букет сирени.
Он часто залетал в сирень.
Так и пошло. Приходит Яхонтов, а в обеих руках — букет сирени. Букетище. Ясно, рюмку убирают, не питок. И т. д.

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ

Футуризм — это будущее,— смерть.
Футурист — смертник.
То есть жизнелюб. А фамилии: бурлить, маяк, хлеб, камень крутить, боевой (асей), цветок (настернак) — все они вещи, нужные, зрелые. Интересно, что они по национальности — запорожцы. Антиподы: Пастернак выживал в роли слуги Шекспира, в позолоте, а Крученых, водохлеб, он одну воду ел сквозь ноздри, но не Диоген, куда проще: пенсия 42 руб.
Асеев и жизнь переживал, как ТБС, но выждал меня, и уж склюнув с ветки в мир,— сошел с дома, гордый, актерствующий, злой, как лезгинка.
Что осталось от них? — Юность. Безвозмездность. Тигриные глаза, желтый парус рыси — в цирках мирового масштаба. Итальяшцы с фаши и в гвоздики сапог не годятся — русским. Сравним: Хлебников — интуит, скрытый имам, Председатель Земного Шара и — Маринетти, многоштанник, фашистик, сурок, параллелепипед на животике у нимфетки, педиор!
Футуризм — голая гениальность.
А уж толкуй, как.
Первый русский футурист — квягиня Ольга, чернокнижница, как она по-евреиновски сыграла буфф с волхвами и древлянами! Второй — Святослав, единственный в истории воин, писал врагу: ИДУ НА ВЫ! Третий — Ярослав Мудрый, чернокнижник, дочелюбец, буквоед, мирный. И игумен Сильвестр, автор повести временных лет, вот что он пишет о Родине, сукин куст:
«В год 1028. Мирно Знамение змиево явилось в небе, так что видно было его по всей земле. В год 1029. Мирно было».
У Сильвестра русская история без идеологии, футуристична: цифры и метафора. Это ему Змий явился.
А как не счесть футуристом поэта, композитора, шахматиста, писателя и философа Иоанна Грозного, он шел, как штык, пронзал путь. А затем — Гришка Отрепьев, воркороль Русский! Писал грамотки в стихах. За ним — Ванька Каин, поэт, полицейский, вор и убивец, автор самой древней из песен «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка», его и убить-то не смогли, он и исчез в будущем, не дотянуться. А Петр I? Щеки вздутые, усы вставлены, рука работает. У кого из народов такой Царь? Ни у кого. Написал два романа «Война со Швецией» и «Всешьянейший собор». Не издано. Суворов — военный устав в стихах, а Альпы? Ломоносов? Тредиаковский? А до них — бандуристы, а от них — Шевченко. А от Шевченко — Хлебников. А до Шевченко — Державин, а от Державина — Гоголь, отец футуризма. А Достоевский дал Раскольникова, Митю и Идиота, предшественников, а от них уж тут пошли детки, поэты, Володя и Витя.
Но я не историк. Я уделил эту страничку, чтоб сказать, что нету первых начал. Отступимся немного. Футуризм возможен лишь один, вне закона. Узаконенный футуризм — это канцелярин, маринетти, Леф. Леф — это гримаса, профанация на лице людей. Новый Леф — пахло пулями.
Одну из них и взял на себя узаконенный футурист — вельможа В. В. Маяковский. Застрелившись, он стал вновь любимо-юн.
В мировом пантеоне героев ценен застрелившийся футуризм.
Он был готов к смерти.
Футуризм могут признать в той стране, где есть будущее, где его нет — не публикуют. Поденщику футуризм — угль в глазу. Психика! Футуризм — это глаз навыкат имперский, а реализм — это те, кто обводят глазами, не видя.
Футуризм — это юности честное зерцало. Цилиндр, рукоятка, взгляд из-подо лба, трость тигра, с ног сыплются самоцветы. Хлебников — это Золотой Маятник, пушкинизм.
Я давно ушел в иной путь, в 27 (лет)... Иные степи.

ПЕПЕЛ И ВРЕМЯ

В шлеме со звездой во весь лоб, через год вошел отец. Шлем снят — молод, а белые кудри. Мы думали — от света сзади, ему ж 29. Не свет, седой. Пытки. Год пыток. Вывернуто, выбито.
Выпрямилось, молодое!

А мать с тех лет не та уж, я только не знал, что с нею. Теперь знаю.
Я не оплакиваю никаких — их. Но душно.
Жара 29°, я с чтивом.
Читаю на подушке.
Тиль Уленшпигель, детство. Что это?
«Прах Клааса бьется в мою грудь».
Где голландский текст, невероятно! Читаю, комкаю книгу, опять:
«Пепел отца бьется о мою грудь!»
«Пора звенеть бокалами!»
О мою грудь — низость. Гусь свинье не пара. Не пора! Кто переводчик? Любимов, блестящий. И предисловие: Л. Андреев. Уж куда лучше! Что ж случилось с Тилем? Что с теми, кто Семеро, с мясниками, почему они перепутали пароль? Предатели.
И еще хуже этот Любимов поправляется в конце книги:
«Пепел бьется о мое сердце».
Будто кто-то тросточкой раздвинул ребра и подвесил к сердцу мешочек с пеплом сожженного отца Тиля, и при шаге мешочек чок-чок и бьется, как рюмка о сердце. Слюнтяй. Я знать не хочу этого переводчика, этого Любимова. Не пора звенеть бокалами, а — ВРЕМЯ. Оно бьет в бокал.
Вот что читали и шептали в подушку три поколения русских, униженных, убитых и оклеветанных:
ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ!
ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ!

ВРЕМЯ ЗВЕНЕТЬ БОКАЛАМИ!

Н. Любимов. Эх вы, старик, не сын своего отца.

Пора пугать бокальчики, пусть они от страха звенят!
И ответным звоном пьют со мной одни мертвецы.

АЛЕКСЕЙ КРУЧЕНЫХ

Шипящий гусь, он пил воду с бульком из железной кружки — через ноздри. Кружку он держал двумя руками.
Пел он! —
«В степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган. Лежит под курганом, заросший бурьяном, матрос, железняк, партизан!»
И это с слезами, поддельными.
— Гениальный амфибрахий! Кто поэт?
Я не знал.
— Обо мне! Поют, я везде слышу, войду — запевают. Правдоподобно! Лежит под курганом, заросший бурьяном, матрос, железняк, партизан. Автора! На сцену! Вы вслушайтесь в отбор: матрос, железняк, партизан. Я!
Я не разочаровывал, что песня о матросе по имени Железняк; тогда весь смысл гиб. Ведь Крученых из Херсона. Второго под курганом он не потерпит. Он отбулькается, погладит кружечку и воркует, исходя дискантом: «Пей же, пей, паршивая сука, пей со мной!»
А московской молве — нечестно о нем. Если поэт, назначенный из молодежи, смеется над заплатами великого,— тут конец цеху, поэтическому.
Алексей Крученых высок, а сутул. Годики! — он умер в 82, в свои цифры (86—68).
Всегда! — вымыт с волос до ногтей ног, чистюля, бритый дважды в день, владел иглой и ставил заплаты с виртуозностью О. Уайльда. Он же из денди 10-х годов, живописец, артист, полиграфист. Не москвич. Руки не пачкал колбасой. Гонораров не имел с 1917 г. (и до!). 124 книги издал за свой счет. Автор либретто первой в мире арт-, фут- и поп-оперы. Жил на хлебе и воде. Эстет! Единственный поэт в истории, который все книги свои сделал сам. До шнуровки их! Единственный в искусстве, кто не взял за поэтику ни гроша. За новую!
Комната в коммуналке (не чулан, как пишут!), широкая, музейная от книг, клочки стихотворений в папочках, на местах, на окне занавески — стираные, ветхие, как суворовские знамена. Пылинки нет. Депо поэзии великого. Педант, сборщик.
О да! У него ж и шумный успех у дам! Он их гонял.
Они ставили кресло на 0,3 см юго-восточнее предела. А кресло стояло 30 лет под углом А. Крученыха. Жизнь вместе невозможна.
— Возможна, возможна! — кричала девушка, лиясь.— Возможна жизнь!

Крученых, вводя в воздух палец, гневно:
— Выйдите, вы, вон!
— Я выйду, а потом опять возьму и войду! — ревет девушка.
— А вы! — кричит Крученых (мне).— Вы одобряете ту Жеманну, что за дверью дурит?
Я одобрил.
— Вы ведете себя, как Антон Чехов! Я видел в Ялте,— кричит фальцетом Крученых,— как вел себя Чехов при женщинах!
— Как? — говорю я.
— Недопустимо!
— Но как?
— Недопустимо вяло. Как велосипедист, согнувшись вдвое!
— Ревет? — спрашивает он, вытаращившись голубым.
Я смотрю в коридор — ревела.
— Ничего, ревет — проветрится! — и шепотом спрашивает: — Мелкими слезками чешет, губами дуется?
Я смотрю:
— Крупные слезы, в рот не влезают. Головой плачет, Алексей Елисеевич.
Он вставал и звучно:
— Да! Войдите!
Та входит с ужасом, серая. Крученых горделиво посматривает на меня, подбородок вскинут. Шипит.
Серый таракан в углу, был он душой громовержец. Ни капли страха! Ни при Сталине, ни после Сталина. Одинокий, дошедший до дна, имел он вид гусиный, непобедимый. Сидя с товарищем по скале, всегда готовым к шепоту, актерству, крику и прыжку,— Крученых любил Асеева и верил при нем в свою сохранность.
Где нет жизни и реальны стихи, я видел еще этих последних, клекочущих свои пиесы, один — как гусь степной, ощипанный, в бородавках, нищий и сидящий в пиджаке, растопырив глаза, и поющий звонко в синеву, и второй — хищный, солнечный, командующий, с гетьманским хохлом на большой башке, горбоносый орел, столичный. Так сидят они и поют — обо мне — о две головы! Этой породы уж нет, и нечего делать на этой земли.
Когда нет товарищества, а молодежь неталантлива, то кодекс власти листают одни подонки. Ноги он мыл 6 раз в день. Про поцелуй он говорил — это треугольник. Его нашли на скатерти на столе, в сером костюме, в галстуке, а чищеных башмаках, брито-мыт, руки на груди, в них листок, как цветок. На листке записка: «ПРИШЕЛ — УШЕЛ. АЛЕКСАНДР».

ВЛАДИМИР ВЕЙСБЕРГ

Я еду в Москву, к Володе Вейсбергу, я ему снял дом в г. Отепя. Я приехал 16 января, он умер 1. Не повидались, через 15 лет.
Его друзья — В. Татлин и А. Крученых.
В. Вейсберг жил в белом, в белых стенах, и на холсте — белое на белом! Жемчужины. У него прозрачная голова.
Он белил и доски, чтоб не мешали.
Он писал 2-х ню. Я носил, в белом, бутылки. Бутылки темные, вишневые. И так — долгонько. 2 девушки обнажались, и одна пила, сидя на ногах, вторая стоя. А я их держал, чтоб не шевелились. Они получали по 5 руб. за сеанс, а утром — та же картина.
Но вот Володя расплатился и указал им на дверь — белый выход! Не выходят, восстание!
— Не доплатил?
— Да нет!
— Обижал?
— Нет же!
— Что же?
— Хотим смотреть на себя!
Володя, удивленный, несет зеркало. Те тычут в холст.
— А, это, пожалуйста! — и он открыл мольберт.
Белое на белом, очень чисто.
Девушек на холсте — ни одной, ну, в том, привычном понимании. На холсте ослепительная бестелесность, однозначная.
Владимир Вейсберг умер, как жил,— в самый белый день 1 января покинул он этот белый свет. Вряд ли он переселится в иной, у него была боязнь передвижений.

РЫЖИЙ

Лили б дарить, наряжать, она — мой министр иностранных (да и остальных!) дел — 17 лет! Вот как мне жилось.
Звонок:
— Вы?
Долгое молчание.
— Лиля Юрьевна!
— Я боюсь.
— ...
— То, что я скажу, а вы что-то страшней скажете. Звонил Слуцкий, бодро, сильно: Лиля Юрьевна! А я ему всяческие вещи рассказываю, что у нас на даче живые окуни в ночи бьются в тазу, как монеты! Ополоуметь можно! Он молчал, а на этом слове: — Вы обо мне? — Я: — Ну, я думаю, вы еще не ополоумели, Борис Абрамович? Что еще? — Выдохлась, не о чем. И вдруг из трубки:
— А Таня умерла!
И гудки. Бросил телефон. Какой ужас! Я обзвонила больницу, он дежурил у Тани — год, оказывается, сидел сиднем! —
Слуцкий, и Таня — юнее его на жизнь! А у Тани рак крови. И резали ей вены, и подсекали, годы. И они жили, счастливые. Из-за пуговицы не стоит пугаться. Нет знаменитее политрука на Русской земли, кто первый поднял рог на Иосифа Красного, как бык, публично, белотелый, пухлые руки оттопырены по швам. И Крученых шамкал: о да, о да! Моя емкость!
Я звонил. Но он звонок не взял.
Он пошел в сумасшедший дом и сказал:
— Я лягу.
Его повели в палату.
— Я надолго,— сказал Слуцкий.— Мне одиночку, с койкой, с окном. Держать и не пущать! Ни меня, ни ко мне, никого! Я обдумаю.
Он лежал 7 лет.
Я не знаю, с какими глазами он жил, с каменными или заплаканными.
В марте я написал о нем новеллу, но не мог включить, жив, а не мог,— и сжег, чтоб жил. Но в те дни он и умер. Я работаю, как счетчик Гейгера, знаю, кто где.
Этому человеку родиться б малым голландцем, он поэт изысканно-прозаический, недооцененный.
Есть у него о мире животных.
Лошади умеют плавать. Но не хорошо. Не далеко. Шел корабль. В трюме лошади топтались день и ночь. Тыща! Мина в днище! Люди сели в лодки, в шлюпки, лошади поплыли так. Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая против тех, кто их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно они ушли.
И конец:
«Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли».
«Лошади в океане» — антологическое. И не знают почему, пишут — сюжетно. Я знаю. Умер, скажу: рыжий.
С рождения и навсегда, но носил седину, как парик. Я думаю о Слуцком, как он слег в землю. Нереально.
Память коротка, как река, а что река на Шаре, вон он какой вертящийся!

РУСОФОБЫ

Рязань, Тамбов, Курск, Суздаль, Вышний Волочек и Кострому — не видел никто. Так, болтают.
г. Москва — г. Рим, им не до русских.
До Революции на месте Ленинграда было 2,5 млн. русских. В 1918 г. 2 млн. уехали, влево от солнца. Осталось 0,5 млн.— дворники, ямщики, торговки,— то, кто татары. Размножились. Сейчас в Ленинграде 3 млн. татар.
Сибирь: буряты. Иркутск: двое русских — Евгений Раппопорт и Марк Гартвангер. Иркутские писатели — чалдоны.
Новосибирск. Я дружил с русской, Елизаветой Константиновной Стюарт. Это после Революции ты мог взять в семью из мировой истории что нравится. Е. К. и думала, что родители ее взяли шотландское королевство, за что и сели в тюрьмы, и она.
В 1963 г. из Лондона пришли документы, подтвердившие ее королевские крови. Дали гарантии мини-короны и пенсию. Она отказалась от короны, от пенсии отказалась.
— Сколько лет, сколько лет! — говорила она,— какие уж Стюарты, опять резня начнется по Британским островам, ну их!
Прошло 400 лет от казни Марии Стюарт, ее пра-и-прабабки.

В Тюмени судим антиобщественный элемент по кличке Косой. Глазом косил. В мировой прессе — неслыханный по звону скандал: элемент с фамилией Марамзин, а в паспорте дедушки — Монморанси. Ничего, советские суды и не от таких мух отмахнутся, но не тут-то было: косоглазие — наследственный признак рода Монморанси, славного еще и огромной силой размножения. Наш Косой был последним. Его пустили во Францию, невелика горлинка для Тюменских острогов.
В Омске я обедал у — Конде, Гизы, Меттернихи, Бубаревы (Бурбоны). Я сказал Отто Габсбургу в ФРГ, что у нас живут Габсбурги в Барнауле, он отмахнулся. Пясты и Ягеллоны, исчезнувшие в Польше, есть по нескольку в Хабаровске.
Мнение о молодости русских — это правда. Чего я не видел, то молодо.
А. Блок сказал Западу:
— Для вас — века, для нас — единый час.
Он не видел русских, хотя и подразумевал их в «нас».
Марко Поло назвал Россию — Геодель.
Гео — земля, дель — дьявол. Земля дьявола, а он молод. Но придется ли увидеть Россию — Владимир, Орел, Тулу, Ростов, Нижний Новгород, Хохлому? Не увижу. Пути нет. Там из дома в день на Золотом Маятнике, седлая, и растеплившись на золоте, качается по стране — дьявол, где мы и живем в наше время.

ПАРИЖСКОЕ

Французы в Париже — это китайцы по цвету. В мае 1979 г. на бульв. Мен под холодным дождем под одним зонтом их собралось столько, что вокруг собрались зеваки; я заглянул под зонт — одни французы, жмутся к джинсам девочко-мальчиков, и под дождь выйти боятся, собьет с ног. Французы боятся дождя. У них желтые зубы и в глазах смотровые щели. Много едят и глотают. После войны Лиля Юрьевна Брик шлет Арагону тушенку, шоколад, бананы, эскимотосы — это он ел. И сало (мы помним!) громадными пакетами, забитыми фанерой, Л. Ю. отправляла в Париж. Эльзе и Арагону. Но что могла съесть Эльза? Я ел с ней, поковыряет вилочкой зернышко, но не Арагон! На поминки по В. Р. подали Арагону мозговую кость с хреном, он ее высосал и обгрыз до полировки, сейчас она в его доме-музее. Арагон ел горы. В этом они соревновались с Пабло Нерудой, того снабжал живыми свиньями (маленькими, правда, подростками!) совхоз «Ридный Неруда» на батьковщине, в Некрополе. Они ж посылали ему и валенки в холод. В Париже плохо топят, а печек нет. Печки в Чили, но Неруда хотел стать президентом в Чили, а потому жил в Париже на Международную Ленинскую премию Мира.
У Арагона было (он умер!) заросшее пузо и седая грудь, рост страшный, видок был, когда Арагон шел, как пушка по Парижу, в русской сорочке, расстегнутой до пупа, а за ним на толстеньких ножках — Пабло Неруда, как комар-кровосос. Они выбрали эту рю де Варенн, чтоб жить, п. ч. на ней советское посольство, по утрам котелок вареников дают прохожим.
У Эльзы Юрьевны Триоле серебряные губы, и она тонюсенькая, в сирени, парижская из парижанок.
Мы похоронили Эльзу. Арагон запил с двумя юно-мальчиками, они ходили в зеленых фраках (трое!). — Это моя семья! — жал руки Арагон. Арагоша! — зовут его русские коммунистки в Париже. Много их!
В Париже нет кошек.
О да, когда умерла Эльза, Арагон не стал переоформлять наследство на Лилю, и Лиля осталась нищей. С цветами от друзей. Но французский поэт и вдовец не забыл о Лилиной доброте: каждую неделю посол компартии Франции приносил Лиле Юрьевне 8 сосисок в целлофане: 3 ей, 3 Васе Катаняну (мужу) и две мне. Во мне Арагон видел советское искусство и хотел его сохранить едой.

ПА-ДЕ-ТРУА-ПАРИ

Если сидеть в Париже, выйдет полицейский, как Конь блед, и скажет:
— Мсье плохо?
Я — кивок: да. Солнцем облит.
А он пеняет, что щеки мои некрашены, глаза зашли за глаза, рот узок, он позовет медицинского доктора,— ажан начитан из Бодлэра. Я молчу. Он, озабоченный, рисует на ладони красный крестик и несет к носу (моему!), я ж несообразительный. Он хочет мне помочь. Видимо, он в клубе людолюбов ошивается. Однако, дубинка, как у Будды. Я ходил по Парижу день и ночь, день и ночь.
Из конца в конец ходил я, гонимый ветром, морда из немзы. Я шел с двумя поднятыми пальцами, а это сигнал: двойное виски! Коньяк и саке я пил по 9 порций в 1 стекле. Я ходил из края в край; и бил ужасный дождь.

Нет в Париже пьяных на улице — неверно. Я — живой пример.
Я пьян был на любой улице, пел пэан с ямбическим слогом. О капитан мой, капитан! — запой с паденьями на углах. Смотрю в чашу, и нету дна в ней, нету дна! И Ангел глупости гремит боевым голосом: «Не пей, в аду кастрюля огня, а не роза Палестины!»
Я проснулся, выпил. Сел на стул. Часы считали за окном. Рука сверкнула в темноте, как орел. «Виктория», арабская гостиница. При свете утра я клал голову на край раковины (как на отруб, как ребеночек!) и лил кран. На голову. Зачем это? а от печали.
Они экономят лампочки (фр.!). Не пьют вишневой водки, а я ее брал в штаны, идя к набережной Сены, в район Опера́. В ночь у Сены самоубийцы. Цены на место у Сены велики, а французы скупы, и редиски не купит, но отложит франк на самоубийство. В районе Опера́ набережные чертят в кружочки и пишут фамилию, кто купил.
В ночи в Опера́ жалобно поют, в каретах с вставленными стеклами везут группу самоубийц и ставят в кружочки. Те стоят. На шаровую крышу Опера́ выкатывают пушку с жерлом, как у нас в Кремле, на колесах! Раздается выстрел с огнем — вперед, на смерть! Звенят бокалы, из окон. Самоубийцы прыгают в воду. И полицейские ныряют. Но спасают лишь тех, кто платит, под водою. Безденежные тонут. Так вот: когда я выдвигался, как Гаспар из тьмы, в черной коже и с бутылкой вишневки, многие забывали про свой смертный час и обращались в бегство; в дом, в петлю. Пока я жил в Париже, процент самоубийств снизился от 87 до 0,2. Об этом пел Голос Ватикана, мне платили, я швырял деньги, как таблетки.

ВО ФЛОРЕНЦИИ

Во Флоренции базары убирают, один еврей, как Петр I, шьет туфли Т-Ля. Я купил, ношу 16-й год, спрашивают, говорю: флорентийские. Во Флоренции ночью скучно. Люк, где сожгли Савонаролу — прекрасен. На этом бы железном круге жечь и жечь и дальше. Чтоб горели моралисты, импотенты и жиронепроницаемые аскеты. Чтоб горели избранные из народа и великие реки — Нил, Тибр, Миссисипи, Рейн, Волга, Тиутита, Люжа. Чтоб стал дым до мятежных свай. Сколько жило чудес во Флоренции!
Сенека, воспитатель Нерона, оказался ростовщик. Юного императора он учил нравственным позициям, а сам в Англии скопил денежку в 5 млн. сестерций. Нерону сказали. Он позвал Сенеку. Вот что, учитель, сказал Нерон, нет в Риме преступления хуже ростовщичества, даже убийство лучше. Я знаю, сказал Сенека. Но за то, что ты учил меня по-хорошему, я не оглашу твои низости. Отдай деньги и иди, кончай с собой, скажи, что ты гибнешь по политическим причинам. Тот и сделал так.
Сен-Симон, любитель раннего социализма, герцог и провокатор подпольной биржи, спекулироаал землями Франции, уже небольшая часть земель оставалась народу, когда у него отобрали немножко. Тут же, не сходя со ступеней дворца, он провозгласил братство и равенство. Он стал аскетом: переселился на чердак особняка, и камердинер будил его словами: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Во время парижских волнений Сен-Симон писал книгу о честности в будущем. Когда в Париже произошло, он опять спекулировал; нажил целые фургоны франков, их катили через Пиренеи и везли к Тибету, чтоб и там купить — горы, кажется.
Шопенгауэр, новейший наставник дураков (нас!), был алкоголик, денди, пройдоха в высшем и среднем разряде общества, имел по нескольку кухарок в постели, своих детей подбрасывал к крыльцу магистрата, заподозрен в убийстве мальчика-цыгана.
Им не рубили руки.
Во Флоренции лохань из цемента, в ней вода и решетка в клеточку, с висячим замком. В лохань, по традиции, мы, влюбленные, кидаем монетки. Влюбленные во что? Кидаем деньги, как можем, раз уж тут. Эти никелевые грошики, кучки, по субботам выбирают в магистрате, сколько у них еще денег «на счастье» — флорентийцы.

ПАМЯТИ СВ. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО

Я встану в день. Итальянское небо.
У открытого гроба св. Франциска Ассизского; его многолетнее тело; я взял шампанского с земляникой. Ограничимся бокалом. Ноябрь. Это как бы подготовка.
На гору я взял скоч, его мало кто любит, бутыль 0,75 л, 43°. Я готовил себя к большому. Я сел, праздник, звон миллиона меди, и я пригубил пустое горлышко. Оно налилось напитком, я пустил в рот, дальше и дальше. Описания кончаю.
Я помню закат, простор, огни на много лет вперед, колокола и конец праздника. Хладен автобус от сплошных стекол. Италия, в солнечных орлах заборов, сквозь стекла — весь мир, тот. Счастье. Скорость, свист шин, апельсиновые рощи, далекий Рим — впереди. Рим — впереди, Рим. Великое колесо автобуса мотает круги Истории. Книжный я. Апельсиновые рощи, листья опали, виден плод, что вкусен, осеннее дело.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Наше войско на Висле. Напротив — Варшавское восстание. В бинокль видны дни. По Висле текут лилии (болотные!). Кровь отцов льют немцы. Нам приказ: стоять. Пуль не пускать (в Варшаву!). Молчать. Не знать.
Стоит войско.
Я помню жердочки у папиной землянки, и летают снаряды рядами от немцев — в нас. Рвет враг кровь польскую. А по жердочкам идут к папе офицеры. 46 их собралось у стола. Напудрены. Старые и молодые. 15-летние. И я стал, мне 9. Гоголь-моголь ложкой бью.
— Ну, товарищи, панове, что скажете?
— Хотим туда, бьют сестер, братов, матку и ойтца!
— Если вы пойдете, мне расстрел,— сказал папа.
— Расстрел,— сказали офицеры.
— Идите! — сказал папа.
И каждый из 46-и отдал честь двумя пальцами.
Папа склонил голову, белую, как волк, а ему 37. У дверей они, и отец сказал: стойте. Они стали.
— Я не могу сказать, но скажу. Вы видите, что на Висле, пули плещут. Немцы бьют из всех стволов.
— Говори.
— Как только вы сядете в лодки и отплывете до линии огня, вы будете убиты. Вам до Варшавы не дойти.
— Инструкция?
— Я сказал. Чего ж хотят панове-офицеры?
— Светлой смерти. А может, кто и пройдет.
— Нет, не может. По всем вам ударят пули, с двух сторон.
— Мы немцев не боимся.
— И вашего войска.
— Приказ пана?
— Приказ пану!
Стоят.— Мы пойдем, ойтец.— И они пошли по жердочкам; эта ночь, черная, в ручьях с реки, с верху! Ливень лился. И горизонтальные огни, трассирующих пуль морзянка. И они сели в лодку, поплыли. Солдаты в касках выстроились им вслед; вдоль всей Вислы вышли смотреть, суров их строй был. Лодка шла. За нею три шли и понтон. У линии огня залп не дали. Пошли шире. Висла встала. Думали — дойдут, они уж на середине крутились и били воду штыком. Но как раз ударили пулеметы и танки из пушек — немцы и мы. Те, в лодках, быстро взлетели в воздух, а потом пропали. Погибли.
Я первый пишу об этом. Их смерть светла. Хрустят раки.

ПОЛОНЕЗ

1945 г., живу в Варшаве, сын Войска Польского.
1972 г., живу в Варшаве, монастырь кармелиток.
Цифры лучше живописи о времени и о себе — быстрей. Живу этаж в этаж с настоятельницей. Они не могут смотреть на мужчин, она смотрит в окно, мимо меня, правда. Черный треугольник на голове, лейка в руке, поливает нечто, мне неизвестное, в келье.
Старо Място похоже на уголок в Венеции, если идти от пл. св. Марка влево, а больше идти некуда. Чем похоже, не знаю,— узостью, мостиком. Или же настроением, это объяснял Збигнев Цибульский, а я ему, а поняли они, что он, пьяный, сошел с подножки под поезд, как Анна Каренина. Славяне!
«У Соломона» я сижу, а ел, видимо, Соломон, я — пью и смотрю на блюда, говоря рукой, чтоб убрали. Выпив, я иду к «Пану Михалу», в низку, и там напиваюсь на круглом столе. Там барменши — сестры-близнецы, их не путали, п. ч. вся Варшава и не догадывалась, что их две, знал я один. Твердо! П. ч., давая деньги, отметил, что у одной без ногтя мизинец, фаланги нет. А звали их Зося, как одну. Чтоб не путали, дураки.
Я не путал: одну звали Стефа, другую Эва, их дела всплыли после, когда стали метить мелом на дверях, но я никому не сказал о них ни в Польше, ни дома. Было им по 20, молодые да умные, красиво-рыжие. Нет их. А было б по 33, близнецы долго живы могут быть.
Из Варшавы я поехал во Вроцлав.
Дикий запад, каналы и тоже что-то венецианское, полиция похожа на гондольеров, а пьяницы на гондолы; кладут телами в лодки и везут по каналам домой.
Кануи Театрального фестиваля. Варшавский театр красив, в конце пьесы Ружевича на столе лежат 7 голых женщин! — в финале. Вот героизация-то женщин, да еще и голых, привела к тому, о чем сейчас кричат. Но в 1972 г. это пьянило, по каналам везли театралов, отключенных.
Театр Гротовского. Я не описываю, это уж история 20 в., ей перо в руки. Я не друг ему, поэтому с чистой совестью могу отдать титул Великий — Гротовскому. Об этом стоит сказать, п. ч. театра нет, а я видел и любил; и скажу. Впуск — 31 зритель, сидим у стен, скамьи, сцена у нас в глазах, на том же полу, где и сидим. Актеры Гротовского — наивысшей подготовки, одна память. Фото — это ж химия, не жилы. Акробаты и декламаторы, как они умели стоять! Среди зрителей и тел Гротовский ставил их в одиночку, и они могли стоять долго и не тяготить. Никто это не может! Удавшаяся попытка, где каждый артист — гений, интуиты, слов мало и действие внутри себя и с 31. Пластика. Христос, 20 в.
Я понимаю Гротовского, мировой и последний Христос, 20 в. Артист высок, рыж, в мешке. И его девушка, Магдалина, черные глаза, они уставали, мы а ночи пили. Мой друг Фляшен.
Разговор об одном — Рафал Воячек. «Тот, которого не было» — он взял стакан яду. Пани Анна, ей он посвятился, крестилась на улицах, на одном колене, и ее горе о Рафале никто не мог бы переплакать. И мы пили с нею и с Фляшеном, кто ставил асе пьесы Гротовского.
Рафал Воячек написал книгу, что он — женщина, после 10-летия шумнейших скандалоа эта книга смирила с ним Карповича. А Рафал пил с такой силой, что любое соперничество с ним — смехотворно, я перешел к голландскому типу пьянства. От польского, где все достигнуто. В 5 утра уже качаются во Вроцлаве дома и тротуары. Открыты 9 тысяч пивниц, пьют где. Встаю в 5 утра, иду в буфет. В буфете стакан (200 г) водки Выборовой, охотничью колбаску, твердого копчения (50 г), и стакан сметаны. Суточный рацион еды. Пить-то я пил и до конца, не переставая ни на миг.
Карпович издал посмертную книгу Воячека, был гл. ред. журн. Одра, его 10 лет не печатали. Вдруг поставлено 10 пьес Карповича. Он знал, что так не будет долго в Польше, взял стипендию в Америке и уехал, оставив дом, титул и сад. И вовремя.
Из Вроцлава я поехал в Варшаву.
В 9.00 утра я звонил Виктору Ворошильскому и шел к нему. Шагом. В парке им. Дзержинского — бюст моего папы, я вставал у бюста, я говорил: я недостоин. В тот год героям Польши в этом парке поставили бюсты, а папа вписан в Золотую книгу героев. Я — нет. Парк, пни, пьют. Бутылочки водки. Я сажусь к пню. От парка до ул. Мицкевича, где жил Виктор Ворошильский,— 12 мин. шага. Начинаю. Просыпаюсь в отеле. Как в рукописи, в Сарагосе!
Кажется, в 6-й раз я проснулся на пне, клубочком, и хвостик виден: вокруг бутылочки, как кегли, а в них пусто, одни этикетки. Я пошел к Виктору Ворошильскому.
У выхода, у ограды, старик в балахоне, а перед ним весы, весовщик, и оловянная тарелка, гроши кидать. Я стал на весы.
У старика: лицо закрывает борода, белая, громада.Он посмотрел на башмаки, потом на колени, блекло-джинсовые, и — в мое лицо, увешанное саблями кудрей!
— 44! — сказал он.
— Что 44? — спросил и. Он же еврей, как Агасфер, и старее.
— 44 вес у пана, а рост 1 м 73 см. Куда пан идет?
— Я иду к Виктору Ворошильскому!
— Пан идет к смерти. От жизни. Бедный пан, бедный детска!
— Сколько еще? — спросил я.
— 9! — сказал он.— 9 лет и 3 месяца.
— Где?
— Не дома. В городе на букву Т.
Он долго бормотал, пока я шел к Виктору Ворошильскому, я слышал следующим утром его голос за спиной. Я слышал, сидя с нотой ДО на губах — на пне!
Я умер 18 августа 1981 г. В срок. В г. Тарту.

К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. Д. ГРИЦЮКА

Корабли белоруких идей — из эпохи упадка.
Скажу попутно: г. Тарту — запретная зона, я под охраной государства. Чтоб прилететь, Николаю Грицюку понадобился ректор ЭССР Й. Тюлман. А тот взял в руку конверт серебра (ко мне).
Их привели.
— Ну? — сказал я.
— Я — Николай Грицюк. Это —...
— Кауплюс! — сказал я.
— Это он по-римски,— шепнул Грицюк ректору ЭССР, Й. Тюлману. Но тот знал, что это не по-римски.
Они пошли в магазин.
Я жил в доме, рядом с бюстом прадеда, в губернаторском, 84 комнаты на бок. Дело в том, что дом валился, и его привинчивали трубами к другим домам. Ни в одной комнате я не мог устоять на ногах. Днем я искал архивы Барклая, шарил крышу, мел ломом всяческий

мусор, а в ночи спал на крыльце, свернувшись в клубок и подняв на шее голову с огненными глазами. Но водки ночью не было. Да и кто решится, глядя на такую картину. Утром. Я лежал на каминной решетке в Центральной Зале, ледяные дела, с похмелия. Я закричал в трубу в г. Тарту и на мост, чтоб несли ликер Агнесс (любимое!).
Несут, сгибаются.
— Не сгорел? — это ректор, Й. Тюлман.
— А что? — сказал я.
— Да камин вспыхнут, спирали накаляем! Глянь!
Но я не сгорел.
— Ректор Й. Тюлман,— сказал я,— ко мне!
— Любишь ты пожить! Дай монетку! — Н. Д. Грицюк.
Я саблей взломал конверт. Монетки выкатились и понеслись с дома на мост и в г. Тарту, напротив Ратуши, колеса, штук теч. Я их бил оземь!
В каждом листе ленинградского и эстонского цикла Н. Грицюк зашифровывал мою физиогномику. Книгописатели пишут о Грицюке, что он плакал надо мною («тематически!»), это считаетсн высшей похвалой его вкусу. Друг моей филармонии Николай Грицюк не слезлив.
Я бил деньги и в НЭТИ, завинчивая и развинчивая уста. При А. А. Александрове. Платили в серебряных рублях начала века, сибирский стиль. Эстонцы гоняются за деньгами, как негоцианты. А эстонки идут по деньгам медленно, как по заре.
И я увидел солнце! Грицюк рисовал, согнув спину. Рисует эстонку, в чепце. Я глубоко презираю тех, кто одет.
— Дай монетку! — дундит Грицюк. Розы в стекле. Из г. Тарту рыбку несут, а с нею монеты, выкатившиеся. Эстонец не возьмет деньги, а отдаст. В моей Зале уж рос холм с блеском монет.
— Ну как, Коля? — говорю тебе.— Хоботовато?
— Любишь ты пожить!
В 42 года преломили его слоновость мои «Совы» и железная гора из рублей. А ректор ЭССР Й. Тюлман уж плечи чистил, ему ж разгребать эти железы.
— Да ты пойми,— говорил Грицюк на утро (не знаю, какое!),— ты — вот на такой горе! На горе денег. Гиперреализм. «Совы», книгу он твердил, и «Февраль» и «Пьяный Ангел». Эти штуки виной, что он сошел с классических рельс, забыл о реализме и полетел в тот путь, откуда на Земли дел нет.
То-то его к земле тянуло, к простым. А конец — с седьмого этажа в лестничный пролет. Ну, не надо падать, затрясся б от слез, чтоб со шкуры брызги, и пешком в мастерскую, к столу, писать «Ночной дозор» или желудь у Репина, но нет! Он вышел на лестничную площадку с собакой, привязал пса поводком к животу и пал в пролет.
Лифта ремонт, слесари пилили стекла, а ты и ухнулся им!
По законам летающих, с толстотой, ты перевернулся и упал на спину, а пес и взлетел, фокс, крысолов, живчик. Лай был ужасен! Любил ли я пожить, не думаю'с! А собака любит, она не животное. Мораль: не уходи в иные миры с другом на животе: спасется. Жалко.
Говорят, когда Н. Грицюк летел, за ним шла шаровая молния; шар, и цвет яблочный, с огнем, невозможный! Она задержала (якобы!) его на весу, на ряду где-то четвертого этажа и быстро обнюхала. Вынюхала всего и взорвалась, звездопадом. Я рад — сочла достойным смерти, готовым. И ремни пережгла фоксику, чтоб жил.
Я видел ту лестницу, с амальгамой, чудище, ударишься мордой о ступень, и видно, какая ты гадость, отражается.
Видно, молния вышла из Зеркала, чего-то ей поручили, да не исполнились желания.
Жаль пса-то, что спасся.
Синий, несуществующий мир.

ВЕНГЕРКА

Поезд в Венгрию, снилось: майор ест курицу, за ней вторую; я — одну. Вдруг млн. венгров на таможне, милостивы; я тоже. Сосульки солнца. Конец. День будучи. Когда ж кони взошли в Будапешт, стальные колеса останови. Майор уж на перроне, откинув никелированный сапожок; нос свистнул. Венгерский вокзал, чужая перламутровая река. Пойди по Буде, перешел в Пешт по мосту из стальных штук. Сколько чемоданов можно сбросить с моста в реку?
Пластика рук, фильм о золотых ящиках, метко стреляют, Клаудио Кардинале и старик, этот бьет то из пистолета, то из рук вверх. Сильный люстиг. Ел лианы в бистро. Ч-к чесал бороду хрустальным гребнем. У лебедя нет ближних. Врач изумлен, почему я не потерял дар речи.— Почему? — сказал я. Я дар речи могу потерять. В образе солнца цвет крашеный. Такое солнце это — диалог. Менн зовут туда. В деревянном кабинете стены оклеены досками, с сучками; хна. Стены похожи на лошадей, те тоже деревинные. Мне нравится.

Не очень. В ночи голоса — меня зовут туда. Золотые листья ведь тоже всякие. Пальто для буйвола. Река Тисса, мост цементный ест моль, заодно. Я говорю о говорящих. Красивы трубы, как два серебряные брата, от них пойдет отопление по телу. Ем уху из карпа в помидорах. Ложки — утюги, шипящая пища. Дверь стучит, как кирпич.
Тетерева в дороге. Придут в сапогах женщины, одна грудь бледная, вторая сочная. И другая. Красное солнце, дискобола нет. Вы въедем в Венгрию на дачу, Балатон. Из машины — Балатон, туманный, вышки для встреч в воде. Дунай — карманная река, переехали. Я, шофер Р. и его дочь, девятилетка. Звезд тут я не видел и конфет. Венгры едят медь. Супик у них — ох, и супик! По шоссе от Сегеда до Балатона я насчитал 16 задавленных кошек. Среди них серая и цветные, друг друга не повторяют. Такая неповторимая задавленность.
А тетерева как! Летят! Вижу корову, с рогами, загнутыми от ушей вниз, под шею, с челкою. Здоровенная — корова! Зари нет, еле ее проехали, темно. А когда ехали, шел караван Венер с ногами из гипса. Столько стремлений вверх, что иду вниз, будет зимой. Братья едят абрикосы, сестры трескаются по швам — день любви! Был, был! Круг рек образует море. Мне говорят (некоторые!), что сбор винограда. Венгерские мотивы могут войти в книгу для Аниса, где вырваны страницы. В декабре в Ленинграде я не буду. Хорошо б не быть и в январе. А с февраля уж жить не хуже, чем зимой. Нет красивой женщины здесь, за 5 дней не видать. Но и за 25 (остальных!) не покрасивеют. Нет пленительных. Дочери Бурга, одинокий Анд я, нетающий. Что нужно женщинам? — по среднеевропейскому времени им нужно 17 час. 30 мин. Сейчас 18.10 — тьмы тьмее. По ТВ флейтист, и чего они вечером показывают мужчин, у них католические чулки. Реки в круге образуют море мысли. Дето-Дьявол.
Вороны быстрые, просыпаются. Небо слишком тонкое, тонкое. Не ищи виновных, на воде их нет. Собочки луют. Не понимают, что форма — это Я, а думаю — это грамматика.
Она смотрит на меня, как на зарю; ей девять лет, губ не надо, рано. Это в машине, едем в Печ; шофер Р., его дочь, я. По радио поиск преступника в куртке с кнопками. Отряд полиции: стоп! Смотрят на меня, не узнают. Кошки сидят вдоль шоссе, не убитые, на это они пойдут позднее. Выбирают вверх брови, как чулки — люди. Круг рек, образующих море, узок; большие из них текут как попало. У дороги крест, к нему прибита утка, что б это ни значило, но утка — не христианин. Листья под колесами. Издали г. Печ — так рисуют дети — коробочки с окнами, с синеньким, розовеньким и пр. карандашами. Ел яблоко, такого еще не ел, не прокусить, кусал клещами. Жгу свечку из желтой розы. Чонтвари. Бутыль кока-колы, как канистра с бензином. На полях сено, скатанное в бочки. Какое коварство. И немцеподобие. Дурной вкус — актер водит бровями. Брови у артиста да будут без движений, как у императора. В винограднике дед с редкостными зубами (из кукурузы!), в эмалированной посуде, котле,— варит борщ, с куском ветчины, все кипит, красно. Такое не забыть. О братья, братья! Певцы, некому черпать кирпичи. Всюду видятся быки — быку... Я видел оз. Балатон ровно 1/25 сек., на его фоне фотографировали. Вдвоем, с девятилеткой. Век бы их не видеть, а видеть эту 1/25 сек. Венгерский язык не имеет равных.
Придут жестокие времена, дом дней не строится. Музыкант — кузнец смерти, а спортсмен — песок. Я пишу, чтоб заполнить пустоту людскую. У черных речек больше вода, чем у светлых. Что пьянит в винограде? — шарообразность. Всякие бутафоры, а государства содрогаются. Но о них думать (о тех и других) не надобно. Война кому-то счастье принесла; но ни один не вышел из войны победителем, все погибшие. Некому книгу надеть на голову. А есть ли дома домотканые, из камня сотканы? Почему доски — так долго живут? Почему кость ч-я живет тыс-я? Моя кость будет жить без моего Я. Как приятно, что хоть что-то без моего Я — будет жить. О бессмертных костях, связанных со мною, я еще не читал. Они лягут, чтоб обрасти мясом размеров Уральского хребта. И будут дрожать под землей, как Геодель. Корабль, лежащий на дне, все ж корабль. Кость льва — львиная, однако. Какой ужас — через 1.000 лет найдут мою кость! Что она будет думать обо мне, откопанная?
О чем написать, некуда (себя девать!), пишется книга. Меня встречают пунцовые герани! за стеклом. Видимо, тут юг, раз растут абрикосы, виноград и мозговая кость у ветчины в борще. Едем, едем, из-под колесика выпорхнула птица и убита. На красных кирпичных крышах млн. птичек. Красив на солнце Чонтвари, корабль он рисует, как лошадь. Я не видел таких греческих колонн (живых!), как на холсте у Чонтвари, у них (у него) нет прямых линий. В 40 лет аптекарю Чонтвари снилось, Бог говорит: «Ты будешь самым великим художником». Чонтвари рассказал горожанам про сон. Те спросили: «К чему б это?» Он сказал: «К тому, что я буду самым великим художником». Он продал аптеку и ушел. Хадж. Был в Италии, Греции, Иерусалиме, Турции, везде рисуя. Он не учился писанию картин маслом, он и вообще не учился рисованию. Это заметно, но спасает живая жизнь, краски (его!). Его поздний карандаш так свободен махом, монумент. Он усыновился у Мик. Андж., карандашного. В 50 лет Чонтвари пишет книгу, что в солнечной системе мало солнца. Художник — дополняет свет, рисуя одним колером кисти и бороды у старцев и водопады, жемчуга изумрудные. У него овальности из лжеклассицизма. Ни

один из великих художников 20 в. не знал о нем, а он был им предтеча. Он знал реформу раньше их, аномалия. Он не сверххудожник, но равновелик, но, не имея учителей, рецидив, монстр. И прирожденные к живописи две руки — левая и правая, он писал двумя. Это видно по ракурсам. Святой. А он не знал Евангелие авангардизма — Сезанна, и сглотнул его, не зная, переступил. Автопортрет — провалено-вышнченный нос, глаза, как свежеочищенные яйца, галстух, знаток фармакологии, химик. Математик. Удивительный дух! — несовершенный. Как он шел, гнулся, к гробу Господню, с ящиком красок, с мешками холстин. Он вернулся в г. Печ, его родился, и умер. Голова, работающая без остановки, при остановке разбивается. Гедеон Гердоци, студент-медик, купил всего Чонтвари и хранил 60 лет их, медиум. Он добился музея и умер в 80 лет, его голова прикована к входу на выставку. Голова из металла, черного. Светлой памяти.
Холода с дождями, грустен плющ на дворцах. Читаю книги. В г. Печ купил замочек — для почтового ящика в г. Ленинграде. К нему шурупы. Остался доволен.
Ф. Лист. Он полустоит на балконе собора, где он играл мессы, ретрожелезный, в накидке из листового блестящего железа.— Лист, Ференц, памятник в г. Печ, — объясняют.— Не Франц? — сказал я.— Не немец? — Ответ: Он был немец, но всю жизнь считал себя венгром, что важнее!.. Что важнее? Не люблю холод и дождь за границей. Изолянт я. Пусто в ступах, толочь нечего.
Буря огней! А удовольствие от золотой осени, как в церкви. Художники играют полоумие и пишут в стиле фольк-арт, забывчивы, что есть и неподдельные сумасшедшие, а стилизация — всегда мазня. Вечер над Тиссой, на реке бури нет, сурово и гладко. Луна — окружность хрусталя, полная лампа. Мост — белое ребро, легкая мысль у Евы, через речку, гименеологическое. Бесперебойный шаг — это я. Не нужны путевые записки, я — это запись шагов. Женщины навстречу — виолончели, из белого камня. Вижу воочию пьяных в кожаных пиджаках! Какие чудные заросли ив над Тиссой. Целая толпа японцев, с ложками. До югославской границы 10—12 км, там и Италия. Кофе с лимонадом, изощренность. Написать или нет, как в 1952 г. я вез в лодке по Тиссе труп разбитого летчика? Или скучно? Все ж вез 6 суток, летом в Будапешт, в одиночку.
Утро ватное. Сны различные. Вишневый день, закат. Листья на нитях и на земле аллеи. И под землей носятся? Сухие. Груши висят на груше. Домик, белый кот, крыльцо и розы. В листьях. Какие люди! счастливые. В этой фразе поставим под вопрос восклицательный знак. Скошенные веки — признак мадонны. Видел таксу, настоящую, в Ленинграде их нет, а в Новгороде? Их нет. Свой язык не коверкай в угоду грамматике. Где шарик вертится? — меж плеч. Туман над Тиссой, туманно. В окне автобуса горят кукурузные поля. Красивые! Одинокие и групповые костры. В г. Печ взрывают дом. Взрыв дома — дом взлетел, как тополь! Что год дал? В ночи из автобуса — горят костры по венгерской равнине. Весь день шел дождь, рвали дом. На горе король Иштван и королева Гизелла, первые христиане. Здесь.
К концу поход, не увидеть в чужом, люди как люди, одни люди. И глаза у них, как у л-ей — газообразны. День поминовения усопших. Гонки с фургоном-грузовиком. На шоссе — раздавленный черный пудель, машины едут сквозь него, как в черной туче. В день поминовения усопших в ванне плавает карп. К завтрашнему обеду. Поминальному. Вечер на кладбище, где лаем провожают собаки, суя в ячейки, в забор нос для поцелуя. Карп плавает, как проклятый. Я поговорил через забор с таксой. На кладбище много плачущих. Тысячи свечек на земле, освещение снизу, из рая, кресты освещают. Плиты к свету. Братская могила сестер-монашек, их 12. Баркас серебра. Цветы в венках! Костры из свеч. Свечи на камнях, на бетоне, он наложен на тела ушедших. Одна жизнь отрезается, а вторая? — не приходит. Прекрасны громады Будапешта. Карп широкий, как рука Господа Бога; завтра съедим.

III. К ЗАКАТУ

НАЧАЛО

Автобус, как кит-аквариум.
Свет.
Много голов, шофер — японская головка. Я в черных очках, чтоб спалось. Автобус идет 100 км/час. Дважды дуло.
Тарту! — ось моей смерти. Тротуары устланы книгами начала века (19-го). Бюст Барклаю де Толли, дом его, генерал-губернаторский, казенный угол падения 45°, привинчен двойной трубой к дому-соседу. Ах, пизанцы не знают об эстонском романтизме, а то и они привинтили бы к Пизе свою башню.
По берегам рыбаки с рулеткой. Рыбы? — Нет. Увидев меня, на блесну завивают нить жемчуга, бросят рыбке, а та по воде бежит, благодарит, нить уносит, а на крюк не идет. Все ж ехать легче по Кара-Кумам, по Италии, в Нижний Тагил. До г. Отепя — тяжело.

Шофер другой. Я его знал ребенком, Ян он, с шейкой, как Эдиссон.
На Пюха-озере вода плывет вправо, как по течению, завтра в левую часть ей. А послезавтра?
Я напишу.
Я дал уткам по шоколадной плитке по 1 р. 80 коп. А уток пять, отметим. По шоколадке. Мятные драже им дрянь, пилюли. Завтра дам мармелад, колбасу и копченую грудинку с борщом. Я добьюсь того, чего утки не едят, и напишу в Королевское общество.
У селезня клюв светло-зеленый, изумрудный, а вот у уток тинный, желтовато-костный. Селезень нырнет, а из задницы перламутровое перо! Реально ль я пишу? Вполне. Но скажут — и это выдумка.
Утки некрасивы, нет у них грудей и ног нет.
Ногам в воде холодновато, вот у них и перепонки. Женщины, а не женское. Представьте эти пальчики перепончатые, в мужской руке, подносим к устам. Что за этим последует? Духовная близость?
Поля размышлений.
Утки красивые, в прошлом, летят волнистой стаей — как надежда!.. Зимовщики. Озера теплые, рыбу не бьют из орудий да детский хлеб едят. Ручные утки! Они останутся после потопа.
Эстонцы строят замки.
Я видел в Провансе руины маркиза де Сада и дом Сезанна, там французы строят свой Крым, голубенький. Франция — от никелевой монетки. У эстонцев денег нет, а замки герцогообразные. Черчилль-младший, Мальборо, герцог, я был в его замке в г. Рим,— да автомеханик с курофермы в г. Отепя не поселился бы в такой каменной кухне, постеснялся б семью ввезти. У Джонни Бурбона замок из лунного камня, я хвалил, но и он меньше, чем у эстонца. О формах я, вообще-то, молчу. Боюсь, что эстонцы затмят и архитектуру. Это у Я множествен дом дней, а на веревке смысл насется — печаль моя, бездонная, роговая корова, Бык Апис. А здесь дом, замок, сколько в нем башен, башенок, граней и помещений! И бассейн — первый этаж, чтоб с порога снять обувь за шнурки и ух! — а воду головою (северной!).
А на замках сидят коты, в пятнах.
Кто видел березу, тот над ботаникой. Я вижу — бела, любовна! — как первочеловек!
А желтые ножницы солнца режут наши седые волосы, как жизненные — в монашьи...

КАМЕНЬ

Г. Отепя — древнейший, но не обновлен, дома-замки вне исторической правды. Я живу на хуторе, мебель из простого дуба, стол, этажерка и шкаф; и кровать. Здесь жил Мартин Лютер, с прялкой.
А на этажерке большеголовая кукла, целлулоид, девочко-женский рост, если с нее снять платье, то я влюблюсь. Но я не сниму. Кости легки, и Я летают с дождями по окружностям.
Здесь была Н. Я бил ее. Утром я пил стакан хереса, сорокаградусного. Вечером я пил светлое. В желтые дни моих белых горячек я ее любил.
Потом — иные дни. Я лежал на хуторе один, холодея. Икота вырывала мое тело из жизни. Я пил воду-рвоту до 4 ведер в сутки. Не помогало. Я вызвал Н. телеграммой. Она быстро приехала и отказалась вызвать «скорую помощь». Чтоб я сдох. Дни ее торжества! Она вызвала машину из Тарту, когда мне уж не было возврата. Я умер в клинике. Я потерял вес, слух, сошла кожа, выпали волосы, исчезла сперма. Я помню на шоссе эту Н., в парижском вельвете, я ей купил на плац д'Итали, в красно-оранжевой кепке. Она ревновала к М., та уже покончила с собой. Я умер в Тарту, а то б еще долго искал эту разгадку. Орех раскрылся.
А в больнице мы любили, но печально уж. Н. дежурила на табурете надо мною — 126 дней. К слову, официалы, гости из СП и иные, кто шел на мою смерть, сползали с табурета через час-полтора, а обморок. Это ж было на реанимации. И не было ни одного, кто б не упал. Н. высидела.
Отвезла в Ленинград и ушла; я ее выгнал.
Она любит меня.

ВЕЧЕРНИЙ ЭСКИЗ

Желтое и голубое, луга.
Выпить бы грогу.
Цветы белые плюмажи. Весь день шло и жгло солнце, а вечером молнии. Прошел Герберт (и я шел), подстрижен. Ему 60. Прошел, махая рукой. В такт.
Вспыхнул корабль, и много грома, многовато. Яркости не той дождик.

Вспомнил о Тинторетто, написанном Жан-Поль Сартром. У нас таких фамилий нет. У эстонцев есть.
Трагедия уток на Пюха в том, что их не стреляют и они кидаются на еду из рук, как собаки. Перелетная утка! — ест из рук карабинера.
Днем на озере много голых, а сейчас мало.
Мало — это сильно сказано, никого. Вода бестелесна.
Если куклу одеть (она одета!), то сексуальная сила ее целлулоида пропадает. Целлулоид тела, возничий разврата, свидетель мытья девочек сделал эту куклу, анти-детолюб.
Давно замечено — красивые девушки одиноки до старости, а некрасивые, но тощие, имеют любовников из представителей высшего класса. Сочные женщины пользуются меньшим успехом.
Когда корабль погаснет, молнии схлынут.
Чаинки ночные!
До ночи!
Воробьи, как рыбки, спят в центре глобуса.
Не выйти. Молнии льнут к окнам.
О, велик Ты, водочерпий, сколь льешь вниз, пользуясь высоким слогом!

ТРИ ЛЕСА, ТРИ ЛЕСА

Широчайшие пни, императорские.
Лось ходит, губами шепчет, коронованный. Эту корону я одомашнил.
Я вижу царя меж стволов, и нос — как кончик гондолы. Царь-дож, согнул ногу в коленке, ждет сетку, где: хлеб с солью, рыбий балык, редис и цветок Янь.
Это первый лес, голубые стулья — это пни; мох, застегнутый на желтые пуговицы — лисички.
А сумасшедшая Энно — девушка из второго леса, там склоны покрыты красными. Дни Энно в лесу. Если точно перевести с эстонского, как о ней говорят, будет: голоплатьевая. И волос нет, сорвала ножницами, полирует кожу на голове. Что делает? То, что хочет,— ложится в тень, и комары закрывают ее тело вуалеткой. Да нет, кровавым плащом; я сказал голое платье — нагая, вне ноэтики. Не стук эстетизма на машинке — комары реальны, сосут кровь. Иногда я иду — Энно сидит на муравейнике в позе медведицы и слизывает муравьев с ног. Она всегда ровна, мила, разговорчива и гола. Ее телесному и духовному здоровью нет конца, как у Будды.
Энно жила федеративно, я любил пить с нею.
А сумасшедшая?
Иди к Пюха-озеру, у него на песочке лежат академики, киносценаристы и авиационеры, их гладят москвички. Спрошу прямо — разве и те, и те не голы? Разве у ню лет 17, в плавках из Люксембурга, с обтяжкой — это любовница из чащи страстей? Через 5 лет у нее смена мяса, и от страсти останутся одни плавки.
Вот во что сделан наш пляж, Энно, радость моя.
Я пил тогда. При луне смотрел в пустой стакан и наливал; я пил наполненный. И виден был третий лес, по ночам в нем кто-то рубил. Над ним стояли звезды, и больше нигде. Как ясно тянется нить! — кабинет, я обновлю мебель, цветов в саду уйма, новых, пчельник краше, ежи живы, узнают меня по оловянной миске с молоком, сыром и ломтиком свинины. Грибов на редкость. С закатом я ставил стул на холм и, поворачиваясь по окружности, стрелял из парабеллума. Ежи звенели в ногах, вылизывая миски. Я не в шутку ел дроздов, их стреляют из спортивного, чешского. «Диаболо». Пулька пробьет головку, дрозд цел. Но и из парабеллума — восторги, но звук от него пышный, и уж не птичье жаркое на блюде, а пороховой склад. И зайцев я бил в лет, в глаз, из «диаболо»; не браконьерство, не огнестрельное. Просто, если простота — это полуметровый ствол. Я бил пулю в пулю с 500 шагов из винтовки образца 1851 г., я стрелял в ночь, в иголку с 30 шагов, на вспышку спички,— я прирожденный стрелок.
И случилось: я поднял руку на дрозда, а рука курок не спустила. И я раз за разом ловил в кружок зайца, ствол тверд, а не стреляет.
Гребем в грусти. Я написал книгу.
О время, время, некуда его докатить!
Книгу я написал за 12 дней, в остатке 8. Я не радуюсь концу книг, потому что за этим — пустые времена, хуже жизни. Я пил водку. Я сжег муравейник.
Я снял фильм, согнав артистов с Эстонии в одну точку. На это отошло 5 дней. 23 августа здесь грибной пик, а на 25-е заказ на такси на г. Тарту, в до свидания.
До такси я сложил бумаги, как в старину, пошел прощаться. Ночная сухота, грибов ни одного, дурные приметы. Лес скучен, стволы. И я пошел к такси, к дому, к исписанным листам, домой, в Ленинград, в комнату с манекенной живописью.
И в той точке необратимости, с руганью на деревьях, чтоб к ним ни ногой! — что вижу? — краем, в глазу, стремглав — небывалый, белый, сверхразмерный гриб!

Я не доверчив, так, привиделось, пошел прочь! Но нечто: стофф, обернись, не кружи голову!
Я остановил глаза: он стоял! В заломленной треугольной шляпе, в сюртуке, белые панталоны, в блестящих сапожках. Нетрудно догадаться, как кто,— как Наполеон Бонапарт I! Он стоял еще и как гриб, и счастливая сила. И в ту же секунду (жизнь!) я увидел всю пьесу «Дева-Рыба», написанную в стихах от 2 до 11 слоговых единиц, в божественной графике пространства в 270 страниц с 22 героями, с пришествием, монологами, и это не взрыв подсознательности, я закончил (в душе?) эту пьесу так, что писать на бумаге и не надо. Озарение. Такое бывает в момент отрубления головы. Дома я положил гриб на весы: 1 кг 600 г. Он и на весах лежал, скрестив руки, с женским лицом гения.
Я писал ту пьесу, но не вышло. Мотивы ушли в книги. А счастье было. Я пишу плохо, но допишу еще.

МИККИ

Микки, щенок; рвал мне штаны у ботинка, бегал по лесам, по шоссе. В г. Тарту и в ресторан — за мною. Ни за кем.
Прошло 15 лет, он отстал от моей ноги и понесся вбок навстречу фарам. Зрелище! — машины врезались друг в друга, как рыцари, скрещивая лучи. Дождеватый вечерок. Микки выпадал из рук, раздавленный. Я вымыл ванну с марганцем и вымыл Микки, наложил пластырь из мумия, шины. Герберт (60 лет!) совался как сволочь — просьба помочь! буду убить! — но он лез в комнату не помочь, а выпить. Я вышиб Герберта рукояткой револьвера.
А утром выстрелы, из двух стволов. Двор, Герберт с ружьем: помог, убил. Мы выпили, в сауне. Камни горели неземной красотой, накалены. Веник. Альберт принес линя. Эйно, вор, был с кроликом. Был и Август, с хутора ниже, и Пауль — часовщик, дойче-официр. Мы помянули Микки.
Я и не знал.
На третьем (?) году Микки кастрировали. Он мстил. Слившийся с ночью пес входил к собакам в будки и убивал их. Заходил в овчарни и резал овец. Кроликов он уничтожал сотнями, вспарывая сетки. И он не ел мяса.
Шел в амбары и в подпол, громил курофермы, ломал мля. яиц. На огородах уж и овощ не шел, сады сохли; Микки кусал под корень. Я помню (смутно!) сказки и панику — в г. Отепя привидение, громила. Говорили, что это цыган из г. Тарту или же новый милиционер, похожий на царя Николая I.
Микки, спору нет. Спутник по моим бегам и процессиям, он и а лес водил санитарок, волочил их за юбки, пастью, чтоб указать, где я лежу. День-ночь, день-ночь лежал я, не встать, коленок нет. О винные нивы!
Микки творил, он автор. Моя выучка. Мой почерк речи. Его лишили мужества, он им и объяснил об этом, лишенец.
Капканы! Ядохимикаты! Сети! Как будто он крыса, ястреб и рыба-меч! Не он это был? Он, он.
Я с лопатой пошел к кусту. Куст рос на наших стежках, никто там не копал. Куст бузины. Я начал, и пошло из земли костей и тухлятины столько, что я вставил в нос пуговицы. Я хохотал! — я отнял лавры у археологов 40 в. н. э., чего б они не написали в листах ума,— и кладбище эстонских животных а одной яме, и ритуальные жертвоприношения в страшной стране СССР, и — запасы еды для полетов в космос, по Отепясской дуге, и секретные упражнения вивисекторов ввиду получения анти-человеко-мутантов. И еще.
Я никому об этом кустике — не скажу. Сколько раз и лет под бузиной я трубил в бутыли, а Микки выл в окружность. Вечерами! Мы ведь разные, не одинаковые. А яму я выбросил в озерца, рыбкам на радость.
Микки жил интересной и нравственной жизнью. И я преисполнился любви и нежности к моему другу.

М.

В 1 лесу — пять пустых яичек во мху, разбитых и съеденных. А в просветах сосен тетерка ходит, асфальтовая.
Гром грянул — жид крестится; я вышел на полянку и рыдал наварыд... Я не был на этом месте 15 лет. Мы приехали из Парижа, пошли в лес. Мы далеко зашли — к, от и до полянки, и решили, что жить не можем, и вместе, и на земли. Жить не можем!..
Я забылся и вижу — у ели М. сидит, с косынкой, глаз живой, курносая, в веснушках. Среди женщин живая — редкость, а М. вообще была редкий металл. И ударился я головою о ель, и рыдал, как вкопанный. Мы жили 14 лет, мы не были друзьями ни дня, ни одного разу! М. боролась.

Бороться со мной, победить и выйти ВОН, так предать и бросить — ЗДЕСЬ! Без возврата! Что ей трудного — ТАМ?
Я — ТАМ был. ТАМ встреч нет. В ту степь, куда мы уйдем, там кочуют чеканные кругляши, плачет.
Пошел на Голубое озеро. Вода плоская.
И по плоской воде паучки-плавнички. Они ведь и живут, бегая. Куда ж они деваются зимой? Вмерзают в лед до весны? и в бега, заново? Почему у них такая жизнь, невзаправдашняя?
Ну, рыба, ясно, вода-еда, вон ходят, воду ворочают; неплохо!
А эти? Нужно б узнать, для чего они живут так?
Все, у кого круглые, живые глаза, все те — птички на ветке. А снизу в них бьют из дробовика мертвецы, с рассудком.
Возвращаюсь по дороге, из-за спины грузовик выскакивает, громаден, как дом, и шофер в окошке. Я не слышу, как он там изгибался за моею спиной, но вырулив, он свалился с холма, врозь колесами, под откос, и лег, в пламени.
Меня пес облаял, черно-волк. Я руку протянул, он лизнул розовым языком, как ребенок. Так и стояли мы на дороге: я и пес. Вот и солнце уйдет... Уже ушло.

НЕ ПЕЧАЛУЙСЯ! — О МУРАВЬЯХ

Пирамида живых, бегущих, у них там книга расцвета царств, сверх-Египет, Эллада и римляне со штандартами, на крылатых лошадках (крылатоконны!). Как пышно шевелилось!
А вокруг лисички и тончайше-хрустальные сыроежки с фиолетовыми и лиловыми шляпками; изысканно футуристично и человечно.
С удовольствием Гулливера вижу я возню (годы!), помощник иных миров. То, из чего сделано в их доме, лежало идеально, с высшей математикой.
Как-то я шел по лесу, курил, с коробком, вынул спичку и бросил. Она горела. Накрапывает, татуируя муравейник.
Я сел на солнце, блестящие стеклышки дождя, с бутылью ликера «Вана Таллинн», и курил, смотрел: если спичка не отойдет и не даст огня, погаснет, я вторую не зажгу. Спичка горела.
Дождик был, грибной, и нету воды, нечем тушить. Да и ведра не готовы у них на такую катастрофу.
Спичка загоралась ярче. Горело. Огонь шел внутрь, как сверло и дым из вулкана. В тесноте неслись полчища, геометрическими фигурами, толпой и в одиночку — все бежало по пирамиде, тысячи несли яйца, спасая, но — куда? От огня — НА ВЕРШИНУ! Никто, ни один муравей не бежал от дня, от дома, наоборот — с лесов, со всех ног неслись к своим, в огонь!
Я был там. От муравейника-империи остался большой обугленный утес, где жили. Я был вчера, это уже после Огня через 6 лет. Утеса нет, углей нет. Руины вычищены. Муравейник маленький, скорее вширь, чем ввысь, а был — выше роста лося-короля!
— Сколько миллионов трагедий! — сказал он блудословно.
Вот что: Сенека — и есть Нерон, но в худшем варианте, тот, кто учит,— это от бездарности.
Разве над Вавилоном не сидел некто с сигареткой и ликером во рту?

ДОРОГА НА ПЮХА-ОЗЕРО

На г. Отепя один вареный рак, никто не ел его. Он лежит на углу ул. Эд. Вильде и Юх. Тамар.
Машины немытые и ястреба. Один баран на пять овец — стал, как Бранденбургские ворота.
Крыши мостят деревьями, светлым. Под крышей отверстие для пушки, шестиугольное. К замкам ведут железные барабаны, на них надпись: ЛИБЕРТЕ. Рабочие, один внизу звенит досками. Доскоед он.
Дорога на Пюха желтая. Две трубы. Одна — полый столб, вторая — боевая труба, трудовая; на верху ее балкон, человек со штыком речь говорит, и речь его высока, как видим. Стоит, козырек с лаком из Возрождения!
Я лупу купил в каубамае, вот и хожу, катаю, стал, смотрю: стоит человек с речью на трубе, увидел меня сквозь линзу и руку тянет — из пламени и горестно. Как антихрист!
А по дороге грузовик, в лужу ушел, человек 40 в кузове. Было. Теперь уж никто не узнает, сколько их, не возвратятся.
Как-то тут танки шли, 6 штук. Я им дорогу уступил, сел в рожь и бутылку к губам приставил, как свирель. Под эту музыку они и ушли с земли, один за другим. Ну, ладно, первый

утоп, но о чем думал шофер второго, третьего и т. д... не надо думать за мертвецов. Я лужу миновал.
Корова! Молодая, на цепи. Я подошел ближе, и она с поля. Красавица, глаза мыслящие, как у Гёте, но у Гёте на физиономии не было цепи, а у коровы цепь. Вот пример!
До лошади я шел через холм. Это нечто, провисший мешок, лошадиная туша, как баскетболист на локтях и коленях. И лошадь пошла навстречу. Тут звери человеколюбивы. Вблизи это конь.
Говорят, что корова и конь живут в тесной дружбе, в содомии. Кто из них полюбил первый, или оба ринулись навстречу судьбе? Неплохо, оба большие.
Лишь бы солнце весь день не видеть, туманные картинки.
К ночи я вставлю лупу в окно, пусть увеличивает.

АМЕН

Колодец, закрыт, и ведро на цепи по-собачьи стоит, сидит у колодца.
Если бывают эмалированные собаки, полые. Бывают.
Много чего на цепи.
Пюха-озеро, известное море. Древние купались в нем: нырнут с вышки, и долго их нет. И выходят, как немые. Долго не говорят. А если с ножом к горлу, кто спросит, выбьют нож, убьют и уйдут в глубину. Там — обновление.
Утки, лодки с цветами — это верхний слой. В глубине озера я был.
Где древние эстонцы?
Иначе — отчего народ, поселенный Им в количестве 1 млн., не ассимилируется и не стал месслей, за 5 тысяч лет? Даже такая знаменитость, как евреи, брали на приплод женщин из ассирянок и других здоровых. Эстонцы не женятся ни на ком, кроме эстонок, 5 тыс. лет назад их 1 млн и сейчас 1 млн. Как это?
— Озеро!
В 46 г. н. э. Гай Юлий Цезарь, наслышанный об Пюха-озере, с одним легионом пошел купаться, из Лондиниия (Англия). Белги, тогдашние англичане, говорили Цезарю: не ходи, еще никто не купался, эстонцы одни в этом озере. Но Цезарь пошел. Ходил он быстро, на кораблях, и вот он в Пярну.
Совет Эстонии, 5 Пярнуских герцогов вышли на пристань с блюдом, а на нем рыба и нож.— Что это значит? — спросил Цезарь.— Разрежь рыбу, съешь половину, а половину брось в Пюха-озеро и уйди обратно.— Но Цезарь не любил, чтоб с ним говорили об обратном пути. Он же был футурист, вперед, вперед — через Рубикон, в Африке сжег корабли и т. д. Да и здесь с ним отборный легион, с веслами. Разговор его был короток, как римский меч:
— А если я не уйду? — спросил он; он был умея.
— Тогда ты будешь убит 15 марта 44 г. до н. э.
— Кто убийца?
— Кассий, Брут. Но бойся Брута, ты его дважды спас от смерти.
— Я не ем сырого,— сказал Цезарь. Он взял нож и вонзил в рыбу.
Главный герцог, Арвит Роонксс, Светлый, открыл ему проход.
Эстонцы в тканых коротких одеждах, черные волосы, а девушки — как лен.
— И вы не будете биться? — спросил Цезарь.— Так легенды о Пюха-озере и о непобедимых эстонских когортах — ложь? Пошли купаться,
— сказал Цезарь армии, и через четыре похода они уж разбили палатку у Пюхаярве.
— Да о нас ты слышал не то, у нас нет когорт, у нас круги.
— Что за круги? Напиши мне об этой организации армии,— сказал Цезарь Светлому, мимоходом.
Кто теперь не знает Пюха-озеро? Весь мир (знает!). Тогда ж здесь стояли дома, крытые камнем, были окна, был Черный Бог, Озеро.
Римляне удивились малозначительности этого водного бассейна, еще бы! Они купались в международных морях и в Северном Ледовитом океане, не говоря об Адриатике. А тут громаден пруд, вода с чернотой.
Взяли быков и на кольях жарили. Им пели, но никто не ел их жарево. Спросили почему, им ответили — девушки не едят, с чужими. А были вокруг одни девушки и пели на цитрах.
Пили на славу.
И как один купались.
И каждый вопил другу в воде и на берегу:
— Видишь, я купаюсь, я купался в Пюха.
— Вижу! — неслось.
Это дело в разгаре!
Но не зная языка, легионеры не знали, как подступиться к девушкам. А за изнасилование Цезарь ввел смертную казнь — заставляли олуха выпить чашу уксуса, это и по истории

знают. Казнь-то казнью, но сюжет абсурдный. Эстонок полно, молочно-яркие, а никак. Наконец командир четвертой центурии Страбон из Помпеи сказал про это дочери Арвита Роонксса, Светлого, Хильде IX. А та расхохоталась. Чего проще?
— Ну, чего проще! — сказала она, обнажаясь до ниток и идя на вышку для прыжков в воду.— Прыгай! — крикнула она,— но только не с берега, а с вышки, вглубь! И будут тебе девушки без конца!
Кто, как не римляне, привыкли к состязаниям? И они пошли за нею, 45 офицеров, цвет легиона. Она нырнула, и они. Она вышла из воды, отжимая волосы, и они вышли и сели, ничего не отжимая, у римлян короткая стрижка. Но все решили, что все решено. Смеху было! И легион солдат нырнул с вышки.
И садились к костру, как немые, обхватив голову и сжав колени. Когда они сели, девушки встали в круг, взяли цепы для обмолота зерна и цепами перебили весь легион.
Взглянув на это, Цезарь сказал:
— Здесь История! — и он один заложил новый город. А Хильде IX, с всеобщего одобрения, дал второе, приставное имя Юлия. С тех пор в роду Роонкссов все наследные женщины Юлии.
А когда Цезарь уходил, ему дали тот нож, на память. В Риме он подарил нож Бруту. Но отчаливая, с подарками, среди которых не на последнем месте эстонское масло и эстонская свинина, Цезарь был грустно-горестен.
Его спросили:
— Ты — строитель, как назвать город? Скажи, Великий!
— Аменхотеп — я! — сказал Цезарь и уехал.
Так и назвали: Амен-х-Отепя! Так в италийских летописях до сих пор есть это название, но считают, что город в Египте и назван по имени незадачливого фараона. Но он не в Египте. Просто сократили название, и осталось Отепя.
В этом году исполнилось 2030 лет г. Отепя, но теперь нет Юбилеев, новые нравы.
— Амен! — скажу я.

ИНСЦЕНИРОВКА ЛИЧНОСТИ

Много лет, в раме бед приехал Друг-Наук; тело он полировал, как самка.
Однажды, после моего выступления в Концертном зале на млн. народа, вместо пения вышла шумная манифестация, и я гнал зал в гневе, а он встал и крикнул, чтоб видели:
— Я тебя очень люблю!
В баре у Артура на Пюха-озере пьем мы ликер «Агнесс», и вволю; и пиво; и свиные ножки, обжигающие. И соленые сушки на стол, пивной; и водку.
Над озером листья, как музыкальные, как вальс. И вино в кувшинах.
Друг-Наук зовет на лодки, но я отнекивался.
Мы пошли в лодку, езда со свистом, с нами Микки, финская лайка, пес. фр. Эллы, хозяйки, и о нем еще новелла. А у меня в штанах на цепи часы, золотом покрытые. А чтоб не звенел цепью, Друг-Наук привязал меня к банке.
— Ты знаешь, как я тебя люблю, я отвечаю за твою великую жизнь!
— Отвечай! — сказал я.
Я на корме, сосу бутылку, сидел. А друг на веслах, мы умчались быстро от берега. Озеро-пустыня, волны у него лавровые. Пьяный, я открыл глаза: вода, я тону.
Радуги, меняясь, идут одна за одной, и рыбки в них, хвостики-хлястики, не ухватиться, я иду ко дну, и плывут часы, как золотой маятник, как якорь. Дойдя до дна, я оттолкнулся и всплыл вверх, с пузырьком. Выплываю и вижу: Микки на озере топит Друга-Наука, у того пятки сверкают, а Микки кусает его тонкой мордой.
Я лег на спину, шлепал ладошками. Мимо прошел кролем Друг-Наук, как торпеда с реактором. Микки нагнал меня, и поплыли рядом. Доплыли.
Друг-Наук сидел, бинтуя ухо. Я лег в песок. Микки, ни слова не говоря, метнулся из вод и кусил ученого в морду. Тот взревел по-бычьи и понесся в медсанбат. Йодом обрисовали, ноги ввинтили, руки загипсовали, жалко, не было поблизости музея для жертв террора.
— Обмоем плавание? — сказал он.— Обмыли,— сказал я.
Назавтра он уехал, поцеловав меня.
Он хотел утопить меня, убить. Я был пьян, а он пил глоток, я пил в стельку, а он греб двумя веслами, мой вес 56, а его 92, я сидел на корме, а он по центру, я не мог перевернуть лодку, даже если б специально прихватил с собою штангу весом в 1000 кг, он бы штангу отнял и надел бы ее как пенсне. Бутылочка ж в 0,5 л, наполненная янтарем, не могла перевесить этот дредноут. Хуже — лодку не перевернуть на бок с кормы, а тем более в воде. Он думал: если я пою в Концертных залах, то не умею плавать.
Почему он хотел убить меня? — этот вопрос и есть ответ. Но я запил и эту мысль. Тогда.

МОЛЕНИЕ О МЛАДЕНЦЕ

Ель — из изумруда!
А на ней ворона сидит — как звезда! На закате, когда бледно-розово.
На закате ель — коралл, вороны — ее игрушки, прыг-прыг с ветки на ветку, неожиданно блестящие.
Вороны — ряды черных.
Труба — бокал на стойке, гирлянды лягушек, вода на лугах — как голубые цветы.
Сегодня — день Моления о младенце, 30 августа. И хватит тире.
Эстонки на Пюха-озере, на закате, рвут репей; едят, важно.
Ель, как море.
Посреди Пюха остров. А посреди острова валун, на нем площадка и костер. На костер кладут быка, поющего.
Так вот, Тервист, бык, поет, ударяя сильным хоботом с головкой плода. Его берут и ведут за шторы и надевают шубу из глины, скрепляя обручами. Бык запоет, как резаный, но его улягут на бок, и он долго будет на угольях, живых. Он не сдохнет, пока его не съедят жареным. А его едят, разбивая молотками горящую глину.
Если жена волнуется — глянь, зашумит,— отойди на шаг, а в гневе — беги головой вниз. Но жена бездетна. И если она священнодействует, едя печеное бычье мясо, лижет бычью кровь с губ у подруг, черпает ложкой лимфу и жир из туши, при этом вознося Моление о младенце,— я не советую быть быком; склонись.
Они жгут одежды, и голые ноги у них — как для обхвата ногами коня. Они мажутся бычьим ачем и вином, без жриц, паизусть. Они гасят мясом огонь и плывут к берегу. И всходит над ними круг света. И, прижавшись от луны к земле, они ползут по полю, свежевспаханному. Это Он им пашет целину в тот день, глиняную, будто делает модель новой Земли. И ползут, молодо-старые, двояко-выпукло-вогнутые. Уж тьма, и белых тел на пашне — как лемехов! За озером Голос:
— Жених сожжен?
С поля ответ:
— Сожжен!
Голос:
— Нужен муж?
В ответ:
— Нужен муж!
Голос:
— А муж кто — бык?
И с поля, тысячами?
— БЫК!
За озером, голос:
— А Младенец?
Поле:
— МЛАДЕНЕЦ, МЛАДЕНЕЦ, МЛАДЕНЕЦ!
Голос:
— Чей Младенец?
— МОЙ!
— МОЙ!
— МОЙ!
......
А поле — это глиняные книги, раскрытые Им, толстые листы. Это Он ходит по ночам, как лемех, на одной ноге и отточенной.
И я — будто б инопланетянин, а вижу не живых людей, а суффиксы, прилагательные и сказуемые.

СОЛНЦУ КОНЦА НЕТ

Иду тем путем, досмертным.
В лесу бурелом — дело не бури, а людей, выламывают лес гусеницами. Лисички желтого золота, ювелирные цветы!
Если идти самому за собой по лесу, по трем лескам, то увидишь цифру 2, то есть кружочек вверху (головы!), чуть изогнутый стан и резиновые сапоги, внизу. Это со спины. Кто там, за затылочной костью и в душе 2-и, идущий меж стволов из году в год? А это уж кто о чем вспомнит, а шаги есть. Букет лисичек поднят на локоть, и это кладем в корзинку.
А уши как торчат сзади! — как бычьи (мои). Ноги в резине, а голова, как Золотой Маятник, ищет: где гриб? И видит.
Выхожу из лесу, отохотился, жара — хоть выжимай ружье.

Нет, сорока — это веер, при посадке раскрывается — японская Дама, черное с белым кимоно, Сё-Сёнагон.
Говори: осмыслим мир. Я видел, как пишет змея, и тут она похожа на Хлебникова, он писал всем телом, ходок. Хлебников носил в торбе за поясом головы китайчат, с красным вином. Его пешие маршруты: Петербург — Москва — Киев — Харьков — Астрахань — Тифлис — Персия — Баку — Самарканд — Урал — Царицын — Москва. И так четыре раза. И еще в стороны. Ничего себе — отшельник, я бы сказал — шагающий экскаватор. Ноги, буйволиные, да и голова не отклонялась. Колесница в рифмах — он! Беллерофонт! Двигатель.
Солнце — вот враг красок. День недолог, но вижу главное: коса висит на яблоне, с медной ручкой; у косы медная драма. Как не гордиться: где еще ко́сят соки? Эстония!
Пролетели мотоциклисты в голубых касках... быть вихрю, он и захлестнул. На Пюха спортсмены в лампасах.
По синему небу летел самолет с белой струей из хвоста. Он пролетел за 10 мин.— 500 км, а струя все шла. Вопрос: в чем он везет столько белой струи? Это пилот-гладиатор, он облетит Землю.
На обратном пути я думал о девочках — сидели у озера, груди голы. Я взглянул на их колени — руки в кожаных перчатках, черных, а сами голые. Страшно. И зубы белые, и лет по 15. При виде меня они смотрели в упор, пока я не прошел, и глаза искренние, подонческие. Уточки плавали, а за ними треугольнички плавали.
Я оглянулся: девушки уж стоя, а задницы, как две свеклы, горящие. Тут флора цветаста, губы намазала. А глаз — самое голое существо, но у него есть створки.
Я не тороплюсь.

ЮНОСТЬ

А желтые ножницы солнца режут наши седые волосы, как жизненные — в монашы.
Спокойненько.
Никаких наитий, это мой лес и табличка у выхода, у двух песчаных дорог: «В лес не ходить, смерть», и череп с двумя звездочками на лбу. Если б кости скрестить, пошли б, а звезда — чертов значок. Лесник Йыхве впал в осеннюю спячку. Водка в пустых сапогах,— где он?
Краснеет небо, краснеет. И полосы туманно-светлы.
Кошка серая. Вертолет не стрекоза, у него крылья из головы, а стрекоза — это биплан, с перекладинами; да и лапки стрекозьи не с шинами на колесах, а цепкие, мерзопакостные.
Свет издалека, и много его, магнитно, он — золотоискатель. А утки летят, как гантели.
Я видел в Знаменитой Луже на дороге на Пюха лягушонка. Сколько в лужу ухнулось машин и военной техники, заглотнулось, а лягушонок, как ноготок узорчатый, сильно гребет, плыви, плыви, а за ним — линкор, как туфля флота, этот уже носом в луже, и на мачте флажки SOS. И матросы прыгают ногами вниз, думая, что по колено, и уходят вниз навсегда. Как смеющиеся Я мои!
И настанут дни, и тягостью лягут поля у стекла, где тоскуем.
Юность архаична. У нее суеверия, приметы, целомудрие, чистота рук. Грязь грез.
Юность — лимфа, ее корабли везде, с лопастями пошлости. Я б не хотел вспять. Юные годы — это январь, средние века, ум, негатив и завистливая душонка; пот по телу.
Лягушки очень чувственны, хозяйка голову мылит, завивает, надела голубые ласты.
Жених пришел, ел. Что-то в его лице от селедки, небритый. Говорят же: жених хорошо сложен, как телега. Чистоплотен. Включил лампу. Луна белая, полная, и одна звездочка близ нее. Я не устану ходить по ночам.
Но ночей мне здесь не видать под ногами, не выйти, не гремя, я ж подневолен, съемщик; мои ноги обуты в лодки.
Я пишу стальные летописи.

ОЧАРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ

Я умру рано, чтоб создать под землею псевдохудожественный круг, охлестав себя хвостом.
Дорога — родина, и улитки — рюмочки на ней. Озерца с голубым. Густые лягушки.
Я выжег «было», не грешит, а на будущее снов нет. Чем-то я люблю эту область жизни, г. Отепя, где гроза, как семь пятниц на дню.
Кирха — петушок золот и лампочки, это одно время: и до н. э. и через тысячу лье. Когда у ламп горят волосы, эстонцы встают в круг, и это куст, светлячки. В г. Отепя (от богатства) появился один цыган, пышноус, питание — портвейн и вареная картошка.

Ненавижу богатых и бедных и, хуже того, средних — классики! Люблю мульти- — нищих и миллионеров.
Парень-эстонец в выстиранной кепке 2 часа спал в озере, свалившись с сундука. Сейчас ходит вепрем, о водке думает. Жизнь — разве не догадка, поэтизм? Если б этот мудак на миг из эстонца стал девицей, я б ей подарил букетик бриллиантов.
Иду к 50, я встречал дев-дынь. Но ЖИЗНЬ была одна М. Когда я ушел, она погибла. Погибла ЖИЗНЬ без ЖИЗНИ. Для мертвецов я интереса не представляю. Я иду от точки А до точки Б. Бог с нею, с А, но у Б встану, открою штаны и сделаю тысс, журчу.
Я — как ходящий рабочий, безостановочен. Самолет оттолкну ногой и полечу в сторону другую, бескрылую.
Фигура не есть видимый дом, она то, что остается в памяти, если уйдешь из дома. А если нет — не рисуй, зачем тебе насиловать голову?
У черной курочки — черное яичко, у белой — белое; а вот песики носят яички при себе.
Легко смотреть, как стареют миллионы.
Сведения обо мне отрывочны, исчерпывающих нет. Так, в Ташкенте мне сопутствовал успех. У них пустыня Кара-Кум, так я пошел в нее. Иду недолго, слышу, земля подрагивает, ах, это и есть знаменитые ташкентские землетрясения; испытаем. Иду, дрожит. Но круги не расходятся подо мною. Оглядываюсь — а за мной толпа женщин, всю пустыню собой покрыли. Я спросил, много ли штук, и сказали: несметно. Я кивнул, одобрил.
Ходят мрачные кудавы. Освободятся на $^{1}/_{4}$ от моего обаяния и в гроб — брык! Ах, ах, кучерявые ручки! Сосны гнутся во всю длину, не одну жизнь они загубят на дороге, когда их сломит.
Пока я хожу по Земле, я ее заметно утрамбовал.

ОПАСНЫЕ КРУГИ

Я иду со скоростью рока, поклонюсь Дубу.
Это у шоссе на Палупера, 36 км.
Иоанн Грозный ходил к дубу, подействовало. Так насмотрелся, что решил бежать из России, бросив венец и дом дней. Он просил политического убежища у английской короны, и дали ему. Петр I смотрел дуб, идя от Нарвы.
Да, после оба убили по сыну... Я не экскурсовод.
Дуб мой, дубик, пестрый! В тебе замаскированные коромысла двух времен — правого и левого. Сколько бочек нужно засмолить в жизненном мире! Тогда ему было лет 600, а сейчас?
Отсохла ветвь, а то цел и невредим, а эту штуку спилили. Но в историю дуб войдет тем, что к нему ходил я, и он стал прообразом Дуба из поэмы «Возвращение к морю». А из сухой ветви я сделал толстую лестницу и спустил с самолета в Пюха. Говорят, что лестница падала боком с высоты 15 тыс. м, и обошлось без брызг.
И я сошел с самолета; чтоб мимо шла жизнь, утка за уткой, чтоб вечно им был плащ с золотыми литерами и чтоб человек, думающий, что я доступен, был бы разочарован. Что такое доступен?
Это значит—я ступил и стою. А тот ступил рядом и утонул.
До чего ж я достою?

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ

День ты деньской, как у адвентистов!
Адольф у клетки, над ней в выси 2-х метров веревочки, на них флажки, красные, а внутри—куры. Так волков загоняли. Никогда не видел! Это надо ж!—изобрести клетку с флажками, все ж птицы—дальтоники. А куры — кто? Волки? У каждой краски и свой запах, а главное — аура, это знают быки, живописцы и слепцы. Но не куры. На деревьях никого. Сегодня я не встретил их взгляда.
Белый кот за мной, с желтоватым. Я оглянусь — они отворачиваются. В конце-то концов, мы с одной дороги.
Всюду бревна нарезаны на плахи, рубить головы.
Вот и суббота: белый кот, некурятник, да еще березки — одна белая раса! О себе писать — стиль надоедлив. Но с некоторых пор я обнаружил, что Я маскирует меня. Сквозь линзу на Я можно смотреть как угодно, будучи не узнан с другой стороны. Ведь другая сторона видит глаз моего Я, но не меня. Это догадка. Еще одна — почему я так мало вижу, хоть и песнь пояше оку? Потому, что смотрю с ходу, с шага, не подперев щеку рукою. Или ж я иду не в своей среде?
О среде. Я бросил щуку в лохань молока, и плыла она в среде, как миленькая, живучи! Она протянула б лет 100, да лень молоко менять, эти деликатесы живут и до тысячи. Еще одна щука жила в тазу, в белом вине, я за бутылками и бегал.

Где сегодня собаки, где бык, очень умен?
А целлулоидная кукла — это канитель, зажившее железо любви. Андрогия с женской головкой в детстве, ее правда еще впереди. Побывать в моей прозе лестно, но она (кукла!) еще ни от кого не родилась, пустота, наполненная микроорганизмами,— у нее внутри!
А теперь без препинания мы пойдем в воскресенье.
1 сентября, без школ. О, если б навеки так было,— совпадение чисел. Что и говорить, что на душе у школьников не школа. А что? Неталантливость.
Человеко-ячмень, виночерпий пива, нет пьяноносых — воскресенье. Суббота и воскресенье — два дни пусты.
Жизнь описывать нечего, она одна, у всех. Не до смерти. Купить нож для нужд. Рыбка пишется на РЫ. Усатый эстонец — большая редкость. Плавает по дну, не поймаешь ни одной — кто это? Я.
Я пишу все сжатее. Одни сутки я ищу на бумаге место, где б поставить точку, вторые сутки обдумываю, стоит ли свеч, и на третьи сутки ставлю. Точка.
Ум туманный, ум германский.
У женщин рты, как кружочки лимонов.
Цветок — это виток Ц.

ЖИЗНЬ ДНЯ

Выходит иголка из воды, и это солнце.
Вода схлынула, наверху — ребенок богов, розовый и от пуза пламя.
Полдень не жжет, разноцветные юноши, и девушки, а к 2 часам от живого жар. Юность солнца.
В 4 часа пополудни — зрелость. Муж зрелый с мириадами детенышей в видах и подвидах, в Линнеях, в китах и микро. Уход.
К вечеру седеет, к 8 склоняется, а к 9 разгорается. Агония. От 9 до 10 яркое до встреч с жизнью, с цветом; и последнее дело света — эманация.
Я возьму лодку, опущу в воду, сяду и зажгу. Я сожгу себя и погребу в земляную гору. От огня — окна потеют.
Сивый конь и бело-гусь, и корова — стоят на огне, они лучезарны. Потому что иду я к ним, на левом локотке — в корзине грибы, сахарные столбики в крашеных шляпах. Как будто б я несу корзинку Истории, в войсках, казаки, наполеоновская гвардия, польские уланы, да и художников немало грибообразных — и голландцы, большие и малые, широкошляпые; и белоголовые кубисты. Художники и армии — все у меня перемешано и друг другу сходно. И солнце, оно тоже головка на ноге, если нога эта — Я.
По холмам живут жуки, кожаные. От мухи оса летит ввысь, выделяя от ужаса пламя.
Конь — это Некто, ноздри похожи на женские глаза. Звени, звени, цепь, а на ней голова псиная, чиркает мордой о мир, о друг мой Уолт, пес из будки у фр. Рози.
И нет египта, куда б зайти, по пути.
Летящая сорока — это Ламарк с одной ногой, летит, и числа на крыльях написаны белым, от 1 до 10 — справа и от 11 до 20 — слева. А у меня нога болтается, в колеие, когда лечу.
Шоссе блеснуло.

АЗБУКА У ЖИВОТНЫХ

Я иду к миру, к заливному.
И всё за мной тучи низкого происхождения шли и шли.
Облака спереди и сзади.
На обратном пути:
— Красный отзвук сердца.
— Желтая стрижка холмов, освещенных закатным огнем. Сосны гнутся в дуги, графичекие.
Я иду к концу, в голове ничего не возникнет; отцвела. Я доволен днем. Вижу закат из стриженной соломы, а машинка и я мелем впустую, вхолостую. Дождь настолько запрудил мир, что я не вижу пути спастись. Даже гусей, любящих, давит вода.
Потоп, идут. Дождь белоствольный.
Вдруг обнаружил, что в моем словаре мало д.
Я часто пишу человек, а надо б ч.
Сивого коня зовут Абве, а корову Юя.
Они говорят:
— Абве, где ж Зикл?
— Мно, прст.
— Уф!
— Хце чешеца?

— Э, Юя!
Зикл — черный бык. Их язык похож на сербскохорватский.
Не забывай — ты еще на полпути по дороге к г. Отеня. Еще изменится, и в погоде, и на бумаге. Это не новеллы, а порыв, и много о прошлом. Воспоминания пишут люди, у богов все впереди. Можно написать и о будущей биографии, но опасно. П. ч. хорошего не напишу, а плохое сбудется, тут нет ошибки. Предсказать гибель — чего уж проще.
А горечь — что ж, некое право равного с л.

ВОЛК

Черт угораздил родиться в этой империи,—не я первый кричу. Скоро рожусь в другой.
А в этой будут рождаться не я.
Здесь есть-таки несколько сцен, где что-то да блеснет, волк, к примеру. Шоссе пустое.
Солнце село куском в муть. А впереди — волк. Не выведенный для ландшафта; старый.
Голова твердо-круглая, губы длинные, трубкой, с отворотами. Стоит поперек дороги.
Брать или не брать (камень!), пока я соображал, я подошел к нему. Волк, не спящий!
Никогда их тут нет, откуда он, из Чудского оз.? Я стою, он стоит. Не смотрим друг на друга. Ну, я пошел.
Иду, оглянулся. Он следом, нормально, как волк. Так мы шли с час. Он хоть волк на дороге, а у меня и того нет.
Обеды для одиноких птичек. Когда жить грустно, то жить грустно.

НА СОЛНЦЕ СТОЯНИЕ

Я ж днем не сплю, а, как дурак, глаза закрываю.
Закрытие глаз — обычное дело на солнце. Нужно стоять и считать до 900. Но не так: раз, два, семь, десять; раз, два, девять, двадцать и т. д., это хитрость, нет, считать, как полагается; раз, два, девять, одиннадцать, тридцать семь, сто шестьдесят пять, двести восемьдесят восемь, триста шестьдесят четыре, восемьсот девяносто девять... 900! Тут торопливость не нужна, не скороговорка, а стояние на солнце. Идут телеги по лугу, а ты стоишь, кричат ямщики:
— Барин, буря! — А ты стоишь, и что тебе до чертовых туч и надежд душ, они сатирики.
А ты мираж в поле, ореол.
Сними надетое, волосы зачеши на спину и закинь голову, чтоб жгло. В открытые глаза недолго посветит, умрешь; закрой, руки свесь и стой в виде волхва. Это трудно, это тебе. Не мне, я стою с незапамятных времен, легкий герб. Но окончив счет, не беги, одевая штаны, озираясь. Поставь голову, куда следует, ты почувствуешь, что ты — дом, а вокруг дни. Выдержка дрожи, закалка психеи, я стою по 9.000. Потому я невесом в шаге, ум летуч. Отстояв, ты заведешь дело — цветы в глазах, дружбу с солнечной системой, кругооборот плоскости земли, нероптание, антисмерть.
Солнце входит в руку, как ядро, толкни — уйдешь в землю на 40 тыс. км; второй толчок вгонит тебя в обратный путь. Левая рука — проводник мира, не держи свет в ней, если невмоготу.

У ОЗЕРА, У ЛЕРМОНТОВА

Плыл в лодке, крутил ее на месте то в ту, то не в ту сторону, никакого эффекта.
К кому летят перья с высоты дома?
Юань — забавное название денег. Если у французов франк, почему б нам не назвать рубль — русак?
Женщины тут голые, ходят то по солнцу, то в кино. Тем глупее. ТЕМГЛУПЕИ здесь живут. Жизнь здесь не нужна, не юг.
У озера голая баба, не приласкал. Озеро малотельно, т. е. мало тел в нем. За озером солнце, пылает (за кисеей!).
Рисовать бесконечные степени голых баб — это называется оголобабился. Как своеобразны брызги дней!
Крепость, пропасть, на камни бросают. Пока летит до дна, думает: любит — не любит?
Удар. О дно. Любит. Не зря гиб.
Вопрос: кто гадает — кто летит или кто смотрит? Похоже, что оба. Оба летят и оба смотрят. И царица, и летящий. Построю я к старости хутор у пропасти и буду звать девушек из стран. Побудет — и в пропасть, в ручей, к форели; как бисквит!
Думают, что слава — скоропись, а это мина. Колеблюсь. Болезни укротимы, только следи с револьвером под мышкой вместо градусника. Блудословие. Чтобы иметь сияние, нужно иметь прежде всего север.

СУХАЯ ГРОЗА

Гулял, гроза; в грозу ничего, черно, один, многогранники молний. Вихрь молний вокруг лица, жжет живот, колются в позвоночник, уши щиплют. Интересно; и скучновато идти внутри этой геометрии, а электричество чертит хорды вдоль дороги.
Зажглись фонари. А молний — целый малинник! Я во главе грома, во рту шары, розовые. Мир, переводная картинка.
Сухая гроза, птицы падают. Электрострелы сбивают птиц; вспыхивают — и паденье, неживые.
Паденье пепла.
Вспыхивают птички на лету, как кружочки.
Пришел, чешу волосы, а они полны молний. Молниеносная буря без дождя. Никто не бьет в окна. Сполохи, сок в пыли. Черные акварели вперемежку с серыми.
Утро под рукой, дышит подушка. А грому сколько было, звон, стон! Громобитные машины! И розочки сыплются, цветистый эскиз.
Осмотрюсь: молнией сожжены волосы на руках. А на ногах целы. Ну, хорошо.
В магазине мед и капуста необычайно зеленые.

БОЖЕСТВЕННОСТЬ

Луна и фонари по цвету похожи; полпервого. Вчера видел луну, большая, кусок.
Последний колокольчик доцветает в бутылочке, а на полях их нету, уж с неделю; этому день, два (жить!). Бабочки махаются, еще незрелые. Женопас. Решил проверить свою божественность. Вышел в тучи, солнце занавешено. Сцена темна.
Дошел до поля, не изменилось. Думаю, дурак; но межу переступил. Из черной тучи, чернейшей — вышел сноп солнца. Не само оно, ему не выйти, а сноп — на меня, круг с диаметром. Так и ходил я по полю (в этом круге). А кругом мрак и чернота. А я освещен загаром. Вернулся, у дверей сада круг исчез.
Я уже одурел с этой самозаписью.
Ходил в поле, вымок в ногах, но и солнце недозрелое, тучи его разжижают. Бледноногие эстонки. Видел загорелую девку в черном платье, извращенка. Хреновый день, беловато загорел, работы нет, апатия, вчера перешагал, но руки хороши, со смуглотцой.
Внешнего нет, спилил дерево, а оно внутреннее.
Луна — в синей раме апельсиновый мазок, нерукотворный. Луна ночью декоративная на фоне иного света.
Я помню ночи шум, воли шло, и лунный лист над мною. Но память — это эпоха, это походка; у нее простые русские глаза.
Слабая еда. Лежу, ужасен и правдив.

ОБРАЗ КНИГИ

Серый рисунок вечерний. Наскучила эта тетрадь, надоело.
Дым, гром, гроза. Капли летят, спеша. Снятся 5 девочек у автобуса АА в тонких тканях.
У дороги — ЛИЦЕДЕВА.
Я думаю о ночи. Ее значение Еезы. Из окна видно: крыша и осы. Старые крыши, костюмерная веков. Это парик дома. Темнеет и светает, одно и то же, как жизнь, темно-светлая. Туч нет, читаю многоточия. Занавес; смотрю в сеть; ос ловлю.
С у. до в. ко мне летят осы. По одной. Поест меду из бочонка, мирно, я открываю ей занавеску — летит. Следующая! Нет работы, я стал осиный камергер, лию сироп, живу широко.
На днях влетела одна, прыг на машинку, стоит на буквах и прыгает, пишет по листу. Не знаю, что нашло, но я стукнул; убита, смел с полу.
Сижу, пишу. И что-то странное, никого нет. Ни одной осы. День кончился, у. и н., и день, и — нету! Неужели это та же?
Это одна оса летала ко мне месяц, поспевшая к делу, машинному, печатному. Нет, нет ни одной! Какое горе.
В окне Западном, солнца центр. Шары собираются. Дождь и буря. Летают моллюски, полотенце красное, наши дни снесены!
Отказ от писательства лучше, чем писать, п. ч. писать — это очень дорожить жизнью.
Сабли идут вверх не для того, чтобы уйти в высь; мы знаем, для чего в руках стоят сабли.
Если б не спешка, автор не стал бы издавать. Спешка ж в том, что типография Гуттенберга уже 49 лет ждет эту книгу.
Бросил в огонь картошку с водой. Они молодые, картошка, огонь, вода, кастрюля; спичка.
Не кидай письма в воду.

ДЕЛА МОИ

Дрова рубят, к осени.
Ямщик, не гони лошадей, нельзя писать книги и книги. А что льзя?
Гони, гони. Кнут закинут!
Чтоб писать, я готовлю тело — мóю.
Угнетающая жара в комнате.
Углетающая!
Что будет от осени? — тябрь, тябрь и ябрь! и мировой агон.
Эти юноды лежат, как жерди с мясом и как бревна, я не лесоруб.
Видел косулю, нашему зверинцу прибыло, маму и 2-х косулят, идут ко мне. Все звери, увидев меня, встают.
Что я видел сегодня? — черненькую мышку. Их много убивают ногами, через дорогу, ведь везде полки толп идут.
И что я внезапно так отупел, не могу сесть за машинку, а дожди в окна льют, льют. Не так уж и внезапно.
В каубамае купил 5 м резинки, белая.
Читаю книгу Серг. Волконского о музыке. Вспомнил об Андр. Волконском — чуден органист и директор Мадригала, ныне в ФРГ. Как-то он отрастил пшеничные усы, а я выпил у него весь утренний бальзам. Я-то набальзамировался, а он кофе дул. Как он рыдал, ненабальзамированный по моей вине... Но о живых не пишу.
В каубамае есть 20-кратные подзорные трубы! Куплю, куплю, если останутся деньги. Но чудес нет! Есть! Да, но не с деньгами.
Плохо иметь мало денег — трубу не купить. Сел б я на сук, навел трубу на Него, что Он там темнит и льет, пусть возьмет меня назад, я становлюсь все капризней. А трубы расхватали, чтоб в окна смотреть — кто в ночи во что обнажается.
У Л. Ю. Брик висела квадратная работа Д. Бурлюка, на деревяшке, масло голубое — морда В. Маяковского, молодой, растрепаны волосы, и нет горла — голая нога вместо шеи, маслы, противно.
Приятно.
Желтые лилии (вспомнил!) не люблю. А водяные — о, да, Я читал, что есть плод в 400 000 раз слаще сахара! ЧТО Ж ЭТО? И так вдоволь сахаристости.
А мыть меня некому, хожу и кожу меняю, одну на другую. Эх, дела мои, дела, людоедские!

ЗАВОСПОМИНАЛИСЬ

В 10 часов вечера солнце на стол! Ярко.
О лето, лето, солнцестояние!
Кот съел рыбу, вчерашнюю, ничего, я купил сегодняшнюю. Жизнь, как жидкость, брызжет под руками! Насекомоядное! То, что вижу, я увижу, то, что слышу, я услышу. Бегу по солнцу км к закату.
Озеро. Громыхнуло в воду.
Освещенный куб воздуха, и в нем носится, носится мошка, как белая звездочка. Сколько у нее штепселей и выключателей в кабинете?
В ночи теплеет, ветр мягкий.
Отчего лежу вдоль и поперек дома? Я живу, как безударный слог.
Легкий шаг (шаги!) к смерти — еще вопрос. На пути к ней множества чудес. Ветр — это порох. Ноги — горящий грех. Правоучители — это ответ. Ответ нужен механизму, рыбы меняют религии, как цветы.
Кружки падают. Дождь? С голубого?
Цветы дичают, как кошки, садовые, на лугах.
Солнце, ночь, вода со всех концов.
Авангард — это всегда старинно. В 20 в. в разных странах было 74.653 Великих революций. Роялизм на этом фоне — подвиг, гражданское мужество. Я знаю двух таких героев, и старший — о Дали, Дали! Я не верю, что у всех л. на земле разный почерк. Один! А у второго цариста другой.
Если так часты смерти героев в 37 и 54, это что-то связано с анатомией, с особым строением тела у посланцев. Дали жил меньше Пикассо, но чище, в неокоролевстве!
Пахнет цветами. Завоспоминались. До яблок, до яблок!

ПУТЬ

Дождь, лиет, по дождю идут ноги гения, раскрутка сердца, это видения внутри ветра. Вот и июль прошел (в книге), а наяву он лиет. Пью тени. Некому за меня жить-быть.
Жесткий путь дорог. Понятие пути как нелогичности. Если начинаешь чувствовать, сой-

ди; не годен. Керамические ступни могут разбиться. Следи, чтоб не пить, а ждать оказии. Он сам напоит твою шкуру. Но на язык воду не бери.
Радиоактивная вода — что чище? Кости растут красиво.
А при солнечном свете иди, солнце сядет — ляжешь в стол; отдохнешь от дрожи. Волк не съест, волка хвалю я, он — страх.
Идти в лунную ночь. Когда луна вертится, одно белое. Я ее вижу, антракт. Пойду по луну. Пойду в луне. Луна — освежающий напиток. Ходьба — не путь между тем. Но и что? Не по душе мне идущие. Что-то в них от тех, кто имитирует двигатель, сам стоя. Под ушедших работают.
Петр I заплетал волосы в косицу, как царь. Пройдет и лето; и это лето. И август пройдет, как пороховая бочка. Что-то произойдет, не здесь. Закат — королевский ликер. Кто дал жетон жизни, я спрашиваю?
Как бы написать об улитках под пустым небом? Это млн. граммофонов, ретро- и искусств вопиют о старинном.
Проходят реки, и ничтожны электрические переключатели. Запах коз и коров я рисую. Я рисую сталелитейные уши у себя. Будто важен день записи; история — антиквариат столетий, не дни в ней. Рубят себе сук головы.
Кружится детство, козлозорие.
Пол вымыт, ковры вытряхнуты, травы собраны. Чисто. Точка.

ПЕЙЗАЖ С ФИГУРАМИ

Дуб — водопад с бронебойными пулями.
В моих звонких глазах одно дно вижу, там камень Каабы в яичной скорлупе. Бык — куб. Как рифмуется! Бык — геральдический знак фараонов, Испании, шотландских фамилий, Д. Бурлюка и Филонова. У Пикассо бык загнулся, графически. Бык черный — необитаем, кончились каникулы, до нового лета.
Человеко-мальчик стоит в поле, грозовой. Его учат, а он хочет быть быком. Вынул из сумки рога и гудит. А волосы, наоборот, длинные, как у девочки. До стрельбы постригут. Деревья краснеют.
Как бы мне описать осень получше, как люблю?
Отдельные быки на полях, ничего с них не опадает, ничего на них нет, чему опадать? Леса пилообразны, оленей бег. Гриб один на лес, я выращиваю уж вторую неделю, все тот же, я ему резинку в каубамае купил, чтоб живот резать трусами. На резинке еще никто не вешался в истории, кроме мячиков. А лес вдвое складывается, на зиму, грибы приплюснываются один к одному, елки к елкам, и т. д., сложится лес и поляжет как тетрадь в белый ящик.
Одно неоспоримо: где косули, там и львы будут.

ВСЕ О СОРОКЕ

За один день с сорокой я отдал бы сто дней Наполеона.
Да и он отдал бы. Если б Наполеон не поехал на континент, увидь он над лодкой сороку, то:
1. не было б ста дней,
2. не было б Союза монархов,
3. не было б тумана при Ватерлоо.
Я пишу логику.
Небольшой опус о милитаризме.
Царь Александр, чтоб придать «народный» характер войне, отставил от войск «немца» и назначил русака; это я о том, что светлейший князь Кутузов — тютя с лубочной картинки, а Барклай де Толли — фельдмаршал, молод, боевой.
Он тут же стал под пули.
При Бородине он надел парадный белый костюм без единой звезды, шляпу с орлом и плюмажем, белый конь с белой саблей, стал на самый жуткий редут Раевского, Багратионовы флеши и простоял под громом ядер и млн. пуль—всю битву.
Как известно, Наполеон дал приказ не стрелять в Белого Генерала. Но тут уж это «не стрелять» дурнее дурного. Чтоб очистить совесть, у Ватерлоо царь Александр назначил Барклая командиром русского региона.
При Ватерлоо и пошел тот знаменитый туман. Почему-то туман преследует англичан, хоть его и нет нигде, кроме Лондона. Фатум, куда б ни шли английские войска — всюду им мешал туман, которого в континентальной Европе просто нет. Чего стоят два импортных тумана: проигранная Нельсоном битва при Трафальгаре и Ватерлоо, где туман не дал англичанам уничтожить французскую армию и взять в плен Наполеона.

Не туман, это Барклай. Русские стояли бок о бок с Наполеоном. Русские, победившие в одиночку всемирную армию Гения, не желали быть соучастниками в поимке беглого преступника-француза; они простояли Ватерлоо без боя и дали уйти Наполеону.
Отдав сомнительную честь победы Веллингтону, Барклай без спросу уехал в Россию. И был выслан чуть ли не этапом в Эстонию, в глушь, проконсулом. Остаток жизни он строил себе гробницу, тесал камни, по собственному проекту, со статуями римских военных. В фартуке, как масон, вставал он в 5 утра. Откусит у мрамора рот. Приклеил лоб. Он сам высекал статуи, долотом владел виртуозно. Гробницу он сделал своими руками, это плод мастерства, зрелого. Он и статуи таскал, и саркофаг высверливал. Сделав гробницу, умер; как полагается. В этой гробнице и живет его душа и иногда в виде сороки летает, летает.
И меня облетела, краешком. Не произойди всего этого, Б. д. Т. не попал бы в Эстонию, не встретил бы Юлию Роонксс-К., от нее-то и пошли женщины того рода, кто пишет новеллиняю.
То есть, какой пустяк — птичка, но какова, как день, голубым дном вверх!
О Барклае: в кабинете на столе всегда горел грог. Он ругался, как гора. Его обожествляли. Нет эстонца, который не считал бы себя его ребенком.
В холмах ярко-фиолетовые пелонги о пяти колесах.
У дома Яниса, у ярко-желтого,— ветла, вот выйдет солнце, вспыхнет ее серебро, грандиозный куст серебряной любви.
Яйца едят из магазина. Аисты улетели, говорят; они — как толстые дети в фехтовальных костюмах, на высоте одной прямой ноги.

ТЕЛО МОЕГО ОТЦА

Белокожий мужчина. Руки белокожие, ноги. Изысканно, с черными волосками; гладок живот; я мыл его мертвым; будто атлас затянут в туловище и перчатки. Ногти лопаточками, граненые, с розочками. Серые глаза, как серебро.
Женщины далеко не сразу, а постепенно дотягивались до его уст. Розовые (губы) всегда у него! А женщины... дотянутся и плодоносят. Он очень молодой умер, не успел постареть. На лыжах он ходил, как на буквах, широкими шагами. Как скороход. Как катится громокипящий обод! Он сжигал лыжню. За ним уж никто не мог пройти. Млн. людей страны еще помнят этого человека-птицу.
А раздевался после лыж — тело у него, как море! В воде!
В блокаду отец ходил за ночь 140 км, туда и обратно, чтоб еды нам дать. Восемь раз его расстреливали за это то в Ленинграде, то за линией фронта, и он вписал в паспорт второе имя через черточку — Октавиан.
Он жил в кудрях, как драгоценный иллюзион. Его ордена несли на кладбище в сундуках. Его тело лежало в гробу роскошное. Двумя руками оно держало свечу. Я свечу поджег и огонек не задувало, хоть шли за гробом танки, люди и пехота. Воск капал на руки, живопрозрачные. А под усами — белые зубы.
Он не был добр, он не был человеком, он только пил с людьми.

В САУНЕ

Эстонка-кассир дает билет на вход и мочалочку.
В раздевалке висят чудовищно-грязные майки и трусы, три пары, на гвоздях. В мойне, как и ожидаем, трое с выпуклыми животами. Я сажусь у душей, поодаль.
Один красный, второй, как водка, и третий телесного цвета. Форма пуза и цвет шкур одинаковые. У них тазы (цинковые!) и шайки. В одном тазу будильник.
И у одного в животе окошечко, со стеклышком. Клиницист?
Я войду в парилку, сухой, посижу до седьмых струй и выйду, держась за стеяку, чтоб не удариться оземь; и обмоюсь под душем, что тыкает в тебя перстами, как девушка Шувэд.
Я сяду и, намылив мочалочку, стану тереть себе что ни попало.
А трое сидят.
Будильник тикает, от шаек же и резонанс. Иду в парную, а те тикают. В парной уши жжет, как быку, кончики.
Сел.
Из печи открываю железную дверцу и я лью из кружки — прямо в лицо печи. Еще жарче! Уши загораются! Я думаю: те трое, эстонцо-пузые, придут в пар, в жар, истончатся, у них жирненько. Не идут они! А из железной дверцы девушка Акшув ртом в меня жжет, как морозом. В поту утопли глаза — нирвана!
Я горю, а громадные краны льются, двигаю ручку — и хлынула девушка Ушдэк, холодная и горячая.

Я иду в баню, в мойню. Трое астают, и высоко подняты тазы над ними; будильник же беззвонный. Лампочка в потолке. Жидкость в камне. Трое из шаек щетки вынимают, ничего, ничего, трутся.
Трутся-то трутся, но животы вздуты, как в трагикомедии. И тикает. Обмывшись, я пошел в раздевалку.
Пусто в раздевалке. Шкаф стоит, как был, в нем одежда (моя!). Но ни маек, ни трусов, грязноносовых. Они ж были в первом действии, висели в отдельности; шесть гвоздей смотрят из шкафа, пустые; как помешанные.
И тут я душераздирающе закричал.
Эстонка-кассир окинула взглядом и поцеловала в губы. Дает бутылочку лимонадной кислоты, 0,33 л, и билет на выход. Сжимаю билет. Те выйдут, а у них ничего нет!
Я не люблю вставлять свою лопату в гору грусти.
В чужую!
Дома овечка ждет. У нее стройные ножки, голова молодая и уши голые. Овца умней собаки, и шерсть кружками, и в глазах свету много, выпуклы, как у фараоновой дочери. И морда женственная; хрупкое, застенчивое, длинноногое, их жальче всех. Ведь одна капля жизни в них!, а кровь — хрусталь, розово-акварельный.
Она. Съест с рук, потрется о ногу, отпрыгнет, и я скажу ей: — Иди!
И я войду в дом, в дубовый кабинет, за машинку. Лампочка в диске, как Сатурн.
А ты что, лампочка? Будут ли у тебя лампочкята? Будут, в ночи, когда радио заиграет и громко-звон из Кремля разойдется по живому миру.
В Отепя, в Ленинграде, Риме, Париже, в АШС и РССС, в какую б мойню ни сел, живопись та же — резонанс, лампочка, огненная дверца и три эстонца, превысивших разум. Я выйду, ошеломленный, и увижу! — тот же шкаф, жестокий, как драма! — Где трое? — спрошу.— Те, трое, там,— скажет эстонка-кассир, поцеловав.
А там сидит один (уже!), пуп расширен, и из окна в животе — двое глядят на Землю, грустно, как в кассу. А этот переваривает их. Такой же живот я видел в кино, у голой шведки, беременной эмбрионами. Ее живот стоял, как купол на Капитолии, на колоннах, а из него люди шли и шли.

СВИНЫЕ ГОЛОВЫ

В каубамае свиные головы.
Они копченые.
То есть — мумифицированные, в холоде будут 30 лет и 3 м-ца.
А пока их несут пятачками к нам, они закрыты, уши недвижны, как из раскопок Помпеи. На устах запеклась монаршья улыбка.
Кто ест остальное? Где окорока, грудинка, филе-ножки? Где печень, рубец, ливер и легкие?
Где кишки?
О колбасах — не будем, это тема религиозная.
Но о сосисках. Их делают из свиного жира, того, что не годится в мыльно-варенную промышленность. Это шило-мыло смешивают с картофельным пюре, напускают соку из древесной руды и, затянув в презервативы, все это кладут на тарелочки. Едят.
Идут.
Куда?
В кирху. Из Таллинна едет знаменитая в г. Отепя органистка Сарра Каубамае, игрок на органе. У нее своя машина с прицепом (у эстонцев, как у датчан,— свои машины!), и она ставит у кирхи палатку и гадает по руке, она чудо-диагностик. В Тарту даже профессор Энну Сепп, зав. кафедрой хирургии, слушается ее. За гаданье денег не возьмет. К деньгам она более чем холодна, не любит. Поднос с деньгами, что ей дают в кирхе за игру, она здесь же опечатывает сургучом, огненным, прижимает кольцо с инициалом и жертвует в Фонд мира. Сарра миролюбива. Но после службы-концерта Сарра везет в Таллинн кузов свиных голов. Полный прицеп! Не менее 30—40 штук, а то и 50—100!
Как-то я попросил подвезти в Таллинн, купить новую рубашку, соскучился. Мы ехали молча.
Мы дружим лет 10, она возит свиные головы, я покупаю рубашки.
Свиньи морочат мне голову своими головами.
Она спросила:
— Сколько у тебя рубашек?
Я сосчитываю, но сбился. Во второй раз — то же. Я думаю, что многовато. Пока я считал, цифры вырастали до умопомрачительных. Их было уже столько, что Людовик-Солнце или же рубашки Екатерины II — блекли.
— Что смолкнул? — спросила Сарра.
Это было необъяснимо.

СТОЛБ ТЫ, СТОЛБИК!

Машина, кузов и шесть в касках.
Седьмой лезет на столб. Столб шатает от истощения, электричество сожглось. Столб ты, столбик, на тебя лезет дурак, к ногам сабли привязаны, чтоб цепляться, и роет сверлом дыру в стволе, чтоб сделать свое. А шесть смотрят.
И котик, серенький хвостик, на столб полез, плашмя, за электриком, кусить в задик. Один из шести приставил к столбу лесенку и лезет за котом. А солнце как вспыхнет!
Машина: широкий нос, в кузове домик, войскоаой, труба буквой Г и дымок. Электросолдат лезет вниз, котик — прыжок, а тот, с лестницей, отделяется от столба и вверх ногами летит в сторону.
Тучи, как шубы.
Чего их носит по столбам? Электрик крутит вертушкой ствол. Динамит кладет. С механизмом, чтоб в ночи столб взлетел, как копье, и потащил за провода все столбы земли г. Отепя. Уж прошли сотни лет.
Поставим дверь ребром. И увидим — с тем, кто входит в дверь, идет и электроэнергия, и грузовики с трубою, в них-то и ездют особи, в которых концентрируется солнечная система. Это они снабжают человечество ею. Каким методом? Через штык. Войдет солдат в дом, винтовку на руку и штыком ткнет. Дом (да и мы) затрясемся от электричества и озарим мир на квадраты миль. От этих озарений и жизнь. А о столбах, это в г. Отепя анахронизм. Да и то уж их осматривают, чтоб в землю вогнать, в будущее.

ПТИЦЕЛОВ

В первые же дни я видел офицеров, закутанных в колючую проволоку; шли, шинели. Сумасшедшие.
Вернулись с войны.
Стоят, кто на чем. Полем. Против них шеренги, препоясанные. Особисты. Спец-воители. Расстрельщики. Разойдись.
Никто.
— Винтовки на руку! — Взяты.
— Огонь, пли!
Но в ответ уж 400 выстрелов. Этот (главврач!) пал, как ситечко.
Шеренг с винтовками нет, лежат. По Ма-Ка тревога: идут войска 3-го отдела, песьеголовые, с желтыми петлями на плечах; пулеметы; и бьют в ночи желтыми пулями.
В ночи же человеко-черви проползли в войска и перерезали тех, кто у пулеметов, прислугу. Захватив стучалки, они быстро добили господ. Начались танцы, под граммофон. Полковники катались перед строем, проверяя обмундирование.
Утром ударили 2 и 4 резервные армии За...я. Бой длился 49 часов 27 минут на улицах Новой Ма-Ка, не умолкая. В степи били танки. С неба свергались самолеты. Их было 4.898 (человек?). В венцах из колючек. Ни один не сдался.
Я забыл сообщить, что огнестрельные машинки выдохлись без патронов. Рукопашная ожесточила ножи. Да и вообще тяжело, под пулями засыпали, ослабевшие. И вот убит последний инвалид. Житель спрятался в этажи: город.
На площади, где красненький памятник Ленину и низкие здания, молодой мальчик, в погонах, рядовой, сын полка, перед ним табуреточка, крашеная. Слепой, а глазищи, как алмазы! Но они вставные, из стекла. Папироски кидает. Поет:
— Друзья! Купите папиросы! Подходи, пехота и матросы! Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы! Мой отец в бою жестоком жизнь свою отдал, мамку немец из винтовки в гетто расстрелял, а сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, зрение свое я потерял. Друзья! Смотрите, я не вижу! Я милостью своей вас не обижу, покупайте, ради Боже, спички, папиросы тоже, этим вы спасете жизнь мою!
Это — личико! Собираются: толпа топочет. Много он собрал, солдат и командиров. Птицелов.
А перед ним — сколоченный ящичек, полный папирос, он еще и свистульки делал. Его песенка — правда. Его песенка спета.
И он вынул свистульку и дернул, ящик и взорвало. Взрыв! — и только лёт в дыму тел, крови, щебня, и другой гадости, как и бывает при взрыве 50 гранат, сложенных в один ящик. Он всю площадь вознес. Что ж, св. Петру подмога, не менее тыщи конвойных у врат в рай поставил.
Месяца через два привезли календари и дали по листику, где день 9 мая 1945 г. обведен красным кружком.

ЖИЗНЬ

Вокруг видимый мир, Галактики. А есть второй, такой же, и оба взаиморазомкнуты. Две взаиморазомкнутые сферы. Центр у каждой — солнечная система, его мозг. Круги планет вокруг солнца — это космическая кровеносная система. Это минимир.
Максимир: это мириады таких сфер. Проще: наше солнце — это любая точка на окружности другой солнечной системы.
Если же представить космос в виде бумаги, то точкой является уже не солнце, а солнечная система. Это напоминает строение глаза стрекозы, только у нее грани, а тут окружности. Все миры огненны и зеркальны.
А что жизнь, Я?
Я — бессмертен. Кто б я ни был, животное, водопад и камень-минерал. Ведь между нами разница только в способе жизни, а состав тот же. Но в данный «век» жизнь интересует тех, кто читает мои книги. Читай.
Я — это имя. Индусские перерождения — это жуткое волшебство, тупик адских душ. Выдумки дуализма. Я — одно. Оно жило, живет и будет. Если это человек с именем ЭН, он и будет во все «века» человек с именем ЭН. Вечно жив. Умер, зароют труп, и в то же мгновенье ЭН зачат в новом мире. Перелет во взаиморазомкнутых сферах не представляет трудностей для ЭН, он невидим, скорость его любая.
Итак, час смерти здесь и есть миг зачатья там. Рождается человек ЭН, тот же по качествам, но второго мира, такого же, как этот. Бытовые справки: отце-мать те же, и дом, книги, и собака с незабудковыми глазами, и целлулоидная кукла, и надувной гусь. Умер во втором мире, рождается в третьем и т. д. до бесконечности. Одно и то же. Чередование же кругов в космосе, кровеносных, и есть диафрагма жизни. Мы их сужаем, они расширяются.
Некий Ювелир, видимо, был в начале, когда гранил пузырьки. Но потом залил это жизненным клеем с неисчислимыми именами. И это то, что зовут пространство и куда Ювелир лег. А и не нужен он. Спи.
Но при наличии стольких зеркальных миров и путешествий многие возмутятся: не может быть! А как же быть с Временами? Даже анекдотичные 9 месяцев от зачатья до рождения — куда денутся? Ведь что-то за это время разовьется, кроме эмбриона, изменится? Ничего не будет, не надо волноваться. Ведь нет же ничего изменившегося на глазах за 50 лет зримых и по книгам — за 50.000 лет. А по другим — за 70 млн. Нормально, без паники.
А куда денутся таланты золота, тоже перейдут ко мне в тот мир, они ж не одушевленные! Перейдут, одушевленные.
А Гомер — скажут, а Шекспир? Бетховен и Бэбэоби? Наполеон и Пенелопа? и др. герои древности,— они-то неповторимы?
Повторимы. В тех мирах те ж гены и престолы, их еще называют флюиды. И они там. И лодки любви. И — измы. И дома, и дни. А о Временах, высоких: увы, получается, что картина антиисторическая — во Вселенной живы одновременно все времена. То есть никаких времен нет, а есть штамп памяти, и каждый живет в своем пузырьке, перелетая из мира в мир. Не соприкасаясь с реальностью. Рисую схему жизни Я; где 1 точка — я и круг вокруг — мой мир, а 2 точка — она и ее мир.
Но и мы, как видим, разомкнуты, сферичны, чтобы размножаться.
Если это непостижимо, что посоветовать? Возьми страничку, рисуй кружочки с Я в центре. Скажи, что это Я — Бог, и зацелуй его до дыры. А вот кто эта дыра будет — не компетентен.

ЭТЮД О СЕБЕ

Некто в женском принес какао и гороховые лепешки, ем. Уж выпил 2 яйца и стакан киселю из малины. Питание — называется!
Невыразимая грусть! — говорят. Выразимая. Книжки, мною писуемые,— вы вода. Но и крови врут.
Лепешки: горох, картофель, лук — вкусно, б. н. м.! Ругаться не надо.
Люди в черных воротничках, художественно. Иду, как мимо кладбища. Ночь, черно. Светофоры, шоссе, машины, аффекты света, картины домов.
Круглогранные башни, живут дялби. Вечерами у них глаз болит. Трезвость дялбей мучит. Птиц нет, ни одной, некому сказать цып-цып! А сказал бы!
Спросят: опиши ж, где ты? — к концу книги не вытерпят. Я описал. Легче от этого? Интересно б знать, опустится ли t° ниже 0 и жил ли кто с такой t° (нулевой!)? Если жили, есть о чем вспомнить.
Думаю о монастыре, неталантливо.
Склеил пуговицу от рубахи, чтоб не тратиться на новую. Сплю уж в 24.00, как агрегат. Так выпытают самые интимные части тела. Ножка болит, правая, слабая, тонкая, но не менее искусная, чем левая, хоть и менее левой на 1,5 см в длину. Годы сгладят и эту разницу. Да и глядя на меня, никто не скажет, что одна нога хуже другой. Скажут: это клевета, обе лучше. Но это не клевета.
Мои глаза миндальные и сильно смотрящие. Нос целен. Рот римский. Живот вскрыли 6 раз, выпрямляется. Поясница прямая, гнутая, плечи широкие, кожа белокожая, мышцы молодые, волосы густеют, без подшерстка, два уха формируются. Ум — как видим.
При женщинах я не ношу рубах, рвут. Зачем женщины? Чтоб утром надеть жилетку и застегнуть привязные ремни? В темноте мне милее целлулоид, и он возбуждает больше, чем женское тело. Влюбиться в куклу мог Андерсен, но я о том, как сходятся женщины и мужчины, это тошно — затяжные бои, как дожди.
Недовольство мое.
Меня нужно читать, как я пишу — книгами. Я не пишу отдельно поэз, новелл, комедий, я ничего не пишу или — книгу. Чтоб представить мой вид, нужно прочитать книги в следующем порядке:

СТИХИ:

1.	Апокрифическая книга	— 1952—1953
2.	Рубеж	— 1956
3.	Бумага для песен	— 1957
4.	Всадники	— 1959 *
5.	365 дождей	— 1960—1961
6.	Гипорхемы	— 1960—1962
7.	Вторая Троя	— 1962
8.	Тиетта	— 1963
9.	Книга Юга	— 1963
10.	Сорок сов	— 1963
11.	Два сентября и один февраль	— 1964
12.	Хроника Ладоги	— 1964
13.	Ямбы, темы, вариации	— 1965
14.	16 стихотворений	— 1966
15.	Хроника-67	— 1967
16.	Пьяный Ангел	— 1969
17.	Продолжение	— 1970
18.	Знаки	— 1972
19.	37	— 1973
20.	Дева-рыба	— 1974
21.	Хутор потерянный	— 1976
22.	Верховный час	— 1979
23.	47	— 1983

ПРОЗА:

1.	Где, Медея, твой дом?	— 1963
2.	Иллюзионист	— 1964
3.	Мальчик-Спальчик	— 1965
4.	Вечера сирени и ворон	— 1965 *
5.	Летучий голландец	— 1965—1967*
6.	Властители и судьи	— 1968 *
7.	День Будды	— 1971 *
8.	День Зверя	— 1980
9.	Башня	— 1985
10.	Дом дней	— 1986

ПЬЕСЫ:

1.	Панек ЭН ищет зеленую палочку	— 1961
2.	Город, в котором заблудился юмор	— 1963
3.	Ремонт моря	— 1965

Звездочкой помечены книги, которые опубликованы.

ПОСИНЕЛЫЙ МАЛЮТКА

Время гашения фонарей, вид с луны.
В эту пору сидят миллионы; и пишут. И всякой свекле мерещатся Священные Рощи и в них свистки славы. Как бы с этим кончить (с жизнью!), среди огней?
Где-то луга, и по ним бичи, и кони, кони... А на чем скульптор изобразит из бронзы — полководца? На сталелитейном кресле? На истонченном ладожском мраморе — жилы танков? Но танки имеют форму конечную.

Я пишу по ошибке.
Я мог бы сидеть на доске над бездной людской и играть на гире 16 кг.
Пошел в лес, собирал колокольчики, баба несла белый; тщеславие и престижность: купит гриб на рынке и несет в лес, будто из лесу. В лесу душно, это дней 10 будет, градусов на 30 выше нуля. И лес оплюсует. Но потом уж будет холодно.
Птичка Отнюдь налетит с наклоном и бросит шар в кабинет, цельсиевый,— опять Кто-то родился! Разрежем шар пилой ЛП, и кто ж этот Кто-то?—Посинелый малютка.
ЭЛЕКТРОДОМ.
Скука, скучно без цитры! Паштет гусиной печенки — радость, да недолгая. В яйце хорош белок, с желтком хуже. Ел лед.
Подвал гигантской силы, будто в нем заморожен диаметр Времени, вот я и ем холод. Моюсь росою, как конь.
Из серости ничего не выудить, она ведь вечность. А серо. На дубовом шкафу я не заметил гуся. Зеленый, надутый (воздухом!) изо рта. С одной куклой было б семейно, а гусь — уж оттенок комизма.
Еще: на стене ласты. Я думал, зачем? А это старуха-хозяйка ходит в них, как в шлепанцах.
Не помню, что снилось, какие-то непомни.
Я дорасскажу о вчерашней грозе.
Какой мнимый мир — это гроза, вспышки зари, видимые в форме звезды гром с водой, и что? Потому что я вышел на шоссе.
Я был в комнате, ничего не видел, одни молнии, одни молнии. И что-то мармеладное на полу, с оглобельками, как леденец, и это — жалости тележки. Нужно б выходить из стиля, я вышел на шоссе.
И вижу — Герберт и Эйно, братья, несут по шоссе носилки, и во всю длину их с двух сторон горят палочки с бенгальскими огнями. Зрелищно. Я ближе.
— Кого несете? — я думал, зайца, Эйно — вор.
— Посмотри,— сказал Эйно.
При вспышке я посмотрел: несли Его, в сером плаще с металлическими пряжками, лицо строгое, глаза под веками, на них монеты, а во рту воронка, ею переливают жидкость из бутыли в бутыль. То есть так бы могло пронести мимо рта (ливень!), а так уж не пронесет. Пузо вздулось.
— Кто Он?
— Неизвестный солдат. Пал с тучи и бежал по шоссе со штыком, всех коля.
— Ну и что?
— Туч-то полно, и этих больше и больше, падают на четыре руки и бегом. И колют. А во лбу штык.
— Единороги! — догадался я.
— Штыки!
— Женщин на вас нет! — сказал я братьям.— Вы оба живете без женщин, вот и до солдат из туч докатились.
— Женщин нет! — Герберт выхватил ракетницу из кармана и дал громовой залп. Осветилось.
И я увидел: за нами в ста шагах — колонна женщин, в несколько тысяч, по шоссе, до горизонта небесного электричества, а во лбу у них штык. Это их песни, это их ноги шли, как раскаты грома.
Я и в комнате думал; душно, гроза за грозой, а не дождливо. Теперь-то ясно: это не дождь, а ночной поход.
Я откинул ткань, и это был Он, мужчина. В свиных башмаках. С пузом от налившейся туда воды. Дождь то шел, а то не шел, а вода и лилась. Рога на лбу (штыка!) не было. Седые волосы по краям.
— Где рог? — спросил я.
— У него и не было,— сказал Эйно, жулик. Герберт (60 лет!) молчал. Теперь не узнаем, что было, чего не было.
Эстонский народ возрождается: в полночь несут на носилках по шоссе Неизвестного солдата, он пал с тучи и окружен бенгальскими огнями для подсветки, во рту воронка, растет пузо. И тысячи женщин, идущие в ночь с грохотом. Если еще спросить:
— Куда вы несете этот труп? — будешь дурак дураком.
Не спрошу.
Нельзя быть живописцем в прозу, это ж слова. Нужно оставлять недоделанные дни. Кое-какие заметки на полях, ремарки, троеточия, чтоб читать.
Здесь уместно такое объяснение:
В грозу Бог строит электродом. А женщины... все они какие-то всехние... Не знаю, что дальше.

ЭПИЛОГ

В 12 лет я выпил рюмки веселья, до дна. Алк. отравление, рвота, ломота и т. д., икота. Отец сказал бабушке:
— Скажи ему.
Бабушка сказала:
— Видно, возраст сейчас другой у него. Пей с живыми, залейся, но не пей с мертвыми.
Я не понял.
— Как можно с мертвыми? — я не понимаю.
— Еще как можно,— сказала бабушка.— В основном-то с мертвыми ведь и пьют. Не пей, ты. Выпьешь рюмку — пройдет сто лет. Выпьешь вторую — пройдет еще сто. Выпьешь третью — и еще. Выйдешь на улицу, а уж триста лет — нет. Никто не узнает, не то время.
Я думал — пугают; ребенка.
Прошло 37 лет, после тех двенадцати.
Мне 49. Я уже 5 лет не пью с живыми, не пью ни с кем, не пью ничего винного.
Отец мой в последние 5 лет пил, и только с мертвыми; и прошло ему 500 лет, он пал, осунулся, одни зубы, каковые имел — чистил солью! Но он забыл мир вокруг, его невзлюбили, и он ушел к своим. К тем, с кем он воевал в беспрерывных атаках, в белых рубахах.
И бабушка моя Юлия Иогановна ушла к своим, к тем, тевтонам. Но она не пила и ушла в трезвой памяти, рано утром, молодой.
Отец ушел в 51, бабушка в 61.
Я запомнил; советы.
Уходят други-круги.
Ушла моя жена М., в 40 лет. Она много пила с мертвыми, она уж и не узнавала этого света.
Я и этих, и это запомнил. И я перестал пить, начисто.
Два года я ходил слепым и на век оглох.
Но не пью.
Не пью я вино, но тянет выпить с мертвыми. Вот допишу я книгу о мертвых и выпью с каждым по рюмке, и пройдет млн лет, и ничего уж не будет. А буду я сидеть у окна и пить рюмку за рюмкой, пока не уйду к своим, в этой книге мною перечисленным.

ОТ ВОЙНЫ

Я не подействую на ум современников, не толпотворец, а пишу в Эстонской губернии, ем мамалыгу из оловянной миски.
Живую жизнь я видел на живодерне. Вот где кипит!
Ночью сел, не спал; холодно и плохо. Что, ч-к?
Утро. Луна из льда. Кормлю овцу сырой картошкой, кругляши; молодая овца и картошка не старше. Ела, радостно блестя глазами. Какие выпуклые!
Солнца не будет до нового неба!
Города-спруты, электрификация, ядерная бомба, летанья в космос и пр., и пр.— это уж такая ветхая архаика, что черный петух с золотыми перьями, поющий в юбке, как шотландец, с трубкой из чистого серебра, и овца, мутонная,— вот новинки!
Век новинок — это львы, выведенные из стойла в Библию. Но разве до этого дойдет?
А люди, а они нарисованные ножницами по шаблону; что им мешает ходить в шинелях?
Они пугают: «После этой войны ничего не останется!» Ах! Останутся — арфы! Они будут висеть на дубах и звенеть, как бидоны! И мы будем читать точные книги, без энциклопедий. И доить со звуком козу, она не поддается радиации! Вон сколько останется. Мало ль?
Сон у нас будет, день и ночь отделятся сами друг от друга, без электрификации. Будем гулять босой ногой (правда, одной, вторую оторвут!).
И вторую ногу оторвет тебе женщина. Она не потерпит, чтоб у кого-то было больше ног, хоть на одну, чем у нее. И потребует, чтоб ты и свою оторвал к чертовой матери. Но так далеко мечтать и ни к чему.
Вон — машут руки из-за гор, зовут в мир к тем, кто ушел к себе. Рано еще, сыро еще...

УЗКИЙ СЛЕД

Подходя к г. Отепя, я вижу дом без окон, не жгут.
Адрес ада!
Горе ч., если он подходит к 50, а Тот водит ртом, как глухонемой; пиши, пиши.
Упадет ч., раскинув сапоги, а Тот польет его из лейки, а душу в коробочку, положит, как кнопку.
Никто не видит, кто этот Тот, а живописец рисует на доску. Откуда ж Он голову носит, овальные волосы горят и горят!
На дороге стела, на ней пароль высечен: ИДОЛ-ЛЮДИ.

Дождь шел 37 раз и 37 раз солнце; было — 74 смены погоды в один день, а заката еще нет.
На Пюха вода в юбках.
Жую Тооме, печенье с тмином.
Я бросил в Пюха камень. Всплеска нет, круга нет. А камень? — не видать. Я бросил второй. Та ж картина. То есть картины нет. Потрогал воду сапогом — вижу дно, проницаемая. Смотрю па сапог, он на ноге. Я бросил третий камень, 8 кг, толчком, от плеча, как ядро. Из руки он взлетел ввысь, падал, падал, и... нету!
Я обойду г. Отепя, осмотрю столбы.
Будут ли лампочки, или окна выжгли дотла?
Опустела моя голова.
Тупик, тупик.
Течет облако. Оно облакораживает.
Мой узкий след идущего по шоссе еще запомнят те, эпитеты!

ГЕОДЕЛЬ

А вчера! — во весь горизонт — золотая щука, лежит на земле, а над ней небо как фон, и что главное — и пасть щучья.
Хороший рок.
Все тревожнее мне!
Охладеваю в ночи при комн. температуре, пью кипящий бульон, не помогает. Температура тела к ночи 35°, а утром доходит лишь до 6 делений от низу.
Я с телом живем 6-ю деленьями из 40°.
Одно утешает: живет же страна, встает, застегивая ремни из-под каждого куста, крича: — Я — ШЕСТАЯ!
Она — $^1/_6$ мира, а у меня — делений тепла, да и на них градусов не написано; по идее это должно быть 33,6°, но нет па градуснике цифры 33.
Вот и гадаю, кто я с таким холодком. Жив, ходок.
Околеваем.
Что врачи? Они скажут: женись. На ком? На ШЕСТОЙ! И поползаешь на коленях от Калининграда до Чукотки, от Новой Земли до Кушки,— искать, где груди, пупик, а где женский живот. Да ее один плевок — как Каспийское море! Да и бездетна.
Женись так, скажут, без ШЕСТОЙ. Не могу, титул не тот, на племя нет жен равных.
Как ноют ноги, сладко, связки растянул. Ни дня без 18 км. В 19.00 я иду на закат и в 21.15 я тут, дома; 7,2 км в час.
Ой, как стянул ногу бинтом, как больно, а полезно ль? Стерпеть-то стерплю, а вдруг — антинужно это? Ничего, посмотрю что будет. А что будет, ноги не будет, бинт отрежет.
Лежу, как столб, двурукий.
Окостенение. Пальцы не гнутся. Это женщины любят у юношей, чтоб рядом лежать, околевшие.—
Всю жизнь!
Уезжаю — сжигаю. Открыл печь горящу, туда рубашки, туфли, резиновые сапожки, кепи, джинсы с носками, шарф из шелка, бумажки.
Оденусь я в новое, дунет норд-ост, и снимусь.

18 июля 1985—18 июля 1986

РЕКВИЕМ

Памяти Тамары Сильман

Ты, миленький, уснул, а я еще не сплю,
Ты где-то далеко, и ты забыл, любимый,
Как ты в меня влюблен, как я тебя люблю,
Как стали мы во всем неразлучимы.
И все же двое нас, два тела у двоих:
Ты — в царстве сна, а я вот на тебя взираю,
И может быть, когда-нибудь раздастся крик
Кого-нибудь из нас: Я умираю!

. . . .

Тамара Сильман, 1916

От слез у меня два солнца в глазах,
Два солнца. Не так уж и много.

. . . .

Тамара Сильман, 1965

I

1

Столько было горя на пути.
Нам с тобой брести — не добрести.

Столько было пройдено дорог,
Я тебя берег — не уберег.

Столько было радостей у нас —
Как же это я тебя не спас?

2

За тенью за любимой за твоей
Я не сойду в обличье человечьем
В обитель мертвых. Тщетны эти встречи.
И Эвридики не обрел Орфей.

Нет, если б знать, что стала тенью ты,—
Я тоже тенью стал бы меж тенями.
И вечность бы открылась перед нами
До самой до последней до черты.

3

Нас было двое — и теперь нас двое.
И ты жива — жива теперь во мне.
И голос твой звучит в моем негромком слове —
Он слышится внутри, а не вовне.

Так нам дано отныне вместе длиться
В нежданных, дальних, одиноких днях.
И вместе плакать на могильных плитах,
Где твой зарыт непепеленный прах.

II

1

Сожгли прошлогоднюю осень.
От листьев осталась зола.
Но май лицемерный уносит
Последние капли тепла.

Владимир Григорьевич Адмони (р. 1909 г.) — советский литературовед, лингвист, переводчик, критик, поэт. Доктор филологических наук, профессор. Печатается с 1925 года. В 1971 году Институтом имени Гете в Мюнхене удостоен Большой золотой медали памяти Гете. Книга стихов — «Из долготы дней» — вышла в 1984 году. Живет в Ленинграде.

И ветер, как сильная птица,
Порывистый и дождевой,
Нежданно в окно постучится
Вернувшейся к людям душой.

2

Вновь город мне дан как образчик
Все той же весенней тоски.
И чайка, как солнечный зайчик,
Блеснула над рябью реки.

И мраморы статуй тускнеют,
Как старости стойкая грусть.
И в солнечных пятнах аллея,
Где я никого не дождусь.

3

Когда-то я их знал наперечет:
Одних — по имени, других — по виду.
Но я запомнил только Немезиду —
Она стояла слева у ворот.

Какой она казалась незлобивой.
И юным был ее бесцельный взор.
Открылась грудь в порыве торопливом.
И лишь у ног был небольшой топор.

Там, кажется, сирень теперь цветет.
Обвив былые беды и обиды
Лиловой вязью,— слева у ворот,
Где всех нас ждет доныне Немезида.

4

Сирень без тебя. И медлит.
Не кончается нынче она.
Где пеной, где синей медью
Полыхает эта весна.

То фиалок ночных нежнее,
То туч грозовых темней,
Набухает сирень. И над нею
Все еще поет соловей.

Тот кладбищенский, тот непомерный,
Что, поверив людской тишине,
Прославляет утраты и жертвы
На замедленной этой земле.

III

1

Снова строки, и строфы, и рифмы,
И связать их я вновь не могу.
Лишь дивлюсь на недолгие ливни
На латышском большом берегу.

Потому что уже он искрится
Влажным солнцем и влажным песком.
И уже успокоились птицы
С черным клювом и черным хвостом.

Их качают нечастые волны.
И им, верно, совсем ни к чему,
Что направо, над Ригою, словно
Небо рушится в черном дыму.

2

И на береге этом морском
Нам всегда далеко до заката.
Потому что планета поката
И вращаться умеет тайком.

Да и птицы туда не летят,
Где лиловым становится пламя,
Где, в воде растворяясь, закат
Как навеки прощается с нами.

IV

1

Какими темными бывают ели,
Огромные и старые, в ненастье
Исполненные странного покоя
Над черным мхом,— но с непонятной силой
Вдруг в памяти возникнул день другой:

Доверчивые маленькие пчелы,
Обманутые теплым днем апреля,
Жужжат и льнут к цветам, раскрытым настежь,—
К тюльпанам, и к гвоздикам, и к левкоям,
Которые принес я на могилу —
Твою могилу в день сороковой.

Потом был снег и долгий, долгий холод.

2

Был каждый час разлуки ни к чему.
Мы издавна страшились расставаний.
Счастливые еще и потому,
Что с давних пор про наше счастье знали.

Вдвоем, вдвоем — но не наедине.
Немалый мир был тут же, вместе с нами.
Он с нами был внутри, а не вовне.
И все же мы страшились расставаний.

3

И мы не верили в старость.
Настоящее — впереди.
И так часто ведали радость
Всему и всем вопреки.
По плохим пробираясь оврагам
И худые минуя мосты.
Вот и вышло, что мы были правы.
И не ведаешь старости ты.

4

Все оплачено было сполна.
Нашу юность рубили сплеча.
Наша молодость стала немой.
Наша зрелость прошита войной.
Был и голод, и мор, и мороз.
И весь день продолжался допрос.
Тех, кто рядом, вели на убой.
Мы тогда уцелели с тобой.
Уцелели и стали тверды —
Да остались на сердце рубцы.

V

1

Как может быть, что ты меня не ждешь?
Что я вернусь, и ты меня не встретишь?
Что я спрошу, и ты мне не ответишь?
Как может быть, что ты меня не ждешь?

Кому же расскажу, как не тебе,
О всем о том, что видится и мнится:
О храбром воробье, доверчивой синице,
О малой радости и о большой беде?
Как может быть, что ты меня не ждешь?
И я живу, когда ты не живешь?

2

Я вижу ночь. А ты ее не видишь.
Не чуешь утра. И не слышишь дня.
Так обездолить, обделить, обидеть —
Тебя обидеть, обойдя меня!
Ты не покормишь скорбных воробьев.
И дальнему страдальцу не поможешь.
И для друзей не выберешь даров.
И больше слов бесценных не умножишь.

3

Ты — бедная. Но и вся жизнь бедней,
Вся эта жизнь теперь беднее стала.
В ней столько неувиденным осталось.
И столько недорадовано в ней.

4

Ты радовалась каждому мгновенью.
И доброю была к предметам ты.
И видела в простом прикосновенье
Простых вещей повадку красоты.
Все малое росло в твоих ладонях.
И скудный мир — он делался щедрей.
И было так — все то, что ты ни тронешь,
В тебе звучит в особости своей.

5

Я не прощаюсь с красотой твоей.
Она проглянет в каждом совершенстве
Творений духа и земных вещей.

В нем властвовала, в этом лике женском,
Гармония. Он был как мера мер.
Как весть о дальнем и былом блаженстве.

Он совершенным сделаться посмел
В перечеркнувшем совершенство мире,
Где жесткость есть живущего удел.

И все-таки все очертанья мнимы.
И вязнет воздух в тяжести земной.
О, как тоска и страх тебя томили!

Но на лице твоем царил покой.
И делались порой счастливей люди,
Утешены твоею красотой,

Которая нетленною пребудет.

1974

Лев Куклин

БАЛЛАДА О РЕПРЕССИРОВАННОМ

Не судьба виновата...
Что ж — о том колесе?
Взяли в тридцать девятом.
Вышел, в общем, как все.

Падал в черную бездну
И не ведал в ночи,
Как Двадцатого съезда
Вдруг скрестились лучи...

Ну, еще бы, еще бы:
Острой болью изрыт,
От доклада Хрущева —
Помнит — плакал навзрыд.

Плоть от плоти народной,
В уцелевшем числе —
Невиновный,
свободный,
Он стоял на земле.

А потом он работал...
Где — неведомо мне,
До десятого пота,
До ломоты в спине.

Стерлись многие лица,
Имена, города...
Приезжая в столицу,
Он приходит сюда.

Здесь, где памятник честный,
Как терновый венец,—
Тот, что Эрнст Неизвестный
Изваял под конец:

В камне черном и белом
Скрыт наивный контраст.
Время словом и делом
Всем по праву воздаст!

Не склоняясь к расчету,
Не стыдясь доброты,—
На могилу к Хрущеву
Он приносит цветы...

ТОСКА

Тоска...
О нет — не в стиле «ретро»,—
По гобеленам и свечам,
По верстам — а не километрам! —
По праздным милым мелочам...

Тоска приходит к человекам
Под современный гул и гам —
По родниково-чистым рекам,
По незагаженным лугам.

Тоска по книгам — умным, плотным,
По неисхоженным местам,
По вымирающим животным,
По исчезающим цветам...

Тоска по брошенным искусствам,
О, ты смеяться не спеши! —
Тоска по уходящим чувствам,
Реликтным тонкостям души...

Тоска... Цедить ее не будем,
Как будто мед из туеска,—
Тоска по людям,
добрым людям —
Непреходящая тоска!

Лев Валерианович Куклин (род. в 1931 г.) — советский поэт, прозаик, сценарист. Печатается с 1947 года. Первая книга стихов — «Соседям по жизни» — вышла в свет в 1958 году, за ней последовали многие другие. Автор ряда популярных песен. Живет в Ленинграде.

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

35

Уже сколько дней не было у Самсонова такой ясности, такой уверенности в своих действиях. Во главе понурых штабных он бодро выехал из Найденбурга и бодрой ходой шёл конь под ним. Свежесть была в груди, несмотря на короткий сон. Ещё более свежести додавало августовское сырое утро, победный разрыв туманных хлопьев солнцем, разгон пелены, обнесшей небо на рассвете.

Как славно подыматься утром рано! Как славно думается и действуется утром! Как обнадёживо представляется в утреннем холодке ход сражения! Сколько ещё прекрасных утр может быть впереди у 55-летнего человека!

Путь поездки он не сам выбирал, и повезли его кружно, восточной петлёй, с проездом деревни Грюнфлис и угла Грюнфлисского леса: уверял начальник казачьего конвоя и штабные, что по короткой дороге до Надрау беспокойно, может прорваться немецкий разъезд, могут стрелять из засады. И всё равно на полпути запылили справа конные, приближались. Конвой изготовился к бою, выслал навстречу разъезд.

Оказались свои: взвод драгун из 6-го корпуса, взводный эскорт, чтобы сопроводить бумажку донесения на полсотни вёрст ничьей, полупустой, не своей страны. Если б штаб не поехал кружно — и не встретил бы их.

Сейчас было 8.30, а донесенье Благовещенского — от часу ночи, сутками позже вчерашнего,— ночное аккуратное суточное донесение, как если бы в промежутке не случилось важного. Что ж, идёт он на выручку Клюеву? прикрыл спину центральных? или занял твёрдые рубежи?

«...о т о ш ё л к О р т е л ь с б у р г у...»

Не сходя с коня — карту! Вчера Благовещенский необъяснимо отходил к Менсгуту, и это казалось грозно. А сегодня — о, если б он остался под Менсгутом! Но он ещё на 20 вёрст откатился — по знакомой дорожке, в Россию скорей...

Корнет порывался, кажется, рассказать и больше об этом откате, но командующий сдержал. Себя самого щадя, свой внешний уверенный плотный вид — для окружающих.

А за те семь часов, что драгуны скакали,— может, Благовещенский уже бросил и Ортельсбург?.. Может быть он уже в России?..

И что ж можно было теперь ему приказать?.. Удерживать во что бы то ни стало Ортельсбург?.. *Во что бы то ни стало...* ни стало... От стойкости вашего корпуса зависит...

И поскакал корнет со взводом и с бумажкою назад. Чтобы доставить её после полудня.

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—5.

А донесение Благовещенского шло по рукам штабных. Надо было сообщить о нём Клюеву? А как? Да ведь он к Мартосу переходит. И мы к Мартосу едем.

Разве вот что: Живому Трупу надо об этом знать, может быть руки его хоть немного оживеют. И подправят. Сейчас конными в Янув и оттуда по телеграфу.

И всё так же, большой планшет на конской голове, почерком размашистым:

«6-й корпус отошёл южнее Ортельсбурга, по словам офицера-очевидца — в беспорядке. Корпус сильно пострадал, ослабел физически и морально. Еду в Надрау, где приму решение относительно наступающих корпусов...»

Он написал «приму решение», как если б оно ещё не было принято: наступать центральными корпусами! Но теперь, Благовещенский так откатывался,— остановить? отозвать центральные? Но как не хотелось! Всё больше оседали отбитые плечи армии, но как дорог был утренний разгон, державший Самсонова молодцом-солдатом! «Приму решение» — а в том же направленьи тронул коня.

И штабные, глухо ропща, тронули за ним. (Большой знаток заполненья бумаг, утешал себя Постовский, что даже несколько часов, проведенных вблизи огня неприятельской артиллерии, можно будет выгодно записать себе в послужной список и в орден.)

С одной вершины открылся распашистый вид на озеро Маранзен — продолговатое, вглубь и вглубь. Солнце светило через плечо, вода не сверкала, темно покоилась. И лес глубокий стоял по берегам. А по склонам холмов разбросались мёртвые фольварки, краснея черепицею.

И, отойдя от забот своих, облегчённой душой принимая мир без нас:

— А красивая страна, господа!.. И откуда здесь такие высоты, такие виды?

Встречью втягивался на высоту обоз раненых, много ран штыковых. Кто стонал, а кто говорил вполне бодро, ещё бодрей при трёх генералах: ночной штыковой бой у деревни, вёрст десять отсюда. В один голос: удачный бой, мы победили!

Да и сейчас гремело слева недалеко.

Кроет, кроет нас Господь и Божья Матерь. Так быстрей же вперёд, господа, мы ничего не знаем!

«Надрау» — так по маленькой деревне только назывался командный пункт Мартоса, а был он западнее, на высотах, в полукруге леса — отличное место с обширным видом. Передняя линия отошла, обстрел уже не достигал сюда, и несколько офицеров стояли открыто на холме, на солнечном уже припёке и передавали друг другу бинокли.

А внизу, по шоссе, к железной дороге и через неё, шла медленная колонна — нет, вели колонну пленных в оцеплении, да! пленных не меньше тысячи!

Узкоплечий невысокий Мартос на стуле сидел, и тоже смотрел в бинокль. О переезде армейского штаба они ничего не знали! Оглянулись, и против солнца не сразу узнали конных.

С юной лёгкостью вскочил на ноги немолодой полководец, передавая в левую руку короткую тросточку, всегда покачиваемую на ходу. И, с честью, вытянулся перед конным дюжим командующим, щурясь против солнца:

— Ваше высокопревосходительство! Противник силою в дивизию пытался атаковать нас ночью лощинным подходом к деревне Ваплиц. Замысел его обнаружен, расстроен и даже нарушено управление: у кладбища Ваплиц противник уничтожал своих же артиллерийским огнём, видимо рассчётным, без наблюдения. Наступавшая дивизия разгромлена и отброшена, мы удерживаем важные Витмансдорфские высоты. Имеем пленных две тысячи двести, до ста офицеров, взято двенадцать орудий. Хотя и очень ослабленные, Калужский и Либавский полки пошли в атаку противнику в спину и содействовали победе.

Мартос не захватывал чужого, он делился успехом и с соседями.

Всё зримо: вот и пленных вели, а маленькую группу офицеров завернули сюда, на высоту.

Вот этот торжественный момент и предвидел командующий! К нему он и рвался утром из Найденбурга! Он ехал не зря!

Доклад корпусного Самсонов принял в седле, но тут же грузновато, однако и уверенно, спустился на землю, передал поводья и — не разминаясь, сверху вниз увесистыми руками обхватил за плечи узкого ловкого Мартоса, облобызал его:

— Один вы! Один вы и спасаете нас, голубчик!..

И, отклонясь, смотрел на него, желая ему четверть царства. Ту награду предвидя, которой можно было бы украсить эту узкую грудь — если б не было табеля очерёдности возможного получения наград...

Вздорная мысль Постовского идти на Алленштейн уже никем не вспоминалась. Но может теперь-то и повернуть корпуса круто налево с сильным ударом в немецкий тыл? теперь-то и пришла пора бокового наступления, вчера ещё определённого в армейском приказе? От кого и услышать первого, как не от победителя:

— Хотелось бы ваше мнение, Николай Николаич!

Мартос ровно держал отважную узкую голову, блеснул глазами. Он не искал времени раздумывать, не изобразил отягощённого думой чела. Подхватистоловкий, с плечами сами собою поднятыми, с усами ловко подкрученными, он так же молодцевато и ответил:

— С вашего разрешения — немедленно отступать!

Он не имел докладов об отступлении Артамонова и Благовещенского, но прирождённым чутьём угадывал, что не тут его корпусу место, а — назад и скорей! Как улитки или птицы предчувствуют бурю — давлением воздуха или астральными струями, так утягивало и его.

Но командующий: как? что? — не понял. Почему же?

И Постовский, с помощью казака осторожно сойдя с коня, приблизился и, видя несогласие своего командующего:

— Что-о-о это вы панике поддались! Не-ервы у вас подгуляли! Слева вот-вот подойдёт Кексгольмский полк. Справа вам придана бригада 13-го корпуса. Сам 13-й вот-вот, вот-вот...— Постовский даже оглянулся, ожидая корпус увидеть, но тут лес был стеной,— подойдёт и весь. А ещё ж и конница Ренненкампфа. Кто ж нам позволит отходить?

Уж чего никогда не знавал Мартос — это нерешительности. Энергично чеканил своё:

— Корпус бьётся третий день подряд и пятый день из шести. Потеряны лучшие доблестные офицеры, несколько тысяч солдат. Корпус изнемогает и к активным действиям более не способен. Нет кавалерии, действую вслепую. Снаряды на исходе, подвоза нет. Недостача уже и патронов. Наши непрерывные атаки не дают выигрыша армии, лишь усложняют её положение. Надо отступать — и немедленно.

И напором его доводов сметён был весь утренний стройный замысел, так что уже ни чёрточки не восстановить. И не было той радостной атаки, куда командующий должен был скакать или послать. Без него тут было всё уже и выиграно, и обсуждено, и предложено, и проиграно.

А ещё ж не знал Мартос об отступлении фланговых корпусов.

Самсонов тяжело помаргивал, как борясь со сном. Снял фуражку с потеснённой черneди седеющих волос. Отёр лоб.

Как никогда, лоб его был крупен и беззащитен: белая мишень над беззащитным лицом.

36

В запале и спехе Воротынцев промахнулся: уж начав утро с розысков Кондратовича, надо было не сходить со следа, настигнуть увёртливого генерала, пристыдить или припугнуть Ставкой,— и ещё можно было поставить к западу от Найденбурга всё, что в 23-м корпусе оставалось способно обороняться.

И генерал Кондратович, которому — счастье выпало? — что его корпус раздёргали, и, будто бы собирая его, можно было долго кататься поездами между Варшавой и Вильной,— генерал Кондратович в это утро несомненно побывал где-то тут, не дух же: впервые он приблизился к передовой линии, его видели в одном месте за час до Воротынцева, в другом за полчаса. Но у Воротынцева недостало терпения скакать за ним, и пока он собирал сведения от раненых, Кондратович примчался в Найденбург и, не имея тут никого выше себя чином,

распорядился: командиру Эстляндского полка взять шесть рот и пулемётную команду и с ними уходить на восток, по шоссе, сопровождая и охраняя его, генерала Кондратовича. Он, очевидно, так расчёл, что одна растрёпанная дивизия его несобранного корпуса всё равно уже подчинена Мартосу, Кексгольмский полк занял позиции и сам продержится, остальные гвардейские полки сюда вовсе не дойдут,— и ему, корпусному, делать нечего, а безопаснее отойти за русскую границу и там ждать, чем кончится.

Всё это узнал Воротынцев, спохватясь, уже отослав записку Самсонову.

Ещё сегодня рано утром был Найденбург резиденцией штаба армии, центром и узлом связи и дорог — и вот к полудню в нём не осталось ни одного генерала, никого старше Воротынцева чином, и никакой связи ни с корпусами, ни с фронтовым штабом, а все покинутые должны были своим умом и совестью сами избирать себе образ действий.

Зато Воротынцев сохранял состояние чистого делания, черезсильной лёгкости, свободы от собственного тела, от собственных желаний и мыслей,— он был только подвижным приспособлением спасти и поправить, что можно. Прохват, продух с левого бока армии ощущался им как колотье в своей груди, и только знал он: надо заткнуть эту скважину на те несколько часов, пока командующий успеет проехать к 1-му корпусу.

И в запруженном тревожном Найденбурге он нашёл подполковника Дунина, батальонного командира эстляндцев: четыре его роты, сильно прореженные, оправлялись тут со вчерашнего дня, а подполковник сам ещё не решил, что делать. И ещё с другим подполковником подошло с севера пять рот эстляндцев же — да таких рот, что каждая была едва ли сильнее взвода. Ещё ночью они стояли на позиции, а утром сменили их кексгольмцы.

Этим двум подполковникам и половине сохранившихся ротных Воротынцев в несколько фраз объяснил положение города, положение армии, уход в Россию остальных рот их полка, вместе с полковым командиром, и что́ от оставшихся надо. Говорил — а сам лица оглядывал, как будто и своесобственные, а в чём-то главном сходные все, какими сделали их: армейская традиция; долгая гарнизонная служба, отдельный от общества мир; и отчуждение, и презрение со стороны этого общества, осмеяние от передовых писателей; и верховный запрет мыслить о политике, о *материях*, обстриженный или потускневший интеллект; и постоянная денежная недостаточность; и черезо всё это, в очищенном и собранном виде — энергия и мужество нации. Вот *это* и был их момент, и Воротынцев не сомневался в ответе.

Надо — так надо. Подполковники оба согласились подчиниться Воротынцеву, но выразили, что их солдаты уже стоять не могут, особенно велико ошеломление от тяжёлых немецких снарядов, пережитых без окопов. Попросил Воротынцев по крайней мере построить их всех у западного выхода, при шоссе на Уздау.

Пока роты собирали и выводили из города назад, а те брели понуро, бурчали и оглядывались, Воротынцев успел повидать коменданта Доватура — полненького, с брюшком, очень вежливого и обязательного, и уговорился с ним о патронах, подводах под патроны и указал западней города место, куда прислать ему связного, когда город освободится от обозов и всех уходящих.

Построили солдат плотно, в шесть шеренг, все в тени, не раскиданы фланги, и без крика всем слышен голос. Эти минуты построения Воротынцев, руки за спину и расставив ноги прочно, смотрел на свой неожиданный отряд с длинным чёрным дядькой на правом фланге.

За двое суток, что перемалывали их полк, состарились уцелевшие: появилась в них достойная медленность смертников, никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить её лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица, ни с показной бодростью: там, где со смертью они сокоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но не слупились ещё настолько, чтоб и всякие команды перестали быть над ними властны. Ещё и простого приказа могло достать, чтоб они вышли на позиции,— да только разбежались бы вослед, а надо, чтобы держали.

И что ж можно было им сказать сейчас? У них ещё утпи не отложило, они ещё не отдышатся, что вырвались из смерти,— и опять туда? Да какой-то чужой

полковник, который, смотришь, тут же и сгинет, с ними умирать не потянется, только их погонит.

Уж конечно не «честь» — непонятная барская. Уж конечно не «союзные обязательства», их не выговоришь. (И сам Воротынцев не слишком к ним расположен.) А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? — это они понимают, на это одно откликнутся. Вообще за Царя — непоименованного, безликого, вечного. Но *этого* царя, сегодняшнего, Воротынцев стыдился — и фальшиво было бы им заклинать.

Тогда — Богом? Имя Бога — ещё бы не тронуло их! Но самому Воротынцеву и кощунственно и фальшиво-невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Божье имя — как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их такими дураками ожидать?

И оставалась — Россия, Отечество. И это была для Воротынцева — правда, он сам так и понимал. Но понимал и то, что *они* не очень это понимали, недалеко за волость распространялось их отечество,— а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом — и только бы хуже стало. Итак, *Отечества* он тоже выговорить не мог.

Речь — не сочинилась.

Но оглядывая тяжёлые, усталые, хмурые лица, он себя самого затолкнул туда, под потные скатки, потные рубахи, под ремни, набившие плечо, в сапоги, пылающие немытыми ступнями. И приняв «смирно» и отдав «вольно», стал говорить не звонко, не бойко, не рявкая, а с той же усталостью и несдвижностью, как они себя чувствовали, как и сам бы ещё до конца не решив дела:

— Эстляндцы! Вчера и третьего дня досталось вам. Одни из вас отдохнули, другие и нет. Но та́к смотрите: а третьи, половина ваша, л е г л и. На войне всегда неравно, на то война. И думать мы должны — не как себе выгадать, а как соседей не подвести.

А вот что́ бы проще всего: высказать им просто, как есть, всю обстановку высказать, боевую задачу, как не принято по уставу нижним чинам, а по-настоящему — только б и надо. Ну, не прямо: «Гибнут наши центральные корпуса! Генералы напутали, генералы у нас — дураки или трусы, но вы-то, мужички, выручайте!» А всё ж туда, под шинельную скатку, под ружейный ремень:

— Братцы! — раскинул руки и в землю врос. И широкость его и прочность увидел строй и ощутил.— Не корыстно нам спасаться за счёт других. Нам до России недалеко, уйти можно — но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после — и нас догонят, не уйдём и мы... Через силу вам, вижу, но тут близко — во фронте д ы р а, нет никого! Пока раненых из города вывезут, пока обозы уйдут — надо загородить! надо подержать до вечера! Больше некому, только вам.

Вот так, не приказывал, не грозил — объяснил. И лица угрюмые, неуговоримые — вдруг пересветлели все пониманием, сочувствием, едва ли не улыбками жалости, как бы подбитую птичку видя,— и не хотелось же! и ноги не шли попрежнему, и проклят был возврат! — а не словами полными, не встречными возгласами, помня строй, но неразборчивым тёплым мычанием, благожелательным ропотом отозвались.

И увидя проблеск этих великодушных улыбок и расслышав этот мычащий ропот, полковник скинул вместе руки и ноги, переменился на «смирно», вернулся к силе, и крикнул уже командно, звонко:

— Вызываю т о л ь к о охотников! Пер-вая шеренга! Кто пойдёт — три шага вперёд!

И — шагнула вся шеренга!

И — ещё уверенней, уже победно:

— Вторая! Кто пойдёт — три шага вперёд!

И — вторая перешагнула!

И — третья.

И — все шесть шагнули дочиста. С тёмными лицами, крестные шаги — но прошагнули.

И хотя понимая, что радоваться нечему, неприлично, некместно, всё ж заорал Воротынцев:

— Славно, Эстляндский полк! Не оскудела матушка Русь!

Вот тут и матушка принималась...

* * *

И НЕ РАД ХРЕН ТЁРКЕ,
ДА ПО НЕЙ БОКАМИ ПЛЯШЕТ

* * *

37

А времени в обрез, бегом к своей конной группе — трём приставшим казакам из 6-го Донского и Арсению. Казаки очень кстати пришлись — один чубатый, один дремучемордый, один растрёпа, все — тигры на конях. А вот...

— А вот ты, Арсений, просто меня позоришь. Ты ж говорил — «верхом могу»?

— Так и могу! Только айдаком, без седла. У нас в Каменке и все мужики так. А седло — затея барская.

Вчера Благодарёв сгоряча поехал в седле, набил сестное место, теперь выкинул седло, ехал охлябью. А на укоры полковника изощрился: навязал пуховую подушку на коня, верёвки под брюхо, и сидел довольный, ноги свешены, от трёх гоготавших казаков отбрехиваясь.

— Неуж плохо, ваше высокородие? — и показал готовность хоть сейчас и отвязать подушку, а не двигаясь к тому.— Зато теперь хоть в Турцию скачи! — отговаривался и щёки надувал.

— Вот именно что в Турцию...

Винтовки за плечо наискось, по-кавалерийски, и погнали.

Одна забота набегала на другую. Только что заботился Воротынцев, убедит ли он солдат повернуть опять в то пекло. А теперь заботился: обещал — до вечера, а если надо будет дольше, то кем сменять? Да ещё — удержит ли их на позиции до вечера? А удержит — так будет ли польза от этой жертвы, не обманул ли он их? Ведь всё остальное, вся армия,— не зависело от него, а как сложится. С его малой головы довольно было: где и как поставить теперь эти пять, хотя и сводных, но слабых рот? как растянуться от кексгольмцев с севера и до уздаусского шоссе на юг? На все вёрсты не могло хватить сил, а смысл-то и был — держать непрерывный фронт.

Несколько вёрст они проскакали по просёлочной — не на запад, а правей, по тому направлению, откуда было у Воротынцева ощущение дыры. И оказывалось, да, дыра, пустота, вообще ни человека, ни своих, ни чужих, ни жителей, ни бродячих лошадей, ни собак, ни трупов, ни домашней птицы. Как бывает центр циклона: всё кругом уже рвётся, бьётся и темно, а здесь — тишина голубая.

Уже тут, не дальше, надо было принять и расставить эстляндцев, и Воротынцев оставил одного казака маяком, а с остальными хотел ещё непременно поискать фланг левого соседа, соткнуться, лишь потом воротиться.

Не заслонённое облаками солнце переваливало самый жар, накалилась открытая брошенная мёртвая местность, и, казалось, никого уже тут не встретить.

А впереди была высотка, в мелких сосенках, и решил Воротынцев осмотреться оттуда. Сильные кони легко взяли подъём, между соснами скрытно и по мягкой дороге мягко, лишь перед самым верхом странный рычащий звук удивил их, но тут же смолк. На макушку горки они вскакали и —

немцы?! Автомобиль! — стоял против них! в десятке шагов! видно, только что выскочив сюда и заглохнув.

Четверо немцев сидели в автомобиле, изумлённые не меньше четырёх русских всадников.

Сперва только все захолонули.

Казаки со свистящим шорохом вытянули шашки.

Офицер позади генерала выхватил, выставив высоко, револьвер. С другого заднего сиденья, завозясь, высунули ручной пулемёт.

Благодарёв без усилия скинул с плеча винтовку и дослал патрон.

На комара они все были от того, чтоб само начало стрелять и рубить, и покончило бы их тут всех. Но казаки ждали команды. Немцы — тем более.

А низенький генерал — не выхватил револьвера, не подал команды. Головой круть-круть, и остроглазо, изумлённо смотрел как на забавное, редкое, не спугнуть бы.

И Воротынцев, это поймав, лишь руку держал на рукояти шашки. (А винтовку скинуть было долго, непривычно.)

Так стало тихо между заглохшим автомобилем и не заржавшими конями, что на горке нагретой, со смолистым воздухом только и слышалось лошадиное подыхивание да жужжанье овода или мухи.

И перейдя без выстрела этот миг тишины, нагретости и одинокого жужжания — они все восемь стали выше смерти.

Генерал («вчерашний, вашскродь!..»), подёргивая головой, всё так же присматривался, с большим любопытством, как будто и не допуская, что в него могут выстрелить или зарубить его. Уши у него были отогнутые и прижатые, как в испуге, но он, напротив, не испугался ничуть. Что-то юмористическое было в его лице — от усов ли щёточных, торчком в бока? Да просто юмор понимал. И не промедля доказал это, веселовато укоря:

— Herr Oberst, ich hätte Sie gefangennehmen sollen. [1]

Этот тон весёлого, не настоятельного укора сразу заразил и Воротынцева, ещё прежде, чем он сообразил значение встречи, как быть и что выгодней всего. Откликаясь лишь на тон, Воротынцев ответил ещё веселей, сверкнув ровными зубами:

— Nein, Exzellenz, das bin ich, der Sie gefangennehmen soll! [2]

Приопустился пулемёт. И револьвер. И шашки.

Генерал же настаивал рассудительно:

— Sie sind ja auf inserem Boden. [3]

Входя и в этот тон, Воротынцев нашёл аргумент не хуже:

— Diese Gegend ist in unseren Hand.— Это было фанфаронство, но тем и брать, когда худо дела: может, тут, позади горки, наши пехотные цепи. И несколько построже: — Und ich wage einen Ratschlag, Herr General, lieber entfernen Sie sich. [4]

Он, он, вчерашний, Арсений верно шептал, это он вчера из автомобиля прыгал, да как легко, молодец, а ведь не моложе Самсонова.

Но генерал так не хотел и даже не мог разговаривать:

— Bitte, Ihren Namen, Oberst. [5]

Ну что ж, тут тайны нет, пожалуйста:

— Oberst Worotynzeff. [6]

Понимая ли стеснение полковника спросить фамилию полного генерала или находя в разговоре вкус, генерал любезно представился и сам, сохраняя в быстрых глазах юмористический блеск:

— Und ich bin General von-François. [7]

О! Так командир 1-го немецкого корпуса! И почти в руках, можно взять?..

Почти в руках, да неизвестно, кто у кого.

А главное: стрелять и рубить — естественно, ещё не познакомясь. А познакомившись — уж как-то и не по-людски.

— A-ha! Ich erkenne Sie! — непринуждённо, весело воскликнул Воротын-

---

[1] Полковник, я должен был бы взять вас в плен.
[2] Нет, ваше высокопревосходительство, это я должен взять вас в плен.
[3] Вы — на нашей территории.
[4] Эта местность — в наших руках. И я осмелюсь вам посоветовать, господин генерал, лучше удалиться.
[5] Как вас зовут, полковник?
[6] Полковник Воротынцев.
[7] А я — генерал фон-Франсуа.

цев.— War es gestern Ihr Automobil, das wir beinahe abgeschossen haben? Was suchten Sie denn in Usdau? [8]

Генерал покачал головой и вполне рассмеялся:

— Es wurde gemeldet — meine Truppen seien schon drin. [9]

И с одобрительным прищуром снизу вверх рассматривал Воротынцева. Это была шутка войны, надо уметь её понять.

Казаки — поняли, и, к тону общему ухмыляясь, с освобождающим шумом вставили шашки в ножны — и чубатый косоватый Касьян Чертихин и лукавый нечёса Артюха Серьга.

Уже был вовсе убран и револьвер немецкого офицера. И пулемёт лишь чуть виднелся из-за спины шофёра. И винтовку за спину отправил Благодарёв, и шепнул уже не первый раз:

— Ваш' скородие... Л е в, смотрите! Льва-то нашего упёрли!

Всё глаз не сводя с генерала и с пулемёта, Воротынцев не видел до сих пор, что на радиаторе автомобиля как-то укреплён был тот самый лев, та самая игрушка, бодрившая звено их окопа под Уздау, давно-давно когда-то... И удивительно, что лев — совсем целый.

Как они — льва, так и немцы что-то заметили и весело шептались.

— Wer sind Sie aber, ein Russe? [10]— присматривался Франсуа. Ему, кажется, хотелось ещё поговорить. Уверенный в своей неотразимости, он явно хотел очаровать и противника.

— Ein Russe, ja,— улыбнулся Воротынцев, отчасти понимая этот европейский вопрос.

И окончательно решил: разъедемся, так и лучше. Поверил же, наверно, что мы тут близко. Скорее ставить эстляндцев. И сожалительно поднял руку к козырьку:

— Pardon, Exzellenz, tut mir leid, aber ich muss mich beeilen! — Ещё в глаза генералу. Скользнул по пулемётчику. Неужели в спину выстрелят? Невозможно! — Leben Sie wohl, Exzellenz! [11]

И так же насмешливо-приветливо, и даже с сожалением ответил ему генерал, помахивая тремя пальцами как крылышком:

— Adieu, adieu![12]

Это помахивание и казаки поняли, и тут же, за полковником, круто повернув коней, карьером взяли с горки, погигикивая, довольные. А вослед доспевал им Благодарёв, ногами длинными болтая без стремян.

И — взрывом засмеялись немцы! Воротынцев успел услышать, понял — и первый раз рассердился на Благодарёва:

— Над твоей подушкой!.. Всю русскую армию позоришь!..

Благодарёв скакал богатырски-ровно, с лицом нахмуренным, обиженным.

Ещё успевал бы немецкий пулемётчик перестрелять их всех.

Но — это невозможно было после уступчивого разговора. И вовсе было бы недостойно полководца, ступающего в Историю.

38

Полководцу высшего класса недостаточно воевать победно: надо ещё воевать изящно. Для истории не будет безразличен ни один его жест, ни одна деталь его командования. Либо резьбой и отделкой они доведут его образ до совершенства, либо представят как тупого удачника, не более.

Вечером 14 августа генерал Франсуа ещё не мог отдать приказа на 15-е: сердце его рвалось на Найденбург, обстоятельства грозили контрударом от Сольдау, и на Сольдау же толкало его армейское командование. В таком положении мизерный военачальник томится всю ночь и томит свой штаб, ожидая, что подплывёт, и тогда в ночи заскрипят перья, выписывая распоряжения. Но Герман Франсуа написал лаконично: «Дивизиям на своих участках подготовиться для наступления. Время и характер наступления будут даны завтра в 6 утра на высоте 202 близ Уздау. Офицеры соблаговолят быть на месте для принятия приказа»,— и в одном из уцелевших домов Уздау, под периной с розовою оболокой, лёг спать. Это и был жест: командиры дивизий и подчинённых отдельных частей не смели допустить, что завтра не будет наступления, или командир корпуса не знает, что он завтра будет делать.

Важным сопутствующим жестом был и выбор места для сбора командиров: даже не высоту 202, а — мельничную, под Уздау, непременно назначил бы Франсуа, если б не так сильно продвинулись его войска. Мельничная высота была красивейшим и виднейшим местом тут, особенно вчера, ещё с целою ветряной мельницей, когда Франсуа по недоразумению ехал сюда, уже этой неудавшейся, но счастливой попыткой связанный с нею. Вчера же половина его артиллерии по сосредоточенной системе, впервые вводимой в эту войну, работала на изрытие этой высоты и уничтожение сидевшего тут полка. Вчера же после полудня генерал Франсуа мог видеть этот навал мёртвых и полумёртвых русских тел в окопах и по склонам высоты, первый такой артиллерийский результат во всей своей военной деятельности. (Правда, на подъёме — и немецких масса, от преждевременной атаки.) И взойдя на эту высоту с тлеющими развалинами мельницы (лишь сыростью ночи и туманом они пригасились), Франсуа понимал, что его каждый здесь шаг есть история. Отсюда начиналось и шоссе на Найденбург, которым предстояло ему совершить исторический прыжок. Здесь не пропустил Франсуа и жёлтое пятнышко в насыпной земле бруствера — и его шофёры с восторгом вытянули из земли перенесшего убийственный обстрел, целого и отлично сделанного игрушечного льва. Этого льва придумали укрепить на радиаторе одного из автомобилей и за взятие Уздау присвоить ему первый унтер-офицерский чин, в предвидении длинного пути побед, возвышающего до маршала.

Однако — ближе к переднему краю надо было собрать командиров. Да густой туман заволакивал даже и высоты, ровняя подробности. Руки скрестив на груди, Франсуа расхаживал ещё прежде назначенного времени. Его одинокость и значительность подчёркивались тем, что уже десятый день он продолжал игнорировать своего начальника штаба, отстранив изменника от всей работы.

Рано утром Франсуа и решил: из трёх подчинённых ему дивизий половиною начать наступать на Сольдау, как требует начальство, а другую половину держать для затаённого прыжка на Найденбург. (И у начала шоссе собирать передовой летучий отряд — мотоциклистов, велосипедистов, уланский полк, конную батарею.) По беспечности и молчанию русских от Сольдау он предчувствовал уверенно, что оттуда не выступит опасность ему, что тамошние русские озабочены только своим отступлением за реку.

Когда великий миг приходит и стучится в дверь, его первый стук бывает не громче твоего сердца — и только избранное ухо успевает его различить. Хотя не доказано было с Сольдау, хотя и у Шольца, по левую сторону, неожиданная возникла ночью канонада и длилась утром — генерал Франсуа уверенно ощутил неслышный роковой сигнал! И на свой риск выпустил летучий отряд — на Найденбург, да не прямо, а с южным обхватом: взять русские обозы, которые уже вероятно льются на юг. А прямое шоссе он оставлял для главных сил, чтобы с ними вскоре выступить.

Дела под Сольдау шли обещательно: русские отстреливались вяло, бросали город без контратак. Но тревожно продолжалась канонада у Шольца — и в десятом часу утра, разрушая планы Франсуа, удержав от самовольства в последний миг, подкатил автомобиль со срочным армейским приказом:

«Дивизия генерала Зонтага оттеснена врагом от деревни Ваплиц и находится в дальнейшем отступлении. Ваш корпус должен немедленно направить на помощь свой сконцентрированный резерв. Это *движение должно носить форму атаки*. Начать немедленно. Обстановка требует спешности. О выступлении донести.»

Нет, не родились полководцами ни Людендорф, ни Гинденбург! Рокового

---

[8] А-а! Я вас узнаю. Вчера это ваш автомобиль мы чуть не подбили? Зачем вы ехали в Уздау?

[9] Донесли, что мои войска уже там.

[10] А вы — русский ли?

[11] Русский... Ну, простите, ваше высокопревосходительство, к сожалению, мне некогда. Будьте здоровы, ваше высокопревосходительство!

[12] Приятного пути!

стука — не слышали они. Малейшая возня противника вызывала у них страх, протекающая тонкая струйка уже мнилась выбитым дном. Какое трусливое бездарное приказание — гнать его корпус в лобовую контратаку — за 15 километров уже «форма атаки»! — когда созрел и звал красивейший из охватов!

Но, прослыв до самого кайзера в дерзких, не мог Франсуа не подчиниться. Но и подчиниться трусливой посредственности — тоже он не мог!

Компромисс на войне — чаще гибель, чем мудрость. Однако вот был выходом только компромисс: куда указали ему, отпустил Франсуа из резерва одну дивизию. Сам же с крепкой бригадой остался на том же старте того же рывка к Найденбургу. А как только, к полудню, был взят Сольдау — с того участка дивизия тут же перетекала, восполняя резерв корпусного командира.

Так и знал он, что недолго держатся людендорфские приказы: к часу дня новый связной офицер с новым приказом: изменить направление посланной помощи на более восточное, более пологое.

Нет, Людендорф не был полководцем! Нельзя же водить армии с переменчиво-дамским настроением. Нельзя же послать «в форме атаки», а потом заворачивать «более полого». Не знал Людендорф сам, чего именно хочет, а лишь бы, не рискуя, при всех случаях сохранить престиж.

Пожалел Франсуа: не надо было и первого приказа выполнять, отменился бы сам собою.

«...Весь исход операции отныне зависит от вашего корпуса.»

Да зависел он от корпуса Франсуа с начального часа до конечного часа!

И — выпустил приготовленную бригаду с конноегерским полком — по шоссе Уздау-Найденбург! Город — взять и пройти! И как можно скорее протягивая клешню, оставляя пунктиром патрули и заставы — этим же шоссе дальше, на Вилленберг! И отряды эти тут же настичь полевыми кухнями и кормить! (должен думать полководец о еде своих солдат.)

И сам, не очень теперь дорожа телефонною связью со штабом армии, на двух автомобилях погнал проверять, направлять ушедшие части.

На одинокой высотке в мелких соснах имел он забавную встречу с русским разъездом.

Дивизия, посланная Шольцу на помощь, по пути ввязалась в бой с русским гвардейским полком, когда к трём часам дня нагнал генерала Франсуа ещё третий приказ: эту помощь посылать совсем не надо, отменяется! А задача корпуса Франсуа, как видит её армейское командование: «преградить противнику пути отступления на юг, для чего сегодня же занять Найденбург, а завтра с рассвета двигаться на Вилленберг».

Стратеги-стратеги, только и ждать вашего прозрения. Эх, не надо было утром раздваиваться — сколько лишних русских обозов было бы захвачено! Компромисс на войне — всегда ошибка.

И как незаметно, в смене приказов, предположений, разочарований и радостей прошёл немалый летний день! Часов около пяти пополудни конноегерский полк вошёл в Найденбург без боя и не обнаружил там русских боевых частей, лишь тыловые учреждения и обозы. Только и защищалась узкая полоска пехоты, протянутая к северу от шоссе (под её пули из картофельного поля и сам Франсуа попал). Очень удивило генерала: насколько же русские не понимали обстановки, если даже не предполагали защищать ключевой город! И чего ж они ожидали тогда ото всей войны? Как посмели на всю на неё отважиться?!

Русские обозы — вот была главная трудность продвижения корпуса Франсуа. Посланный утром летучий отряд создал обозные заторы на дорогах южней Найденбурга, и была среди трофеев даже воинская касса с третью миллиона рублей. Ещё непроходимее сбились русские обозы в самом городе: перед сумерками въехал в Найденбург Франсуа со штабом, и автомобили его остановились сразу же. До отеля на рыночной площади пришлось идти пешком.

Отряд жандармов и батальон гренадеров (бежавший вчера из-под Уздау на 25 километров, их майор и усердствовал теперь оправдаться) обыскивали дома, чердаки, подвалы, вылавливали, вытягивали и конвоировали укрывшихся русских. Всё это делалось почти без выстрелов.

Перед отелем генералу представились вместе — немецкий бургомистр и русский комендант. Комендант доложил об окончании своих обязанностей, о состоянии госпиталей, складов немецкого же снаряжения и устройстве военнопленных. Бургомистр высоко оценил деятельность коменданта по сохранению порядка в городе, жизни жителей и их имущества. Генерал поблагодарил коменданта и просил его избрать себе комнату, где и самоогра́ничиться в качестве тоже военнопленного. И ещё переспросил его фамилию.

— Довату́р,— доложил полненький чёрненький полковник.

Рыжие брови Франсуа подвижно отозвались.

— А зовут?

— Иван,— улыбнулся полковник.

Ещё больше взвились брови Германа Франсуа и в созерцательную усмешку сложились губы.

Два рассеянных семени аристократической Франции двух времён её несчастной эмиграции, гугенотской и бурбонской, на минуту встретились на краю Европы, один отдал рапорт, другой отпустил его под арест.

Генералу Франсуа уже приготовили в отеле комнату. Темнело. Город гудел голосами, командами, скрипел телегами, ржал лошадьми — и в хаосе входил в ночь.

А первопосланная бригада и конные егеря в сумерках уже двигались по шоссе дальше Найденбурга — к востоку, на вторую половину замыкающего кольца.

* * *

Ах ты, герман-герман, шельма!
Наплевать нам на Вильгельма!
А уж Франца, дурака,
Раздерём мы до пупка!

39

Позади командного пункта Мартоса стояла на высоте чистая роща из бука и сосны, а позади неё — два фольварка. В них и поместились пока летучий армейский штаб Самсонова и сопровождающая казачья сотня.

Не отступать? Но делать было что? Офицеры штаба бродили и роптали: без телефонной, телеграфной да и на́рочной связи, просто без цели и смысла они были загнаны сюда, под самые передовые позиции. Совсем рядом толклись немецкие разрывы и ахали наши орудия, отчётливо стучали пулеметы. Мюленская линия, вчера и позавчера удержанная немцами, теперь трещала в нашу сторону, одна дивизия Мартоса с обнажёнными флангами час от часу зажималась там. И Полтавскому полку было не додержать до вечера утренние победные позиции у Ваплица. Отказал командующий отходить — но не мог же и выхода указать из этого теснимого состояния. Отступленье само начинало течь, как течёт и твёрдый металл, никого не спросясь, лишь свою температуру плавления.

Лишённые выразить свой ропот командующему, но и благоразумно не дожидающие, пока тот в тугой голове будет осваивать и перемышлять,— штабные отдались теперь составлению изощрённого плана отступления (лишь *отступлением* не называя его, по предвиденью Постовского, чтобы потом не оборотилось пятном на них). На врытом столике под яблоней лежала карта, Филимонов показывал уверенной рукой, и штабные жужжали. Чтоб не оказаться потом упречным, должен был прежде всего быть гордостью оперативной выучки этот сложный план *скользящего щита*: как скользит по шкивам приводной ремень, так, сохраняя защитную стенку с запада, должны были задние с северного края по очереди переходить вперёд на юг и становиться в ту же стенку. Прежде всех под защитою стенки должны были убираться обозы, потом 13-й корпус (да, бишь, он до сих пор не подошёл, вот незадача), а тем временем 15-й должен был держать фронт (свои седьмые боевые сутки), и все обломки 23-го корпуса — тоже. Потом, оставляя Полтавский и Черниговский полки в арьергарде, должен был перескользнуть налево и 15-й корпус. (Каким неповоротливым, каким неуклюже большим кажется корпус, когда ему надо отступать!..) А как только 15-й в отходе достигнет Орлау, своего первого победного поля, он снова займёт

фронт, с поворотом уже на юго-запад, к Найденбургу, а остатки 23-го проскользнут по его тылам. А тем временем 13-й, весь завтрашний день отходя тылами (сорок вёрст за сутки), в свою очередь станет ещё левей из всех — и так отпустит их отойти за русскую границу.

В стороне, под елью, на широкой грубой крестьянской скамье без прислона, сидел командующий на виду у всех, но как бы в отдельном кабинете. Золотая шашка и планшет лежали рядом с ним на скамье, фуражка снята, и возвышенно-голый лоб он вытирал время от времени платком, хотя не могло быть ему жарко в продуваемой тени, где разлит был августовский холодок. К отчаянию своего штаба Самсонов несколько часов просидел вот так — с напряжённой шеей, движеньями редкими, глазами малосмысленными, ответами приветливыми, как всегда, но односложными. То ли он обдумывал выход за всех. То ли уже и думать забыл, что ему подчинена целая армия. Двумя разлапистыми ладонями опершись по бокам в скамью, он и полчаса мог совсем неподвижно смотреть перед собою в землю. Он — не почивал, не отдыхал, не время проводил в ожидании новостей,— он думал и мучился, непосильную думу как камень валунный удерживал на подставленном темени, оттого и пот вытирал.

Чего мог он ждать? С той стороны, куда лицо его смотрело, с северо-востока, ожидал ли он увидеть густопылящие колонны Клюева? Или даже пики конницы Ренненкампфа? Или ничего он не видел и не всматривался никуда, а только слушал, что совершалось в нём внутри,— глухая сдвижка пластов мироздания или уже гулкое рушенье их?

В ту сторону, как сидел он, опадал их холм в торфяной луг, а за ним, всего отсюда в версте, хорошо видная, приподнятая встречным склоном, шла слева направо дорога из Хохенштейна в Надрау. Целый день по той дороге редкое было движение, больше санитарное: дорога была несквозной и мало помогала 15-му корпусу. Но вот, много спустя после полудня, покатили из Хохенштейна густо телеги обоза, зарядные ящики, передки, ни одной пушки, всё беспорядочно, и тут же, вперемешку с ними,— разрозненная пехота. Солнце светило штабным из-за спины, и хорошо виделось, что это — не только не строй, а уже и винтовки брошены или на ходу бросаются, и от снаряжения облегчаются, кто как может.

И вот это бегство Самсонов, в своей теневой неподвижности как будто не видящий ничего, заметил из первых. И быстро поднялся на крепких ногах и зычно скомандовал офицерам штаба — скакать, бежать наперерез, задержать и восстановить порядок!

И кто больше роптал на командующего, и кто меньше, кто полковник и кто капитан, захватив казаков или только необстрелянный штабной револьвер выхватывая, побежали непробитой травяной дорожкой с холма, потом между проволочной загородью скотьего выгона и каменной дамбою у болота — и опять наверх. Видно было, как они трясли револьверами, размахивали руками, на дороге спруживалось замешательство, задние ещё бросали снаряжение, а передние понуждались его поднимать. Заскакали туда и сюда связные, докладывая Самсонову: что это бегут в беспорядке из Хохенштейна Нарвский и Копорский полки, покинув артиллерийский дивизион на позициях, без прикрытия; что пулемётная команда тоже бежала; что недостойно вёл себя командир Копорского полка; что отступающие обезумели, настроены так, что всё пропало; но действиями штабных офицеров...

и — от командующего с приказаниями: вдоль дороги произвести разборку бегущих по их частям; об обстоятельствах бегства ещё допросить старших офицеров; кого можно — возвратить в Хохенштейн, а по батальону из провинившихся полков выстроить при полковых знамёнах.

Самсонов оживился, расхаживал туда и сюда, смотрел в бинокль, и мягкий прищур его над тёмным усо-бородым низом лица обещал спокойное руководство, мудрый выход: ничто ни для кого потеряно не было, и командующий всех спасёт! Наконец-то было обретено недохватное дело — то самое, может быть, для которого утром он и выехал сюда! День ото дня всё властней его влекло выйти самому на передний участок фронта — и вот прикатился к нему фронт, в зримой версте.

Уже и лошадь оседланная ждала командующего, но долга была разборка неурядицы, два батальона долго собирались, выстраивались перед Надрау, за это время ещё сотни шрапнелей разорвались над фронтом Мартоса и произошла вряд ли благоприятная передвижка частей, сдвинулось солнце из послеполуденного в предвечернее,— когда, наконец, можно было командующему ехать к строю виновных батальонов. Он без труда поднялся в седло и поехал уверенно.

И вот стояли два батальона в ожидании генеральского суда над собой, и полковое знамя каждого было развёрнуто на правом фланге. И конный командующий, с могучей фигурой, с превосходством божественным подъехал одушевить их к воинскому чуду. Большая плотная голова его была плотно приставлена к плотному телу. Голосом густым, без напряжения сильным, в чём-то родственным русскому колокольному звону, Самсонов загудел, разлил на всю долготу строя и окрест:

— Солдаты Нарвского полка, генерал-фельдмаршала Голицына! Солдаты Копорского полка, генерала Коновницына! С т ы д и т е с ь!! Вы присягали на верность своим знамёнам! Взгляните на них! Вспомните знаменитые битвы, за которые древки их увенчаны орлами! Георгиевскими крестами!

Горше не мог он упрекнуть! Не мог он их бранить и клясть — ведь это были благородные русские люди, и к их благородству взывал он.

Но мощный голос отдельно поплыл над головами — и с ним изошла из командующего сила его уверенности. Он только что хорошо знал, что́ ему говорить, как вызвать чудо поворота этих батальонов, и их полков, и всех центральных корпусов,— и вдруг оборвало ему память, он утерял, что говорить дальше,— а в смутности наплыл какой-то другой случай из его жизни, как будто это уже было когда-то: едва задержанный строй бежавших солдат перед ним, только ещё раздёрганней рубахи, винтовки, котелки, ещё перекошенней и запалённей лица — и тогда... Что тогда?

Полководческое слово должно удаться, в этом военная история. В трудный миг сам полководец обращается к войскам, и они, воодушевлённые...

— Так верните же себе солдатское мужество! Так сохраните же верность знамёнам и славным именам, носимым...

Нет, слово — утеряно было, не находилось. Ну, ещё: к а к же они могли? как могли они так позорно...?

Полководческое слово ту особенность имеет, что оно позывает к действиям одноуказанным, что оно не терпит возражений от слушателей и не ожидает встречных сведений. Хотя и спрашивал Самсонов, к а к, но — н е как плохо пришлось каждому стоящему здесь офицеру и нижнему чину.

А мог бы штабс-капитан Грохолец, даже и в позорном строю молодцеватый, с усами взвинченными, объяснить и ответить резким голосом с прифыркиванием: как совсем неплохо простояли они ночь в охранении по ту сторону Хохенштейна, а утром по приказу Мартоса ещё и ходили в атаку, помешали противнику загнуть охват на фланге 15-го корпуса; но потом попали под огонь батарей больше дюжины, под огонь, которого, может быть, сам командующий никогда не испытал,— в огневые клещи с трёх сторон, а своих батарей было только три и снарядов скудно; и так они отступили в город, и ещё держали его — но и патронов уже не хватало, и не шла обещанная помощь остального 13-го корпуса; а противник стал давить на Хохенштейн концентрически, с трёх сторон, от юго-запада и до востока, прорывалась немецкая конница их отрезать, а они всё стояли, и спасал их какой-то русский пулемёт с городской башни — да по наступающим немцам. И вот уже пыль ожидаемая поднялась с северо-востока, но то не Клюев шёл, а враг,— и лишь тогда батальон побежал...

Да и Козеко, моргавший в задней шеренге, мог бы жалобы свои командующему интимно наговорить: как не могло завершиться иначе, чем бегом убегать из Хохенштейна; как худо досталось, и как страшно представить себя окровавленным, разорванным или с проколом штыка через глаз; а исчезновением своим, хоть и в плен, перепугать светика-жёнушку; как уже навидались они трупов за эти дни, не радуясь и немецким, а свои сегодняшние не счесть. Сколько жертв? и зачем? и — оправдано ли?..

А рядовой Вьюшков, чуть одним глазом из-за чужой головы выглядывал: на то вы и поставлены, чтоб нам проповедывать; на то и голова у нас, чтоб знать самим.

А Наберкин на маленьких ножках: да уж больно шибко бьют, ваше высокопревосходительство! К такой ведь шибкости никто не привык.

А Крамчаткин в первой шеренге, прямо перед генералом, так и вытянулся в сто жил, так и голову запрокинул каменно, так и ел генерала глазами выпученными, радостными: что умел, то показывал, а другого смысла не содержал.

И этого достойного воина, с обещанием и верностью обращённого, не мог не заметить генерал — и силу зачерпнул в верности его.

— Я — о т р е ш а ю командира Копорского полка! Новый командир поведёт копорцев в бой — вот этот полковник, Жильцов! Я знаю его с японской кампании, он храбрый солдат. Идите смело за ним и будьте достойны...

На крупном коне крупный генерал — он хорошо сидел, он был как памятник. И поднял руку в сторону Хохенштейна. Запевала, по знаку, сокольим взлётом начал походную песню. Батальоны повернули и заспотыкались дорогой, обратной своему бегству. (А с Жильцова командующий взял слово, что тот не отступит без приказания.) И Самсонов теперь тоже повернул к штабу.

Но... чего-то он не договорил. Он не остался доволен речью. Он, кажется, говаривал и лучше. Главное дело целого дня как будто не состоялось.

И Самсонов огрузнел, ослабел в седле. А поднявшись на холм и видя Мартоса, выезжающего из рощи,— всё такого же гибкого, а вот уже и усталого Мартоса,— командующий мгновенно созрел к согласию, которого утром дать не мог. Десять минут назад, подъяв полководческую руку, что указал он батальонам? Не отступленье же, нет! А вот в сероватой тени рощи, в загороже от закатного солнца встретил измученные красные глаза Мартоса — и сразу уже был согласен. Ещё не выслушав Мартоса, как сами потекли его полки, сами сдвинулись с места командные пункты, сами замолчали телефоны, какие ещё командиры из лучших убиты за эти часы,— уже был согласен. Батальонам бежавшим произнёс речь — и стал согласен с ними...

Величайшее решение его жизни было принято в единую минуту и как будто даже не потребовало душевного труда. Но когда и как это вступило и повернулось? Все движенья и расположенья, две недели имевшие такой настойчивый связный смысл на картах,— когда ж получили смысл оборотный? Будто север стал югом, восток — западом, всё небо повернулось на вершинах сосен,— когда и как Самсонов проиграл сражение? Когда и как? — он не заметил.

А уже подносили ему разумный стройный план *скользящего щита* — и в нём тоже было круговращение, повторявшее вращенье неба.

И ища опору в этом вращении, Самсонов положил тяжёлые доверчивые лапы на острые плечи своего теперь любимого командира корпуса, не оцененного в первые дни:

— Николай Николаич! По плану ваш корпус завтра станет у Найденбурга. Там будет решаться всё. И Кондратович должен быть где-то там. И Кексгольмский где-то полк. Вы распоряженья по корпусу отдайте, да поезжайте-ка сами вперёд — на разведку и выбрать позиции для самой упорной защиты города.

Это было высшее доверие командующего: опять на Мартоса ложился главный камень.

Но Мартос — не понял: его отрешали от корпуса?? За что же — от корпуса? За что же — без корпуса? Только от права — назначить, послать?.. Да командующий сам понимал ли, что делал?!

— И — поспешите, голубчик. Завтра там будет решаться всё. И мы тоже поедем туда.

Найденбург, покинутый утром как бремя, теперь представлялся ключом вызволения.

Добрым движением в напутствие целовал Самсонов Мартоса. И ломал.

И что бурлило в Мартосе эти дни — вдруг иссякло. Из прута стального он стал тростинкой. Сказано — и покидал свой корпус, и ехал, куда велят.

А уже смеркалось. Разослали приказ. (В 1-й корпус — капитана: наступать немедленно на Найденбург. А 6-му, что ж, 6-му удерживаться... во что бы то... А непришедший 13-й? Теперь становился от Мартоса независим.) Вот готовы были и штабные. Убеждали они командующего ехать в Янув. Самсонов: только к Найденбургу.

Сегодня утром невыносимый, сейчас манил этот город, хотя б и погибнуть у его стен.

Тогда натеснились штабные, что сегодняшняя утренняя дорога уже кружна недостаточно, надо ехать ещё кружней.

Захлопал противник шрапнелями почти над головою штаба, огнистые вспышки уже хорошо виднелись в полутьме. И в Надрау, куда ехать было неминуче, зажёг фугасами два дома. В Надрау застучали пулемёты — кто? по ком? — расколыханная сумятица несчастного дня. При пожарах видно было перебеганье. Или убеганье?..

Потом стихла стрельба. Никем не тушимые, играли зарева. Днём незаметные, завыли собаки.

День Успения кончился, и вопреки непóнятому сну — жив был Самсонов, не умер.

Жив был генерал Самсонов, но не армия его.

40

В трёхлетней войне, надорвавшей народный дух, кто возьмётся указать решающее сражение? Бесчисленно было их, больше бесславных, чем прославленных, глотавших наши силы и веру в себя, безотрадно и бесполезно забиравших у нас самых смелых и крепких, оставляя разбором пожиже. И всё-таки можно заявить, что первое русское поражение в Восточной Пруссии как бы продолжило череду невыносимых поражений от Японии и задало тот же тон войне начинающейся: как начали первое сражение, не собравши разумно сил, так и никогда впоследствии не успевали их собрать; как усвоили впервь, так и потом бросали необученных без отдышки, сразу по подвозу, затыкали, где прорвало и текло, и всё дергались вернуть утерянное, не соображая смысла, не считая жертв; от первого раза был подавлен наш дух, уже не набравший прежней самоуверенности; от первого ж раза скисли́лись и противники, и союзники — каковы вояки, и с печатью этого презрения провоевали мы до развала; от первого ж раза и в нас заронилось: да т е ль у нас генералы? справны ли?

Не позволяя себе ни взмаха выдумки, коль можно точно собрать и узнать, держась к историкам ближе, а от романистов подальше, разведём руками и заверим единожды тут: так худо сплошь мы б не осмелились придумывать, для правдоподобия распределяли бы в меру свет и тень. Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадёжней, и почти что не на ком остановить благодарного взгляда, как на Мартосе. (И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями,— да слишком много раз показал нам XX век, что именно они.)

Какому же романисту можно бы поверить, что корпусной генерал Клюев, поведший центральный корпус глубже всего в Пруссию, *никогда* прежде того не воевал?! Нет оснований предположить, что Клюев был глуп, отчего ж, не без уменья, не без ловкости: зряшную опоздавшую гоньбу своей дивизии к Орлау сумел в донесениях так изобразить, что в докладе Верховному и даже императору был представлен победителем под Орлау не Мартос, а он: это *он*, угрожая охватить фланг противника, заставил того отойти; и в мемуарах из плена подточил, подвязал, подплёл всё так, что виноваты все кругом, а не Клюев. И нет у нас прямых сведений, что Клюев был дрянной человек, а по опыту многих других примеров не сомневаемся, что нашлись бы обеляющие искренние свидетельства, что он был хороший семьянин и любил детей (особенно своих), и был застольный приятный собеседник и может быть шутник. Но: никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вёл их. Пожалеем солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно,— не пожалеем, не оправдаем.

Вот действия генерала Клюева. Почти весь день 14-го пробыв своим корпусом в Алленштейне, на самом дальнем выступе самсоновской армии, он не пытается на местности разведать, есть ли противник от него справа, впереди, слева, где и сколько,— но просит штаб армии сообщить ему это всё из Найденбурга. Шиф-

рованную искровку от Благовещенского его штаб расшифровать не сумел. Уверенный, что с востока не может к нему идти никто, кроме Благовещенского, Клюев послал туда лётчика с открытой ориентировкой, что 15-го выступит на запад к Хохенштейну. Лётчик летит доверчиво низко над немецкой колонной, сбит,— и ещё 14-го фон-Бёлов узнаёт о намерениях Клюева. Однако в Алленштейне так хорошо, удобно расположились, войны нет,— и в ночь на 15-е Клюев отказывается от прямого приказа двигаться на помощь Мартосу — потому ли, что жалеет своих солдат? нет, своего покоя нарушать не хочет и лишнего риску от ночного движения. Не выступает он и на раннем летнем рассвете, как обещал Мартосу,— но лишь в 10 часов утра 15-го августа. Покидая Алленштейн, он объявляет об этом открытою радиограммою, сообщая чужим заодно со своими маршрут, рубежи и сроки своего движения на помощь Мартосу. У Клюева осталось шесть полков, он щедро раскидывается ими. Охранять Алленштейн «до Благовещенского» он оставляет (на погибель) две тысячи — батальон дорогобужцев и батальон можайцев. Вытянув корпусную колонну на юго-запад по шоссе на Хохенштейн, он скоро покидает в смертном арьергарде и остальной Дорогобужский полк, обнаружив за собой преследование почему-то. (А — по клюевской же радиограмме, перехваченной немцами в 8 утра. Поспешили немцы бросить преследователей в спину Клюеву, никак не привыкая, что русские всегда опаздывают, и где Клюев грозится быть в полдень, он дотянется только к вечеру.) Когда с грислиненских высот открывается Клюеву Хохенштейн — тот самый узел и город, который и должно удержать в помощь Мартосу и где уже томится его собственный Нарвский и Копорский полки,— Клюев останавливается ж д а т ь. Ждёт ли он, чтобы подтянулась вся колонна? Колеблется ли, как верно истолковать, к т о же именно там, в Хохенштейне, за четыре версты? (А нарвцы и копорцы из городской котловины принимают собственный корпус на высотах за густеющих немцев.) Разворачивается и новый (немецкий) отряд между ним и Хохенштейном — Клюев не препятствует. Ждёт он более ясных событий? Или нового приказа?

Единственное, в чём распоряжается он: посылает свой головной Невский полк — в сторону, в целодневный ненужный бой в густом лесу Каммервальде. И неугодный Первушин ведёт туда полк, не получив артиллерии, лишь с пулемётною ротой. Ведёт своих невцев на тот особенный лесной бой, когда ни вперёд, ни по сторонам не видно дальше двадцати шагов, нельзя понять, откуда несутся пули, когда выстрелы особенно громки и зловещи, по верхушкам леса идёт ураганный треск от шрапнели, пули с шумом расщепливают деревья и кажутся разрывными, а рикошеты — новыми выстрелами; когда ранят и отщепки деревьев и сами падающие стволы; когда свои стреляют через головы своих и гибнут от собственных пуль, теряют голову даже храбрые солдаты и всё сбивается в кучу. И в этом бою Невский полк час за часом теснил подбывающих до дивизии немцев (и штаб дивизии разогнал, оставив генерала при восьми солдатах), пробился несколько вёрст лесной густоты — к сумеркам на западную опушку, победителем. Но вся победа была не нужна, и не нужен лес, и скомандовано ему уйти.

Ещё утром марш 13-го корпуса можно было понимать как вектор наступления. Но в полудневном топтаньи на грислиненских высотах корпус без выстрелов, без действий, незаметно, в никакую минуту, обращался в кучу рухляди. На помощь ли близкому Мартосу (от него приехал офицер и звал), или хотя бы себя спасать, не тратя часу — на юг, пока свободны межозёрные проходы,— но надо было д в и г а т ь с я! А Клюев промялся в нерешительности весь успенский день до вечера — и там же встретил ночь.

За время этого топтанья нарвцы и копорцы бросили немцам Хохенштейн и побежали на юг. За время этого топтанья были накрыты, посечены конницей и расстреляны в Алленштейне два покинутых арьергардных батальона (стреляли и жители из окон, и пулемёт из «дома умалишённых, просят не беспокоить»). Разумно посланные утром на отход тылами, обозы корпуса были за это время захвачены, а прикрытие перебито. Обеспечивая никчемное переминание корпуса, перемолачивался Невский полк в лесном бою. А более всего обеспечил безопасность — не отхода, не спасенья, но топтанья клюевского — в десяти верстах за его спиной покинутый арьергардный Дорогобужский полк.

Дорогобужскому полку тремя неполными батальонами выпало вести арьергардные бои невдолге после выхода из Алленштейна. Ни рубежей, ни сроков не указал штаб корпуса полковнику Кабанову, а: вести арьергардные бои, пока не снимут. Очень вероятно, что полковник Кабанов имел весьма холодное суждение о генерал-лейтенанте Клюеве, о его распоряжениях и планах, но это не могло оказывать никакого влияния на солдатский долг Кабанова сегодня. Его было дело одно: судить, где и как лучше и дольше задержать наседающего противника. И — задержать.

Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получаются такие люди при твёрдом воспитании): как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в саму смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни? Как это: человеческое существо перестаёт отвергать смерть? Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа.

Но в такие минуты, как в Успеньин день — Кабанову, уже не это сомнение и решение очевидно представляется главным (если ты военный по профессии, тебе и умереть по профессии, рано или поздно). Очевидно, свою собственную жизнь Кабанов без колебания тут же бы и отдал, если бы этим мог задержать врага. Но — всех солдат своих ему надо было для того, и мало ещё, потому что противника шла внагон дивизия. И если посетили сомненья Кабанова, то могли быть только такие: ему доверенным, его родным полком — жертвовать ли для спасения главных сил корпуса? или стараться самый этот полк спасти? Тяжесть в том, что командиру полка надо принять роль рока для своего полка: это *он* должен был вынести полку смерть. Артиллерии Кабанову не оставили. Патронные двуколки исчезли, не дойдя до этого места. Патронов так не хватало, что из четырёх пулемётов можно было действовать лишь одним. Скоро и для винтовок должно было их не хватить. На четырнадцатом году Двадцатого века оставался дорогобужцам против немецкой артиллерии — русский штык. Полку, очевидно, предстояло погибнуть, и этот приговор каждому дорогобужцу ложился на совесть командира полка — но так, чтоб не обременить ясности его решений: где выбрать рубеж, где поставить засады для штыковых атак накоротке, как дороже себя отдать и больше выиграть времени.

Такой рубеж Кабанов выбрал у Деретен, где и высоты стояли благоприятно, один фланг замыкало большое озеро, другой — небольшие озёра цепочкой. Там дорогобужцы стали и держались всю солнечную вторую половину дня и светлый вечер. Там кончились у них и все патроны, там трижды всем полком ходили они и в штыковые контратаки, убит был, в пятьдесят три года, и полковник Кабанов, и в ротах осталось менее одного солдата из двадцати.

И это чудо — ещё большее, чем стойкость офицеров: что солдаты, наполовину запасные, месяц назад пришедшие на призывные пункты в лаптях, ещё со свежим ощущением своей деревни, своего поля, своих помыслов, своей семьи, напротив, ничего не понимая, не зная во всей европейской политике, и этой войне, и этом армейском сражении, в задачах корпуса, даже по номеру им не известного,— не разбежались, не схитрили, не уклонились, но силой неведомой перешли ту грань, до которой любишь себя и родных, и надо сохраниться,— перешли, и уже себе не принадлежа, а только долгу жестокому, три раза поднимались и шли на огонь с беззвучными штыками. Переставьте этот полк вместо Нарвского в пустой богатый Хохенштейн — и так же, очевидно, они бы там добычничали и пировали (да за неделю до того в Вилленберге они уже пили и лили спирт). Перенесите нарвцев на место дорогобужцев на этот неумолимый рубеж (но, с Толстым не смеряясь, дайте им Кабанова и его батальонных командиров) — и взойдут они на то возвышение, где простых мужичков мы начинаем понимать богатырями.

Отрезано: такие ж как мы, другие — уходят, уйдут, вернутся домой, а мы — не должники их, не родственники, не кровные братья, останемся умереть, чтоб они жили после нас.

Что в тот день передумали обречённые, взглядывая в небо голубое, а чужое, на чужие озёра и чужие леса? — то там осталось, погребено в русских братских могилах, которые, при немцах, и до второй войны ещё сохранялись под Деретеном.

Как он выглядел, полковник Кабанов? По неизвестности подвига или трудности достачи нигде не была напечатана его фотография, а тем более — ни одного из нижних чинов, которых вовсе было не принято изображать в газетах, журналах, да и неохватно по их численности, лишь тогда уместной, когда надо стоять насмерть. Чохом на всех отпустила пресса «серых героев» — и рассчитались. Фотографий — нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, несебялюбивых выражений уже никогда не найдёт объектив.

Никто не прислал сказать, что задача полка выполнена, можно отойти. Дорогобужский полк погиб, немногие вышли. Десять солдат понесли своего убитого полковника и знамя. Достоверно известно, что атаковавшие от Алленштейна немцы так и не продвинулись до глубокой ночи, до законного сна.

Сколько бы Клюев ещё стоял, но близ полуночи прорвался на копытах приказ из армии:

«Для лучшего сосредоточения частей армии и снабжения всеми видами довольствия, 13-му корпусу в течении ночи отойти в район ... , воспользовавшись проходом между озёрами ...» (и назывался проход, накануне упущенный, а сегодня никак уже было туда не повернуть).

Слава Богу, ничего не поминалось обо всех боевых задачах вчерашнего и прежних дней. Рука Постовского, как добропорядочно: будто течёт счастливое мирное время, и вот для лучшего продовольствования удобно 13-му корпусу перепрыгнуть за ночь за двадцать вёрст через семь озёр в крохотную деревню из десятка домов — и там всё найдётся.

А продовольствоваться было нелишне: за минувший день, выйдя из Алленштейна, корпус ничего не ел.

Спасаться! Пришло время спасаться, и вот приказ давал право спасаться, это Клюев понял хорошо.

И — случайными дорогами, другими проходами, где и впритирку к противнику, повалил беззвучно корпус.

Уже не корпус, а три полка из восьми: истрачены были все остальные. Каширский полк с 16 орудиями оставлял Клюев под Хохенштейном ещё на один арьергардный бой, ещё один полк на уничтожение. Невский полк теперь должен был бросить свою победную позицию и ломиться ночью назад через лес, завоёванный днём. А сапёрную роту штаб корпуса просто з а б ы л. Предстояло ей, проснувшись, увидеть, что она одна, куда идти — не сказано, кругом враг,— а после этого уже не многое увидеть.

* * *

Ты заржи, мой конь,
Громким голосом,
Услыхал бы мой
Родный батюшка,
Сказал бы он моей
Родной матушке;
Сходила бы она
На сине море,
Достала бы она
Со дна морской песок,
Посеяла бы в зелёном саду
На кирпичике;
И когда тот морской
Песок взойдёт,
Тогда родный её сын
Домой воротится.

41

(15 августа)

Генерал-квартирмейстер Верховного главнокомандующего генерал Ю. Данилов, по посту — третье лицо в российской армии, а по участию в руководстве — первое, все последние дни трудолюбиво разрабатывал важные вопросы: составлял проект немедленного обращения завоёванной Восточной Пруссии в отдельное генерал-губернаторство (и генерал-губернатором предназначался многоизвестный генерал Курлов, о нём речь впереди); скорейшего окончания военных действий в ней и переброски освободившейся армии Ренненкампфа — за Вислу, для операции в сторону Берлина. Для этого Данилов просил Северо-Западный фронт уже сейчас озаботиться переброской одного корпуса от Ренненкампфа к Варшаве.

Начальник штаба фронта Орановский не мог этому противостоять возразительно, ибо всякое возражение снизу вверх всегда подрывает положение и успешность возражающего, и уже отдавал распоряжения о возврате того корпуса к железной дороге. (Ренненкампф, неверно истолковав ночной приказ идти отчасти и на помощь к Самсонову, углубит в Пруссию этот корпус и получит серьёзный упрёк за такой служебный проступок.) Не смел Орановский сколько-нибудь настойчиво доложить наверх и о тревоге, начинавшей поселяться в штабе Северо-Западного. Доложено было о некотором потеснении 1-го корпуса под Сольдау *в недостаточном порядке*, о внезапном появлении перед Второй армией корпусов Франсуа и Макензена, которые исчезли перед фронтом Ренненкампфа,— но Ставка ничем этим озабочена не была, и в ночь с 15-го на 16-е в длительном аппаратном разговоре Данилов добивался от Орановского, по своему ещё новому проекту, скорейшей переброски гвардии из-под Варшавы на австрийский фронт, а о Самсонове заметил беспечно, что у него — до пяти корпусов, обойдётся.

Беспокойство этого дня Жилинский и Орановский издёргали бы на Самсонове, но к досаде их, а отчасти и к облегчению (теперь будет сам во всём виноват), Самсонов снял проводную связь. На том они и успокоились. Штаб фронта имел и конницу, и автомобили, и летательные аппараты — но не сделал никаких попыток найти утерянные корпуса, ни — взять в свои руки корпус Благовещенского и бывший артамоновский и толкать их на помощь ядру Второй армии: то было бы для штаба фронта слишком хлопотно, да и увизительно, по службе они не обязаны были.

Тем временем правофланговый корпус Благовещенского жил отдельной жизнью, как если бы не составлял никакого фланга никакой армии и не был перед ней ответственен. Самопроизвольно, неостановимо он откатился почти к русской границе, и вот уже никому более не мешал, никого не трогал, вышел пока из войны. Генералу Благовещенскому, счастливо не отрешённому от корпуса на сутки раньше Артамонова (а всё — благодаря задержке и умелому составлению донесений!),— после этого страха 13 августа, внезапного столкновения с германцами, о чём не предуведомило его высшее командование, после страха попасть в плен в Бишофсбурге или быть убиту под Менсгутом, после нескольких кошмарных отступлений 14-го августа и даже 15-го на рассвете, когда волна ужаса подхватывала и несла весь корпус,— потребно было время для излечения нервов, а тем более в 60 лет: пожить без раздражительных приказов извне и самому не тратиться на их создание. Слава Богу, никем уже не преследуемый и оторванный от телеграфов и телефонов, Благовещенский и сам имел время очнуться и дать очнуться корпусу. Он не велел держаться и за Ортельсбург, узел шоссейных и железных дорог, а обтечь его в пожаре, отдать его без боя — и отходить далее, в сторону от дорог, в места глухие.

Как хотел Благовещенский, чтоб не вернулись его драгуны, ночью посланные с донесением к Самсонову! — не то, чтоб их убили, нет, но чтоб задержали при штабе армии, присоединили к какой-нибудь другой части. Пусть бы и вернулись они с приказом, но не сегодня, а завтра, послезавтра, дали бы переспать и духом укрепиться в покойном уголке. Увы, напрасны надежды! — неутомимые драгуны пробрались по чужой земле полсотни вёрст назад и 15 августа в полдень привезли собственноручные круптоворазмашистые строчки командующего: «Удерживайтесь во что бы то ни стало в районе Ортельсбурга. От стойкости вашего корпуса зависит...»

Эк, куда! — тут уже от Ортельсбурга 20 вёрст!.. Благовещенский с глубокой горечью прочёл, перечёл, ещё перечёл неисполнимый приказ. Он вызвал штабных и обстоятельно обсудил с ними, по каким причинам совершенно невозможно выполнить этот неприятный приказ.

И решился Благовещенский во здравие вверенного ему корпуса (и к облегчению многих подчинённых) исправить распоряжение командующего армией: всем корпусом никуда не двигаться не только сегодня, но и на завтра объявить днёвку. И кто только должен был силы положить, это сам Благовещенский: составить пристойное, убедительное донесение, почему был брошен Ортельсбург и иначе быть не могло: «...Подходя к Ортельсбургу, обнаружили, что весь город горит, зажжённый жителями. Конечно, это

была подстроенная ловушка. Оставаться на высотах я признал невозможным и отозвал корпус к югу.» А еще добавить: «Люди утомлены, ходатайствую дать отдых.» И еще умение: не отсылать бумаги (на конях до русского города, а там телеграфом) тотчас, а выждать следующего утра, когда днёвка уже начнётся, тогда и послать.

Что же до левофлангового русского 1-го корпуса, где Артамонов был смещён, но властно присутствовал, Масальский, оглядываясь на него, перенимал командование на сутки, а Душкевич лишь теперь догонял и принимал,— корпус этот, без единой воли, угнетённый своим отступлением, тоже без преследования втягивался в инерцию безопасного отката — за русскую границу, к Млаве. Русская граница — хотя не крепостная линия, не линия окопов, лишь условная черта на земле,— как будто оберегала от немцев, успокаивала. Знали в корпусе, что Найденбург уже у немцев. Но вся дюжина генералов, преизбывавшая тут, не имея неуклонного приказа действовать решительно — действовать решительно не могла.

Так в день 15 августа с русской стороны было сделано всё, что требовалось для торжества противника, для танненбергского реванша. И только назначенные в жертву центральные корпуса не вели себя покорно. Кексгольмский полк, лишь в середине дня впервые достигший передовой, к вечеру потерял уже больше половины состава. Бой под Ваплицем сорвал «узкий» план окружения под Хохенштейном. Все бои этого дня в центре либо были выиграны русскими, либо не были выиграны германцами. Но в карусели боёв так оборачивается лицо войны, что выигранное отличными полками тут же разматывается в прах негодными корпусами и армиями. С каждым боем, тактически выигранным в центре, русские всё больше проигрывали этот день, всё больше ссовывались в погибель.

Однако с немецкой стороны не так ясно ещё это было видно. Кровопролитные наступления корпуса Шольца шли в каких-то нелепых неудачах, когда не сходится то, что сойтись обязано. То и дело свои повернувшие эскадроны принимались своею пехотой за русскую конницу и тяжело обстреливались, даже до рассеяния. Своя артиллерия обстреливала свою пехоту. Попадали под внезапный фланговый обстрел русских и отбрасывались. Бившись день, почти не продвигались. Из-за утренней неудачи под Ваплицем потеряли темп почти всех частей. Одну из шольцевых дивизий потеряли в утреннем тумане и несколько часов не могли найти. А в лесу Каммервальде была растрёпана Невским полком другая германская дивизия и штаб её. И даже сами Гинденбург и Людендорф в своём автомобиле в этот день попали под Мюленом в скоротечную панику, возникшую... от русских пленных: неслись санитарные роты и артиллерийские парки с криками «русские идут!». Весь день пропасались соединения Клюева с Мартосом. Генералу Франсуа не велели окружать, но идти на выручку в центр. А корпусные фон-Бёлов и Макензен весь день провели в споре, кому идти на Хохенштейн, а кому на юг. Макензен, как старший по чину, приказал Бёлову очистить дорогу для своего корпуса. Бёлов не подчинился. Послали авиатора в штаб армии на разрешение спора. Тогда Макензен вообще перестал куда-либо двигаться и объявил своему корпусу днёвку. Лишь к четырём часам пополудни нашёл Гинденбург телефонный путь к Макензену и приказал ему двигаться на юг, на окружение. Но часу не прошло от этого телефонного звонка, как пришлось отказываться от идеи окружения и поворачивать и Макензена, и Бёлова — против Ренненкампфа: дошли сведения (ложные), что три корпуса Ренненкампфа и конница движутся на запад. А германские корпуса были все в разбросе и повёрнуты спинами к новой опасности. («Ренненкампфу стоило только приблизиться, и мы были бы побиты»,— пишет Людендорф.)

На самом же деле на этот день главный приказ Ренненкампфу от Жилинского был: приступить к обложению-наблюдению Кёнигсберга. Но в ночь на 15-е, посещённые всё же тревогой о непонятности на самсоновском фронте и появлении там новых германских корпусов, Жилинский-Орановский дали Ренненкампфу телеграмму: идти левым флангом в сторону Самсонова и выдвинуть кавалерию. Уважая сон генерала Ренненкампфа, эту телеграмму доложили ему только в шесть утра. Он разослал приказания, однако главные силы конницы (Хан Нахичеванский) сумели шевельнуться лишь к *вечеру* 15-го; генерал Гурко был ближе к сражению, но и он не прикоснулся к нему: его глубокий, но поздний рейд к Алленштейну только доказал, как легко Ренненкампф перед тем мог вмешаться и переменить всю битву.

А тем временем в штабе Прусской армии уже пересоставлялся приказ на 16-е августа. Об *этом* приказе Людендорф не вспоминает в мемуарах, а между тем, считает Головин, приказ этот был отлично сработан, по всей науке: наименьшими возможными перемещениями корпусов Макензена и Бёлова создавался новый фронт против Ренненкампфа, а корпуса Франсуа и Шольца, преследуя и огибая Самсонова, одновременно заводили невод, полумешок, и на подходящего Ренненкампфа. Но в приказе уже не было окружения самсоновской армии.

Вечером этого дня прусское командование, хороня мечту о Каннах, доносило в Ставку: «Сражение выиграно, преследование завтра возобновляется. Окружение северных корпусов, возможно, более не удастся.»

В решении Гинденбурга-Людендорфа содержалась верная победа средних людей. Лишь не было блеска интуиции.

Эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно, не ведавшего о совете Льва Толстого, что «бессмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство». И сверх приказа гнал и гнал Франсуа своих уланов, самокатчиков и блиндированные автомобили через Найденбург — и дальше на восток, к Вилленбергу!

Да строптивый Макензен, чертея от смены армейских приказов, обиженный, как решён его спор с Бёловым, снял связь якобы *перед* последним приказом и, уже недоступный изменениям и поворотам, повалил на юг — к Вилленбергу же!

Не забудем и бесперебойные германские интендантства, при которых, во всех перепрыгах, германские части не терпели недостатка ни в чём: всегда сыты, снабжены и вооружены.

42

Обходить Москву, прощаясь,— непосильная задача, даже и для молодых неутомимых ног, даже если только по главным местам. С каждого перекрестка — три-четыре пути, за каждой неизбранной улицей — свой потерянный обход. С утра побывали в канцелярии Александровского училища, где назначили им ещё к вечеру, потом последний раз в Университете, и на том дела кончились, всё остальное — прощальное, ненаправленное, для сердца только. И москвичи-то ненастоящие, приезжие, а как защемило, закружило — Москва-а-а, бросать не хочется, покидать больно. На просторных площадках у Храма Спасителя и всеми заведено здороваться-прощаться с Москвой. А оттуда только вдоль набережной сразу видишь два и три десятка конических вершин — домоных наверший, колоколен, кремлёвских башен. И-и потянули сами ноги по набережным, а набережные во сто шагов ширины, и что видно от домов и что видно от парапета — это разное. Приглашают мосты направо, там Третьяковка, да ведь времени нет, да хоть бы руками дотронуться до узорочной стенки, похлопать, погладить. Тогда через Кремль! — уж это единственная прогулка, уж такой нигде, а за делами вечно некогда, минуешь — но сегодня-то!.. Кремль — город в городе, и Китай-город — в городе город, и Варварка, Ильинка, Никольская, плотно насыщенные резными и лепными домами, на каждом изломе — церквями, сегодня переполненными по Успеньеву дню, и по два монастыря ещё на каждой, зовут, обещают, кто боярские палаты, кто купецкую торговую тесноту. Знаешь, а может и хорошо, что никогда ни по какому плану Москва не строилась? городил каждый, как смыслил, и всякий уголок непохож на другой, и в этом она, Москва? Нам бы ещё и на бульвары, нам бы ещё и на пруды, нам пройти поклониться мимо Художественного, а в Охотном ряду по дороге брюхо набить, а потом бы по всем, по всем арбатским переулкам,— да когда же, слушай? ведь на Знаменку опять — за бумагами. А как у Пушкина не побывать на Страстной? На трамваи садиться? — это не мы, так не прощаются со студенческим прошлым. Уже — прошлым? уже мы не вернёмся? Нет, мы вернёмся! (Кто-то не вернётся, но неужели — мы?..) А будем ли ученье кончать? Непременно будем, а как же!..

Что за чудо быть студентом в России! — кажется: все тобой любуются, все к тебе приветливы, открыты тебе все пути жизни!

Но — уходило... Последний день.

Оставались милые камни, оставались! И легки под подошвами уходящих становились тротуары и мостовые, как если б не во всю силу тяжести ступала на них нога. Саня и Котя, так недавно вышедшие на первую московскую вокзальную площадь робкими южными парубками, за два года узнали Москву, полюбили, а вот уже в чём-то и превзошли её — и в этом своём превосходстве над ней особенно великодушно любили её сегодня.

Но был и ещё оттенок в сегодняшнем обозрении Москвы: что как-то не очень она почувствовала войну, не ждала в ней рока. Если не знать о войне и не прищуриваться близко к объявлениям, кое-где расклеенным, не заметить команду из запасного полка, прошагавшую в баню, так пожалуй и не догадаешься вообще, что Россия уже четыре недели воюет: публики и экипажей с московских улиц нисколько не отбыло, не потемнели ни лица, ни цвета одежд, так же весело по-

шумливала и красилась витринами торговля, разве только добавилось на улице военных, да кое-где флагов и портретов царя, не снятых после его недавнего пышного приезда в Москву. И все эти наблюдения Котя и Саня тоже живо сообщали друг другу, и только шевеленье последнего вывода, растущего отсюда сомнения, бороздящего в каждом из них, они не высказывали вслух: а — не поторопились ли они опрометчивой волей исключить себя из этой наполненной неопечаленной жизни? Естественно уходить в Действующую армию из Москвы рыдающей, траурной, гневной,— а из такой живой и весёлой не поторопились ли? Но пока это сомнение шевелилось неуверенно и немо в глубине груди, оно ещё не существовало. Вот если вслух произнести, то дать ему рост и сделать больно другому из них, кто по благородству так не подумал. Особенно Котя не мог этого произнести, потому что вышел бы упрёк Сане: зачем он приехал к нему в Ростов? зачем задал вопрос, не пойти ли добровольцами? — ведь первый задал он. Другое дело, что Котя на лету подхватил: правильно, идём! До приезда Сани, он, честно говоря, не думал так, но тут во мгновенье осенило его, что — правильно, конечно надо идти, идём, мама будет решительно против, а всё равно идём! (Так решительно против, что было подряд двенадцатичасовое слезоговорение и нервоистязание, и крепкую мощную маму Котя оставил в упадке бесчувствия.) И ещё сегодня утром в канцелярии военного училища не поздно было отступиться (но невозможно друг перед другом!), а сейчас уже поздно, поздно.

И друзья только беззаботней обычного делились мыслями — всеми остальными, и смеялись.

Второй раз в канцелярии им дали отправные бумаги в Сергиевское училище тяжёлой артиллерии, как и хотели они, и назначили, в котором часу завтра утром явиться, что с собой иметь, чего не иметь,— и уже перезывался вечерний колокольный звон, когда от многой ходьбы с приятным зудом ног они пошли через Арбатскую площадь к Никитскому бульвару. Между островками зоологического магазина Бланка, заповедника всех мальчишек, и церкви Бориса и Глеба, по проезду, где двоим пьяным в обнимку, удивительным образом пронизывался трамвайчик, разворачиваясь на Воздвиженку, и своё предупредительное позванивание вплетал в верховой разливистый звон колоколов, в цокот извозчичьих подков, в тяжелоступ и колёсное громыхание ломовых по булыжнику, в крики газетчиков, зазывы от лотков, в общий слитный гул Арбата. Тут: «эй, сторонись!» — гордо кричал на пешехода извозчик, там «но, пошла!» — хлестали лошадь, зацепившую колесом за тумбу.

Молодые люди стали вечером чутче к налетающим, ударяющим запахам — то кондитерскому, то кухмистерскому, то свежепечёного хлеба, и рассчитывали теперь в трактире где-нибудь поесть, а потом ещё кружить пешком.

На Никитском бульваре перед собой увидели они в ту же сторону идущего высокого узкого человека с седым затылком, с книгами под мышкой, не вложенными ни во что, а так, врассыпную. Едва увидели — сразу узнали, они привыкли и со спины часами видеть его: это был их знакомец по Румянцевской библиотеке. И Костя, тыча в бок Исаакию, объявил:

— Смотри, Звездочёт!

Саня с досадой удержал его: не знал Котя пределов своему голосу, никогда не умел говорить тихо, Звездочёт мог бы услышать и обернуться, очень неудобно. Не то чтоб знакомец, они никогда не знакомились и не разговаривали, а один раз в читальном зале укоризненно посмотрел в их сторону, когда они громко шептались, они смолкли; в другой раз по коридору вот так же он нёс под мышкой десяток книг и рассыпал их, а мальчики случились тут и, подскочив с двух сторон, подобрали; и хотя по-прежнему остались, собственно, незнакомы, но уже как бы и знакомы: не полностью здоровались, а всё же приклоняли головы при встрече, в пол-улыбки. А со стороны частенько видели его за столом. Чем-то выделялся Звездочёт и среди весьма важной, умственной библиотечной публики Румянцевского музея: то ли тёмно-блестящими глазами в пещерных впадинах, отчего постоянно глубоко серьёзно было его лицо; то ли ужатостью с боков, ужатостью и головы и всей фигуры; то ли особой манерой задумываться: длинные руки локтями в стол упереть, шалашиком свести, пальцы вперeплёт, и чуть-чуть водя по ним крайними волосами бороды, упорно глядеть поверх голов на верхние

полки и под хоры. В такую-то минуту Котя и назвал его Звездочётом, а чем он на самом деле занимался — понятия они не имели, первым заговорить неудобно. А сейчас:

— Подойдём? — высказали разом.

Прощальная свобода несла их выше Москвы. Невозможно было ничего потерять, только приобрести! И, оба с одного боку обогнав, один через другого глядя, и интонацией исправляя невежливость обратиться без имени:

— Здравствуйте!..

— Здравствуйте!..

Старик не вздрогнул. Он перевёл на юношей свой углублённый взгляд, посмотрел, не столько и с высоты, это от ужатости он таким высоким казался, и признал:

— А-а, молодые люди! Очень рад.— Под калачом левой руки подправив книги, свободную правую протянул им. Кисть из-под рукава выходила тонка, а сама ладонь была разлаписта, как у мастерового.— Варсонофьев.

Назвались и они. Стояли перед ним в светлых льняных рубахах с узкими поясами, в студенческих фуражках, но тут же Котя потрепал свою и громко объявил:

— Всё! Последний денёк! Завтра в армию уходим. Добровольно!

Это не хвастовство у него было, а всегда так: пело внутри и пело вслух, широкое скуластое лицо сияло торжеством, и руки сами разбрасывались показать широту жизни.

И Павел Иванович Варсонофьев дал немного раздвинуться кругло подстриженной крепкой щётке седоватой бороды и седоватым, косо растущим крепким усам. Это была очевидно улыбка, хотя губ не видно почти:

— Вот как? — Посмотрел внимательней на одного, на другого.— Хм-м-м.— Его голос, тоже из пещерной глубины, с гулком выходил. Ещё присматривался.— И вы не боитесь, что коллеги вас обзовут *патриотами*?

— Так-кы...— подыскивал Саня оправдательно,— назовут, конечно. Но в известном смысле это так и есть...

— А почему нельзя быть патриотами?! — грозно, громко, наливисто спросил Котя.— Ведь не мы напали, на нас! На Сербию напали!

Изучающе смотрел на них старик, лоб наклоня.

— Да как будто так. Однако слово «патриот» до последних недель значило у нас почти «черносотенец», вот я почему.

— А как вы считаете? — напёр на него Котя.— Правильно мы поступаем? Или нет?

Вот был случай! — не обидно для друга, ещё раз проверить для себя. Этот старикан мог что-то веское отпустить.

Поднял одну бровь Варсонофьев:

— Правильность или неправильность можно оценить, только исходя из ваших убеждений.— И с искоркой в тёмно-уставленных глазах: — Вы, вероятно,— социалистических?

Саня застенчиво покачал головой.

Котя сожалительно громко чмокнул.

— Как?! Нет?.. Ну тогда, надеюсь,— анархических?

Нет, не было от мальчиков согласного кивка.

А заметили они, что старик как бы не посмеивался. То есть на его ужасно серьёзном лице усмешка была непредставима, да и раздвижка губ между сошедшимися усами и бородой замечалась мало, а вот — лёгкий такой блеск нашёл на глаза.

— Я, например, гегельянец! — твёрдо, ответственно заявил Котя старику. У него очень решительная была манера выражаться, подбородок выпяченный и челюсти крепкие.

— Чистый гегельянец? — удивлялся старик.— Ведь это редкость!

— Именно. Чистый! — твёрдо, гордо подтвердил Котя.— А он,— пальцем в санину грудь,— толстовец.

Тем временем переступали, пошли все трое опять к Никитским.

— Тол-стовец? — изумился старик, избоку примеряясь к сдержанному неуверенному Исаакию.— Ба-атюшки, а как же на войну?..

Но заметил, как это Сане сокрушительно: он сам понимал, он запутался, он страдательно смотрел, отбирая пшеничные мягкие волосы со лба:

— Я — не чистый толстовец теперь.

— Это — что! — взвопил Котя, всё более свободно чувствуя себя с этим славным стариком.— Он когда-то и мяса не ел! Ну посудите, как бы он теперь в армии? Там не поковыряешься, там всем одно!

Между друзьями это не обидно было, Саня улыбался мягко, но недовольный собой.

Явно, явно благожелательно смотрел старик на того, на другого:

— А что, молодые люди, если вы не торопитесь к барышням... ? Может быть зайдём, пивка выпьем? Да вы, поди, и проголодались?

Нет, к барышням не торопились. Почти не переглядываясь — да! Для последнего дня очень и интересно познакомиться со стариком.

— Тогда подождите меня здесь минутку, я в аптеку.

Уже и Никитская аптека стояла перед ними задней стеной, загораживая бульвар. Варсонофьев пошёл вокруг. Он немного сутулился на ходу.

— Эх! — спохватился Котя.— Надо было книжки взять подержать, хоть посмотрели бы! И тогда подбирали, не посмотрели... Слушай, ты только про Толстого не заводи особенно, с Толстым и так всё понятно.

Саня улыбался неоспорчиво:

— Ты же сам.

— Лучше пусть он ответит, правда, как он понимает, что мы в армию... А потом втравим его в какую-нибудь историческую тему, какой-нибудь, знаешь, *общий взгляд* на Восток, на Запад...

А трамваи шелестели дугами и позванивали. А извозчики прокатывали, по седоку — вальяжно или торопливо. А по бульвару текли себе гуляющие, будто никакой войны не зная, девочка с длинными косами несла ноты на урок музыки, неопрятный половой в зашлёпанной белой куртке перебегал с судками через бульвар, кому-то неся заказ. На перекрестке Никитской, у полукруглого здания с весёлой рекламой папирос «дядя Костя» постаивал стройный чёрно-белый городовой, наблюдая безусловный вокруг себя порядок. Ещё рекламы разные везли и трамваи при крышах. Да длинная череда вывесок, доведшая их досюда, с именами торговцев, как бессмертных созидателей, выведенными в буквах замысловатых, накладных и рельефных, изогнутых и прямых, утверждала вещность и вечность этого города,— а между тем совсем нереального, потому что завтра мальчики уже не будут в нём. Только кинематограф «Унион» и откликался им, что знает: «**НА ЗАЩИТУ БРАТЬЕВ-СЛАВЯН,** *сенсационная киноиллюстрация переживаемого всеми нами величайшего исторического...*», а в прочем — город стоял и тёк, оставался и переменялся, и в своей нечуткой огромности не мог понять, какой особенный возвышенный сегодня день, последний день, какой рубеж переступается смело. Обрывался, оставался обременённый город — но и нет, груди даже и не было больно, потому что самое лучшее и от этого города и своё — они уносили в себе.

Это у них называлось — «готовится чихнуть»: Саня голову немного отклонил, глаза сузил — и мечтательно, обе руки другу на плечи:

— Слушай... А как всё... Как всё...— Он оглядывался, ища это всё назвать, не называлось. Ну да понятно было обоим, уж кто бы мог друг друга так понимать, как они! — И после войны прийти — и на это самое место, а? Да?

— Да, да! — убеждённо сгрёб его под плечи и Константин. И даже подкинул немного, силы в нём было как в Иване Поддубном.

Лёгкость, лёгкость несла их выше этого всего цветного, звенящего, цокающего. Неистово-радостная сила рвала их в будущее. И даже если беда уже разразилась, уже совершалась — вот наблюдение: даже и в ней можно нестись невредимо, ощущая грозную красоту беды!

Из-за аптеки вышел Варсонофьев и манил их идти к «Униону». Нет, он не сутулился, держал чуть вперёд, как бы прислушиваясь или присматриваясь.

— Тут, под «Унионом», очень приличная пивная, и публика хорошая ходит.

Не такой уж неземной был старик, понимал что-то.

За дверью первое — запахи! тёплые, радостные запахи, и с остротой, и с густым пивным духом. Три соединённых помещения, да просто три комнаты,

одна на Никитскую, одна — в глухой двор, куда и повернули они. Котя толканул Саню в бок: сидел у пива и воблы известный университетский профессор с естественного факультета, и студенты с ним. В нескольких местах — офицеры, а то — вроде адвокатов. И нигде ни одной женщины, заповедник мужского досуга. Видно по пустым бутылкам, не убираемым для счёта, что сидели тут часами многими и объяснялись до конца. Читали и газеты, журналы разложенные. Подхватил на ходу Котя «Ниву», Саня — «Русское Слово». Выбрали столик у окна в глухое нагромождение пивных ящиков.

— До сих пор всё хорошо,— просматривал Саня.— Наступаем и в Австрии, и в Пруссии, везде удачно.

— Слушайте, слушайте! — громко объявил Котя.— Приказ войскам военного министра лорда Китченера: «Обращайтесь с женщинами вежливо, но избегайте близости с ними!» А? О чём заботятся!.. А?..

Хохотал оглушительно, да правда же смешно. Тут и другие шумели, смеялись, не тихо было в пивной. Да и есть уже очень хотелось, раздразнилось, и выпить неплохо, всё кстати.

— Так, молодые люди, селянку, котлеты, что будете? — спрашивал одолжительный старик.— А вы против мяса не возражаете? — заботливо к Сане.

— Селянку! Обоим! — определял Котя.

Селянку проносили — ароматный парок, сложный ласкающий запах.

И Варсонофьев заказал две.

— А вам, Павел Иваныч?

Варсонофьев выставил длинный белый палец свечою:

— В вашем возрасте удовольствие — поесть, в моём удовольствие — ограничиться.

— Да сколько ж вам, Павел Иваныч?

— Да считайте кругло пятьдесят пять.

По седине, по впадинам лица они ожидали больше, но и пятьдесят пять немало, не возражали. А заказ давал, и пиво разливал, и заедал мочёным горохом Павел Иваныч со вкусом. И спрашивал Саню:

— И что же вас с графом Толстым разъединило?

Саня — не сразу отвечать. Сперва подумать, как же верней. Он вообще не спешил. Котя за него решительно:

— Телега!

— Телега?

Саня ещё подумал, кивнул:

— Да. Это, знаете, какой-то грамотный крестьянин послал Толстому письмо. Что, мол, государство наше — перекувырнутая телега, а такую телегу очень трудно, неудобно тянуть, так — доколе рабочему народу её тянуть? не пора ли её на колёса поставить? И Толстой ответил: на колёса поставите — и сразу в неё переворачиватели же и налезут, и заставят себя везти, и легче вам не станет. Но что ж тогда делать?

Саня виновато смотрел, не слишком ли долго собой занимает. Нет, Павел Иваныч — слушал, не тяготясь.

— А вот, мол, что: бросайте вы к шутам эту телегу, не заботьтесь о ней вовсе! А — распрягайтесь и идите каждый сам по себе, свободно. И будет всем легко...— На Павла Иваныча, оборонительно: — И вот этого толстовского совета я, как тоже крестьянин, принять решительно не могу. В хозяйстве моего отца самую последнюю телегу я б ни за что так не бросил, непременно б её на колёса поставил. И вытянул бы хоть без волов, без лошадей, на себе.— Ещё проверил, не надоел? — А если телега эта означает русское государство — как же такую телегу можно бросить перепрокинутой? Получается: спасай каждый сам себя? Уйти — легче всего. Гораздо трудней — поставить на колёса. И покатить. И сброду пришатному — не дать налезть в кузов. Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему... не честно.— Виновато выговаривал, своё ничтожество понимая: — Вот это нежелание тянуть общую телегу — меня самое первое в Толстом огорчило. Нетерпеливый подход. Потом и другое...

— А что ж другое?

— Да например, если в Толстого вчитаться... Любовь у него получается не больше, как частное следствие ясного полного разума. Так и пишет, что учение

Христа, будто, основано на разуме — и потому даже *выгодно* нам. Вот уж нет... Как раз наоборот, по-земному христианство совсем не разумно, оно даже безрассудно. Это в нём и... и... Что чувство правды выше всякого земного расчёта!

Поблескивал старик из пещерных впадин. Но — и с шуткой:

— Да-а-а... Значит, с чистой линии вы сбились... А это в жизни и всего трудней: проводить линию в чистом виде, как вот ваш друг проводит гегельянство. А смешанная линия — всегда легка, всем доступна, у кого и зубов нет — селянка.

Принесли её как раз.

А Котя не выносил этого толстовства и рад был друга защитить:

— Да он не такой уж и толстовец, вы его простите. Не прямо, чтобы вот толстовец. Например, в станице его зовут *народником.*

Варсонофьев продул усы:

— Да в какую я компанию попал!

И заказал ещё две пары пива.

Узнал Варсонофьев, что кончили они по три курса историко-филологического, Котя — больше историк, Саня — больше филолог. Ещё уточнил у Коти с почтительным интересом:

— А разрешите узнать, какая, например, из Гегеля ваша любимая мысль? Ну просто, какая первая вспоминается?

Котино широкоскулое лицо, с большим размахом от виска до виска, переходило легко в широкий смех, но и в думанье тоже. Многое было прекрасно — и самодвижение идеи, и начальное отстаиванье принципа в его неразвитой напряжённости. А лучше всего:

— Пожалуй, развитие через скачок!

В *скачке* было что-то затягивающее.

Варсонофьев со вкусом сплетал пальцы на столе.

— Но если вы гегельянец, вы же должны утверждать государство.

— Я и... и утверждаю,— с некоторой заминкой согласился Котя.

— А государство — оно не любит резкого разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок — это для него разрушительно.

Ели. Пили, в меру прохладное и крепкое пиво. Варсонофьев грыз солёные сухарики. Зубы у него пробелевали все целые, ровные.

— А допустимо будет спросить,— трубил Котя,— чем вы, Павел Иваныч, занимаетесь? Мы тут гадали...

— Да как сказать... Одни книги читаю, другие пишу... Толстые читаю, тонкие пишу.

— То, что вы говорите,— не вполне ясно.

— А когда слишком ясно — не интересно.

У Коти была эта манера — ломиться, не сообразуясь с вежливостью, Саня от неё страдал. И, помогая увести разговор от допытывания:

— Разве так?

— Да знаете, чем важней для нас сторона жизни, тем она смутней. Полная ясность бывает только в простяцком. Лучшая поэзия — в загадках. Вы не замечали, какой там тонкий кружевной ход мысли?

— Два-конца, два-кольца, пос-редине гвоз-дик! — энергичным ритмом считалки выговорил Котя и расхохотался. Впрочем, громкость его не прорывала общего гула, и в круговой стене этого гула они друг друга слышали отчётливо, как в тишине.

— Есть и получше. Со вечера бел заюшка по приволью скачет, со полуночи на блюде лежит.

Слова загадки он выговорил особым поглубевшим распевным голосом, от своего голоса — особным, а тем более от гудящих плотоядных пивных голосов.

— И — что ж это такое? — торопился Котя.

Тем же голосом затаённо выпустил между усами и бородой:

— Невеста.

— А почему — на блюде?

— А прямо на кровати — загадки не будет. Поэтический перенос. На блюде, потому что отданная, беспомощная, распластанная.

Саня не покраснел ли чуть? Нет, он обдумывал.

Ели, пили.

Варсонофьев продул усы:

— Но слова затаскиваются и часто закрывают смысл. А что это значит сегодня — быть народником?

Саня сосредоточился, покинул всё, что на столе. При его здоровости и степной загорелости, заметной даже здесь, от малых окон пивной, было совсем не степное, а мягкое у него лицо; под пропалёнными волосами в голубых без твёрдости глазах всё время шла работа, не оставляя охоты много говорить, а когда говорил, то тут же готов был перед собеседником и потесниться:

— Н-ну... кто любит народ. Верит в его духовные силы. Полагает его вечные интересы выше своих кратких и малых. И живёт не для себя, а для него, для его счастья.

— Для счастья?

— Д-да, для его счастья.

А глаза Варсонофьева из-под надёжной защиты просторных бровных сводов так двумя светами и наслеживали:

— Но счастье народного большинства — это сытость, одетость, благополучие, полная удовлетворённость, так? А накормить, одеть — на это, смотришь, тоже целое столетие понадобится? Пока до вечных интересов — а мешают бедность, рабство, непросвещённость, плохие государственные учреждения,— и пока это всё сменить или исправить, тут и народников три поколения надо?

— Д-да, возможно.

Не мигая, совсем не нуждаясь мигать мог смотреть Варсонофьев неотрывно, не упуская из глаз наслеженное:

— И все эти народники, спасая не меньше всего народа сразу, до той поры отказываются спасать себя? Вынуждены так. И вынуждены считать негодниками всех других, кто не жертвует собой для народа,— ну там занимается каким-нибудь искусством, или поисками абстрактного смысла жизни, или, хуже того, религией, душу спасает, и так далее?

Саня так внимательно слушал, даже измучивался. Он кисть, палец поднял, чтобы слово вставить, потом забудет:

— А в ходе жертвы для народа — разве душа не спасётся? Сама?

— А вдруг эта жертва — не та? А скажите — у народа *обязанности* есть? Или только одни права? Сидит и ждёт, пока мы ему подадим счастье, потом вечные интересы? А что если он сам-то н е г о т о в? Тогда ни сытость, ни просвещение, ни смена учреждений — не помогут?

Саня лоб вытер, глаз не сводил с Варсонофьева, так из глаз в глаза и хотел перенять, понять:

— Не готов — в отношении чего же? Нравственной высоты? Но тогда — кто ж?..

— А вот — кто ж?.. Это, может, до монголов было — нравственная высота, а мы как зачли, так и храним. А как стали народ чёртовой мешалкой мешать — хоть с Грозного считайте, хоть с Петра, хоть с Пугачёва — но до наших кабатчиков непременно, и Пятый год не упустите,— так что теперь на лике его незримом? что там в сокрытом сердце? Вот кельнер наш — довольно неприятная физиономия. А над нами — «Унион», кино, этот антихрист искусства, там тапёр играет в темноте — а что у него в душе? какая ещё харя высунется из этого «Униона»? И почему же надо всё время для них жертвовать собой?

— Тапёр и кельнер,— объявил Котя,— это не строго народ.

— А где же? — седо-светлую узкую голову со светящимся бобриком повернул на него Варсонофьев.— До каких же пор непременно обязательно один мужик? Уж миллионы из него утекли — и где ж они?

— Но тогда надо строго научно определить народ!

— Да все мы научность любим, а вот народа никто строго не определил. Во всяком случае не одно ж простонародье. И нельзя ж интеллигенцию отдельно от народа считать.

— И интеллигенцию определить! — сил не смеряя, ломился Котя.

— И этого тоже никто не умеет. Например, духовные лица у нас никак не интеллигенция, да? — И увидел в котином мимолётном фырканьи подтверждение.— И всякий, кто имеет *ретроградные* взгляды,— тоже у нас не интеллигент,

хоть будь он первый философ. Но уж студенты — непременно интеллигенты, даже двоечники, второгодники и по шпаргалкам кто...

Не выдержал серьёзности, бороду от усов отодвинул в явном смехе. К усам прилипла пивная пена. Показал неприятному кельнеру:

— Ещё пару, пожалуйста.

Хватка серьёзности за столом ослабла, опала — а Саня всё ещё задерживался в ней: что-то в этом коротком разговоре так и не разрешилось, в сторону повисло и оборвалось. Он не просто думал в разговоре, но удручался.

— А кстати, молодые люди, если это не нескромно, мне хочется понять: вы — каковых родителей дети? Из какого слоя?

Котя густо покраснел и стих, как поперхнулся. Сказал нехотя, к молчанию:

— Мой отец умер.

И пива налил.

Но Саня знал котино больное место: ему стыдно, что его мать — рыночная торговка, он обходит это, как может. И, отрываясь от недодуманного, собою заставил друга:

— А дед у него — донской рыбак. А мои родители — крестьяне. Я в семье — первый, кто учился.

Варсонофьев довольно сплёл и расплёл пальцы:

— Вот вам и пример. Вы и от земли, вы и студенты московского университета. Вы и народ, вы и интеллигенция. Вы и народники — вы и на войну идёте добровольно.

Да, это трудный и лестный был выбор — к кому же себя отнести.

Котя разодрал воблу как грудь себе:

— Но я так начинаю понимать, что вы — не сторонник народовластия?

Покосился Варсонофьев:

— Как вы догадались?

— Что ж, по-вашему, народовластие — не высшая форма правления?

— Не высшая,— тихо, но увесисто.

— А — какую ж вы предложите? — возвращался Котя в свой жизнерадостный, почти детский задор.

— Предлагать? И не посмею.— Повёл, повёл из двух пещер тёмно-блестящими глазами.— Кто это смеет возомнить, что способен придумать идеальные учреждения? Только кто считает, что *до нас*, до нашего юного поколения, ничего важного не было, всё важное лишь сейчас начинается. И знаем истину только наши кумиры и мы, а кто с нами не согласен — дурак или мошенник.— Он, кажется, сердиться начинал, но тут же умерился: — Да не будем упрекать именно наших русских мальчиков, это мировой всеобщий закон: заносчивость — первый признак недостаточного развития. Кто мало́ развит — тот заносчив, кто развился глубоко — становится смиренен.

Нет, Саня не поспевал за разговором: слушал новое, а додумывал передсказанное. Уж сколько они захватили, бросили и дальше. Но всё то безнадёжно упуская, вот этому последнему он выставился навстречу:

— А вообще, идеальный общественный строй — возможен?

Варсонофьев посмотрел на Саню ласково, да, отречённый неуклонный уставленный взгляд его мог быть ласковым. Как и голос. Тихо, с паузами он сказал:

— Слово строй имеет применение ещё лучшее и первое — с т р о й д у ш и. И для человека нет нич-чего дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений.

Вот оно, вот оно, что выдвигалось! вот что Саня улавливал: надо выбирать! Строй души — это же и есть по Толстому? А счастье народа? — тогда не держится...

Прогонял, прогонял продольные морщины по лбу. А Варсонофьев:

— Мы всего-то и позваны — усовершенствовать строй своей души.

— Как — позваны? — перебил Котя.

— Загадка! — остановил Варсонофьев пальцем.— Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?

Сказал, на обоих посмотрел: не много ли? Притушился. Отхлебнул. В который раз отёр от пены усы.

А юности это заманчиво, та́к сразу и подпрыгивает навстречу в глазах: а что? а правда? а ведь не зря я что-то чувствую в себе?

Но всё-таки интересовало мальчиков:

— А — общественный строй?

— Общественный? — с интересом заметно меньшим взял Варсонофьев несколько горошинок.— Какой-то должен быть лучше всех худых. Да может и пресовершенен. Но только, друзья мои, этот лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже *научному*, мы же всё научно, составлению. Не заноситесь, что можно придумать — и по придумке самый этот любимый народ коверкать. История,— покачал вертикальной длинной головой,— не правится разумом.

Вот! Вот ещё! Саня вбирал, Саня и руки сложил, улавливая:

— А — чем же правится история?

Добром? любовью? — что-нибудь такое сказал бы Павел Иваныч, и связалось бы слышанное от разных, в разных местах,— как хорошо, когда совпадает!

Но нет, не облегчил Варсонофьев. Ещё по-новому отсек:

— История — и р р а ц и о н а л ь н а, молодые люди. У неё своя органическая, а для нас может быть непостижимая ткань.

Он это — с безнадёжностью сказал. До сих пор прямой в спине, он дал себе согнуться и отклониться к спинке стула. Ни на того, ни на другого не смотрел, а в стол или через мутно-зелёные бутылочные искажения. Ни Котю, ни Саню ни в чём он не убеждал, но стал говорить звучней и не покидая фраз несогласованными — да не читал ли он лекций где-нибудь?

— История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история — река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви — уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи.

— Так что ж, ничего и предлагать нельзя? — отдувался Котя. Устал он.

Саня мягко положил руку на рукав Варсонофьеву:

— А — где же законы струи искать?

— Загадка. Может быть, они нам вовсе не доступны,— не обрадовал Варсонофьев, вздохнул и сам.— Во всяком случае — не на поверхности, где выклюет первый горячий умок.— Опять поднял крупный палец как свечу: — Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека.

Замолчал. В своей библиотечной позе замер: руки на столе шалашиком, и бородой, аккуратно подстриженной в круглую лопатку, туда-сюда о переплетенные пальцы.

Может быть, и не надо было им этого всего. Но не совсем обычные студенты.

Котя мрачно тянул пиво. Узелком на лбу надулась у него жила, от думанья:

— Что ж, тогда и делать ничего нельзя? Только наблюдать?

— Всякий истинный путь очень труден,— подбородком в руки отвечал Варсонофьев.— Да почти и незрим.

— А на войну идти — правильно? — очнулся Котя.

— Должен сказать, что — да! — определённо, похвалительно кивнул Варсонофьев.

— А — почему? Кто это может знать? — заупрямился Котя, хотя бумага-то уже была у него в кармане.— Откуда это доступно?

Все десять пальцев развёл Варсонофьев честно, как с равными:

— Доказать не могу. Но чувствую. Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну.

А Саня этого последнего как и не слышал. Он вот что понял: путь или мост

должен оказаться незрим. Зрим, да мало кому. А иначе человечество давно б уже по тому мосту...

— А справедливость? — зацепился он всё-таки, вот тут было не досказано.— Разве справедливость — не достаточный принцип построения общества?

— Да! — повернул к нему Варсонофьев светящихся две пещеры.— Но опять-таки не своя, которую б мы измыслили для удобного земного рая. А та справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе. А нам её надо — у г а д а т ь!

Шумно-шумно Котя выдохнул:

— Всё у вас загадки, Пал Иваныч, да всё трудные. Вы б легче какую-нибудь.

Павел Иваныч поиграл губами лукаво:

— Ну, вот какую. Кабы встал — я б до неба достал; кабы руки да ноги — я б вора связал; кабы рот да глаза — я бы всё рассказал.

— Не-ет, Павел Иванович,— шутил уже немного и опьяневший и довольный одобрением Костя, и хвостом воблы постукивал по тарелке.— Главный вопрос, я чувствую, главный — мы так и упустим вам задать. А потом на войне будем жалеть.

Смягчился Варсонофьев к улыбке, к отдыху:

— А на главные вопросы — и ответы круговые. На г л а в н ы й вопрос и никто никогда не ответит.

* * *

КОРОТКА РАЗГАДКА, ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ

* * *

43

Отца родного чуть помнил Терентий Чернега, воспитывала его мачеха по́конец рук, потом и отчим пришёл, а Терентий ушёл,— не много он от них набрался. И в двухклассном сельском училище и в одноклассной торговой школе тоже не богато подобрал. Да ученье и книги тому ни к чему, у кого на жизнь глаза и уши правильные. Когда надо, оборотистым смыслом своим Чернега легко поспевал за разговором образованных, хоть бы вот и офицеров.

Слышал Чернега, как командир бригады полковник Христинич разговаривал с командиром батареи подполковником Венецким о делах вообще в артиллерии: как у нас пустая трата тяги и простой пушек из-за того, что восемь орудий в батарее, а у немца — шесть или четыре, а перестроить шесть восьмиорудийных в восемь шестиорудийных — нет у казны денег, дешевле пушки возить, не стреляя; и как командиры батарей погрязли в батарейном хозяйстве, в содержании да чистке запасного имущества, так что некогда стрелять, некогда боевых наставлений читать, да и они-то все устаревшие, а новое последнее — и до рук не дошло, война.

Тем более утвердился Чернега, что если кто в артиллерии что и значит — это фельдфебель! — на ком же то хозяйство?

На действительной прослужил Чернега от хоботного до первого номера и до начальника орудия. А на войну теперь в первый же день призванный, в третий день представленный в Смоленск, попался на глаза полковнику Христиничу, тот посмотрел мимоходом седо-мохнато и сказал Венецкому:

— Такого молодца грех унтером держать, поставьте его фельдфебелем!

Это он правильно догадался, про себя Чернега знал, что будет фельдфебель отменный. А узнав подполковника Венецкого, ещё раз догадался, что не во всякую батарею Христинич бы стал и фельдфебеля советовать. Венецкий знал свои прицелы, трубки, дистанции, а барин был нежный, с солдатами объяснялся извинчиво, команду подавал просительно,— и не было бы в батарее единого

сжатого кулака, если б не назначили Чернегу фельдфебелем. И с первого же зыка-рокота природнился он к новой должности, и вся батарея разом признала его. А по такой войне, какая пошла, кто ж и был в батарее главный, как не фельдфебель? Две недели пушки не снимались с передков, не занимали позиций, и были в головах господ офицеров боевые наставления или нет — это не влияло нисколько. Ещё показывали они, по какой дороге двигаться, так это и так было ясно по общей дивизионной колонне; ещё — донесенья писали. А вёл батарею, кормил-поил батарею, размещал на ночёвки, за лошадьми следил, снаряды оберегал — Чернега, и вся батарея признала его главным человеком, и лошади ушами вели, что он их понимает. (Да лошади-то всегда отзывались Чернеге с первого прихлопа по шее. Ох, он их знал-перезнал, покупал-продавал — не для барыша, из задора! Страстовал Чернега по лошадям больше, чем по бабам.)

Терентий переносил на плече шестиведерный бочонок с квашеной капустой, гнул подковы, гривенники, выколачивал молотом на ярмарках — всё, как мериться любили на Руси от лишних досугов и лишней силы. Он и сам был как бочонок. Ростом не добрал, но на силе это не отозвалось. Да в с ю-то силу, кроме пожара да подтопа, почитай никогда не приходилось ему и пускать. Вполсилы доставалось ему в жизни всё, чего он хотел,— потому что и умений, и ремёсел много знал, ремесло не коромысло, плеча не гнетёт, а свеородную поберегал на запас. И вот теперь на войне Чернега тоже ещё всей силы не показывал, обходилось и так, командовал он вполдрёма-вполсмеха: война ворвалась совсем ни к ляду, в тридцать два года, в сок, и, как всегда кажется, на самом захватном месте. Так протолкаться бы её, не повредя себя.

Но когда середь ночи подняли по тревоге, и то томленье безвестности, безлюдности, капкана, накоплявшееся в солдатских грудях всю неделю, прорвалось теперь ясным приказом, нет, разрешением: «айда, ребята, наутёк!» — Чернега в два толчка сердца разрешил всю силу, какая таилась в нём, и кинулся к подполковнику:

— Ваше выс-родие, только скажите: ч т о н а д о?

Подполковник Венецкий при свечке, в палатке, схватился за узластое предплечье фельдфебеля:

— Через вот эту речушку надо бы, Чернега! — и, белый локончик на лбу, по карте на раскладной походной койке, оставляемой теперь тут навек, показал быстрей обычного, не мямля: — ...чтоб нам на шоссе не выходить, крюка не давать, и там вообще немцы, а вот здесь на речушке какой-то мост, может повреждён, может сгнил, подходы к нему болотистые — а нам бы вот перейти! Десять вёрст сбережём, а немца минуем, и сразу вот на этот перешеечек, Шлагу-М.

По карте мудрость не столь велика. Зелёное, чёрное, голубое, озёра-озёра-озёра, ног не протащить, это всё Чернега круглыми глазами быстро вбирал, тем быстрей, чем надо было,— а всё-таки зацепило его:

— Шлага-э́м, это что такое?

Шляга — молот большой, а по-польски, «шлаг трафи» — сдохни, удар бы тебя хватил...

— Очевидно, так плотина называется — или мельничная, или от деревни Маркен. Но Маркен мы обойдём тогда, а Шлагу-М не обойти. Только кто Шлагу-М перейдёт — тот будет жив, а здесь...

А здесь — мы и не будем! И тож у плечика, да чтоб не раздавить, привзял Чернега подполковника:

— Ваш' выс-благородь, сосватано! Шлите только офицеров по маршруту, а мы всей упрягой возьмёмся!

— И... снаряды... ты понимаешь, Чернега?..

— Да неужель не понимаю! — выскакивал Чернега из палатки.— Лучше руки отвинтим, бросим — а снаряды возьмём. Доколыхаем как бабьи груши!

Вот и настал пожар-подтоп, даже выше захлёстывало, и в такие минуты нет у офицера рук, а руки — у фельдфебеля! У них только покашливание с извинкой, за двести лет заминаются,— а ну-ка их на ... однажды пошлют? Вот задумал бы Чернега снарядов не взять — хоть сто раз приказывайте, а покинули б. Но печёт Чернегу, что — мало снарядов, а каждый снаряд пять солдатских голов спасает, если не двадцать.

И — зарычал Чернега на своих львино, перекрывая все другие команды, ропот, ржанье и лязг. Знала батарея своего фельдфебеля, но ещё и не знала, до этой ночи не было войны! Рык этот львиный всем передавал, чтобы теперь ни одна поджилка не проленилась, что если лошади откажут — пушки на себе понесём. (Рык-то рык, а и с приглушью: в ночь далеко разносится, не проведали б немцы, что мы стронули и куда пошли.)

И — завертелась невзгодою погожая тихая ночь, после оброна месяца с одними только звёзданьками. Не объявлялось, а быстрый слух разнёсся и усвоился всеми без отказу: где-то есть мост, и на тот мост надо спешить, а снимут его — мы пропали. Без задышки бегал Чернега вдоль колонны вперёд-назад и поспевал везде разобраться. Гнулись и тянули как против косого дождя, как под обстрелом — не передыхая. Полевая дорога кривуляла и перекрещивалась, на развилках от офицерской разведки ждали маяки. Ближе к речке у Чернеги была своя разведка: ногой дознаться, где топко и насколько. Поработали и до моста: заминались, топли, перепрягали выносы, брали урывом, все подхватывая. И на мосту поработали: на последнем хуторе разобрали сарай — и потом в темноте меняли брёвна, достраивали мост. И лошадей поили. И после моста долго тянулись низинкой, как бы не встрять, ещё перепрягали. А там — крутенько пошло наверх, и опять подпрягали, толкали — и взъехали, наконец, на твёрдое. Вот война: в полуночи перебуженные, чего днём осилить нельзя — одолели ночью. А за тем и вся краткая ночь прошла. Оставив мосток и прорытую тёмную дорогу остальному дивизиону, их батарея уже на освете, прикрываясь справа лесной полосой, беззвучно потянула к шоссе. Никто не стрелял, никто не пересекал им дорогу, отпалились за прошлые дни. Простояла тихая ночь, как будто нет войны.

Перед самым шоссе, не выводя из лесу, батарею остановили. Они пришли первые, значит долог оказался кружной путь, а может полки блукают. Уже довольно развиднелось, но и неполный свет ещё. В версте направо на высоте лежала у шоссе та самая деревня Меркен. Налево же по шоссе, всего за триста саженей, но по откосу и в провале — ждала их заклятая Шлага-М, и если разведка сейчас не встретит на ней огня — через пятнадцать минут батарея уже будет за нею. Ну да сказал командир первого взвода, что через пять вёрст ещё одна такая будет закупорка. А когда и вторую проскочут – донесёт их туда, где были они неполных три дня назад.

Надо было три дня таскаться со всеми орудиями, парками, обозами, ни одного снаряда не выпустив, отломав сорокавёрстный крюк, чтоб теперь дониматься и рваться: ах, если б назад угодить!

На широком пне, на закрайке леса, присел Чернега — и руки свесил, и ноги ослабил: ныли. А есть и спать — перехотелось.

Слышался уже из деревни стук колёс и разговоры. Это — по шоссе наши подходили. Теперь попрут, только успеть бы перед ними.

Вернулась разведка: свободна Шлага-М! Никого! Свободна. Плотинка — две сажени ширины, но свободна. Две сажени? — ой-ой.

И вот уже не таясь, звонкими голосами, на отлёт: «По ко-о-ня-ам!.. Ездовые сади-ись!» — и батарее выворачивать на шоссе и спускаться вниз, к Шлаге.

А вдруг — ударили по деревне Меркен немецкие пушки! И сразу — дом загорелся. И тут же занялись пулемёты с немецкой стороны — да где она, немецкая сторона? — там и немцы, там и наши, там наших больше, там весь корпус наш ещё идёт-бредёт. А в неразгоревшемся дне огневатые вспышки стрельбы помелькивают со всех сторон — и отлева деревни и отправа деревни, и переносом сзаду. И только одна сторона верная, несомненная: Шлага-М свободна, вот тут, под откосом, Шлага-М, до которой они измесили болотце, и ногти срывали в кровь, и надорвали лошадей до упаду. И если теперь побыстрей дорогу занять и туда спускаться, то ещё опережаем обоз — тот, что галопом из Меркена кинулся сюда от обстрела, гудят колёса, а там и пехота бежит по обочинам.

Эти миги поворотные, когда не знает себя ни человек, ни целая часть, когда голос не слышен, и начальник не виден, и ты один решаешь за себя — да не решаешь, ведь думать некогда,— и вдруг решается всё.

Пушки подъехали — лучше позиции не надо! — и спускаться под откос? оттуда не постреляешь. Вскочил Чернега и размахом руки, как тысячу рублей пуская на ветер, показал первому орудию, где ему разворачиваться. И второму!

Могли б не послушать: почему фельдфебель? Подождём командира. Там плотинка нас ждёт, вта плотинка — в Россию! Мы целую ночь спотыкались, потели, толкали, мы — первые, мы имеем право в Россию!

Но щедрость передавалась как переимная зараза, и разученными движениями ездовые заводили пушки, и Коломыка, рожа скулая, уже свою снимал с передка. И бежал штабс-капитан, во все руки махая! что́ махая? не надо? не надо было? Надо! надо... правильно, молодцы!!

И подполковник Венецкий, узенький, из лесу вывернулся и, придерживая на боках шашку и сумку, бежал на высотку сбок деревни. А телефонисты — за ним, разматывая свои катушки.

Уже полный был превосходный свет, а заря запрятана за лесом, за спиной. По открытым холмам впереди и за холмами во все стороны расширялся гремёж. Не ушли, как хотели ночью,— не ушли, не ушёл 13-й корпус, запутался.

Четыре орудия чернегиной батареи развернулись по эту сторону шоссе, передки отъезжали в лес, отсюда же подтягивались зарядные ящики, позиция — лучше не придумать! По шоссе проносились первые безумные повозки, обгоняя друг друга и сцепливаясь,— это здесь, а что на плотине будет? Перебивая их бег, перевалили шоссе, потянули на ту сторону становиться — пятое, шестое, седьмое орудия...

А тут — пехотка поддала, что за скоробеги, где таких берут?

— Кто такие? — львиным рыком через кювет от орудия окликнул их Чернега.— Кто такие? По каким делам?

— Звенигородцы! — отвечали.

Налился Чернега бычьей кровью:

— Да что же вы, грёб вашу мать,— говядину спасать звенигородскую? А мы за вас — отстреливаться? А ну, ворочайсь, давай прикрытие!

И батарейцы на холмик при Чернеге выскочили и не столько голосами, сколько руками, кулаками — остановили звенигородцев. Затолклись, обернулись, соткнулись — и пошла первая волна назад, ещё робко, ещё готовая повернуть. Но и там, как у нас, повиднелся офицер — и не погнал на Шлагу, а повёл в сторону от шоссе показывать, куда.

Ещё не вышло солнце из-за леса, только первым алым разгаром оттуда отдало — звенигородцы окапывались на склопе впереди, батарейцы обносили валками позиции, закладывали снаряды за подрытый холмок,— и утвердилась оборона Шлаги-М, не предусмотренная командиром корпуса, катящего, как попало.

Не сразу она вступила в стрельбу: на ближних вёрстах били неразборно друг по другу, справа и слева, из серёдки вкруговую, из круга в середину. Оттуда стали отваливать, бежать на правое крыло, на ту ж дорогу, какой тащилась чернегина батарея,— и тем же краем леса сюда выбрались два батальона Невского полка с рослым грозным полковником Первушиным, хорошо его знали и узнавали вся дивизия и все артиллеристы. Тут в овражке они собрались, отдышались, раненые перевязались, рассказали, что с ночи идут из дальнего леса, два батальона отбилось на город, и нет их, а их батальоны попали меж огня своего и немецкого, вперекрест по ним били, и вот еле выскочили. Звенигородцы же и палили.

Размежевались теперь, где свои, где чужие. Немцы напирали справа — и сюда, и на деревню, и на город. Как стало солнце вываливать из-за сосен — завиднелся из запа́да местности черепичными верхушками, трубами и он, город этот Хохенштейн, куда они вчера целый день шли, не дошли. Видать в городе наши были, но в круговом мешке, и завязка затягивалась.

А уже от Венецкого и команды: «Пер-рвое! Угломер... прицел... шрапнелью... трубка... беглый!» — и за первым орудием зарыгала вся батарея.

Шрапнель — она здорово сечёт, если батальон идёт строем — в три минуты его не будет.

В ответ ложились и немецкие снаряды, всё ближе,— но против солнца не находили нашей батареи.

А Софийский полк — прошёл!

Шли батареи, парки!

Шёл Можайский полк!

И — не на минуты, не на снаряды, не на раненых своих пошёл счёт, а вот на эти проходящие колонны: сколько их успеет пронырнуть? сколько отрежут?

Выбило наводчика — стал Чернега за наводчика.

Во многих местах уже горела деревня, клубились дымы — а наши вываливали из дыма, ехали, шли и бежали, и не было конца.

Два батальона звенигородцев. Какие-то остатки перемешанных, разбитых частей, откуда-то кучка дорогобужцев, и свой же батя полковник Христинич с отставшей полубатареей.

Узнал! Руками затряс: молодцы, славно! И ему замахали, закричали. Соскочил, обнял штабс-капитана.

И — в канаву, тут долго не наобнимаешься. Стали немцы метко класть по самой дороге — и сбежали с неё, кого не пришибло. Очистилось. Отрезано. Больше уже не пойдут.

Этого и ждал Первушин: теперь и его невцы спускались к освободившейся Шлаге.

Снимались, бежали из прикрытия звенигородцы.

И сам Христинич скомандовал: по одному орудию — на передки! И едва только брали лошади орудие — тут же и гнали широким аллюром на Шлагу.

А Венецкий наш — там не останется?.. Жалко бы, барин уходчивый. Нет, вои сбегают как зайцы, с телефонистами. А уж провод пусть немцы себе мотают.

Ещё две пушки дорыгивали.

Что смогли, то сделали, братцы, не поминайте лихом!

А уж кто в Хохенштейне остался — тому конец.

ДОКУМЕНТЫ — 5

16 августа

ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

...На Восточно-прусском фронте 12-го, 13-го и 14-го августа продолжалось упорное сражение в районе Сольдау-Алленштейн-Бишофсбург, куда неприятель сосредоточил корпуса, отступившие от Гумбинена, и свежие силы. Алленштейн занят русскими войсками. Особенно большие потери германские войска понесли у Мюлена, где они находятся в полном отступлении...

...Наш энергичный натиск продолжается.

44

Кажется так: эдесский князь Авгарь, покрытый язвами проказы, услышал о пророке в Иудее и уверовал, что это — Господь, и послал просьбу: прийти к нему во княжество и тут найти гостеприимство. А если нельзя, то дать художнику нарисовать себя и прислать изображение. И когда Христос учил народ, художник всестарательно пытался запечатлеть его черты. Но так дивно менялись они, что тщетен был его труд и опала рука: изобразить Христа недоступно было человеку. Тогда Христос, видя отчаяние художника, умылся и приложился к полотенцу — и вода обратилась в краски. Так создан был Нерукотворный Образ Христа, от полотенца этого и излечился Авгарь. Потом на воротах города оно висело, защищая его от набегов. И древнерусские князья переняли Спас Нерукотворный в свои дружины.

Это когда-то рассказывал Самсонову настоятель новочеркасского войскового собора. От деревенской церковки своего детства в Екатеринославской губернии перестоял Самсонов во многих храмах сотни всенощных, литургий, молебнов, панихид, сложить те часы можно в месяцы и месяцы молитв, размышлений, душевных подъятий. Во многих храмах удостаивался он снисшествия примиряющего ладанно-сизого духа, во многих храмах было чем полюбоваться запрокинутой голове. Но нигде не бывало Самсонову так уместно и так душевно-просторно, как в могучем крутоплечем новочеркасском соборе, слитом и с Войском Донским и с городом. Да весь Новочеркасск был сложен по характеру Самсонова: круго-обрывисто, незыблемо, а по горе — раскидисто, с тремя проспектами едва ль не шире петербургских, с Гостиным двором в соревнование с Петербургом же, с соборной площадью перед Ермаком, где нестеснённо можно принять парад десяти полков. Два года в Новочеркасске были из самых счастливых в жизни Самсонова, и именно их, тепло и печально, вспоминал он сегодня бессонною ночью,— именно тамошние соборные августовские службы.

День Нерукотворного Образа идёт вослед за днём Успения. Эту полночь — с Успения Божьей Матери на Христов Нерукотворный Образ, генерал Самсонов нынче проводил в седле, отступая. До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения — и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России.

Близ двух часов ночи, в самое тёмное время, штабная группа кружным путём, еле битыми дорожками, добралась к шестидомовой деревушке близ Орлау — теперь звучащее насмешкой славное имя первого боя. И тут, в топтаньи, неразберихе, наощупь, на слух без глаза, от казачьей сотни всё того же 6-го Донского и от обозов Калужского полка узналось, что никакого *щита* с запада, как задумано было по «скользящему» плану,— уже нет: что Калужский и Либавский полки (меру сил человеческих изойдя) уже вечером отошли от рубежа, указанного им держать весь наступающий день,— и теперь во тьме, близко тут, в трёх верстах отсюда — передний край! А в самом Орлау столкнулись обозы и дракой расчищают путь.

Ещё два корпуса оставались наверху, в опрокинутом кувшине — а горловина сжималась. И Найденбург — так все гомонили согласно, да иначе и трудно было нарисовать по карте,— Найденбург был уже у немцев.

Тем жёстче рвались штабные — ехать дальше скорей! Тем правей они были, остерегая Самсонова, что и не надо было им в Найденбург, а — глубже, на Янув сразу! Но командующий, увы, не слышал их, не понимал, он терял ощущение и своего поста и своих обязанностей! Вместо того чтобы думать обо всей армии, он стал управлять командирами батальонов.

Час от часу становился Самсонов увереннéй и независимей от штабных советчиков. Как будто не стало для него армейского штаба, а — группа нестроевых побочных офицеров зачем-то. В комнате, расчищенной от ночёвщиков, при керосиновой лампе, за столом, сидел без фуражки крупноголовый Самсонов, с недоумённым как будто лбом,— и вызываемым офицерам одному за другим давал по карте приказания, как вернуть Калужский и Либавский полки на позиции; какая артиллерия их поддержит; какие дороги в каких местах проверить, очистить для подходящих обозов 15-го корпуса. Он подробно объяснял, до конца выслушивал возражения, не давая вырваться дурному настроенью, говорил приветливо: «голубчик», «пожалуйста».

А вот и рассвет забелился, и утро налилось за окнами, оспаривая лампу. Нисколько не торопясь, ещё досиживал Самсонов над картой (он всё ещё примерялся, надеялся на подход 6-го корпуса), медленно проводил пальцами по крупно-расчёсанной бороде спокойными витыми линиями влево, и вправо, и объемля, по кругло-покойной подстрижке. Его неприкрытые большие глаза будто и не нуждались во сне.

Теперь-то он мог бы эвакуировать штаб, наконец! Нет, потерял он всякий смысл своего назначения — и штабные, пожимая плечами и ёжась от холода, влезали на коней — ехать ещё вдоль передовой линии в само Орлау зачем-то.

Неторная лесная дорога, на карте пунктирная, была уже разъезжена и забита чередою повозок, двуколок, ящиков, увозили куда-то патроны и снаряды, нужные здесь. От остановки одной пароконной повозки все останавливались, объехать было нельзя,— и представлялось, как будут томиться на таких дорогах два закапканенных корпуса. Череда верховых, штабных и казаков, гуськом обходила повозки, отклоняя ветви.

А лес ещё сужался, он был — узкий клин. До сих лишь на сосенные вершины отсвечивало солнце, но вот их дорогу вывело к левому краю — и, после полумрака, сразу окатило их полное алое ярое солнце, только что выплывшее поверх вершин другого леса — двадцативёрстного, бесконечного Грюнфлисского, густотёмного, в тёмном ожидании отступающей русской армии. А двести саженей до

того леса были — обрыв в луговую речную низину, и вся она шевелилась туманом, кверху редеющим в пар.

Самсонов вздрогнул, воззрился на этот пар, на солнце, как увиденное в первый раз.

Это плавающее величие осветило ему больше, чем он понимал даже последние сутки, не бедные мыслями.

В этот пар и туман кавалькада их спустилась на повреждённую мельничную плотину, и снова поднялась — в Орлау. То было самое поле недавнего боя, атак и потерь, схватки за знамя Черниговского полка,— и если отъехать и поискать, тут много свежих братских могил должно было ожидать их. А тяжёлый трупный запах, навеваемый то там, то здесь, значил, что и похоронены не все. Но никто о том поле, кроме командующего, как будто и не думал,— а вот на скрестьи дорог всё ещё не было растянуто стесненье обозов. С запада же подпирали новые.

Тут провели они утро. Были разорваны пути оповещения, в чужой стране в неожиданных и крайних положениях были раскинуты пять пехотных дивизий, пять артиллерийских бригад, конница, сапёры,— а новости, и только дурные, приходили от случайных людей с такой быстротой и уверенностью со всех лесных сторон, как не мог бы наладить их поступление лучший начальник связи.

Узналось, что убит полковник Кабанов и выбит Дорогобужский полк. Узналось, что Копорский полк под Хохенштейном вчера после возврата и часу не простоял, снова бежал, и новоназначенный полковой командир Жильцов застрелился на коленях у воткнутого в землю знамени. Узналось и хуже: что убит генерал Мартос, достоверно говорили казаки из его сопровождения.

Тройную эту весть донесли до Самсонова. Трижды он снял фуражку, перекрестился. Жильцова — он так и поставил вчера. И Мартоса — так послал. Но печальный покой и новый смысл его лица уже и это не могло нарушить.

Самсонов как будто стал прислушиваться. И не к гаму вокруг. И не к отдалённой стрельбе. А — помимо.

Он покинул или даже забыл свою ведущую мысль — ехать оборонять Найденбург. Теперь он оставил штаб в Орлау и с малым конвоем поехал на передовые позиции, к Калужскому полку. Там, на подъезде, застал в овраге командира батальона, выгоняющего стэком из кустов своих солдат, бежавших с позиции,— и покинув свою цель — укрепленье позиции, беседовал с этим подполковником отдельно.

А по Орлау слонялся без дела сердитый, пепельный армейский штаб — и не смел уехать без командующего. Но тут случилось кое-что и бодрое: внезапно приехал, доложиться и за приказаньями, начальник штаба 13-го корпуса генерал Пестич. Оказывается, корпус — жил, был, существовал, шёл сюда, только не знал обстановки и не имел приказа. А вот стали подходить к Орлау и полки 15-го корпуса. Рассказывали о славном деле Кременчугского и Алексопольского полков в арьергардной засаде у Кунхенгута: в сумерках успели промерить расстояния, закрепить пулемёты и ружья — и в темноте облили огнём и откинули немецкую колонну трёх родов войск, густо шедшую в преследование. Полки и сейчас были бодры, и все старшие офицеры верили, что сегодня же, вот-вот, подойдёт выручка от фланговых корпусов, 6-го и 1-го.

И — оживились штабные: восстановить скользящий щит, и всё могло ещё обойтись хорошо. Сели сочинять, писать исправленный план. 13-му корпусу форсированно (а он и без того не медлил) отходить в направлении... с расчётом... 15-му, остаткам 23-го... держать фронт... Затрудненье было в том, что недоставало корпусных и дивизионных командиров, а если их наскрести и правильно ими распорядиться, то штаб свободен и может уезжать на русскую территорию. Для этого вот что придумали: назначить единого командира над всеми частями, попавшими в беду. Вчера таким был Мартос, но Мартос убит. Как нельзя кстати был бы Кондратович, но никто его не видел, Кондратовича. Так естественно было передать руководство общим отходом — Клюеву, хотя он и позади всех, а Пестич сам возьмёт и отвезёт ему приказ. Ещё был вопрос — подпишет ли такой приказ Самсонов.

Тут пришло достоверное известие, что сегодня утром под деревней Меркен лёг весь Каширский полк, и его полковник Каховский со знаменем в последней атаке.

Тем временем в Орлау — нет, на поле близ него, натоплялись части, отдельные и перемешанные, и тут всё запруживалось, ожидая своего назначения. Уходили обозы, парки, увозили раненых, но сгущенье не разрежалось. Место было открытое, предполуденное солнце пекло, не хватало воды, а еды и вовсе не спрашивай, и попахивало догниваньем боя, бывшего тут шесть дней назад. Беззащитным потерянным табором сгущались военные люди.

А фронт, все пять дней гудевший, какой-то вялый стал. Как если бы немцы помягчели, простили, не хотели догонять, выгонять русских.

Аэроплан пролетел над табором — и по нему не схватились бить.

Близ полудня возвращался с передовых Самсонов, но от излома дороги поехал не к дому, где оставил штаб, а напрямик, по жнивью, по холмистому взгорью — прямо к табору, в его густоту.

Необычно было перемешанное расположение частей, не имевших распоряжений. Необычен был подъезд генерала без команд на строй, равненье, отклики в двести глоток. Ещё необычнее сам генерал, грузно усталый, на коне: со снятой фуражкой в опущенной руке, подставленным солнцепёку теменем, с выраженьем не начальственным, но — сочувственным, но — печальным. Неуставно расстёгнута и его шинель лейб-гвардейского Атаманского полка с синими лацканами, с георгиевской ленточкой в петлице. Это был как храмовый праздник, но странный, без колокольного звона, без бабьих весёлых платков: съехались на гору хмурые мужики из окрестных деревень и объезжал их шагом то ли помещик, то ли поп верховой и обещал им не то землю дать, не то райскую жизнь за страдания в этой.

Командующий не кричал на солдат, что они ушли с передовых, никуда не гнал их, не требовал ничего. Негромко приветливо окликал он ближайших: «Из какой части, ребята?» (отвечали), «Велики ли потери?» (отвечали), крестился в память погибших, «Спасибо за службу!.. Спасибо за службу!..» — кивал в одну, в другую сторону. И солдаты не знали, что отвечать, отзывался генералу вздох или стон неполных звуков, не полных до «рады стараться!». С тем проезжал командующий дальше. И снова, глуше: из какой части, ребята?.. велики ли потери?.. спасибо за службу!..

В то самое время, как генерал начал этот прощальный объезд табора, другой полевой дорогой, под углом, подъехали верховые: полковник и солдат с длинными ногами, свешенными без стремян. По другому времени полковник этого солдата хотел представить командующему и просить Георгия. Сейчас оставил его на краю табора, а сам пробирался вглубь.

Полковник приехал на слух, что здесь — командующий. Вот добрался, вот уже был с Самсоновым рядом, начинал говорить — но тот, рассеянно отрешённый, не замечал его. И полковник сопровождал генерала вблизи.

Голос командующего был добр, и все, кого миновал он, прощаясь и благодаря, смотрели вослед ему добро, не было взглядов злых. Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос; эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский,— не подвержены были проклятью.

Только сейчас Воротынцев разглядел (как он в первый раз не заметил? это не могло быть выражением минуты!), разглядел отродную обречённость во всём лице Самсонова: это был агнец семипудовый! Поглядывая чуть выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю жизнь, может быть, ждал, ждал, сам не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен.

Все эти дни, что они не виделись, Воротынцев старался думать о командующем хорошо, выплывало многое в обвиненье ему, а он искал в защиту и тревожился, чтобы решительны и неопозданы были действия того. В первый вечер он почувствовал, что мог бы иметь на него верное и сильное влияние в главные минуты. Даже было колебанье — задержаться в армейском штабе, никем, ничем, пришлёпкой, чужим глазом, ненужным и досадным всем. И минувшие дни порывало его вернуться повидать Самсонова, предупредить, помочь не оступиться — потому что эту оступку, оказывается, Воротынцев с первой минуты и ждал.

А за четверо с половиной суток совершилась вся катастрофа Второй армии.

Вообще — русской Армии. Если (на торжественно-отпускающее лицо Самсонова глядя), если не (на это прощание допетровское, домосковское), если... не вообще...

С чем теперь он достиг Самсонова: как, со вчерашнего дня отступая и отступая, они ещё там держатся с остатками эстляндцев, на открытом месте, с одним пулемётом и последними патронами,— и для чего же? К 1-му корпусу отчего не переехал командующий? И почему в защищаемом месте здесь — табор? Зачем текут бессильными малыми массами? хотя б задержась на полсуток, а собрать ударный клин и лишь тогда прорываться! Но всё это, несомненно нужное Самсонову, почему-то не было ему нужно.

— Ваше высокопревосходительство!

Самсонов обернулся на запаленного, запыленного полковника с подмотанным плечом, с багровиной на челюсти,— и доброжелательно, но без ясного воспоминания кивнул и ему. Простил и его. Поблагодарил и его за службу.

— Ваше высокопревосходительство! Вы получили мою записку из Найденбурга, вчера?

Облако вины, вот только что и было на челе Самсонова. Может быть полуузнавая, может быть бессознательно:

— Нет, не получил.

И — что же теперь? И кому ж теперь рассказывать, как было под Уздау? как ещё вчера под Найденбургом?..

Поздно, ненужно: на такой высоте парил Самсонов, что это было ненужно ему, уже не окружённому наземным противником, уже не угрожаемому, уже превзошедшему все опасности. Нет, не облако вины, но облако непóнятого величия проплывало по челу командующего: может быть по внешности он и сделал что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения всё было глубоко верно.

— Я — полковник Воротынцев! Из Ставки! Я...

В своём не проезде, но проплытии над этим табором, над всем полем сражения, не нуждался командующий вспоминать прошлые земные встречи и прошлые дела.

Почему он — прощался? Куда уезжал? Вчера утром выехав к центральным корпусам — на кого ж сегодня покидал их? Почему не готовил группу прорыва? Его собственный револьвера барабан — полон ли?

Нет. И возрастом, и многолетним положением генерал-от-кавалерии всё равно был закрыт от доброго совета полковника, даже и не паря. В возвышенности и была беззащитность.

Головы их коней оказались рядом. И вдруг Самсонов улыбнулся Воротынцеву просто и сказал просто:

— Теперь мне остаётся только куропаткинское существование.

Узнал?..

Не оспаривая, он подписал подложенный ему приказ по армии.

Он вдруг осунулся, одряб. Когда после полудня штаб армии выехал из Орлау верхами, генерал Самсонов ещё держался в седле. Но по пути достали тележку — и Самсонов и Постовский сели в ней рядом, вплотную. И покачивались на ходу.

Продолжение следует

Елена Шварц

БЕСТЕЛЕСНОЕ СЛАДОСТРАСТИЕ

(Дагобер и Нантильда — короли, чьи скелеты, как и всех прочих французских королей, были вырыты и брошены в яму с известью)

1

Дагобер, Дагобер,
Мне казалось, что все нас забыли,
Мы двенадцать веков в гробе тихо лежим,
Дышим тлением друг другв,
Обручальный наш червь недвижим.

2

Ах, Нантильда, Нантильда,
Серебристые кости,
Кто шумит там — не знаете вы?
Эти слуги всегда... Но у вас, дорогая,
Даже нету уже головы.

3

Головы моей нету, правда,
Всего лишнего я лишена,
Слезли платья, рубашка и грудь,
Но когда я пылинкою стану —
Вот тогда моя явится суть.

4

Да и я, дорогая Нантильда,
Только тверже стал и белей,
Смертожизнь бесконечная длится...
Уж не слуги ль несут нам мускат?
К нам, вы слышите, кто-то ломится.

5

Кто-то крышку гроба снимает,
Наши кости кому-то нужны...
Не назвали ль случайно гостей,
Что отнимут сейчас ваши кости
От моих безутешных костей?

Г о л о с: Вот еще парочка королей! В яму их... с негашеной известью!

Отряхнув с себя кости и пепел,
Мы на небе друг друга не найдем?
Моя пыль так любила твою!
...Но что за чудо, Дагобер,
Вижу я твое лицо,
На руке твоей нетленной
Обручальное кольцо!
О Нантильда — Дагобер!
Дагобер — Нантильда!

Г о л о с: Извести не жалейте! Сыпьте! Сыпьте! Сыпьте!

1970

В ПОЛУСНЕ

Оплели меня легкие сны, оплели,
Нежной, цепкой, тугой повиликой
под кожу вросли.
Я проснусь, поищу третий бок,
Плеть с виска сорву, белый цветок.

В полусне становлюсь я простой,
шаровидной,
То стою на мысу, то латыни глаголы учу.
На сердце — крест, на животе —
звезду Давида
И листья клевера — под ложечкой черчу.

1983

Елена Андреевна Шварц — советский поэт. Первое стихотворение опубликовано в 1973 году. Первая книга стихов — «Танцующий Давид» — увидела свет в Нью-Йорке в 1985 году. Первая книга в СССР — «Стороны света» — вышла в свет в 1988 году. Живет в Ленинграде.

НОВОСТРОЙКИ

Небо недозрелой дыней
На кладбище навалилось —
На конце трамвайных линий
Столько жизней растворилось

Где город на излете,
Заплаканные блоки,
В грязи уснувший ботик
И мутных рек истоки —
Унылую окраину — ох нет! —
Я не любила —
Она летит подранена,
Она скользит уныло.
(Их много — сереньких сестриц
Вкруг городов растет,
За ручки все они взялись
И водят хоровод.)
Уныла, как Палестина
Времен Рождества,—
Так униженна местность, смиренна,
Может, снова средь грязных и розовых стен
В пятнашки играет Христос,
Но здесь не нашел бы Марию архангел,
Он заблудился б средь блоков
и луж без названья,
Бедный угодник,
А ее бы пока изнасиловал плотник.
В мутной луже девица стоит,
Прекрасная, как грозовое облако,—
Ах, зачем на закате, Сусанна,
ты влезла туда?
Старцы все забивают козла,
И не смотрят они на тебя.
Льется дождь золотой по крыше.
Бог нас здесь не найдет, не услышит,
И побрезгует черт.
Только желтая травка все выше,
Запинаясь, растет.
Скользят тени, тень за тенью·
Средь тумана, сора, лома —
Этим все ж благословенны
И спасете нас от тленья —
Научили вы смиренью,
О коробки Вифлеема!

1971

О КРОТОСТИ — В ЯРОСТИ

Гнев мой сокруши,
Ярость — растерзай,
Кротости прошу,
Кротости подай!
Натолки мне в еду
Что-нибудь такое,
Чтоб куда я ни пойду,
Кротость шла за мною.
Чтоб умчался злобный бес,
Стукнувши калиткой.
Кроткий — кукла, что в себе
Оборвал все нитки.
Ярость я сожгу дотла,
Злобу изувечу,
Чтоб куда я ни пошла,
Кротость шла навстречу.

ПАВЕЛ. СВИДАНИЕ ВЕНЦЕНОСНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Три десятка и пара еще карет
Черных (по числу лет).
Лошади еще черней,
А еще чернее кавалеры,
В черном бархате прямы и неподвижны,
И везут на маленьких подушках
Ордена и орденские цепи.
Звезды по проспекту мчатся цугом.
В свете факелов мерцают только крупы,
Лошади скользнули друг за другом,
Будто рыбы под студеною водою,
Будто позвонки перебирают.
Это все на Невском и в России,
Или в позвоночнике у Павла,
В горле пузырями ходит речь,
И одно его желанье гложет —
Чтобы жертве и убийце вместе лечь
На подземном брачном вечном ложе.
Год за годом эту мысль копил,
Как медяк за медяком в заветной скрыне,
Чтобы выбросить вдруг четки лошадей
От Невы до Невской свят-пустыни.
Чтобы вырыть из земли нагие кости,
Эта погремушка был отец мне,
И к испачканной в крови припасть
перчатке,
Чтобы с матушкой убийцей вместе
В крепости зарыть под балдахином.
Вот фантом, что породил фантома,—
Эта мысль на вороных конях
Протекает с медленной истомой,
Как мой сон в чужих глазах.
О зачем ты их свел? Свою пышную
свежую мать
В склеп, где не ждет ее легкий
гремящий отец?
Оправданий не нужно, и державу
забыл-то как звать
Слишком давний Элизия скорбный жилец.

1986

Исторические чтения «Звезды»

Я. Гордин

«ДОНОС НА ВСЮ РОССИЮ», ИЛИ МИФ О МАСОНСКОМ ЗАГОВОРЕ

Известный мемуарист, генерал Н. Н. Муравьев-Карский, знавший Голицына на театре военных действий против Турции незадолго до описываемых здесь событий, писал, что князь Андрей Борисович «вообще не пользовался доброй славой нигде. Странности его были совсем единственны. Он был мистик и говорил всякий вздор, был нескромен и через сие бывал причиною многих неудовольствий, был набожен без меры, помогал бедным с удовольствием, свои же дела вел дурно, был всегда в долгах, у всех занимал и никому не платил, при дамах мотал деньгами без всякого расчета, без дам готов был обманывать для получения оных, имел склонность к ссорам и сплетням, поселял раздор, вмешивался в чужие дела, давал временами смеяться над своими глупостями, мстил наговорами, лгал без милости, плакал охотно, проливая потоки слез, и радовался угнетению тех, кого он не любил. Глупости же сыпались из него без меры, через что он соделывался шутом людей, пользовавшихся его легковерием, дабы уверить его в самых больших нелепостях» [1].

Характеристика для нас важная, особенно последняя фраза. Но надо и то помнить, что Николай Николаевич Муравьев-Карский относился к людям весьма строго и даже желчно. Так, он оставил в тех же записках вполне несправедливые пассажи о Грибоедове. Князь Голицын, как мы увидим, вовсе не был заурядным интриганом, глупцом и ханжой. Он наверняка был человеком совершенно искренним и жаждущим благой деятельности. Не лишен он был и своеобразного исторического чутья. Но сумбур у него в голове был отчаянный.

Даже расположенный к нему граф Алексей Орлов писал о нем Чернышеву как о «благонамереннейшем, но необычайно путанном человеке».

Из текстов князя Андрея Борисовича мы — при поверхностном их рассмотрении — могли бы составить о нем представление как о человеке недалеком, полном предрассудков, тупом гонителе просвещения и так далее. И сильно ошиблись бы.

Генерал-майор князь Андрей Борисович Голицын 4-й был весьма и весьма непрост.

Он принадлежал — как явствует из фамилии — к одному из лучших родов России. Был не то чтобы богат, но достаточно обеспечен. Имелось за ним в Курской губернии — прекрасные земли! — 2560 крестьян мужского пола и дом в Москве — деревянный на каменном фундаменте.

Он рано вступил в службу — 13 лет от роду: сперва в коллегию иностранных дел, а через два года, в 1807 году, переведен был портупей-юнкером в лейб-гвардии Егерский полк. Уже через полгода он эстандарт-юнкер привилегированного лейб-гвардии Конного полка. Во время Отечественной войны молодой конногвардеец участвует во всех крупнейших сражениях. За Бородино получает орден св. Анны 4-й степени. Его берет себе в адъютанты отчаянный Милорадович, который робких не жаловал. Далее заграничные походы — опять все крупнейшие битвы: Люцен, Бауцен, Дрезден. При Кульме участвовал в рукопашном бою и ранен штыком. Получил за Кульм св. Анну 2-й степени. Воевал до последнего дня — до взятия Парижа. Вернулся в Россию с золотой шпагой «За храбрость» и прусским знаком Железного креста.

Окончание. См.: «Звезда», 1990, № 5.

[1] Н. Н. Муравьев-Карский. Записки. «Русский Архив», 1894, т. 1, с. 415.

В это время в карьере князя Андрея Борисовича много общего с карьерой его сотоварища по адъютантству у Милорадовича — Павла Дмитриевича Киселева, будущего либерального реформатора, друга Пестеля и Михаила Орлова. Он с небольшим отставанием от Киселева получает флигель-адъютантство. Император Александр, готовясь к реорганизации государства, ищет молодых деятелей, ищет будущие опоры. Он приближает Михаила Орлова, Киселева, приближает — хотя и не в такой степени — и Голицына. Во всяком случае, князю Андрею Борисовичу он доверяет, дает ему разного рода конфиденциальные поручения. До поры князь имеет свободный доступ к императору.

Но деятельность князя Андрея Борисовича имела еще одну чрезвычайно важную для нас сторону. Он имел самое прямое отношение к преддекабристским обществам, входил в Союз русских рыцарей, образованный Михаилом Орловым и Дмитриевым-Мамоновым, был членом нескольких масонских лож, в которых немало было будущих заговорщиков. Князь Андрей Борисович был до поры своим человеком в этой радикальной среде.

Таким образом, в яркой мозаике свойств нашего героя появляется еще одно — яростное ренегатство. Как Магницкий и Рунич, он был ренегатом и теперь пытался добить бывших единомышленников. При всем выворачивании наизнанку своей мятущейся души князь Андрей Борисович нигде и словом не упоминает о собственной причастности к тому же Союзу русских рыцарей. И многое в поведении князя, в частности, его истерическая ненависть и маниакальная подозрительность, имеют, я уверен, непосредственное отношение к этому обстоятельству. Никто так свирепо не сводит счеты со своим прошлым, как ренегаты...

И, наконец, князь Андрей Борисович был весьма образованным человеком. Судя по его формуляру, знал «по-российски, по-немецки, по-английски, по-итальянски, по-французски и по-латыни, историю, географию, арифметику и математику».

Недаром в начале 1820 годов Голицын возглавлял комитет ланкастерских школ.

Он, военный-профессионал, отнюдь не чуждался и чисто полицейских поручений, для которых использовал его Александр.

Вот что он сам рассказывал: «Я был послан в октябре 1823 года и в Тихвинский уезд для укрощения бунтующих против господ раскольников. Я принужден был отправиться к ним в лес один и там объявил, что если зачинщики на другой день не воротятся домой, то дома их будут разобраны. Что исполнил в 3-х деревнях. А для чего? Пожар есть вещь обыкновенная, разбросанная изба может за 15 рублей опять сложиться, но она представляет мужику видимый хаос и переход от бытия к небытию по власти начальства. (Экий философ! — *Я. Г.*) Впечатление подействовало ужасно,— была на меня жалоба Государю Императору; но русскому мужику потачки давать невозможно; две губернии были готовы взволноваться и ожидали, как кончится в Тихвинском следствие.

Приводят ко мне 20 человек бунтующих раскольников — я объявляю им волею Государя Императора, чтобы они повиновались Помещику. „Не хотим, не хотим,— вот был ответ,— хоть ты нас в куски руби",— и напрашивались на мучение. На старика все смотрят. Я приказал привести фельдшера и выстричь ему половину бороды. Тут старик пал мне в ноги: „Батюшка! не губи душу мою, не стриги, родимый, я стар, мне недолго жить на свете, убей лучше, но с бородою, с чем пойду я к Христу, ведь Христос безбородых не принимает!" Вот и тайна, которая выскочила из познания предрассудков некоторых сект. Старик покорился, а за ним вся деревня».

Так поступал в практической жизни этот радетель русского народа, грудью вставший на защиту народных нравов, национальности, здоровья, обычаев.

Да и вообще, надо сказать, что патриоты такого толка любят народ скорее теоретически, на практике унижая и презирая его. Так, один из соратников князя Андрея Борисовича — Рунич писал в мемуарах: «Когда русский крестьянин сыт и не страдает от холода и произвола властей, то он засыпает в своей курной избе так же сладко, как Ротшильд среди нимф, оплаченных его деньгами. Он живет только для удовлетворения своих физических потребностей и для того, чтобы пользоваться свободою, которую он ищет в растительной жизни, оберегая себя от насилий. Он просыпается поутру для того, чтобы работать, и засыпает вечером с тем, чтобы начать на другой день то, что делал накануне. Как все народы более или менее цивилизованные, он может быть только орудием в руках благодетельного гения или смелого и отважного заговорщика».

Князь Андрей Борисович исповедовал ту же идею.

В самые последние годы царствования Александра отношения между ним и Голицыными фактически прекратились. Он запретил князю являться к себе. Причиной были какие-то письма, в которых Голицын излагал царю свои воззрения на самые разные темы. Письма эти то ли сожжены были Бенкендорфом по указанию Александра, то ли сохранились, как предполагал потом Голицын. Во всяком случае, если бы удалось их найти, прояснилась бы причина охлаждения царя к своему флигель-адъютанту. Можно только предположить, что царя раздражили настойчивые и самоуверенные проекты князя, касающиеся как внешней, так и внутренней политики.

В декабре 1826 года бывший либерал получает орден св. Анны 2-й степени «за исполнение разных высочайших поручений». Что за специальные поручения молодого царя

столь успешно выполнял князь Андрей Борисович в этот тяжкий год, год следствия, суда, казни декабристов,— пока не ясно [1].

Но всем этим незаурядная в своем роде личность Голицына не исчерпывалась. В одном уникальном документе, о котором речь еще впереди, князь Андрей Борисович рассказал о себе вещи, многое объясняющие. «...Я всего испытал — сначала был в жестоком неверии, кощунствовал над святынею; обращен был *чудом* к вере в 1820 году. Наука древнего масонства подвела меня к истине, устроила в моей голове все отношения человека к Богу, к человеку и природе; если я две мысли умею вместе соединить, если я верю Христу воплощенному и постигнул глубину семи таинств нашей церкви с таинственным их значением, я обязан сему учению; люди только в моих глазах не соответствовали оному, я сделал то же самое признание покойному Государю, которое и найдется в моих письмах, где также усмотрится, что я настаивал в 1823 году, чтобы ложи были закрыты, потому что иллюминатство везде пролезло».

Стало быть, борец с иллюминатством сам был ревностным масоном. Но он — по его убеждению — был *правильным масоном, истинным масоном*, а иллюминаты были *масонами неправильными, лжемасонами.*

«Мое воспитание,— пишет князь,— делалось невидимою рукою в разные времена; Криднерша разбудила мой дух и обратила мое знание в деятельную веру, научила меня практической молитве, везде позволялось мне по неслыханной благодати Божией заимствовать *хорошее* и не допускать до меня вредное. Я кинулся в герметическую работу, она меня научила некоторым правилам и силам в природе; я все стремился выше и выше, в 1824 году я готов был вступить в магию и Бог меня от этого спас; я видел чудеса неимоверные и от нечистой силы и устрашился их; они мне были нужны для суждения. Я видел и самую высочайшую степень магнитного просветления у девицы Ушаковой, и сам занимался магнетизмом, и *отстал!* В то же самое время в Курске делались другие чудеса иного рода над ямскою бабою Матреною; Палладия о том можно спросить, он был личным свидетелем; стремление мое ко всем тайным наукам ежедневно делалось сильнее, я начал учить некромантии, влияние плаиет, составление пантоклов и талисманов, имена духов от Архангелов до последних гномов подземельных; я углубился в науку числ халдейских и познание имен Божиих, определяющих сигнатуру вещей; какие были плоды моей учености? Я приобрел большую кичливость ума, надутость, и вселилась во мне гордость самая титаническая; я погибал без ведома моего; Всемилосердный Бог приставил мне видимого Ангела-хранителя в лице моей Нины». Перед отъездом Голицына на турецкую войну жена его вместе с духовником уговорили его сжечь все его мистические тексты. И он согласился.

«Вся моя книжная наука, вся моя премудрость обратилась в пять минут в пепел и развеялась по ветру. Палладий надел на меня образ Богородицы, а друг мой дала мне в руки Евангелие и сказала: „Вот тебе премудрость! ищи ее здесь..." Нина моя перешла в жизнь вечную, но дух ее продолжает охранять меня; дух отца ее Николая Исаевича также имеет великое назначение».

Разумеется, можно смеяться над наивным мистицизмом боевого офицера и флигель-адъютанта. Но одно несомненно: князь Андрей Борисович был натурой искренне мятущейся, взыскующей смысла вещей, не довольствующейся обыденным течением жизни. Ему мало было придворной и военной карьеры, которые шли вовсе недурно, ему хотелось — и хотелось сильно — деятельности необычайной и высшей.

Почему же он так далеко ушел от преддекабристских увлечений своей молодости? От идеалов Союза русских рыцарей?

Во-первых, кто знает, отчего меняется политическая позиция человека? Тут может быть великое множество причин, иногда самого неожиданного личного свойства. Неукротимый и безжалостный Пестель в 1825 году стал религиозен, толковал об уходе в монастырь, о том, что надо открыться императору, чтоб убедить его начать реформы... А незадолго перед тем Пестель готов был полностью уничтожить августейшее семейство — с женщинами и детьми. Как знать, куда пошла бы его внутренняя жизнь, не случись то, что случилось...

Во-вторых, скорее всего, в князе Андрее Борисовиче масонство, которое для многих декабристов и близких к ним людей было лишь формой организации, победило политический либерализм. Мистическое христианство заполнило его душу и оказалось несовместимо с идеей реформ, замешанных на идеалах Просвещения.

В-третьих, вполне возможно, он искренне уверовал в гибельность радикального реформаторства в конкретных российских условиях и считал, что оно может вызвать лавину народного мятежа. В подобных опасениях он был отнюдь не одинок.

Канун восстания 14 декабря вообще отмечен был напряженной и порывистой деятельностью дворянской элиты. Но как разнообразна оказывается эта деятельность при внимательном изучении. В 1824—1825 годах князь Андрей Борисович Голицын, аристократ из

[1] За целый ряд важных сведений, касающихся жизни А. Б. Голицына до 1830 года, приношу искреннюю благодарность А. И. Серкову.

древнего рода, был гвардии полковник. И князь Сергей Петрович Трубецкой, аристократ из древнего рода, был гвардии полковник. Голицын был масон, и Трубецкой был масон. И тот, и другой не мог жить обыкновенно. Но масон Голицын изучал некромантию, вызывал духов и терзался душой в поисках истинной веры, а масон Трубецкой столь же настойчиво готовил революцию и искал конституционные варианты будущего устройства России.

Эти гвардии полковники представляли разные группы активного русского дворянства, которых не устраивали ни окружающая реальность, ни свое место в ней...

Звездный час Трубецкого наступил в декабре 1825 года.

«Звездный час» Голицына — через пять лет.

Сравнение двух этих судеб тем более любопытно и поучительно, что Трубецкой и Голицын были двоюродные братья и, несомненно, близко знакомы...

В канун интересующих нас событий князь Андрей Борисович снова подтвердил свои незаурядные воинские достоинства. Отправившись в 1828 году на войну с Турцией полковником, он почти сразу же «за отличия» был произведен в генерал-майоры. В 1829 году он командовал отдельным сводным отрядом и за удачные действия получил орден св. Владимира 3-й степени. В 1830 году он вернулся в Петербург...

Чтобы понять состоние, в котором находился князь Андрей Борисович в декабре 1830 года, когда все и началось, надо помнить, что незадолго перед тем он потерял боготворимую им жену [1], а его религиозные устремления были грубо осмеяны. «Я поехал в Азию, лишение столь неоценимой жены подвело меня к цели; я взялся за простоты веры и молитвы. Граф Паскевич-Эриванский (командующий армией.— *Я. Г.*) соблазнился. Он назвал меня публично ханжою; я принужден был переменить образ жизни; вступили в Арзерум — я имел несчастие предаться женскому полу, но Бог мне ничего не спускает, я получил достойную мзду и презрении всеобщем». Как видим, здесь многое совпадает с представлениями Муравьева-Карского. С одной существенной поправкой — Муравьев смотрел на несчастного князя со стороны, не представляя себе ни причин, ни мучительности его метаний, казавшихся окружающим недостойной суетой.

Не думаю, что Голицын был и простым лжецом. Он жил, как тогда говорили, в «мечтательном мире». Из всего этого вовсе не следует, что князь Андрей Борисович был безобидным чудаком. Всего в нем хватало. В том числе, как мы убедимся, и мстительной злобности. Не было, однако, одного качества, присущего большинству доносчиков,— корыстного расчета. Во всем, что он творил, преобладали нелепая нерасчетливость и экстатические порывы. Так получилось и в декабре 1830 года. «Воротившись в Россию (с турецкой войны.— *Я. Г.*), на могиле моей жены я прочел с горькими слезами молитву умиления, просил прощения у Бога, поехал в С. Петербург. Жизнь моя была скромная, но с пустотою в сердце. Холера, самоотвержение пастыря доброго, готового положить свою душу за овец, восстание поляков, воззвание Государя в Манеже, все разбудило мое под пеплом тлевшее сердце. Я припал к Богу с пламенною молитвою: „Скажи мне, Господь мой, в он же пойду, научи мя творити волю Твою, Дух твой да наставит мя на стезю правды", я просил премудрости, „Бог не дает камня просящему хлеба". Рождества Христова я удостоился приобщиться святых таинств. Торжественное молебствие, воспоминающее мне давнее спасение России в 1812 году, бедствия наши в 1830, сановитость, царский взгляд Государя! все чувства объяли мое сердце, я не в силах был удержать духа возрыдающего неизреченными глаголами Авва отче!! Вот... вся развязка моего непостижимого действия 25 декабря во дворце, которая так соблазнила генерала Бенкендорфа; все так следовало по произволу и милосердию Всевышнего!..»

Что же произошло?

В 1830—1831 годах ощущение надвинувшейся катастрофы, перелома времен возникло у многих мыслящих и чувствующих людей. «Друг мой, разве воистину не гибнет мир?» — вскоре напишет Чаадаев Пушкину. Подобное же чувство было и у Пушкина.

Это чувство заставило Чаадаева начать свою проповедь, а Пушкина — свою.

Но если все это были люди сильно мыслящие и сильно чувствующие, то князь Андрей Борисович был только сильно чувствующий. Если Пушкина сближение событий 1812 года с борьбой поляков за свободу и независимость, борьбой, поддержанной европейским общественным мнением, привело к глубоко несправедливым, но ясным политическим выводам, изложенным в стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», то князя Голицына это же сближение ввергло в кликушеский припадок во время торжественного молебства в присутствии Николая...

Князю Андрею Борисовичу казалось, что он боговдохновенно пророчествует, а окружающие восприняли его поведение как неприличное нарушение этикета.

И тут у него произошло столкновение с Бенкендорфом, окончательно определившее их отношения. Впрочем, бурным оно было со стороны шефа жандармов.

Как уже говорилось, генерал Бенкендорф знал о генерале Голицыне достаточно много. Знал, прежде всего, его репутацию. В основном тексте доноса, жалуясь на несправедливость по отношению к его сподвижникам Руничу и Магницкому, князь Андрей Борисович писал: «...С 1821 года надели на меня колпак сумасшедшего, я износил его на берегах Ефрата (то есть опроверг клевету заслугами в турецкой войне.— *Я. Г.*), но здесь мне возобновили колпак. Генерал Бенкендорф заявил мне, что я несомненно безумен и что мое место в больничной палате, и приказал мне именем Императора ни во что не вмешиваться. Я ему молча поклонился».

Но этим разговор не кончился.

14 января, в тот же день, когда подан был донос на высочайшее имя, Голицын адресовался к графу Чернышеву, главному посреднику и доброжелателю, с письмом, содержание коего тоже было предназначено для императора. Но это не наступательный, а оправдательный документ.

«Милостивый государь
граф Александр Иванович.

Так как в столь важном отношении, в коем я ныне поступил, ни малейшее недоумение насчет моих правил не должно иметь место, то я нахожу не излишним пояснить Вашему сиятельству два обстоятельства, за которые я получил весьма чувствительные выговоры от генерала Бенкендорфа.

Он меня назвал другом Вангалена, с торжеством необыкновенным повторял сие название, намекая мне, что я разделяю его правила.

Вот в чем состояла сия дружба.

Вангален приезжал в 1821 году (на самом деле в 1820-м.— *Я. Г.*) в С. Петербург. Сын барона Ралля (барон Ралль — придворный банкир, в доме которого собирались знатоки и ценители искусств, сын барона был талантливый музыкант.— *Я. Г.*) меня пригласил к себе и там его представил мне, прося убедительно помочь ему войти в Русскую службу. Он успел сказками своими о инквизиции выиграть приветствие многих особ, между коими г. Бетанкур (главноуправляющий путей сообщения.— *Я. Г.*) мне его очень расхваливал, знав его отца в Гишпании. Я действительно просил 3 раза покойного Государя об определении его на службу в Грузию, и он после 4-х месяцев с большим трудом был определен в Нижегородский драгунский полк по поручительству генерала Бетанкура. Я Вангалена обмундировал, посадил в бричку и отправил, в том сознаюсь и весьма сожалею, что он изволил сделать из меня романтическое лицо в сочинении своем».

Как бы ни оправдывался князь Андрей Борисович, знакомство выглядело весьма компрометантно.

Дон Хуан Гален, граф Перкампос, в 1820 году двадцатилетний испанский офицер, участвовал в заговоре против короля Фердинанда II, в самом деле прошел тюрьму инквизиции, бежал и оказался в России. О его тираноборческих и конституционных настроениях Голицын не знать не мог — Гален их не скрывал. Для того, чтобы так настойчиво ходатайствовать за него перед Александром, пользуясь своим положением флигель-адъютанта, надо было иметь серьезные причины. Александр не любил приставаний, и князь Андрей Борисович рисковал расположением императора, то есть — карьерой. Тут мало было просьб младшего Ралля...

Гален воевал на Кавказе, когда началась революция в Испании. Тогда он немедленно оставил русскую службу, вернулся на родину — сражаться за конституцию. Все бы это ничего — дело давнее. Но эмигрировавший после поражения испанской революции Гален в 1830 году — уже генералом — возглавил армию революционной Бельгии и разгромил голландцев, лишив власти над Бельгией голландского короля, родственника Николая. В декабре 1830 года, когда случился скандал в Зимнем дворце, Гален был для Николая и Бенкендорфа ненавистным полководцем ненавистных бельгийских мятежников. И понятно, что Бенкендорф «с торжеством необыкновенным» вменил Голицыну в вину старую дружбу со столь одиозным лицом. Тем более что Галеном сомнительные знакомства князя не исчерпывались. Другая его связь относилась ко времени совсем недавнему. «Что касается до иностранца Монтерон,— оправдывался князь,— за которого я также получил упрек, я в первый раз в ноябре месяце его видел у Корсаковой. Французский уполномоченный мне его представил comme camarade de collège [1], он одарен мимическим удивительным талантом и передразнивает англичан, которых я не люблю. Я шуткою завез его к князю Гагарину за англичанина. Он был один раз у меня и не застал дома, после того я навестил сербских депутатов, а Монтерон жил в одном коридоре с ними через дверь, я зашел к нему, и мы разговаривали об Азии, Персии и Индии.

Между тем, я узнаю, что он в подозрении у секретной полиции и все его бумаги схвачены...»

И это знакомство Голицына оказалось прекрасно известно Бенкендорфу.

Но выволочка, которую устроил шеф жандармов князю Голицыну, состоялась еще до того, как Голицын подал не только донос, но и первое свое письмо царю. Почему же так разгневался Бенкендорф, и что означают слова: «приказал мне именем Императора ни во что не вмешиваться»? Во что же вмешивался состоящий по кавалерии генерал?

[1] Умерла после родов в июне 1828 года, когда князь был на войне.

[1] школьный товарищ *(франц.)*.

Голицын, во всяком случае отчасти, отвечает на этот вопрос в том же письме Чернышеву: «Я действую, как мои друзья иллуминаты, стараюсь везде что-нибудь собрать в запас мой для славы Государя моего и России, авось когда-нибудь пригодится. Вспоминаю письмо, которое я писал к Государю в 1827-м году в Стрельне в день уланского учения и показывал Вашему сиятельству и генералу Бенкендорфу. Оно не было подано Его Величеству, но довольно замечательно.

Когда на досуге позволено мне будет составить записку о Азии, то Государь удивится, узнав, какие он имеет там способы и какой перевес дознание настоящих отношений России к разным азиатским народам может дать нам в Европейской политике. Я очень подробно исследовал Азию, состою давно в переписке с президентом острова Гаити, с первым министром Мегмет Али Паши Египетского Боласом, познакомился в Тифлисе с конными владетелями Кандагарского и Белужестанского царства, с старшинами Трухменскими, имею сношения в Лагоре и Северной Индии, куда я переписывался через поклонников огня, живущих в Баке индейцев, был в сношениях и с почтенным митрополитом Черногорским Петровичем, старцем всегда верным и преданным России, который в октябре месяце скончался, кажется, жертва Австрийской политики. Я не скрываю сего, потому что цель моя есть слава моего Государя. Способы физические и моральные России неисчисляемы, мы все можем с Императором Николаем I, и пока Европа по частям будет разваливаться, Россия воспарит с необыкновенной быстротой».

Как видим, князь Андрей Борисович был чрезвычайно активен и во внешнеполитической сфере. Вот эта его активность, этот фейерверк идей, часто самых фантастических, и возмущали Бенкендорфа. Голицын занимался, с точки зрения шефа жандармов, совершенно не своим делом.

Надо сказать, что Голицын несколько покривил душою в исповеди. В основном тексте доноса он пишет, что весь ужас Вейстауптова учения открылся ему месяца за два до событий. И, стало быть, его прозрение 25 декабря 1830 года не было внезапным, подготовлялось давно. И связь его с Шервудом возникла не в три дня. И материалы, компрометирующие университетских профессоров, явно были переданы ему Магницким загодя, ибо — помимо всего прочего — Магницкий жил в это время в Ревеле.

Магницкий же был испытанным бойцом с фантомом иллюминатства. Еще в начале двадцатых годов, будучи попечителем Казанского университета, он толковал о заговоре иллюминатов, одно из самых злостных проявлений которого видел в указе 1809 года, подготовленном Сперанским, его бывшим шефом, указе об обязательном университетском образовании чиновников старших рангов. «Сделано положение, по которому все, в старом благочинии воспитанное, отрезано от всякого повышения по службе и заменено людьми нового, разрушительного, воспитаиия». И Голицын буквально повторяет ту же мысль. Нет, тут не двумя месяцами пахнет. Это были старые связи и старые идеи...

Но как бы то ни было, искренне ощущавший в себе пророческий дар, комплекс спасителя отечества, князь Андрей Борисович почувствовал себя созревшим для обнародования своих идей именно 25 декабря. И наткнулся на презрительное непонимание окружающих и гневную грубость Бенкендорфа. И то, что ему откровенно старались помешать спасти Россию, старались удалить из Петербурга на Кавказ, еще раз и окончательно убедило князя Андрея Борисовича в наличии дьявольского заговора, в роковой серьезности момента, и он, нарушив прямой приказ императора, вернулся в столицу и — как сказали бы веком раньше — крикнул «слово и дело». Рисковал он многим и знал это.

И можно с уверенностью сказать, что низкой корысти не было в поступке генерала князя Голицына. Скорее наоборот — высокое самоотвержение. Аристократ, человек, близкий к двору, имевший возможность делать и дальше военную карьеру, он все поставил на карту ради патриотической идеи...

Вернемся, однако, к основному тексту доноса. Нам еще рано с ним расставаться.

Чем далее, тем более по восходящей шло обличение учреждений и лиц.

Во втором разделе фолианта Голицын доказал — как он сам считал,— что русская церковь уже захвачена иллюминатами, а во главе еретиков стоит Московский митрополит Филарет. Дал он также недвусмысленно понять, что и покойный Александр много и сознательно делал для разрушения православия в России. (Николай все это читал без возражений.)

Все сколько-нибудь тревожные явления в любых сферах князь Андрей Борисович без колебаний приписывает проискам иллюминатов. Скажем, проблема раскольников: «Водворенное новое учение умножило секты раскольников в России до 12 миллионов душ».

Если обвинения против профессоров, против Сперанского, Булгарина имели хоть видимость обоснований, то постепенно князь Андрей Борисович совершенно уже отрывается от всякой почвы и взмывает в головокружительные эмпиреи вдохновенного доносительства. Он ищет иллюминатский яд уже не в идеологии, не в собственно государственной сфере, но в явлениях сугубо бытовых, технологических. Однако, как мы увидим, своя логика была и здесь. Что подтвердила и живучесть идей князя. «Ненавистники Бога и Царей иллуминаты не могут вытерпеть и самих регалий царских. Таким же точно воровским образом они выкрали со двух голов Российского Орла две короны, а из когтей

Скипетр и Державу, крылья вверх паривщие переломили и оборотили книзу. Чем заменили Скипетр и Державу (с которыми пишется спаситель мира Иисус Христос): факелами Германова просвещения, Маратовым венком, Перунами и распущенными подвязками.

Язык притчей (en rebus) у иллуминатов очень уважается и сие изменение Орла столь значительное имеет еще очень важное тайное ознаменование, к которому привязываются такие обстоятельства, что непостижима такая злоба, la secte fait le mal pour le plaisir de la faire, souvent sans profit personnel [1] — над Дворцами развевается настоящий герб, на пуговицах наших новый, некоторые аптеки сохранили прежний, какие чугунные вороны сидят на мостах по дороге в Москву. В моих бумагах писанная в 1823-м году целая мемория к Государю покойному о важности Орла, который на крепостных актах, на ассигнациях, везде изменен. Кто сказал бы, что Орел на платиновой монете и рубле принадлежит к одному Царству. Особенно в коронации эта разница была разительна! в возобновленной тронной в Зимнем дворце. Трон со старым Орлом, по стенам *налеты чужие*, на карнизах также... Где же указ об уничтожении двух корон, Скипетра и Державы в гербе Российском, зачем смотрит Герольдия и Сенат? Мне скажут: Александр Павлович опробовал рисунки, но Государь Николай Павлович в день коронации изволил нести Скипетр и Державу в руке, а не факел и не венок».

Император Николай, принимающий корону, с факелом в одной руке и венком в другой и в самом деле выглядел бы слишком экзотически. Но князя Андрея Борисовича ужасала не эстетическая и даже не церемониальная сторона дела... Обскурантское сознание привязано не к реальным истокам явлений, но к лжеистокам, к фундаменту заблуждений. Так и Голицын нес в своем сознании сильные черты магического мировосприятия: искажение символики вело, по его убеждению, к искажению тех вещей, которые эта символика в абстрагированном виде представляла. Как шаман протыкает иглой сердце восковой фигурки, надеясь убить символически повторенного в ней человека, как пещерный охотник, убивая быка в наскальном рисунке, думал, что готовит себе победу, так современный обскурант придает огромное значение игре с символикой.

В нашем конкретном случае имели значение и занятия Голицына магией. Он от них отрекся, но именно эти масонские труды сформировали мировосприятие князя Андрея Борисовича на рубеже 1820—1830-х годов.

Однако вопрос — почему же Александр санкционировал злостное искажение государственного герба — требовал ответа. И Голицын его дает. «Регалии царские свидетельствуют царское достоинство; чтобы узаконить сие изменение, придумали 25-копеечники с новым Орлом (таким образом в иллюминаты попадает и министр финансов Канкрин.— *Я. Г.*), представили на Высочайшее утверждение, формы как бы ошибкою два раза припечатаны в Сенатских ведомостях. Для чего? Это лукавство иллюминатское Russe de Querre [2]. Если пойдет речь о Гербе: мы скажем, что воспоследовали два Высочайшие указа, и все замолчат. Везде ложь, клевета, лукавство и злонамерение du petit an Qrand [3] — журналисты подают *маяки своим* антимонархическими картинками в журналах и самыми возмутительными статьями под невинным заглавием „О Французской драматической сцене". Известно, что журналисты во Франции накликали революцию примерную, la Revolution Modéle. У правительства нет журналистов для направления мнения народного...»

Но надругательство над государственным гербом и сношения при помощи картинок и невинных на первый взгляд статей — это еще цветочки. Далее князь Андрей Борисович раскрывает совершенно уже готическую по ужасности картину конкретных злодеяний иллюминатов или, во всяком случае, средств, к коим они прибегают. «В бумагах Вейстгаупта найдены между прочим:

а) Ресепты для убивания младенцев в чреве матери.

в) Ресепты (Aqua Tofana).

е) Recepts pour exciter la fureur utérine dans une femme vertueuse [4].

д) Инструмент, через который вдувается смертоносный запах. Это было в 1785 году, с тех пор сколько новейшая химия, физика и все науки способствовали ежедневными открытиями к цели иллуминатов вредить роду человеческому: они все наблюдают и всем пользуются.

Известно, что если натереть несколькими каплями d'Acide prussique [5] Conc. внутреннюю кожу в шляпе, то человек, спотев, принимает в себя яд сей через поры и в один день может умереть без признаков яда.

Секретной полиции донесли, что в таможной присланы были из Гамбурга разные яды, но так как никаких по тарифу пошлины не было, то яды сии и остались, и хозяин не нашелся».

---

[1] секта причиняет зло ради удовольствия и часто безо всякой выгоды для себя *(франц.)*.
[2] русские военные хитрости *(франц.)*.
[3] от малого до великого *(франц.)*.
[4] Средство вызвать бешенство матки у порядочной женщины *(франц.)*.
[5] синильная кислота *(франц.)*.

Ошеломленный этим известием Николай написал на полях: «Когда?»

Но и это еще пустяки. «У Шервуда-Верного есть Альманах Аглицкий 1828 года, в коем, между прочим, сказано, что в России в 1830-м году будет новая болезнь из Азии. Она пришла к нам из Персии, англичане в Тавризе строят все каверсы возможные на Россию (не совсем, правда, понятно, при чем здесь англичане, когда иллюминаты сплошь немцы.— *Я. Г.*), и потому я почти уверен, что холера напущена к нам иностранцами, и надеюсь еще найти на этот верный след. У меня бывают такие сведения и очень верные. Чего ищут иллуминаты? Разрушения и всеобщего смятения — а что лучше холеры могло способствовать к тому,— все средства для них хороши, лишь бы только безгласно и скрытно; всякие даже преступления для достижения цели освящаются... следовательно, можно все ждать от них».

То, что англичане, наблюдая движение холеры в азиатских странах, легко могли вычислить сроки ее приближения к российской границе,— не диво. Пушкин значительно раньше предсказал холерную эпидемию. Но Голицын смотрит на все с единственной точки зрения.

Все пронизано иллюминатским лукавством, каждую мелочь используют они для рассеивания своего яда, любое бедствие — для достижения цели. Это им тем более просто, что политическая полиция в их руках. А что же сановники, государственные мужи, окружающие императора? Почему они не дают отпора «ползучей революции»?

И тут надо точно определить, против кого конкретно направлен донос. При всей своей размашистости, взбалмошности, истеричности донос князя Голицына имеет железный стержень и, в конце концов, подводит к очень определенным лицам.

15 января, на следующий день после представления императору основного доноса, князь Андрей Борисович передал вслед еще один документ на высочайшее имя:

«Всемилостивейший Государь!

Открыв по соизволению Божиему пред Вашим Императорским Величеством настоящее начало хаосного состояния России, я объявляю главным виновниом оного: члена Государственного Совета действительного тайного советника Михайлу Михайловича Сперанского.

Я призываю его на суд Государя Самодержца Всероссийского пред Августейшее лицо Вашего Императорского Величества.

Зв сим следуют обвинительные статьи:

а) В 1808 году, во время Эрфуртского конгресса, он, Сперанский, был принят в высокую степень иллуминатства, сделан провинциальным начальником, и дан ему в подмогу от главы Ордена Вейстгаупта иллуминат Фесслер...»

Чем далее забирался Голицын в своем сочинении, тем более проникался уверенностью в истинности каждого своего слова. Не приведя ни одного доказательства, он говорит о своих обвинениях как о чем-то безусловно доказанном. Он убежден, что изобличить Сперанского ничего не стоит, и предлагает себя на роль то ли следователя, то ли исповедника. Более того, он так убежден в успехе, что в случае неудачи соглашается пойти в солдаты, а сына отдать в кантонисты. «Признание Сперанского все откроет и всех спасет». А пока что он даже придумал кару, достойную этого великого грешника: «Преступление Сперанского столь чудовищно, что нельзя колебаться в выборе оружия против него: или четвертовать его, или оружие посмеяния, изводить его каждый день издевательством, осмеивать его в течение всей его остальной жизни. Недавно мне пришла в голову мысль, которая, может быть, покажется забавной. Он метил на патриархальное царствование, на высокий пост, на полную независимость. Все вто может быть представлено ему. В Москве имеется вакантное место, которое лишь одно совершенно независимо. Это — место «пономаря патриархической колокольни Ивана Великого». Его костюм по положению красный; он очутился бы в «первобытном состоянии» и на посту, где каждый день подвергался бы издевательствам всей черни. Месть была бы извинительна». Так писал Голицын графу Чернышеву, не решившись все же предложить этот вариант императору.

Шильдер писал по этому поводу: «В рассматриваемом доносе является одна центральная фигура, Сперанский, около которого группируются прочие затронутые автором лица; они являются как бы марионетками пьесы, которой управляет главный злодей и изменник; весь донос состряпан ради бывшего государственного секретаря Александра I. Читая пасквиль князя Голицына, невольно поражаешься одним обстоятельством: до какой степени живуча была еще злоба против Сперанского и как мало улеглись страсти, волновавшие некогда русское общество в эпоху, предшествовавшую нашествию Наполеона. Александровские вельможи ненавидели Сперанского как поповича-выскочку за то, что он возвысился над всеми. Это чувство пустило такие глубокие корни, что в 1830 году ненависть и недоброжелательство к Сперанскому были так же сильны, как в 1812 году, когда над ним разразилась гроза» [1].

Разумеется, многие нити нашей истории тянутся в александровскую эпоху — и ко временам фавора Сперанского, и к истории разгрома Магницким и Руничем Петербургского университета в 1821 году, и еще глубже. Разумеется, жажда реваиша у Магницкого и Рунича и иже с ними, не пришедшихся ко двору в новом царствовании, была сильна. Разумеется, тень обвинения самого Александра в вольнодумстве, ереси постоянно висит над писаниями Голицына. Все так. Но это лишь один — и не самый главный — аспект происшедшего в 1831 году.

Что же касается собственно Сперанского, то думаю, что маститый историк-фактограф не совсем точно оценил ситуацию. Выскочек в российской истории предшествующего нашим событиям столетия было предостаточно. Но острую ненависть они вызывали только в том случае, если совершали некие поступки. Сперанского ненавидели не за его происхождение прежде всего, а за те реформы, которые он проводил, и еще более за те, которые собирался проводить. А реформы его, задуманные в первое десятилетие XIX века, вели к ограничению самодержавия, отмене рабства и введению в России представительного правления. Это были стратегические цели. Тактические цели были скромнее, но тоже очень неприятны для многих. Сперанский пытался придворной знати закрыть легкую дорогу к высоким служебным постам. Он требовал компетентности. Сперанский пытался вернуть бюрократию к ее прямому назначению и заставить служить не самой себе, а стране. В результате он оказался окружен врагами и пал, преданный императором.

Но причины столь яростной атаки на него в 1831 году скрывались отнюдь не в прошлом. Прошлое делало его, снова занявшего высокое, хотя и несравнимое с тем, что было прежде, положение, уязвимым. Но не более. Истинные причины оказываются вполне актуальны и злободневны для момента атаки. И чтобы убедиться в этом, достаточно выявить тех, кого Шильдер считает «марионетками» и кого Голицын называет соучастниками Сперанского.

Того же 15 января, когда написана была специальная записка о Сперанском, князь Андрей Борисович, который ни секунды не терял, подал Чернышеву еще одно послание: «Хотя имею самые большие подозрения на благонамеренность графа Виктора Павловича Кочубея, я сознаюсь, что не имею прямых способов оные доказать; но полагаю, что настоящая цель иллуминатов не могла быть ему известна: какое бы утешение мог иметь отец семейства многочисленного приводить отечество свое в совершённо разорительное состояние, и потому заключаю, что иллуминаты открыли ему только первую цель — конституционную, к которой он содействует с давних времен; но обязан по долгу верноподданного здесь объявить: а) что в 1826 году граф Аракчеев мне сказал, что он имеет сильные доказательства против графа Кочубея и что государь увидит когда-нибудь, *каков он...*»

В записке же о Сперанском помимо прочего сказано: «Участие Фесслера и влияние его на все законодательство наше согласно также с правилами Вейстгаупта, а что сии совещания делались в присутствии графа Кочубея, Сперанского, Тургенева, Балугиансного и других, подтвердит Санглен, который подслушивал все по высочайшему повелению...»

Ссылка на Санглена оказалась тяжким промахом князя Андрея Борисовича. Бывший правитель канцелярии министерства полиции, фактический руководитель политического сыска при страшном министре Балашеве, Яков Иванович де Санглен так отозвался об этом пассаже: «О влиянии Фесслера на законодательство решительно не знаю. Относительно второго пункта: смею спросить, почему полагают, будто я способен на такую подлость — сидеть под столом и подслушивать, когда осмеливаются подобное низкое повеление вложить в уста Императора Александра? Отвергаю столь наглую и низкую клевету...» Возмущение отставного шпиона, профессией коего и были подслушивание, слежка и перлюстрация, конечно, очень умилительно. Но дело не в лилейной чистоте его нрава, а в том, что очередное утверждение Голицына оказалось бездоказательно.

Граф Кочубей, большой вельможа, председатель Государственного совета и Комитета министров, был добычей куда более опасной, чем Сперанский. Потому и тон Голицына здесь иной. Но попытка смертельно скомпрометировать графа несомненна.

Через четыре дня после подачи записок на сцене голицынской трагикомедии появился еще один чрезвычайно значительный персонаж.

19 января князь Андрей Борисович адресовался к Чернышеву:

«Милостивый государь
граф Александр Иванович.

К дополнению к записке, мною поданной, по важности обстоятельств и занимаемого места не могу умолчать здесь приписанного лица — и чем подтвердит признание Сперанского.

Приложенное к сему письмо как заключающее некоторую весьма важную тайну, к делу общему мало прикасающуюся, я прошу покорнейше ваше сиятельство приказать повергнуть к стопам Его Величества и если можно еще сего вечера, и осмеливаюсь просить Вас переслать запечатанное в собственные руки».

В пакете, поданном Чернышеву, заключались два письма. Первое — Николаю:

«Всемилостивейший Государь!

Повергаю к стопам Вашего Императорского Величества приложенное к сему хоть длинное и томительное письмо, но обстоятельства требуют оное; оно писано от сердца,

[1] Русская старина, 1898 г., декабрь, с. 523.

и князь поймет. Чистосердечное признание даст в руки Вашего Императорского Величества все отношения, все тонкости вещей.

Упование мое на Бога и на решимость Вашу; буде я удостоюсь лицезреть моего Монарха, я накидываю для поднесения Вашему Императорскому Величеству общий план моих соображений для приведения в полное действие всех раскрытий. В записке, приложенной за моим подписанием, я выпустил несколько имен, которые теперь нахожу нужным иметь на возэрение. Впрочем, сознание Сперанского, которое неминуемо последует, все откроет: может ли лицемерие устоять против силы истины? — Никогда!»

Далее следовало обширное письмо князю Александру Николаевичу Голицыну, которое император, прочитав, должен был вручить адресату. (Что он и сделал.)

Нет возможности и надобности приводить целиком этот удивительно интересный документ, чрезвычайно важный для понимания процессов, происходивших в русском обществе в период, предшествующий 14 декабря. Нам же необходим один его пласт.

В письме этом — феерическом сочетании доноса, фантастической проповеди, яростной инвективы и исторического экскурса — Голицын обрушивает на голову бывшего министра народного просвещения, близкого друга Александра, а ныне влиятельного вельможи и не менее близкого к августейшему семейству человека, сокрушительное красноречие, вызванное прежде всего отчаянием. К 19 января Голицын понял, что мгновенно и неотразимо внушить императору свою идею о разъедающем государственное тело заговоре не удалось. Шаткость доказательств — а точнее, полное их отсутствие — становилась ясна и ему самому. Но будучи убежден в собственной правоте, сгорая от тревоги за Россию, он уповал теперь на признание преступников. Истерический напор послания князю Александру Николаевичу Голицыну — попытка смять сознание обличаемого, заставить его, потрясенного, признаться. Ибо только в этом и было теперь спасение князя Андрея Борисовича. Лично обличить и «расколоть» Сперанского ему не дали. Теперь он надеялся взять реванш.

«Милостивый государь
князь Александр Николаевич!

Бедствия, висящие над самыми августейшими головами, бедствия, угрожающие России, не позволяют мне более молчать. Я чувствую внутреннюю непобедимую силу, понуждающую меня не откладывать более обличения.

Ударил час! где вся завеса должна разодраться; весь длинный свиток лести, беззаконий, обманов развиться в одно мгновение перед правосудными очами Монарха, «*несть бо тайны яще не явится*», и уразумеют языцы *яко с нами Бог*. Под святозарною хоругвью спасителя нашего Иисуса Христа призываются верующие, ограждаясь знамением креста Его, и вступаю на брань за церковь, за Царя, за Русь Святую; *ополчится Ангел Господень округ боящихся Его*».

Нет оснований сомневаться в искренности пафоса, одушевлявшего князя Андрея Борисовича, когда писал он эти строки, ориентированные на угрозы Апокалипсиса. Он ощущал себя пророком.

«С первого шага я приступаю к Вам, князь! Сорвите с себя личину благочестия, под которой так долго скрывалось лукавство! Вы говорите, что Вы верите Христу и силе Его, Вы дозволяете Ему выбрать последнего из стада верующих, давать смиренным благодать и назначать кого Ему угодно в поборники истины; Вам известно, что *дух идеже хощет дышет и глас его слышали, но не вем откуда приходит и како идет;* кто дал мне право в 1821 году писать из Царского Села к покойному Государю? „Я въезжаю по Высочайшему повелению в столицу Вашу; по Высочайшему повелению впустите меня в заставу Вашего сердца!!" — и Царь впустил! Познавайте же здесь ту самую Власть бессмертную, истекающую из источника вечной любви, *не хотящую смерть грешника, но еще обратится к Богу;* узнавайте любовь отчую к Вам, повелевающую мне искать, нет ли хоть малейшей скважины с сердце Вашем, не обмазанной лестью и человекоугодием, нет ли хоть трещины, в которую мог бы проникнуть луч благодати Святого Духа, скоро грядущего для обличения мира *о гресе*, о *правде, о суде*... Милосердие Божие предоставляет Вам, может быть, в последний раз — вспомните, князь! *в последний раз* спасительную вервь; ухватитесь поспешнее за нее! ловите спасающую Вас руку!»

Эта страстная прелюдия должна была подготовить Александра Николаевича Голицына к сокрушительному удару — объявлению его главным виновником всех бедствий, обрушившихся на Россию и еще поджидающих ее. Уже не Сперанский, а князь Александр Николаевич оказывается средоточием зла. (Шильдер вообще не учел это письмо, принципиально меняющее всю картину, созданную воображением автора доноса.)

В чем же тяжкая вина князя, и каким образом вел он Россию к пропасти? *«Вы любите Христа!* А Вы, быв министром духовных дел и народного просвещения, покровительствовали Его противникам, подавали гвозди Его распинающим! *Вы любите Государя!* А Вы наставляли 20 лет цареубийцев. *Вы христианин!* И не замолвите слова в пользу несчастного отца семейства, который страдает за истину и за то, что обличал богохульное антимонархическое учение! (Рунич.— *Я. Г.*) *Вы любите Россию!* Вы из столбовых дворян! должны ее любить; у Вас преподавалась революция, научалось, как приводить в исполнение правила Марата и Робеспьера. Вам все было известно, но Вы молчали, Вы радовались преподаванию ложных теорий, которые 25 лет губят нас, которые связали Россию, как овцу на заклание, а Вы острите и подаете нож!! Вы знали, князь! систему ужасную иллюминатства Вейстгаупта; что Сперанский, Фесслер, Балугианский и сколько других были его клевретами — Вам известно; разве только главная цель *всеобщего разрушения вселенной* от Вас была скрыта, но Вы сами мне сказали, что учением Фесслера и сионским вестником Вы имели намерение вывести Русских из форм греко-российской церкви и *основать внутреннюю церковь...»*

Но князя Андрея Борисовича прежде всего волновало, как и его единомышленников, вовсе не прошлое, а самое что ни на есть настоящее. И главной виной князя Александра Николаевича оказывается его поведение после рокового ноября 1825 года. «После смерти покойного Государя Вы соединили еще более и согласили между собой весь нынешний состав Верховного Правления; *зная Сперанского совершенно*, Вы его вывели в писатели манифестов, Вы его усадили еще прочнее на креслах законодательства; Вы поднесли на подносе столь чудесно расстроенную Россию *с полным ее просвещением*, церковь с эклектическою философиею, все древние постановления искажены, иллюминатство, блестящее своим мишурным блеском повсюду, а для вернейшего удостоверения, что столь чудесный состав только укрепится в царствование Государя, Вы везде подвели и расставили всех людей адептов; еще более Ваша дальновидность простиралась и до Наследника престола, Ангел настоящий Великий князь Александр Николаевич Вашим ствранием обучается у Павского! [1] какая благодать на чертах сего пастыря церкви? какая же жестокость должна быть в сердце Вашего сиятельства ввести такого Великого Государя в такое наследие, какое досталось по завещанию, писанному Вашею рукою, следовательно Вам известному, и подвести Его к Престолу с таким окружением! Рассмотрим беспристрастно — кто вернее были подданные — Рылеев и Бестужев или Вы? Страшно мне помыслить, все мое тело содрогается от ужаса, когда я помыслю о той ответственности, которая на Вас лежит! Чем Вы можете отмолить столь тяжкие преступления?!!»

Как видим, Сперанский и другие адепты Вейстгаупта не более чем креатуры князя Александра Николаевича. Он выдвинул Сперанского при новом императоре. Но более того — ему ставится в вину, что он был убежденным сторонником немедленного воцарения Николая после смерти Александра.

Князь Александр Николаевич, будучи личным другом и доверенным лицом императора Александра, действительно обладал полным знанием относительно завещания, касающегося наследования престола. Он же хранил один из трех екземпляров завещания и с того самого момента, как в столицу пришла весть о смерти Александра, настаивал на выполнении воли покойного.

Князь Андрей Борисович толкует это верноподданное поведение по-своему — Голицын-старший сознательно навязал Николаю ужасающее наследие, разъеденную явой иллюминатства страну, клонящуюся к полному разрушению и революции. С подобной позиции Рылеев и Бестужев, пытавшиеся не допустить Николая к трону, выглядят доброжелателями молодого царя, а Голицын — коварным погубителем.

Конечно, почуявший слабость своей позиции князь Андрей Борисович метался — на первые роли в «ужасном заговоре» у него выдвигается то один, то другой кандидат. А как человек пылкий и увлекающийся, он каждый раз отдавался обличениям со страстью. Но «в его безумье есть своя система».

Попытка скомпрометировать III отделение была тактическим маневром, вынужденным шагом. Главный удар в конечном счете оказывается направленным на трех лиц: Сперанского, Кочубея, Александра Николаевича Голицына. (Все остальные упомянутые — деятели второго-третьего ряда.) Почему «спаситель отечества» выбрал именно их?

Компрометируя Голицына, он показал, что стоит выше сословных предрассудков и что дело не в происхождении Сперанского. А в чем?

6 декабря 1826 года волею молодого императора был образован секретный комитет, которому было поручено разработать проект будущих реформ, вполне радикальных. Председателю комитета Николай, помимо прочих инструкций, вручил выборку из материалов следствия над декабристами, выборку, содержащую позитивные идеи государственных преступников.

В начале 1830 года комитет закончил работу и представил царю свои предложения.

16 марта этого года Пушкин писал Вяземскому с воодушевлением: «Государь, уезжая, оставил в Москве проект организации, контрреволюции революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы».

[1] Через пять лет Пушкин записал в дневник: «Филарет сделал донос на Павского, будто он — лютеранин. Павский отставлен от великого князя... Жаль умного, ученого и доброго священника! Павского не любят. Шишков, который набил академию попами, никак не хотел принять Павского в число членов за то, что он, зная еврейский язык, доказал какую-то нелепость в *корнях* президента».

Пушкин здесь, собственно, излагает основные направления проектов комитета 6 декабря.

После многомесячных колебаний, подавленный сопротивлением прежде всего августейшего семейства, Николай отложил реализацию проектов. Но принципиальная возможность их реализации все же не исключалась. В конце 1830 — начале 1831 года проекты комитета 6 декабря угрожающе висели над головами консерваторов.

Кто же входил в этот крамольный комитет?

Председателем его был граф Кочубей, главным идеологом — Сперанский, влиятельным по своей личной близости к царю членом — князь Александр Николаевич Голицын. А если вспомнить, что секретарем комитета был Корф, ославленный князем Андреем Борисовичем как агент международного иллюминатства, то многое становится на место. *Прежде всего, акция Голицына—Магницкого была атакой справа на комитет 6 декабря.* И в этом глубинный политический смысл доноса князя Андрея Борисовича. Это было стратегической задачей.

(Шервуд к политической стороне дела отношения явно не имел. Он, классический шкурник и нечистоплотный карьерист, просто сводил счеты с Бенкендорфом.)

Да, подоплекой действий князя Андрея Борисовича в немалой степени были старые счеты, основанные и на чисто политических, и на внутримасонских отношениях, и можно было бы считать совпадение главных мишеней доноса с именами главных деятелей комитета 6 декабря игрой случая, если бы сам князь Андрей Борисович не лишил нас этой возможности.

Излив свое негодование против профессоров, разоблачив коварные методы «иллюминатов», раскрыв дьявольские способы, коими они отравляют Россию, короче говоря, исчерпав резервы своей взвинченной фантазии, Голицын перешел к изложению вещей, куда ближе находящихся к реальности.

Вспомним только что цитированные слова Пушкина, суммировавшего основные положения проектов комитета 6 декабря,— «Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных...» И сравним с тем, что пишет Голицын уже впрямую о планах комитета: «а) Вступление прекрасное, хвалят дворян, они подпоры Престолу, их нужно поддерживать, поставить преграду к вторжению в дворянство других сословий и проч. Как же достигать сей объявленной цели? Помните, что иллюминат объявляет всегда одно, а строит другое. Посмотрим, как он достигнет цели объявленной.

b) Находится какая-то необходимость сделать средний или третий класс, соединяющий дворянство с народом. Третий, т. е. tiers état [1]. Это необходимо, ибо известно, что сей класс сделал во Франции революцию, и ему поручается оная в России. Он будет называться именитое гражданство, так как иллюминаты все делают скрытно и под видом общественной пользы, то названия и имена служат им, как вору плащ, чтобы подкрасться удобно до места, в которое он идет, и плащ сей скидывает в передней. Здесь *именитое* только плащ, под которым является Le citoyen de 1791 [2], откуда же набирается сии citoyens [3] и сие сословие? Отличные ремесленник, citoyen cordonnier [4], купец-банкрот, личный дворянин без места и ученый (по-нашему), следовательно, с республиканскими правилами, купцы, мещане, искусники вольноотпущенные и проч. Состав людей, в массе недовольных сами по себе и недовольных быть вместе, следовательно, готовых на все. Вот состав именитого гражданства... Заметить следует, что поступающий из студентов в степени (иллюминатские.— *Я. Г.*) непременно будет или попович, или малороссиянин, или поляк, или немец! Поляков в Петербурге 7000 — целые столы в гражданской палате и в присутственных местах ими отправляются.

d) Далее открывается способ дворовым людям освободиться. Иллюминаты с лакейским подлым образом мыслей, как не подружиться в передних. Свой своему по неволе друг, а тут можно доехать и дворянства, которое согласно цели должно быть искоренено через кого? — каждого из нас через камердинера своего!

e) Запрещается помещику брать дворовых людей из крестьян.

f) Тут же выходит помещик на одну тяжебную доску перед правительством с своим крепостным человеком. Какая пища для ябедников и для всех ученых выгнанных, семинаристов голодных, безместных, праздных подъячих, коих занятие состоит в том, чтобы просьбами, наущениями, слухами сбунтовать по деревням если бы можно всю Россию.

g) Далее предполагается возобновить майоратства... Петром I заведенные и императрицею Елизаветою Петровною уничтоженные, потому, что признаны были ею семена раздоров в семействах, причина сия, побудившая императрицу Елизавету Петровну к уничтожению сего права, уже достаточна для иллюминатства, чтобы предложить восстановление оного, а через то законодатель имеет вид работать для Аристократии и тем более затмевает ход секты. Когда все дворянство разорено и нечего передавать старшему в роде. Ловушка просто явная!

Весьма еще замечательно в сих предложениях и бракованных постановлениях есть то, что запрещается притеснение в вероисповедании и всякому оставлена свобода совести...»

В конце этого пассажа князь Андрей Борисович по наивности выбалтывает вещи, подтверждающие устремленность его группы именно против комитета 6 декабря: «Может быть, я буду спрошен: откуда и кто мог мне передать государственную тайну? В России мало бумаг, с которой за 100 рублей не можно бы достать копии, тем легче прочесть печатный проэкт, с коего 30 экземпляров лежат у Марченки в канцелярии...» Стало быть, в стадии подготовки доноса некие единомышленники князя в собственной его величества канцелярии выкрали для него экземпляр правительственного документа, отнюдь не подлежащего разглашению...

Если встать на точку зрения Голицына и предположить, что проекты комитета 6 декабря были происками «иллюминатов», то окажется, помимо всего прочего, что ревностным иллюминатом был и Александр Сергеевич Пушкин. Ибо Пушкин был последовательным и горячим сторонником тех идей, которые так ужасали князя Андрея Борисовича. Он был сторонником учреждения почетного гражданства и убеждал в этом великого князя Михаила Павловича. Он был сторонником ограждения дворянства от широкого проникновения в него иносословных элементов и говорил, и писал об этом постоянно. Но, в отличие от Голицына, причину размывания дворянства видел он не в чьих-то происках, а в сословной политике Петра I и его наследников, вытеснявших просвещенную и активную часть дворянства — дворянских реформаторов — с политической арены. И назначением огражденного дворянства считал он не тупой консерватизм, настоянный на квасном патриотизме, а борьбу за реформы. Был Пушкин и сторонником ограничения, а затем и упразднения крепостного права, против чего столь яростно восстает Голицын. Ведь возмущавшее его равенство перед законом всех сословий — «выходит помещик на одну тяжебную доску перед правительством с своим крепостным человеком» — было первым шагом к отмене рабства, постепенной ликвидацией того антикрестьянского законодательства, которым самодержавие откупалось от беспокойного дворянства, откупалось крестьянскими головами, безумно доводя социальный антагонизм в стране до смертельной черты. Наконец, Пушкин был сторонником майоратов, которые могли предотвратить окончательное раздробление дворянских имений и фактическое разорение основной массы дворянства, превращение ее, по мнению Пушкина, в «страшную стихию мятежей».

Следуя логике Голицына, мы должны были бы кроме Пушкина зачислить в «иллюминаты» и Михаила Орлова, и Павла Дмитриевича Киселева, которого тот же Пушкин назвал «самым замечательным из наших государственных людей», ибо они вполне разделяли идеи комитета 6 декабря. Да и каждый здравомыслящий сторонник реформ и противник консервативного окостенения оказывается участником «ужасного заговора».

Донос князя Голицына — при внимательном рассмотрении — является нам не истерической писаниной, призванной свести давние счеты со Сперанским, а крайним выражением серьезнейшего политического процесса.

И наэлектризованный этой искаженной связью с реальностью, переходя в область практической политики, князь Андрей Борисович разворачивает перед Николаем картину уже не просто проникновения масонских заговорщиков во все поры государства, но их подрывные действия и близкие к осуществлению революционные планы. На этих страницах — концентрация угрожающих явлений, открытых бдительностью Голицына.

Энергичная антиправительственная агитация: «Секта постоянно поджигает, дразнит все сословия и старается представить русских бунтовщиками в глазах Государя и возбудить негодование в русском народе и взаимно восстановить народ на Царя. Для нее ничего не упущено из виду, начиная с народных грошовых картинок и стихов; даже на табачных обертках распускают разные возмутительные статьи. ...Не упустим никогда из виду весьма важное обстоятельство, употребленное иллюминатами как сильный рычаг для поднятия народа. С одной стороны, они делают и имеют влияние на постановления в правительстве, а с другой, они через бесчисленных своих проученных адептов, наставленных секретными циркулярами, инструкциями, распускают толки, хвалят своих, клевещут верных, затмевают глаза народа насчет благонамеренности Государя, подстрекают народ, возбуждают дворянство, дабы понудить русского выходить из свойственной ему преданности, из своего характера любви и привязанности к законному Государю. При всеобщем направлении учения чему удивляться, что рождаются мечты, что всякий студент думает сделаться диктатором и сделать лучше того, что есть, брожение в умах начинается, созревает нарыв, готовится 14-го декабря. Иллюминаты сами не начинают (смотр. Устав), но вынуждают, подстрекают, держат фитиль в руках, а сами остаются в стороне».

Итак, «готовится 14-го декабря»...

Все усиливается иностранное, инородческое вмешательство. И соответственно подготавливается почва: «Главная цель иллюминатства — воспитывать людей в космополитстве». (Какая, оказывается, давняя и славная традиция!)

Проникновение извне производится под самыми неожиданными предлогами и видами:

---

[1] третье сословие *(франц.)*.
[2] граждании 1791 *(франц.)*.
[3] граждане *(франц.)*.
[4] граждании-сапожник *(франц.)*.

«Из устава иллюминатов видно, что ученые общества и экспедиции непременно входят в состав их действий... Какая страшная была прошлого года рекогносцировка немцев-ученых! Кто мерит поверхность Каспийского, кто Эльбрус, кто Арарат, кто Черного моря, кто магнитную стрелку наблюдает... Между тем у одной из сих экспедиций я узнал славнейшего известного шпиона Метерника Beroni, который говорит на 20 языках и был под другим именем. Все записывается, везде делаются опасные наблюдения и готовятся у нас же орудия и запасы против нас... В Тифлисе губернатор поляк... Вице-губернатор поляк, посылаются поляки как Пилчинский и проч. Поляков в Грузии бездна и самых опасных людей».

Засилие инородцев приводит Голицына в отчаяние: «Русскому в России негде голову преклонить». (Непонятно, правда, почему он так доверял англичанину Шервуду.)

Голицын остро чувствовал момент — польское восстание, Французская и Бельгийская революции — и страстно пользуется ситуацией: «Теперь заметим единовременное действие секты и общую ее во всей Европе связь.

Готовились в России я представлены были решительные перемены (проекты комитета 6 декабря.— *Я. Г.*), которые, если бы не были отвергнуты премудростью Монарха, привели бы все в волнение. В Англии Веллингтон закидывался камнями, целые графства в Кенте превращались в пепел, Ирландия бушевала.

Во Франции Карл X препровождался за границу, и также распространялись зажигательства, приписанные (клеветою либералов) князю Полиньяку. Бельгия восстает и освобождается. Польша присылает через графа Орлова заверения в верности и восстала».

Короче говоря, 1830 год — кончился назначенный Вейстгауптом пятидесятилетний срок! — обнаружил совокупные действия иллюминатов по всей Европе. То, что происходит в России (главное — проекты Сперанского, Кочубея, Александра Голицына), есть лишь часть попытки «разрушения вселенной». Убежденный в этом, князь Андрей Борисович и заклинал императора принять немедленные меры. «Для чего же нам история? для чего знать события времени нашего, если не извлекать из них плоды опытности? Мало будет нам утешения рассуждать после беды от хитрости ли, глубокой клеветы начальника 3-го отделения собственной Его величества канцелярии (фон Фока.— *Я. Г.*) или от невинности и неприкосновенности к оной начальника его (Бенкендорфа.— *Я. Г.*), что Россия погибнет, если (отчего Боже сохрани!) произошла здесь вспышка 7000 поляков в Петербурге, да еще сколько студентов и безбожников семинаристов, кроме праздношатающихся шалунов, между 300 тыс. народа. Много ли надобно головорезов, чтобы ворваться во Дворец с Невы, подкрасться под стеною набережной и ужас наделать? Кто успеет их удержать? Дворцовая ли рота по одиночке или главный караул, на который они забегут с тыла и мигом обезоружат? В Тулоне 200 шалопаев всем флотом французским овладели в 1830 году. Стыдно будет нам, русским, имея у себя в глазах пример вторжения в Бельведер студентов (мятеж в Варшаве.— *Я. Г.*) не предвидеть возможность повторения такого случая».

Все здесь характерно — и тяжкая травма 14 декабря, и постоянное ощущение российскими верхами взрывоопасной обстановки, брезгливое недоверие к собственному народу, и этот, впервые, быть может, с такой четкостью определенный состав «внутреннего врага», который сохранится на десятилетия,— поляки и студенты. И с какой проницательностью увидел князь Андрей Борисович будущего противника — разночинца.

Он не просто обличает и доносит, он пророчествует о конце света, имеющем вот-вот наступить. «Его Императорское Величество может удостовериться в истине всего здесь изложенного в один день через одну неделю, через месяц. Если же угодно будет Государю Императору еще выжидать, то я не поручусь, чтобы через несколько месяцев сила обстоятельств не привела бы нас к тому же убеждению после параксизма опасного и, может быть, не отчужденного от крови самой драгоценной и сопровождаемого всеми ужасами безначалия. Я далек от мысли представить чудовища небывалые или думать пугать Государя, какую цель могу я в том иметь. Я не говорю — все пропало и нечего делать, напротив того — все спасено, познайте только гнездо, где кроется опасность!»

Голицын — по причинам, от него не зависящим,— и оказался пророком. Через полгода начался «параксизм опасный» — кровавый мятеж военных поселений, когда десятки тысяч вооруженных людей, доведенных до отчаяния и остервенения, бушевали в нескольких переходах от беззащитного Петербурга, ибо гвардия ушла усмирять Польшу. (Хотя «иллюминаты» к этим событиям не имели ни малейшего отношения.)

Но и в январе накаленная обстановка в Европе и внутри страны воздействовала на Николая таким образом, что, несмотря на бесспорную для него нелепость индивидуальных обвинений, он с вниманием отнесся к более общим заявлениям Голицына.

На полях, против последней цитаты, царь написал в некоторой растерянности: «Где доказательства и на чем буду основывать свои действия, если мне согласиться приступить к каким-либо мерам осторожности?» Стало быть, он все-таки думал о некоторых мерах, основанных на доносе, но не хотел показаться смешным. Как мы увидим, и весь донос вовсе не был отметен им как вздорная фантазия, но привел к целому ряду действий...

Мы были бы несправедливы к князю Голицыну и вообще глубоко неправы, если бы

сочли его просто истерическим фантазером или корыстным лжецом. Сквозь мутную призму своей бредовой идеи он искренне пытался рассмотреть действительность. *И увидел немало важного.* Он видел, прежде всего, тяжелейшую кризисность ситуации: «Голод, мор, безденежье, упадок в продуктах, карантины, все теперь стекло вместе. Каждая минута драгоценна, чтобы признать настоящий источник бедственного положения России...»

Более того, он разглядел один из главных источников. Но не узнал его...

Князь Андрей Борисович явно принадлежал к той части родовой аристократии, которая по разным причинам психологически не срослась с новой бюрократической знатью, сохранила рудименты патриархального сознания (хотя и существенно трансформировавшегося) и испытывала ужас перед всеобъемлющим наступлением бюрократической машины, постепенно неуклонно захватывавшей реальную власть в стране и составлявшей нерасторжимое единство с самодержцем и самодержавием как принципом. В начале общественного поприща князя Андрея Борисовича эта патриархальность сознания сочеталась с либеральными идеями, что было отнюдь не редкостью среди декабристов и их близкого окружения, а в период, нас интересующий, усложненная мрачной смесью охранительства и мистицизма — отнюдь не светлого христианского волнения! — она питала его политические фантомы.

Знаменательно, что патриархальные представления Голицына ориентированы были отнюдь не на допетровскую Русь, но на XVIII век, который — в государственном плане — представлялся князю царством гармонии и органичности. «Коллегиальное управление, обработанное Лейбницем вместе с Петром Великим по примеру Датского королевства, принимало человечество в самой нижней ступени нравственности, т. е. предполагая, что коллегия составлена из 10 человек, достаточно было двух голосов, чтоб дело, не согласное с законом и с совестию, не пропустить, и каждый член мог тогда служить Государю верою и правдою, не опасаясь никого, писал мнение свободно и мог на себя обратить достойное внимание Монарха и согласить с большинством голосов на правое дело. Каждый член коллегии не зависел от председателя и не мог отрешиться от должности без внешнего суда. Правда сидела в силе самого учреждения, две или три инстанции всякое дело процеживали в столь чистом виде, что правосудие наблюдалось совершенно и Россия пользовалась конституциею самою прочною, благословенною Монархическою, отрешенною от всякого безначалия и разрушения. От уездного суда до Сената все имело правильное эксцентрическое кругообращение, и государственное правление плыло правильно, плавно и правосудно. Первый Лагарп кинул в сердце Августейшего своего воспитанника семя разрушения сего чудесного состава... Три новопринятых иллюмината составили округ престола опасный триумвират».

Здесь три ключевые точки. Во-первых, весьма проницательное толкование смысла коллегиальности для Петра. Поскольку он трезво, по мнению Голицына, воспринимал человечество как находящееся «в самой нижней ступени нравственности» (речь, конечно, шла о российском «человечестве»), то коллегиальный принцип важен был для него не силою совокупности умов, но эффективностью *взаимного контроля.* Все за всеми следили и все всех контролировали.

Вряд ли надобно доказывать, что мерещившаяся князю административная идиллия прошлого ничего общего с действительностью не имела. Никакой контроль — ни взаимный, ни сверху, ни сбоку — не спасал от чудовищной волокиты, жестокой судебной несправедливости, беспардонного вымогательства. Всем этим наполнена русская сатирическая литература XVIII века. Но обскурантское сознание, не умея анализировать реальность и искать конструктивные выходы на основе этого анализа, и здесь инстинктивно идет простейшим путем — наивно идеализирует прошлое. То обстоятельство, что «правильное, плавное и правосудное» правление вызвало пугачевщину — гражданскую войну, в которую оказались вовлечены все сословия, князь исключил из рассмотрения...

Во-вторых, чрезвычайно симптоматично для патриархально-государственного сознания ощущение личной связанности с царем, «верховным сюзереном»,— «каждый мог обратить достойное внимание Монарха». И эта прямая связь с монархом, и возможность апеллировать к августейшей справедливости — лучший вариант конституции, то есть надежная гарантия защищенности подданного. (Разумеется, благородного.)

Эта утопия «монархического конституционализма» в противовес «конституционной монархии» исповедовалась не одним князем Андреем Борисовичем.

И, в-третьих, причина разрушения идеального государственного механизма — действия иллюминатов. Имеются в виду «молодые друзья» Александра, с которыми он и задумывал реформу управления. (Их вообще-то было четверо, но Голицын говорит о триумвирате.) А довершил разгром — Сперанский, создавший новую бюрократическую структуру. Но драма Сперанского еще и в том заключалась, что ему дали провести только первый этап реформ — усовершенствовать аппарат управления. А одна из основополагающих идей реформатора заключалась в том, чтобы поставить этот аппарат под контроль представительных институтов. Без чего все теряло смысл и, более того, усугубляло ситуацию. Объективно, реформы Сперанского — в их прерванном, куцем виде — и в самом деле довершили отчуждение человека от государства, дали еще один толчок к окончательному

торжеству бюрократической химеры. В этом, однако, Сперанский виноват не был: его вышвырнули из Петербурга и из государственной деятельности.

Но Голицын этого не понимал и понять не мог. Зато результаты великой неудачи Сперанского он разглядел прекрасно. И с подлинным вдохновением начертал устрашающую картину торжества иллюминатов. «Везде и всюду согласие, везде непроницаемое единогласие, все чиновники устроены повинению непрекословному, правилами воспитания поступили в число сотрудников моральных к достижению цели добродетели.

Все нераздельным строем идут к своей цели, которая доставляет им дворянские почести, кресты, аренды, убивать невинность, притеснять сирых и вдов, все входит в направление цели.

Дела бесконечно перелетают, как галки, сверху вниз и снизу вверх. Есть другие самые вопиющие, которые подобны ежу с иглами: никто не может к ним законно дотронуться, потому что они запечатлены входящими номерами Комитета министров, Государственного совета, Высочайшими конфирмациями... Сколько подделок, сколько фальшей, сколько вопиющих фальшей в бумагах для направления на одну и ту же цель. Недовольство против царя и всенародный ропот».

Голицын тонко понял и систему взаимозависимости и круговой поруки в той системе, которую обличает. «Чиновник не говорит, что Государь Император меня пожаловал крестом, нет, спасибо Н. Н., Правителю канцелярии, он мне крестик навесил, как же нам не стараться ему? Случись, например (что, впрочем, невозможно), чтобы молодой человек в департаменте с честию отказался от скривления какого-нибудь дела, ему порученного; ему скажут: „Подчиненный должен в службе повиноваться, а не умничать; ты не знаешь еще нас, в ложке тебя утопим, туда зашлем, куда ворон костей не занесет, советуем Вам, сударь, впредь быть поосторожнее и не умничать". Таким образом, все приходит в порядок и безмолвие: все молчит, пишет, коверкает, мерилы беззакония наполняются в тишине при тысячах глаз и в присутствии людей, имеющих очи, да не узрят, уши да не услышат...»

Уловил Голицын и еще парадокс системы — сопротивление исполнителей воле верховной власти, когда эта воля шла против интересов исполнителей: «Иллюминаты одарены особенным талантом производить действие, противное тому, что они объявляют, и противное высочайшей воле. Например, Государь Александр Павлович желал всегда освободить крестьян помещичьих. Он не жаловал вотчины дворянам. Како же способствовали цели Государя? Способ нашли прибавить до 40 т. душ приобретателей людей русских и давали всем чиновникам красть».

Нам, с нашим сегодняшним опытом, все ясно. Голицын и в самом деле обнаружил страшный заговор — «заговор» бюрократии против страны. Он ясно увидел ее генеральные черты — корпоративную замкнутость, своекорыстие, ориентацию исключительно на собственные интересы, круговую поруку, поддерживаемую как наградами, так и террором, мощную способность к самовоспроизведению, высокое искусство саботажа, он увидел делопроизводство, расчетливо запутанное, громоздкое, ибо громоздкость его затрудняет контроль и создает особую структуру, недоступную непосвященному, он увидел пагубность этой системы для России, намертво схваченной железной бюрократической паутиной. «Россия стоит как великан, на которого натянули насильственно с трудом немецкую столь узкую куртку, что он не может владеть руками, скрутили его по всем суставам, перетянули жилы, остановили в них кровообращение, дразнют, колют, терзают, изнуряют, полагая повалить его на землю и дать на съедение разнородным налетным псам!»

Голицын видит трагизм положения, но вывихнутая его мысль, неспособная к трезвому анализу, идет не от причины к следствию, а — наоборот. Все кругом ужасно, в судах несправедливость, экономическое положение тяжкое — «голод, мор, упадок в продуктах...» *Кто-то должен быть виноват в этом?!* Он видит терзающую страну военно-бюрократическую формацию, но не отдает себе отчета в том, что видит. Его воспаленный мозг требует простого, простейшего ответа, одного концентрированного врага, привычного и проникшего извне, а не гнездящегося в самой государственной системе.

Так и рождается идея «ужасного, тайного, злонамеренного заговора» иллюминатов. И все, что представляется темному политическому сознанию князя Андрея Борисовича чуждым, опасным — выдвижение ли разночинной интеллигенции («при равных качествах ума мой сын не получит аттестата, а попович пролезет»), наука ли статистика, проекты ли реформ, увеличивающих меру свободы,— все получает простое объяснение...

Князю Андрею Борисовичу не удалось убедить императора. Полное отсутствие конкретных доказательств разочаровало Николая необыкновенно. Тем более что он чувствовал нечто чрезвычайно родственное в тирадах Голицына, несомненно надеялся извлечь из откровений князя полезные для себя сведения, которые — опять-таки! — раскрыли бы простые и легкие для устранения причины тяжкого кризиса.

Чернышев и Алексей Орлов, которые явно возлагали на Голицына некие надежды — в смысле компрометации Бенкендорфа, вынуждены были, при всех симпатиях к направлению мысли князя Андрея Борисовича, от своих мечтаний отказаться.

Их поведение в этой истории, как и поведение Николая, очень выразительно. Стремительно прочитав в тот же день, 14 января, фолиант Голицына, император передал его Чернышеву и Орлову и поручил им снять с князя подробный допрос, потребовать доказательств. Что и было сделано без промедления. Уже 15 января два генерал-адъютанта представили верноподданнейшую записку: «Мы имеем счастие, согласно желанию князя А. Голицына, представить у сего в особо запечатанном им самим пакете, все бумаги и показания его насчет известного Вашему Величеству дела. (То есть были возвращены бумаги, данные Чернышеву и Орлову для рассмотрения.— *Я. Г.*) При чем мы священною обязанностию поставляем донести, что на все наши расспросы князь Голицын ничего не мог представить положительного относительно обвинения поименованных лиц, кроме того, что Ваше Величество изволили найти в всеподданнейшем письме его и прочих бумагах. При сем осмеливаемся представить, что, следуя наставлению, данному нам Вашим Величеством об отобрании у князя Голицына самым тайным образом всего того, что он имел открыть по означенному предмету, мы в необходимости нашлись ограничиться терпеливым выслушиванием его объяснения и старанием, сколь сие зависело от нас, направлением письменного его изложения более понятным и менее сбивчивым, в чем, однако же, мы совершенно успеть не могли...

В заключение долгом полагаем донести, что окончательные объяснения князя Голицына, от которых, по словам его, мы ожидали больших открытий и доказательств, не соответствовали нашему ожиданию, и, не мало не сомневаясь в добрых его намерениях, должны признаться, что способы его собственных понятий со всем его рвением не могут без помощи других обнять и раскрыть столь обширное и по существу своему великое дело, каково существование и продолжение в России зловредных действий иллюминатской секты».

Из письма сего следует, во-первых, что, прочитав донос, Николай, несмотря ни на что, надеялся получить подтверждения; во-вторых, что намерения князя Голицына и его рвение вызывают искреннюю симпатию у двух столпов империи; в-третьих, что сам факт существования иллюминатского заговора представляется им вполне возможным, но средства одного Голицына для его раскрытия, по их мнению, недостаточны.

Обманутый в ожидании немедленной победы, но все же ободренный отношением Чернышева и Орлова, князь Андрей Борисович в «Дополнительной записке» предложил: «...Я желал бы, если бы мои показания и недостаточны к убеждению, чтобы они были приняты в виде гипотезов или предположений, и, таким образом, много для меня непонятных вещей пояснятся высшим сановником государства; я имею план дома, знаю расположение внутреннее комнат и ходов, но многих не знаю живущих в нем. В записке, мною представленной, обозначены несколько лиц. Сознание Сперанского может совершенно сорвать со всех личину...» И далее он пустился в самое тривиальное доносительство, приплетая все новых и новых людей.

Сам Голицын раздражал Николая теперь уже совершенно. Царь, в отличие от Чернышева и Орлова, не был заинтересован в компрометации Бенкендорфа и Александра Николаевича Голицына, козырей для быстрой и выигрышной игры с внутренним врагом князь Андрей Борисович ему не давал. Потому император распорядился отправить настойчивого доносчика, который осмелился уже и спорить с ним, отвечая на маргиналии, дерзко предполагать, что царя вводят в заблуждение все те же «иллюминаты», в Кексгольмскую крепость «не в виде арестанта», вплоть до дальнейших распоряжений. Прибыв в Кексгольм 28 января, князь Андрей Борисович немедленно стал слать письма в Петербург, всячески варьируя соображения, нам уже известные...

Судьба его доноса между тем оказалась в руках человека, в своем роде незаурядного и едко проницательного,— мастера политического сыска де Санглена, вызванного из имения в столицу.

Проштудировав весь комплекс бумаг Голицына, которые Николай, вручая их Санглену, назвал «доносом на всю Россию», старый полицейский волк дал уничтожающий профессиональный отзыв, но тоже отнюдь не отмел саму идею существования заговора. Однако он взглянул на дело вполне неожиданно для Голицына. «...Трудно предположить, чтобы все сии бумаги были писаны без причины, чтобы в них чего-либо не крылось... Все это, по моему мнению, раскрыть нужно и приступить к действию».

Санглен предложил четкий план, суть которого состояла в подробном опросе всех лиц, упомянутых в бумагах Голицына. «Когда все сии сведения собраны будут, сделать им свод из показаний той, другой и третьей стороны. Здесь может открыться неожиданное: во-первых, относительно до лиц второклассных и ниже. Во-вторых, Магницкий и князь Грузинский (дядя Голицына, на которого он несколько раз ссылается в доносе.— *Я. Г.*) не принадлежат ли сами к какой-либо секте, вместе с князем Голицыным. Не принадлежат ли они к фанатической секте Якова Бема, родившегося в 1579 году. У нас много приверженцев Якова Бема, и часто не любят они иллюминатов...»

Стало быть, Санглен не исключает, что «может открыться неожиданное», то есть некие крупные грехи лиц второклассных, а это, между прочим, ранг действительных тайных советников, аппаратная элита. Но главное — по-своему изощренное сознание Санглена восприняло акцию Голицына как нападение одной «секты» на другую, что, возможно, имело некоторый ретроспективный смысл...

Как для князя Андрея Борисовича, так и для Николая, Чернышева, Орлова, Санглена и многих других деятелей, стоявших и стоящих у кормила государства, политический процесс вовсе не являлся и не является отражением процессов куда более глубинных и мощных, но сводится фактически к самому себе, то есть к борьбе «сект», проискам злоумышленного подполья против власти, насаждению смуты иностранными агентами, схваткам группировок за власть.

Еще раз повторяю — была сложная игра, столкновение личных и групповых интересов, все это было окрашено старыми идейными конфликтами, дружбами, изменами, обидами. Но это отнюдь не имело того значения, которое мерещилось, с одной стороны, Голицыну и его сподвижникам, а с другой — Санглену. Фундаментальные процессы шли на совсем ином уровне. Как и князь Андрей Борисович, те, от кого зависела судьба страны, жили в мире фантомов...

Неизвестно, было ли проведено рекомендованное Сангленом следствие. Во всяком случае, в «Деле о доносе князя А. Б. Голицына» никаких сведений на этот счет нет.

Мучимый сомнениями, император потребовал от Магницкого, чтоб тот изложил все, что знает об иллюминатах в России. И Магницкий, готовый к такому запросу, представил огромную рукопись «Обличение всемирного заговора против олтарей и тронов, публичными событиями и юридическими актами».— «О водворении иллюминатства под разными видами в России» [1]. Но искушенный в деле инсинуаций и эрудированный профессор Магницкий не сумел ничего доказать.

Конкретных материалов, которые давали бы возможность карательных действий, Николай не получил. Однако донос Голицына произвел на него несомненное впечатление, особенно по части воспитания юношества. Скорое — через год! — выдвижение на поприще народного просвещения Уварова, патриотическая демагогия которого, хоть и в более искусном варианте, близка была к голицынской,— явное тому свидетельство.

А что же наш главный герой?

Пробыв в Кексгольме около четырех месяцев, он получил разрешение жить в Москве и немедленно приступил к новым действиям. Приблизительно через месяц после прибытия в древнюю столицу «по поводу письма, писанного генерал-майором князем Голицыным к военному советнику де Санглену, Высочайше повелено князю Голицыну выехать из Москвы в 24 часа в свои деревни и оставаться там безвыездно, впредь до повеления».

В 1835 году за неосновательное доносительство III отделение снова предписало ему жить безвыездно в имении под надзором местной полиции. В 1836 году он получил право жить где пожелает, кроме столиц. И только восемь лет спустя Николай разрешил ему въезд в Москву, сопроводив разрешение красноречивой фразой: «В Москву, но отнюдь не сюда (то есть в Петербург.— *Я. Г.*), ибо я не раз был им обманут».

В 1853 году князь Андрей Борисович женился вторым браком на Варваре Сергеевне Шереметевой. А в апреле 1861 года он скончался, очевидно, потрясенный отменой крепостного права и началом широких реформ — этим чудовищным торжеством международного «иллуминатства»...

P. S. Записка, полученная автором во время выступления в Ленинградском отделении Союза театральных деятелей:

«Анализ Голицына ныне блестяще подтвердился: Россия разгромлена во всех измерениях: разгромлена культура (в музыке господствует рок-чума, в живописи — трюкачество, в театре — непристойность и секс, в архитектуре — коробки), разорена экономика преступными реформами, разгромлена природа — преступными проектами (читайте «Наш современник», № 1, 1987 г. и № 1, 1988 г., «Молодая гвардия», № 1, 87 г. и № 1, 88 г., «Сов. Россия», 18.11.87 г. и др. издания). Разгромлена нравственность и здоровье народа — 40 млн. алкоголиков, наркомания, проституция. Разгромлен русский народ — он стал самый неграмотный по числу лиц с высшим образованием — отстали от якутов и чукчей!! Государственный аппарат и культура захвачены масонами и сионистами, русский народ у себя дома не хозяин. Зачем лгать!

Масонство — организационная форма иудаизма, а сионизм — политическая!

Масоны и сионисты вырезали в России всех талантливых людей, которые отказывались служить масонам,— Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Писарев, Чернышевский, Добролюбов, Достоевский, Глинка, Чайковский, Ф. Васильев, Есенин, Маяковский, Горький, Киров, Шукшин, Н. Заболоцкий, Вампилов и т. д...

Не оглупляйте людей!»

Это не единственное послание такого рода, которое случалось получать автору. Подобные тексты не вызывают у меня ни удивления, ни тем более возмущения. Это естественный результат отсутствия у нас *культуры исторического и политического мышления*. И пока нам не удастся выработать эту культуру, князь Андрей Борисович будет героем и нашего времени.

---

[1] Опубликовано Н. Шильдером в «Русской старине», 1899 г., январь.

Публицистика

А. Конгро

ОШИБКА ВЕЛИКОГО МЕЧТАТЕЛЯ, или ГОРЕЧЬ СЛАДКИХ ДОКТРИН

Один из тех, кого причисляют к французским просветителям XVIII в., некий Морелли, мечтая об идеальном обществе, очень красочно видел будущее сельского хозяйства, его, так сказать, экономическую основу: «Беспощадная частная собственность, мать всех преступлений, которыми полон остальной мир, была неизвестна этому народу. Он смотрел на землю, как на кормилицу для всех, которая без различия дает грудь тому из своих детей, кто больше всего голоден. Там все считают себя обязанными сделать землю плодородной и никто не говорит: вот это мое поле, мой бык, мое жилище. Земледелец спокойно смотрит, как кто-то другой жнет то, что он посеял, а сам находит в другом месте, чем удовлетворить свои потребности...» [1]

— И никаких тебе норм, расценок, коэффициента трудового участия? — усомнится любой «дядя Вася» из нашего нынешнего села.

У Морелли никаких сомнений: «Когда возвращается весна, народ с радостью спешит засеять свои плодородные поля, и подстрекаемый благородным соревнованием, тот, кто больше сделает борозд, сочтет себя счастливым». Трогательная пастораль. У Морелли самые светлые и благородные представления о... человеческом факторе. Даже неловко, до чего он лестного о нас мнения — далеких потомках из светлого будущего. Но «дядя Вася» — кремень.

— Да кто он такой, этот ваш Морелли?

Неизвестно. Ни года рождения, ни даты смерти. Хотя косвенное указание, кто он, можно все же найти. «За такими днями,— пишет он,— следовала бы сладость отдыха, которой мы никогда не чувствуем после шумного великолепия наших удовольствий». Шумное великолепие удовольствий... Кто там, в XVIII веке, мог пописывать экономические доктрины после «шумного великолепия удовольствий»?

От красивой теории особого вреда нет, пока мечтатель не имеет власти. А если имеет? Тогда он ее употребляет — во благо и на пользу — в соответствии с личными умозрительными представлениями о жизни и людях. Последствия оказываются самыми плачевными.

Ведь подчас кажется, что в нашей экономике и хозяйстве все было бы прекрасно, если бы не... люди, «человеческий фактор». Но всяк разумеет под этим что-то вроде безразмерного носка на личную ногу. А может быть, нет никакого «человеческого фактора», а есть человек, просто человек, в том смысле, что «человек таков, каков он есть, и более никаков».

Вот и поставим себе задачу — взглянуть на простых смертных. Как те или иные экономические и хозяйственные идеи, возникшие, конечно, из самых благих намерений, как они вяжутся с реальной психологией человека, его житейской натурой, как учитывают тот вечный фактор, который называется *природой человека*?

Вообразим, что товарищ Морелли был

---

[1] Французские просветители XVIII в. М., Политиздат, 1960, с. 495.

Конгро Анатолий Освальдович (р. 1939), публицист. Печатается с 1970 года. Его рассказы, статьи и очерки публиковались в «Авроре», «Звезде», «Неве», «Новом мире», а также в других журналах и сборниках. Живет в Ленинграде.

назначен чиновником в Министерство сельского хозяйства. И тотчас к нашим услугам почти классический случай.

Несколько лет назад, пыльным летним днем, мы ехали на УАЗе с директором одного совхоза. Между прочими новостями он поведал с напускным спокойствием об очередной директиве:

— Главным специалистам совхозов запретили пользоваться их служебными машинами.

— После работы? — уточнил я, стараясь истолковать приказ дисциплиной и государственным интересом.

— Вообще! — лаконично ответил он.

Его, кажется, позабавило мое недоумение: почему? зачем? как теперь агроному, зоотехнику, ветврачу?

— «В целях экономии горючего и запасных частей»,— внушительно, со вкусом, процитировал директор строчку из документа.

Действительно, весьма рачительное распоряжение. В стране хронический дефицит запчастей, дефицит бензина. Перемножим четыре автомобиля на количество совхозов в стране. Полученную цифру еще раз умножим на литры бензина. Товарищ Морелли из министерства радостно подводит черту: получается астрономическая экономия!

Буквально через минуту навстречу попался самосвал, притормозил. Директор тоже остановил машину. Из самосвала выскочил главный агроном, переговорил с директором, и машины разъехались. Попутный рейс самосвала подбросил агронома по его делам.

Главного зоотехника возил «попутный» молоковоз. Секретарь парткома ездил на чем придется, не то что главный инженер, любитель экзотики. Диспетчер звонит на ферму: «Пожарка у вас? Позовите главного инженера».

Этот случай выбран за его хрестоматийную простоту: как «полезное» решение, сталкиваясь с жизнью, с реальными людьми, превращается в свою противоположность.

Сколько логичных распоряжений, приказов, экономических идей, на первый взгляд полезных, влекут за собой отрицательные последствия! Создается впечатление, что все молчаливо согласились: были бы хорошие и правильные намерения, а что дело вышло из рук вон плохо, значит — «так уж вышло». Получается, что в понятие — соответствие служебному положению — не входит умение предвидеть последствия и просчитывать побочные эффекты, которые «строит» этот коварный человеческий фактор.

Однако замечено, что расчетливость не такая уж редкость. Для личного употребления. Человек, который быстро поднимается по служебной лестнице, даст иной ЭВМ очко форы.

СПРОСИМ У КОРОВЫ

Схематично все начиналось так: в одном районе снизились надои молока. Или, по тамошнему выражению, «упало молоко».

По тем временам вышел Указ о борьбе с алкоголизмом, и администрация вздохнула со всхлипом облегчения. На головы выпивох посыпались штрафы за каждый алкогольный выдох на работе, на улице, под собственным одеялом. Эти драконовские меры возымели действие. Однако, как ни странно, упало молоко.

Перво-наперво, как положено, сняли стружку с директоров совхозов. Они, в свою очередь, вниз по служебной лестнице. Снизу вверх пошло донесение: плохие пастбища, травы не идут в рост.

Районному начальству надо принимать меры, на него жмет областное. Меры бывают двух сортов: действительные и мнимые. В ход пошел второй вариант. Главному агроному РАПО объявили выговор. А он — ни сном ни духом! Серьезного влияния у него на совхозы нет, совхозы отмахиваются от его советов, там свои агрономы.

Как пришло ему это в голову, никто не знает. «Необходимо подкормить пастбища минеральными удобрениями»,— доложил он. Научно обосновать? Ради бога! Нет ничего такого, что нельзя научно обосновать. «Ускорение роста трав интенсивной подкормкой» — таково было научное обоснование. Слова в духе времени — «ускорение», «интенсивной»...

Он выкрутился. Это понимают в совхозах, понимает его начальство. Когда дело касается служебной карьеры, все учитывается и просчитывается, таковы правила игры. Кто нарушает правила, тот выбывает из команды.

Директора тоже сделали вынужденный ход: распорядились сыпать минералку на пастбища. Положительный результат был вроде бы налицо: травы пошли гуще, сочнее, то ли от минералки, то ли дождь прошел... И тут наконец коровам удалось обратить на себя внимание. Только в одном совхозе подохло их двадцать шесть. Наглотались минеральных удобрений и — в одночасье! Когда они подыхали, их, еле живых, резали, чтоб продать хотя бы на мясо. Остальные коровы выжили, хотя и облезли местами от Большой Химии. Тетки с фермы покупают с тех пор молоко у частников.

Искали виновных. Почему минералка оказалась в корме? Куда глядел пастух? В чем тут дело: в тупости, безразличии, лени? Про штрафы как-то забыли. А ведь любое существо огрызается, если его наказывать. Специалисты-кинологи утверждают, что даже собаку нельзя кормить и бить одной и той же рукой. Неизвестно, какими глазами смотрит пастух, как коровы жрут минералку, равнодушными или мстительными. Но об одном случае стало точно известно. На молочной ферме, где пьянчугу-скотника штрафовали, он по ночам перекрывал коровам воду в поилки. Вот молоко и «падало». Он делал это назло директору. Случай, как говорится, не типичный. Но среди народа встречаются и такие тихие юмористы. «Вы сдавайте вместо молока штрафы»,— советовал он директору.

Вот два разговора, на одной ферме, но с промежутком в несколько лет, гораздо типичнее:

— Вакуума в молоководе нет,— говорит доярка.— Приехал какой-то из Сельхозтехники, починил, а вакуума нет.

— Ему что! Ему по наряду платят,— говорит заведующий фермой.— У нас одно ведомство, у них другое.

Через несколько лет, после того как объединяли ведомства, заведующий демонстрировал широту кругозора:

— Теперь что мы, что Сельхозтехника — все в одной упряжке, все в Агропроме. Нет ведомственных барьеров, все мы зависим от сельского хозяйства, от конечного результата.

— Лучше стало? — спрашиваешь его.

— Конечно, лучше.

— А как коровы, больше молока стали давать?

Несколько секунд огорошенного молчания, потом дружный смех и шутки:

— Откуда больше? Коровам какая разница! Им про это не говорили.

— Уморил! Коровы, говорит, больше молока дают?! Как было раньше, так и сейчас...

Сейчас корова дает семь-восемь литров в день, но может дать двадцать пять, тридцать литров. Что же ей, скотине, мешает? Что ей нужно? «Мне много не надо,— сообщит корова,— быть в тепле, в сытости да в заботливых руках». Стоит только заговорить бессловесной твари, она такого наговорит! И про то, что скотник вечно озлоблен, корма такие, что с души воротит, и про то, что доярка не то что рук не вымоет, она ленится даже принести подстилку... Попробуй ей втолковать, что вся администрация только и думает, чтоб поднять молоко. Когда ввели бригадный подряд, администрация не жалела сил на организаторскую работу, экономическую учебу, чтоб каждый на ферме понял про КТУ, конечный результат и прочее, включая демократические выборы заведующего фермой. Районное начальство скажет, что стало лучше, работники фермы скажут, что стало лучше. И только корова, по простоте душевной, скажет, что ей все это без разницы. Самое главное, ради чего огород городили,— молоко — осталось на прежнем уровне. Вот такой получился неожиданный камуфлет. Мало сказать, что это невежливая, это самая бестактная из всех коровьих выходок. Не коровья даже, а прямо-таки коровьевская...

После случая с минералкой в районе сложилось общественное мнение: совхозы не виноваты, их заставили. По поводу штрафов один директор сказал: «Я их справедливо штрафую, они должны понимать». Как не познакомиться с таким простодушным руководителем. Знакомимся. Хороший, в сущности, человек, современный, с высшим образованием, тридцати с чем-то лет. Переживает случай с коровами: «И сам виноват, и сверху заставили... У директора собачья должность...» Невольно ему сочувствуешь: в конце концов, в добрые старые времена, если человек против, а ничего поделать не может, он подает в отставку. Директор напрягается: «А кого поставят? Чем тот будет лучше?» По наивности напоминаешь ему известный эксперимент на Рижском заводе с выборами директора, когда на «собачью должность» претендовали три с лишним тысячи. Мол, пока в стране на директоров дефицита нет. Ледяное молчание в ответ.

Ладно, никто не покушается на его служебное благополучие. Но теперь оно все в большей степени будет зависеть от нового фактора под названием хозрасчет. Экономисты считают этот фактор решающим. Он будет давить на директора. В какую сторону? В ту самую, в которую денно и нощно давило на него начальство: производить больше продукции. Такое вопиющее совпадение заставляет задуматься на предмет некоторых последствий.

И ныне, как известно, сельское хозяйство не скупится на применение гербицидов, инсектицидов, минеральных удобрений. Хозрасчет может подстегнуть хозяйственников к еще большему злоупотреблению химией. Следовательно, людей ожидает еще большая концентрация «химии» в молоке, огурцах, картошке... Скажут, что совестливый совхоз не станет травить людей. Ну, совестливый завод тоже не стал бы выдавать регулярно брак. Отсюда следует частное, но важное для здоровья каждого из нас предложение: необходимо наконец ввести проверку сельхозпродуктов на их безвредность для здоровья. Пока таких лабораторий экспресс-анализа, по словам специалистов, нет. Они оценивают стоимость подобной технической разработки в полтора-два миллиона рублей.

Далее. Хозяин-хозрасчет приказывает совхозу иметь прибыль: коллектив подскажет — побольше. Казалось бы, поскольку цена государственная фиксированная, то путь фактически один — поднять молоко, но учтем, что директор совхоза и раньше ломал голову над этим. И ничего не вышло. Обзывать директоров саботажниками язык не повернется. В массе это добросовестные люди. Они думали, старались, недосыпали. Заменить всех директоров? Уповать на то, что вдруг откуда-то свалятся директора-гении?

Если все соглашаются, что тридцать лит-

ров в день от коровы лучше, чем восемь литров, то — попробуем экономику строить снизу, начиная от ее величества Коровы.

Потребности у коровы простые, ясные, вечные; она их доложила доярке, скотнику, механизатору... Кто они на нынешний день в селе, что от них можно ждать, отчего на них именно ломается пока любой экономический инструмент?

Экономист, хорошо зная свой инструмент (экономику), имеет искаженное представление о материале (людях). Смело взявшись управлять людьми при посредстве экономических рычагов, можно сильно нафантазировать, если не представлять себе момент соприкосновения «инструмента» и «материала».

«СОПРОМАТ» ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

В технических вузах есть предмет под названием «сопротивление материалов», «сопромат». В экономических вузах такого предмета нет. Понятно, что под «сопроматом» для экономистов подразумевается нормальная житейская природа человека, реальные интересы слоев и групп общества. Желающие восполнить этот пробел приглашаются на «курсы повышения квалификации» — в хлев, на скотный двор.

Заранее надо оговориться, что эти наблюдения ограничены географией Нечерноземной зоны и, более того, они умышленно односторонни, чтоб осветить человеческую личность только по отношению к труду и деньгам.

Если отрешиться от высоких материй, то можно сортировать людей примерно на три группы:

1. Больше работать, чтоб больше получать.
2. Меньше работать, но больше получать.
3. Пусть меньше получать, но и работать меньше.

Очевидно, что к первой группе относится подавляющее большинство. Это любимая группа экономистов, в расчете на которую они создают узлы хозяйственного механизма. Если знать, в какой пропорции первая группа относится ко второй, а вторая к третьей, то можно предсказать эффективность экономической конструкции. Ведь это информация первостепенной важности, если всерьез говорить об экономических рычагах.

Итак, типичный, средний совхоз в нашей Нечерноземной зоне.

Вдоль дороги выстроилось несколько десятков бревенчатых домов. Возле каждого — огород семь-восемь соток, на отшибе — банька, сарай... Летом можно подумать, что это живое крестьянское село. В огородах копошатся люди, из окон слышится детский рев, по субботам курятся баньки. Но есть одна странность, которая не сразу обратит на себя внимание: во дворах нет ни курицы, ни свиньи, ни коровы... Зимой село—будто вымерло. Только в двух-трех домах живут люди, эти работают в совхозе. Остальные рабочие совхоза — пришлые, приезжие, даже если они перебрались на центральную усадьбу из соседних сел. Живут они в блочных многоквартирных домах. Большинство давно превратились в городских жителей, а бывшие дома стали их летними дачами.

Можно ли чего-нибудь ждать от них, бывших крестьян. Они, как более сообразительные и расторопные, поколениями убегали в город. Это объясняется якобы отсутствием клуба для молодежи, кино, танцев... Понастроили клубов, они разваливаются и пустуют. На самом деле уезжают оттуда, где плохие дороги, плохой пассажирский транспорт, где, выражаясь казенно, плохая демографическая обстановка.

Да, они наезжают летом в свои избы-дачи и манерничают перед остатними сродственниками: «Моя девка защитила диплом, теперь тоже будет сидеть в конторе...» Предел мечты. А второе или третье, уже «защитившееся», поколение особенно возмущается, когда приходится ехать в совхозы в порядке так называемой шефской помощи. «Опять в грязи копаться!» — перенятое у родителей отношение к труду. Они делают вид, что приносят пользу в своих «конторах», и возмущаются, когда их посылают «на картошку». Забавной иллюстрацией тому служит НИИ какой-нибудь Сельхозтехники. Каждую осень инженеров и научных работников отправляют в село. Они копают, сортируют, носят ящики. И все вручную. Как и всех прочих, это их раздражает, они работают из-под палки, ропщут на бытовые условия и т. д. Их, видите ли, оторвали от свершений умственного труда: проектировать картофельный комбайн, сортировку, механизацию... Детищ их умственного труда в совхозе «до дуры», по выражению одного товарища. Беда лишь в том, что работают эти «детища» из рук вон плохо. Картофельному комбайну мешает картошка, сортировке — земля, почему еще что-нибудь...

Но вернемся на ферму. Здесь работают терпеливые, ко всему привычные и — отметим — без особых материальных запросов люди. Однажды в совхозе затеяли строить новый коровник. Объявили во всеуслышание: кто хочет заработать 28 тысяч? Это была сметная стоимость строительства. Предлагали: может быть, найдутся человек пять, возьмут бригадный подряд? За лето можно сделать. Кто хочет? И во всем совхозе, это четыреста с лишним рабочих, не нашлось охотников. «Зачем нам эти деньги? — говаривали мужички с некоторым даже высокомерием.— Кому надо, пусть строит». Нашлась бригада шабашников из Армении, их было человек шесть, за лето отгрохали коровник. Вкалывали, надо отдать им должное, от зари до зари.

На следующий год понадобился сенной сарай. Кто возьмется? Деньги на бочку! И опять никого желающих...

«Больше работать, чтоб больше получать». На этой предпосылке строит прогрессивный экономист свои рассуждения: человек хочет иметь больше денег? Конечно. Чтоб иметь больше денег, он должен больше работать. Логично? Логично. Следовательно, он будет больше работать, чтоб иметь больше денег. Правильно? Все правильно. Силлогизмы, как у Сократа, а на деле выходит пшик.

Почему бригадный подряд, такая эффективная форма труда, дает блестящий результат в одном месте и пробуксовывает в другом? Даже на одном предприятии — стоит распространить почин, как все усилия уходят будто в песок... Ответов находят много, и все они разные: плохая организация труда, отсталое руководство и тому подобное. Возможно... Но почему все-таки никто из рабочих совхоза не польстился на бригадный подряд в 28 тысяч? Директору совхоза и прорабу кажется, что их рабочие недопонимают свою выгоду. Очень даже «допонимают»! «Хитрость» простая: можно, конечно, отхватить за одно лето 28 тысяч, но придется вкалывать до седьмого пота. А если растянуть эту стройку на два-три года, то все равно прораб будет «выводить» приличную зарплату каждый месяц. И за два-три года они получат «зарплатами» тысяч 50—60 за этот самый объем работ. Не такое уж глупое «бескорыстие»: чем дольше растянуть стройку, тем больше денег можно получить за единицу работы.

Напрашивается аналогия с падением производительности труда в России в начале века. Блестящее объяснение этой психологической аномалии дал П. Б. Струве в 1916 году: «Несмотря на повышение заработной платы, или, вернее, благодаря ему, в общем производительная энергия труда понизилась. Исторически это вполне понятно: тут сказалась та психология «низкой заработной платы», которая держалась в Англии, например, до XVIII века и которая коренится в низком уровне потребностей. Раз дана эта психология, при повышении заработной платы нет стимула не только к повышению, но даже к поддержанию на прежнем уровне производительности труда».

Или в другой редакции: «Если минимум зарплаты установлен достаточно высоко, то тем самым отпадает стимул к повышению производительности труда».

Эти наблюдения сделаны в 1915—1916 годах, когда в России, вследствие войны, увеличился спрос на труд. Струве добавляет, что огромный спрос на труд заставляет государство и предпринимателей увеличивать заработную плату. Ныне в селе аналогичная ситуация, существует хронический дефицит рабочей силы. Приходится завлекать граждан высокой зарплатой. Граждане снисходят к нужде совхоза и бьют баклуши. Их зарплата намного превышает их потребности. Значит, можно меньше работать.

В нашей печати часто упоминается, почти с мистическим недоумением, проблема: зарплата растет на рубль — отдача на копейку. Ответил Струве на эту загадку?

Вот тракторист Арсеньев с женой-дояркой. У него — под триста, у нее — не меньше. Зайдите к ним в дом. Старый телевизор, холодильник, давняя «городская» мебель... И едят алюминиевыми вилками из грубой посуды. Вилок нет в магазинах? «Нам и так хорошо». У них своя изба, но во дворе нет даже паршивой курицы. Изба не ремонтируется годами. Они знают: развалится изба — совхоз даст квартиру. Зачем доярке волноваться, что корове требуется подстилка или авансированное кормление? Доярка кинет на пол охапку сена, подтолкнет его ногой, и ладно. Ну, даст эта корова меньше молока, велика беда! «Что нам, деньгами избу оклеивать?!»

Десятилетиями, с упорством, достойным лучшего применения, наша пропаганда боролась против потребительских запросов. И доборолась. Скажут, что было время, приходилось выдавать нужду за добродетель. А сегодня?

Стимулировать потребление — это означает стимулировать более интенсивный труд. Неужели такую простую вещь надо доказывать борцам с «вещизмом»? Слова «стимулировать потребление» предавались чуть ли не анафеме. Но — иначе Арсеньев не будет «вкалывать», чтоб заработать больше денег на новую мебель, на сервиз, на устройство в избе парового отопления или, скажем, ванны. Зачем Арсеньеву вкалывать, если уважаемый человек из телевизора говорит, что Арсеньеву такого-сякого не нужно? «Кому надо, тот пусть и берет бригадный подряд»,— говаривает почтенный селянин в сапогах за 12 рэ, в казенном ватнике и единственном на всю жизнь выходном костюме.

Здесь не место хулить селянина или восхищаться им в широком моральном, философском плане. Речь лишь о деньгах, труде и человеческом факторе.

Лето, разгар работ. Третий день у избы Арсеньева простаивает гусеничный трактор: что-то сломалось, и нет запчастей. Но вот прошел ливень, затопил мост через речку, вода по пояс. Село по одну сторону реки, лес — по другую. Время ягодное, грибное, а в лес не попасть. И тут арсеньевский трактор застрекотал, взревел и пошел через реку в лес, весь облепленный народом, как танк десантниками. Туда-обратно, туда-обратно... Вода пошла на убыль, и снова трактор «сломался», нет запасных частей.

В кабинет директора входит тетка и начинает канючить: у нее в доме протекает

крыша уж который месяц! Тетка живет в казенном доме-коттедже. В семье трое мужиков, муж и двое взрослых парней. Но у директора даже мысли не возникает сказать: «Почините сами». Он вызывает прораба. Тот оправдывается, что завез этой тетке рубероид и брикет гудрона месяц назад, дескать, работа там пустяковая. «Пошлите кого-нибудь, пусть починят»,— говорит директор. Он привык к этим людям и подобным сценам.

На главной усадьбе построили блочный многоквартирный дом. От желающих получить квартиру нет отбоя. Здесь и приезжие, у которых первый вопрос: жилье дадите? И свои, совхозные из деревень: чужим даете, а мы в совхозе работаем столько лет! Они бросают или продают свои избы и с удовольствием набиваются в пятиэтажный дом. Волей-неволей вспоминается полемика: где жить сельскому человеку — в собственном доме или домах городского типа? Понастроили, кричат, городских коробок, оторвали крестьянина от земли! И вроде бы правильно кричат. Куда это годится: Отрывать Крестьянина от Земли?!

Во многих хозяйствах поддались на эти упреки, стали строить коттеджи. Ожидали, по логике вещей, что крестьянин заведет корову, свиней, кур... И себя снимет с государственного кошта, и на рынок останется. Крестьянин с боем хватал коттеджи. Отчего не взять задарма кирпичный домик из трех комнат, с кухней, ванной и прочим, стоимостью 12—14 тысяч рублей? Но на этом дело и кончилось. Корову он не завел. Зачем ему лишние хлопоты, упаси боже! Он и раньше не утруждал себя хозяйственными заботами (от слов «хозяин» и «хозяйство»), с чего ему меняться? Крестьянами этих людей мы называем из благозвучия. Это не крестьяне, это наемные рабочие, батраки. Домик построен на хорошей пахотной земле, совхозный трактор за символические полтора рубля вспашет ему огород; его обязаны теперь обеспечить дровами и углем, починить крышу и вытереть под носом. Многолетнее отвращение к подневольному труду выработало стойкий иммунитет к любому труду вообще. Предел мечты — ничего не делать и получать деньги, то есть, в перекладе на сельский язык, «сидеть в конторе».

Существует статистическая легенда про частный сектор. В статистических отчетах отмечается, сколько продукции, скажем, картофеля, вырастил частный сектор. Иногда это просто убийственная статистика по сравнению с госсектором. Перекос происходит так: каждый работник совхоза, включая конторских служащих, имеет право на участок в пятнадцать соток. Все они проживают в пятиэтажном доме и о лопате имеют смутное представление. На лучшем совхозном поле нарезают условные участки по пятнадцать соток. Совхозный трактор их вспахивает, окучивает, привозит удобрения (только органику) и выкапывает. Хозяевам остается распорядиться лишней тысячей рублей. Статистика отметит их урожай в «частном секторе».

Еще одна легенда, живучая со времен известных очерков В. Овечкина, гласит: «В отстающем, слабом, бедном хозяйстве и крестьяне живут плохо, бедно, убого».

В таком примерно совхозе работает шофером Костя Графов. Он заслуживает и отдельного внимания как определенный сельский типаж. Фамилия его звучная и распространенная в этой местности. Косте Графову пятьдесят с лишним, но до последнего времени он оставался Костей. Казалось бы, и в нем наперед определено социально и генетически объяснимое, передаваемое из поколения в поколение отвращение к труду. И жить ему, как и прочим, в отсталом совхозе на 200 рэ в месяц. Или «мигрировать» в городские общаги, зарабатывая квартиру в ЖЭКе или на стройке... Он остался в своем сельском доме. Среднего роста, плотный, незлобивый, с вечной ухмылкой на неказистой физиономии. Апатичный с виду, жил он, как все, отличаясь разве тем, что чаще других служил мишенью насмешек. У него, видите ли, болезнь желудка, водку он не пьет, так он завел корову...

И вдруг, в один прекрасный день в совхозе ахнули. Перед домом Кости, у самого крыльца, появилась новенькая белая «Волга». Весть по совхозу разнеслась мгновенно: Костя купил машину, не какую-нибудь, а «Волгу»! Закадычные приятели, еще надеясь, что «Волга» — какая-нибудь старая, списанная рухлядь, потянулись на Костин двор поздравить хозяина. Смотрели, трогали — новая машина за семнадцать тысяч! Костя с вечной своей ухмылкой объяснял желающим: «Малость потратился в этом году. Купил сыну со снохой кооператив в городе, да вот еще машину...»

И дружок не сразу соображал: по дурости Костя это ляпает или с издевательским умыслом.

Любители считать деньги в чужом кармане дотошно вникали в Костины доходы: «Он молодую картошку продает на рынке по рублю за кило!» А у него участок в двадцать пять соток, вот и считайте...

«А корова! Тридцать литров молока в день! Пятьдесят копеек берет за литр. Уже четыреста с лишним в месяц. Два кабанчика каждый год, это еще по пятьсот рублей... Бычок или телка — на рынок! Куры, яйца...»

Так Костю просчитали и вычислили. Причем о зарплате даже не поминали. Вот на сегодня заработки крестьянина, если он человек мало-мальски трудолюбивый, в каком бедном хозяйстве он ни живи.

Раньше, когда нельзя было иметь ни лошади, ни коровы, то бедность колхоза означала бедность для любого колхозника. Теперь бедность или достаток сельского

жителя не зависят от положения дел в колхозе-совхозе. Бедность селянина, как сто и тысячу лет назад, означает лень. И началось уже заметное расслоение по трудолюбию, а следовательно, по деньгам.

В хорошую погоду Костя выкатывает машину из гаража, она весь день стоит у крыльца, посверкивая никелем и лаком, к вечеру вкатывается в гараж. Из окна местного рейсового автобуса кто-нибудь обязательно кивнет в сторону Костина гаража, дома, хлева, новой баньки-сауны. За дурака его больше никто не держит, а если пошучивают, то с завистью.

Но остальные живут по-прежнему. Расхватывают в магазине сыр, масло, мясо. Ездят за колбасой в город. Покупают у того же Кости молоко в яйца. Его пример никого не подтолкнул завести собственное хозяйство. Даже зависть к «Волге» оказалась бессильна, а зависть, казалось бы, какой мощный моральный стимул. Вот раскулачить Костю — милое дело. Только мигни.

На доярках и скотниках перепробовали все стимулы, включая бригадный подряд. Но молоко «замерало» на восьми литрах. При бригадном подряде фермы стали зарастать грязью. «Не ваше дело!» — отмахивались доярки. Пришлось, скрепя сердце, вернуться к прежним мерам: за уборку столько-то, за чистку молокопровода столько, за литр столько... у главного зоотехника смех сквозь слезы: по такой системе доярке обеспечено 130 рэ в месяц без единого литра молока. А если платить по конечному результату, все заржавеет и зарастет грязью...

Похоже, как ни ухищряйся, а «потолок» совхозного молока — достигнут. При том трудолюбии и отношении к деньгам, которые существуют в реальности на нынешний день. Экономическая предпосылка, или, назовем это, установка на человека, который будет больше работать, чтоб больше получать, не срабатывает.

Иное дело Костя Графов и ему подобные. К ним эта установка вполне подходит. И главное, корова своими тридцатью литрами голосует за Костю.

Давайте посчитаем, сколько крестьян-хозяев осталось на территории нашего, средней руки, совхоза. В такой совхоз входит примерно 5—6 поселков. Мы едем в каждый поселок и спрашиваем у жителей: сколько у вас в деревне коров, кто их держит?

Люди называют: вот у Гавриловых есть корова, еще у кого-то... Двое. Две коровы на всю деревню. В другом поселке — трое держат коров. А есть поселки, где нет ни коровы, ни бычка, ни свиньи.

Получается, что коров у себя на подворье держат 12—13 человек на весь совхоз. В совхозе работает около четырехсот человек. Вот и выходит, что из четырехсот человек — триста восемьдесят не желают обременять себя лишним трудом. Не хотят.

Уважаемым экономистам очень полезно знать эти цифры. Из четырехсот человек готовы работать больше, чтоб получать больше, всего 12—13 человек. Это 2—3 процента от общего числа «тружеников села». Значит, установка на людей, которые «будут больше работать, чтоб больше получать», верна на 2—3 процента. Немного не тот процент, что нам мнился раньше? Но для экономиста, который берется за рычаги власти, знать эти цифры — святая обязанность! Экономисту станет понятнее, почему одна бригада на хозрасчете творит чудеса, а другая живет взаймы, и почему так тяжело идет бригадный подряд, и еще многие и многие «почему». В селе и в городе; в совхозе и на заводе.

В разных регионах страны процент трудолюбивых и хозяйственных людей может сильно отличаться друг от друга. В Рязанской области он один, в Эстонии — другой, в Ставрополе — третий. Возможно ли предсказать эффект какой-нибудь экономической модели, не зная этих цифр?

Как это важно — знать людей,— понимали в глубокой древности. Вот двойная цитата. Плутарх в своих «Избранных биографиях» ссылается на Цицерона: «Цицерон считал, что если ремесленник, имея дело с инструментами и другими неодушевленными орудиями своего мастерства, хорошо знает и названия их, и место, и пригодность к работе, то государственному человеку, мероприятия которого, к общественным делам относящиеся, осуществляются через посредство людей, и подавно стыдно быть настолько беспечным и нерадивым, чтобы не знать своих сограждан».

Чтоб было не стыдно перед Плутархом, допустим, что мы узнали в одном совхозе про отношение людей к труду и деньгам. После всех напастей и бед там осталось 2—3 процента хороших хозяев. Отдача от них пока минимальная. Возникает вопрос: можно ли ожидать большего? Можно ли рассчитывать, что люди, подобные Косте Графову, в более гибких экономических условиях дадут весомую прибавку к нашему столу? А если да, то какую и при каких условиях?

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА И ЗЕМСКИЙ ХУТОР

«Семейная ферма» для нашей деревни явление новое. Нынешнему поколению оно кажется вообще открытием. Мы видим полезность этого начинания, но не очень хорошо представляем потенциал, генезис и скрытые подводные камни. Хорошо бы заглянуть лет на десять вперед и заранее подстраховать «семейную ферму» от ошибок или даже вырождения. Как ни странно, такое оказывается возможным. У «семейной фермы» был аналог в истории отечественного землепользования под названием

«хутор». У хорошо забытого старого есть опыт, который грех не знать.

В начале века в России, благодаря реформам Столыпина, была сделана ставка на фермерское хозяйство, на хутора. В отличие от общины, с ее чресполосицей и диктатом сельского схода, хутор — образование автономное, на котором семья занималась хозяйством по собственному усмотрению, на собственный страх и риск.

В русской публицистике той поры страстно дискутировался вопрос, куда идти сельскому хозяйству страны: в единую общину с уравнительным землепользованием или же превращаться в автономиую хуторскую систему. Вот некоторые аргументы: «В неизбежности укрепления идеи земельной собственности убеждает нарождение за 12 лет нескольких миллионов отрубников и хуторов, но более всего — крайняя необходимость повышения интенсивности земледельческого хозяйства в России,— писал в 1916 году публицист журнала «Русская мысль» А. С. Изгоев.— По мере развития производительности, по мере увеличения затрат крестьянами в свою землю своего капитала и труда, отнять у крестьянина землю в целях „уравнительного землепользования“, хотя бы клочок, орошенный его потом и кровью, станет задачей, превышающей человеческие силы. Произвести такую операцию можно будет, только перешагнув через труп крестьянина, и, надо думать, не много найдется охотников...» Имей возможность А. С. Изгоев заглянуть вперед, он бы оторопел от того, что нашлись охотники, «переступили».

Стало уже общим местом, что в конце двадцатых вычеркнули из среды крестьянства как генотип человека трудолюбивого, инициативного, скопидомного. Одни называют его кулаком, другие — фермером. Это был обычный крестьянин, жаждущий иметь землю и работать на своей земле.

В чем же секрет успеха тех стран, где сохранили фермерский тип сельского хозяйства? Думается, в том, что специфика сельского труда и фермерский уклад как нельзя более соответствуют природе человека.

Недавно у нас в переводе с английского вышли две книги скромного и доброго человека по имени Джеймс Хэрриот. Автор этих книг не политик и не экономист, он обычный сельский ветеринар. Он написал несколько славных книг о своих четвероногих пациентах. Кое-где в этих книгах он упоминает об их хозяевах — йоркширских фермерах тридцатых годов. По времени это совпадает с коллективизацией в СССР.

Если собрать все высказывания и зарисовки Хэрриота о фермах и фермерах в одном месте, то получилась бы небольшая энциклопедия: что такое процветающее сельское хозяйство, что для этого следует делать и чего ни в коем случае нельзя. И почему.

Здесь хотелось бы привести хотя бы некоторые наблюдения Хэрриота: что такое бедный фермер, что такое богатый фермер, что такое работник, в чем главная, человеческая, пружина фермерского хозяйства и чем все это отличается от наших, часто умозрительных, представлений о семейной ферме, арендном подряде и других «новациях» в сельском хозяйстве.

БЕДНЫЙ ФЕРМЕР. Вот что рассказывает о нем Хэрриот: «Познакомился я с Диком прошлой зимой.

В смутном свете коровника, где горел закопченный керосиновый фонарь, я бы не дал ему больше тридцати — такими быстрыми были его движения, с такой веселой бодростью он держался. Но теперь я заметил, что жесткий ежик волос его подернут сединой, а от глаз тянется паутина морщинок...»

Закопченный керосиновый фонарь, грубый булыжный пол, ненастье, старый коровник... Что же заставляет Дика Рэдда терпеть все это и еще находить удовольствие в такой жизни, не терять оптимизма? Может, им движет грубая корысть или, наоборот, высокопарная мечта о светлом будущем? «У него было одно честолюбивое желание — улучшить породу своих коров и обзавестись молочным стадом, которое отвечало бы его представлениям о совершенстве. Он понимал, что без капитала добиться своего сможет очень не скоро, но решение его было твердо. Пусть не при его жизни, пусть даже когда его сыновья давно сами станут отцами, но люди будут приезжать издалека на ферму, чтоб полюбоваться коровами».

Хэрриот рассказывает, что у Дика долго не было сыновей, но вот наконец они появились, и следует как бы прописная истина: «Каждый фермер трудится ради своих сыновей, и теперь у Дика появилась цель в жизни». Простая человеческая мечта, естественная и нормальная цель в жизни. Это и есть объяснение трудолюбию, упорству, смекалке Дика Рэдда. Если отнять эту мечту, эту цель в жизни, то что останется? Пить водку и бить баклуши? Неужели так трудно понять эту человеческую механику, рассуждая, где и как работать нашему советскому «дику» — у себя на ферме, на арендном подряде или в совхозе?

Простая, казалось бы, истина: каждый фермер трудится ради своих сыновей. Понимают ли это наши законодатели, когда размышляют о том, разрешать или нет наследовать землю и кому она должна принадлежать — колхозу, совхозу или иному ведомству. Если мы хотим, чтоб человек трудился от души и доил от каждой коровы по двенадцать галлонов молока, как то получилось у Дика Рэдда, то вопросы — давать землю, не давать землю — пора сдать в архив.

Вопрос в другом: как гарантировать людям их право на землю и сегодня, и через пятьдесят лет для их сыновей и внуков? Нет, не происходит пока бурного изменения в наших селах. Приусадебные хозяйства почти не увеличиваются. Мало кто завел хотя бы пару коров или пяток бычков на откорм. А ведь мы сидим и ждем у моря погоды, то есть продуктового изобилия на прилавках. Откуда ему взяться? Люди опасаются брать землю даже в аренду. Людей столько раз обманывали, передавая им землю «навечно», что у нынешнего поколения к подобным фразам и заверениям выработалось что-то вроде генетического иммунитета. Надо думать над честной гарантией нынешних обещаний. Вплоть до того, чтоб выдавать крестьянину «железный» сертификат или страховочный полис на случай новой конфискации земли, причем на независимый, хотя бы и заграничный, банк. Дада, так стоит вопрос: тотальное недоверие можно сломать только чрезвычайными мерами.

В одном из своих очерков Хэрриот рассказывает о богатом фермере, об этом пугале наших жрецов идеологической чистоты.

«Ферма Скиптона была не просто зажиточным хозяйством, а подлинным символом человеческой целеустремленности и упорства. Прекрасный старинный дом, добротные службы, отличные луга — все доказывало, что старый Джон Скиптон осуществил невозможное и из неграмотного батрака стал богатым землевладельцем.

Чудо досталось ему нелегко: за спиной старика Джона была долгая жизнь, полная изнурительного труда, который убил бы любого другого человека,— жизнь, в которой не нашлось места ни для жены, ни для семьи, ни для малейшего комфорта. Однако даже такие жертвы вряд ли обеспечили бы ему достижение заветной цели, если бы не удивительное земледельческое чутье, давно превратившее его в местную легенду. „Пусть хоть весь свет идет одной дорогой, а я пойду своей“,— такое, среди многих других, приписывалось ему высказывание. И действительно, скиптоновские фермы приносили доход даже в самые тяжелые времена, когда соседи старика разорялись один за другим.

Он столько лет вел непосильную борьбу и выжимал из себя все силы, что уже никак не мог остановиться. Теперь ему стали доступны любые удовольствия, но у него на них просто не хватало времени. Поговаривали, что самый бедный из его работников ест, пьет и одевается куда лучше, чем он сам».

Мотивы Скиптона, как видим, отличаются от мотивов Рэдда. У старика ни жены, ни детей, ни внуков. Что тогда остается: корысть, честолюбие, попросту говоря, желание утереть нос соседям? Хэрриот нигде об этом не говорит. И заметьте, сам удивляется. Единственно, что можно сказать точно: на совхозном поле Скиптон так бы не надрывался. Вот одна деталь из жизни этого богача. Направляясь с ветеринаром к дальней конюшне, попутно «старик схватил вилы, вогнал их в порядочный тюк сена, без малейших усилий поднял его на плечо и двинулся вперед бодрой рысцой».

Назовем истоки трудолюбия Скиптона и процветания фермы самыми ругательными словами советского лексикона — «частнособственническими инстинктами». Это, согласимся, не романтично; от этого можно воротить наш идеологический нос. Но припомним, что этот Скиптон ест и во что одевается. А у него сотни голов лошадей и крупного рогатого скота. За вычетом миски супа и отбивной, вся продукция фермы идет на прилавки, решая, так сказать, продовольственную программу. Пусть Джон Скиптон и скуп, и жаден. Это заложено в природе человека. У одних больше, у других меньше. Но если эти плохие качества идут на пользу другим людям, кормят сотни других людей, то дай бог, как говорится, такой экономической системе. В ферму Скиптона никакое государство никаких миллиардных дотаций мысли такой не имело вкладывать. Люди, потребители, получали тонны мяса, молока, масла благодаря жадности, смекалке, скупости и тяжелому труду фермера. Труду непосильному, пусть так, но — следует подчеркнуть — свободному, добровольному, не принудительному труду. И оттого рентабельному, эффективному. С этой аксиомой мы до сих пор как-то не можем свыкнуться, во всяком случае, настолько, чтоб превратить ее в реально действующий закон о земле и собственности на землю.

Давайте вообразим, что стало бы с Джоном Скиптоном у нас в двадцатые годы. Конечно, сразу хочется его раскулачить. Взять троих с наганами, взять пьянчуг-бездельников и все-все-все у него отнять!

На ферме работал сам Скиптон и пяток работников. Это очень мало. Куда же это годится! Это же готовый совхоз с десятком конторщиков и сотнями так называемых тружеников села. Что было бы дальше? Об этом есть у Андрея Платонова, по еще раньше, про 1918 год, у Михаила Зощенко в биографической повести: «Сестра моя осталась в деревне, поступив конторщицей в только что организованный совхоз. В своем письме сестра звала меня приехать в этот совхоз на должность птицевода. В конце сентября 1918 года я поехал к сестре, прихватив с собой несколько брошюр по птицеводству. Совхоз был расположен в барском имении на Днепре. В обширном помещичьем доме помещалась контора, и там же, в высоких ободранных комнатах, обитали служащие и директор совхоза.

За три дня пути я прочитал брошюры по птицеводству и теперь жаждал на практике применить мои сомнительные знания. Однако оказалось, что даже и эти знания были тут излишни. В совхозе оставалось всего три десятка кур и несколько уток. Причем

каждую неделю служащие получали на паек по полкуры. Вдобавок директор (как мне сказали) съедал не меньше четырех кур в месяц. Я подсчитал на бумаге общую убыль и с грустью увидел, что из всего птичьего богатства вскоре останется один птицевод...»

Вот и все светлое будущее, которое могло ожидать ферму старика Джона. Результаты нам известны, они перед глазами каждый божий день.

Получается так: на одной чаше весов — изобилие, но «собственнические инстинкты», на другой — жизнь впроголодь, но Великий почин. Ни Хэрриот, ни Зощенко никаких открытий не делают, они говорят об очень простых вещах: если экономика построена «против шерсти», ничего хорошего тут не жди. Только мы почему-то, черт нас возьми, не делаем должных выводов.

А разорение мелких фермеров, то есть конкуренция? Хэрриот рассказывает о несчастной судьбе молодого фермера. Поначалу дело у Фрэнка спорилось. Вместо старого коровника, «построенного век, если не два, назад, с булыжным полом в выбоинах, где скапливалась моча, с гнилыми перегородками», Фрэнк построил новый. «„Ради этого стоило надрываться, как надрывались вы",— сказал я, и молодой фермер в ответ кивнул и улыбнулся. Улыбка получилась мрачноватой, словно он за мгновение пережил вновь часы, недели, месяцы тяжелейшего труда, который он отдал этому коровнику. Ряды аккуратных бетонных стойл, чистый ровный пол, беленые цементные стены, большие окна — все это было создано его руками».

Все, казалось, складывается удачно. У Фрэнка было уже десяток коров, новенькая ферма, дом. Но однажды он сплоховал — купил корову, больную бруцеллезом; не заметил, не углядел, она заразила остальных коров. Все труды, все усилия пошли прахом.

Симпатии автора на стороне Франка. И нам по-человечески его жаль. Но если взглянуть шире, то надо сказать, что нет ничего более эффективного в улучшении сельского хозяйства, чем разорение (оно же возрождение, улучшение) мелких и прочих ферм. На место Франка придет Дик или Джон; более зоркие, более осторожные, они не заразят свое стадо, и в конечном счете выиграет потребитель, общество в целом.

А у нас до сих пор звучат наивные до неприличия сетования наших телевизионных комментаторов о разорении «там, у них» мелких фермеров. Что, разве ферму — землю, строения — марсиане стащили? Нет, разорился и продал ферму, как правило, ленивый и несмышленый, а купил и стал работать на ней более сметливый и работящий. И от этого обществу явная польза. Если наши комментаторы оплакивают такую систему из чистой зависти, из-за того, что «там, у них» продуктов питания станет еще больше, то я готов за компанию пустить завистливую слезу. Но только в этом случае.

Вполне возможно, и там общественность беспокоит разорение мелких фермеров. Но совсем по иной причине, чем наших воздыхателей. Ведь укрупнение хозяйства приводит к их большей независимости от потребителя, дает, видимо, возможность если не диктовать, то повышать, «держать» цены.

А наш совхоз еще и потому столь затратное предприятие, что нет — и никак не встроишь в нашу систему — механизма разорения и возрождения (!) совхоза. Ну, разорился совхоз, знаю такой, пять миллионов долга. И что? Сняли директора. По идее, с него надо взыскать пять миллионов. И никаких тебе забот государству, никаких дотаций на сельское хозяйство, все убытки должен покрыть прежний недотепа «хозяин». Поди взыщи с него!

За чужую бестолковость мы с вами отсчитываем из своего кармана так называемые «дотации сельскому хозяйству».

Одного директора сняли — тут же на это место рвется другой. Этого даже не назначали, а выбрали. Демократично. Сейчас в совхозе семь миллионов долга. Нечем платить зарплату. В банке ворчат, ругаются, не дают денег. А куда они, в банке, денутся? Дадут деньги в конце концов. На покрытие чужой тупости и затрат. И за еду, которая у нас на столе, мы платим дважды: один раз в магазине, другой раз в виде налогов на покрытие совхозных растрат. И нас с вами еще попрекают иногда, что государство (?!) должно оплачивать какие-то чудовищные дотации сельскому хозяйству. Кому? За что? За чье-то дурацкое тщеславное желание стать директором? Да если бы этому выбранному сказали: хотите директором? Извольте, пять миллионов — и милости просим в кресло. На этом, выбранном, одёжа бы загорелась, так он дунул бы подальше от должности. Перетряси всю номенклатуру, не найдешь такого, чтоб за 5 миллионов стал тешить свое тщеславие в кресле с селектором и кататься за свои кровные в казенном автомобиле.

Вот что такое отсутствие механизма разорения мелких и прочих хозяйств, и почему у нас так дорого стоит пища, и почему ее так мало. Разорение можно определить так: это механизм селекции на умных и глупых, на работящих и бездельников. Отсутствует такой механизм — происходит обратная селекция, с отрицательным знаком. Со всеми вытекающими последствиями как в одном, так и в другом случае.

РАБОТНИКИ. О работниках Джеймс Хэрриот пишет совсем мало. Но и здесь присутствует тот же автоматический, очень справедливый механизм сортировки крестьян на хозяев-фермеров и работников.

Хэрриот упоминает добродушного силача по имени Чарли. «Работник он был усердный и честный, но являл собой живое воплощение йоркширского присловья „вся сила в руки ушла, а для головы ничего не осталось"». Этот Чарли выпустил телят на заболоченный луг, и все телята заболели от плохой травы. Положение усугубилось тем, что это были лучшие телята на ферме вдовы миссис Далби. Незадолго перед этим умер муж миссис Далби — Билл, и она взяла на ферму работника. Ей хотелось отстоять и сохранить ферму для своего сынишки Уильяма.

«Билл уж, наверно, не выпустил бы телят на этот заболоченный луг. И в любом случае при первых же признаках заражения запер бы их в телятнике. От Чарли этого ждать не приходилось... Ведение хозяйства на ферме — дело очень непростое, а Билла, знающего скотовода и опытного земледельца, умевшего все предвидеть и рассчитать, больше не было в живых».

Вот она, разница между хозяином и работником, вот почему одни становятся фермерами («кулаками»?), а другие на них работают. Причем «работают» вроде многих нынешних наших сельских тружеников. Хэрриот зашел в домик одного из таких работников полечить собаку. Несколько строк из описания дома и его обитателей: «Сельский ветеринар быстро отучается от брезгливости, и все-таки меня затошнило. Миссис Бинкс, неряшливая толстуха в каком-то бесформенном балахоне, с сигаретой во рту читала журнал, положив его на кухонном столе между грудами грязных тарелок... На кушетке под окном храпел ее муж, от которого разило пивом. Раковину, тоже заваленную грязной посудой, покрывал какой-то отвратительный зеленый налет. На полу валялись газеты, одежда и разный непонятный хлам, и над всем этим в полную мощь гремело радио». И это в дневное время, летом.

Как понимать социальную справедливость в этом случае? Хэрриот не пишет. С какой стати сельскому ветеринару задумываться над нашими нынешними странноватыми проблемами.

Но вернемся к нашему отечественному опыту фермерского хозяйства. Десятилетний опыт хуторов полезен тем, что помогает предсказать некоторые последствия для наших «семейных ферм». Например, их выживаемость. Оказывается, не все хутора были жизнеспособными. Их живучесть зависела от площади земельного надела. Это становится видно при анализе статистики, изданной в 1915 году Управлением землеустройства. И пресса того времени приходит к выводу, что «более половины ликвидированных хозяйств принадлежит к числу карликовых, размером до пяти десятин. У остальных хуторов наблюдается прибыль всех видов скота и птицы, кроме овец, разведение которых требует приспособления. Особенно велик у хуторян рост мясного скота, что указывает на подготовку нашего хозяйства к промышленному скотоводству... Хутора успели обнаружить заключенные в них хозяйственно-прогрессивные силы». Это было написано семьдесят с лишним лет назад. Сельское хозяйство готовилось не к голоду, не к разрухе, а к «промышленному скотоводству».

Итак, перепробовав на сельском хозяйстве все, что мог измыслить светлый ум Морелли, мы теперь увидели надежду в «семейной ферме», то есть доброй старой хуторской системе. В чем-то ферма и хутор похожи, но есть и различия, в очень важном звене, в собственности на землю.

Раньше земля была предметом вожделения для крестьянина, теперь стала докучливой обузой. А без земли семейную ферму не отрегулировать на самообеспечение. Может быть, семейную ферму вообще нельзя сравнивать с хутором и надо искать другие пути? Это зависит опять же от человеческого фактора на селе.

Во-первых, это сразу видно: на фоне нелегкой и рутинной совхозной жизни вдруг явилась отрадная, почти позабытая, голодная жадность до работы у членов семейной фермы. Это совпадает, наверно, с хуторскими нравами. Отличия в другом. На нынешний день семейная ферма представляет собой какой-нибудь старый заброшенный скотный двор, работать на котором нашлись охотники. Двор был заброшен не без причины: ветхость, отсутствие рабочих рук, плохие дороги, дефицит кормов... И вот нашлась «семья». Семья взята в кавычки: это может быть семья, а может несколько мужиков или даже горожан, которым стало скучно прозябать на сто тридцать в месяц. Во всяком случае, это люди, для которых совпали обстоятельства. В деревушке, о которой речь, это семья Лысовых — муж, жена, свояк и его приятель. Когда-то подались в город, теперь вернулись с условием дать им ферму.

Директор на первых порах обрадовался; районная газета уже корила его за отсталость в передовом почине. Столковались на таких условиях: Лысовы откармливают и выращивают сотню совхозных бычков. Корма совхозные. Лысовы сдают совхозу бычков по 2 рубля за килограмм. Всем вроде бы выгодно. И Лысовым, и совхозу, и государству, которому тоже важнее иметь этот килограмм мяса, чем 4 рубля в казне.

Лысовы, известно, прикидывали: один бычок дает за сутки килограмм привеса. В переводе на деньги — шесть тысяч в месяц. Дело такое выгодное, что дух захватывало. Правда, корма... Какие, сколько, почем? Лысовы это понимают, люди все-таки деревенские.

Директор выделил «Беларусь», обещал с ремонтом, с материалами... Про деньги за «Беларусь», за ремонт, за материалы не говорил. Ферма, вроде того, совхозная.

6*

Казалось бы, о чем беспокоиться, хозяйственная единица возродилась из ничего.

Гладко было на бумаге... Как и следовало ожидать, встревает все тот же коварный человеческий фактор. И самая что ни на есть кондовая социальная психология. Попросту говоря, семейная ферма стала пасынком для совхоза, и очень-то хитроумным пасынком, как стали подозревать все, от директора до последнего скотника.

— Они хотят на чужом горбу в рай въехать! — выразился о Лысовых известный уже тракторист Арсеньев.— Мы сеем, пашем, мы им возим корма, а кому деньги?

Сам Арсеньев давно точит зуб на коттедж за 14 тысяч и нашел покупателя на свою избу, но тем более ревнив он к чужой выгоде.

Директор сам с собой рассуждает примерно так: он откликнулся на почин, проявил сознательность, это ладно. Но из сознательности шубу не сошьешь. Старый скотный двор требует ремонта, требуется изыскать сто телят, требуются корма... И все зачем? Чтоб районная газета похвалила или, скорее, отругала за упущения? Им что, на этой проклятой ферме! Они не лукавят, они заявляют прямо, что приехали заработать, а им с пилорамы дефицитный брус? Они хотят заработать, а им подавай корма? Насосы, бетон, трубы, горючее... космонавты привезут с Марса? Директор, агроном, плотник, тракторист — все в глубине души против рвачей из семейной фермы.

Лысовы, в свою очередь, не собираются платить из своих доходов за «Беларусь», за трубы, доски, цемент. Не станут истово ремонтировать чужое в сущности строение, старый скотный двор. Они говорят: «Мы завтра уйдем, а это дяде останется?»

Лысовы и раньше в деревне не славились как хозяева. Работящие люди? Да. И жадные до денег — подскажут односельчане. Это, как говорится, не наше дело. Но хозяин отличается от работающего человека тем, что просчитывает не только арифметику экономики. Хозяин вроде Кости Графова не польстился на семейный подряд. А ему предлагали первому.

— Придется выпрашивать корма,— отнекивался он.

— Кормов в совхозе хватает,— убеждали его.

— Хватает,— покладисто соглашался он.— Я своей корове чистую картошку и то тряпкой вытру, а чем кормят совхозных? Откуда будут привесы от такого корма?..

Приживется такая ферма — назовем ее правильно: не семейная, а подрядная ферма,— слава богу. Но подлинная семейная ферма в перспективе у Кости Графова. И ее судьба зависит от Кости в такой же мере, как от совхоза в лице директора.

Директор совхоза Костю не любит. Иногда в сердцах говорит:

— Он паразитирует на совхозе! Ему совхозный трактор огород вспашет, удобрения завезет. Он клевер посеял за баней, откуда он семена достал? — Директор злится, когда сравнивают корову Кости с совхозной, но отдает трудолюбию Кости должное: — У него каждый кустик картошки, как букет в вазе, он на коленках весь огород исползает. Если бы он в совхозе так работал!

В совхозе Костя так работать не будет.

Эти двое, директор и Костя, словно нарочно созданы для сравнения. Один от зари до зари в совхозе, другой — на своем участке. Оба получают зарплату — директор триста, шофер около двухсот. Оба — люди честные. Если Костя строит баньку, он щепки не украдет в совхозе. Если директор строит баньку, то он ее строит вот уже четвертый год, и конца не видно. У Кости дом, что называется, полная чаша, включая хрустальную люстру в главной комнате; у директора висят голые электрические лампочки. Пренебрежение к быту легко объяснить отсутствием семьи. Директор — человек пришлый, раньше работал инструктором райкома. Когда его утверждали, главными достоинствами отметили: честность, добросовестность, деловитость. Это лестное мнение он оправдывает с лихвой, весь в работе. «С девкой некогда познакомиться!» Но личных качеств хозяина (владельца) у него нет, им неоткуда взяться. Он не прошел жесткий отбор конкуренцией, когда за любой просчет выкладывают деньги из собственного кармана и нерадивые разоряются, уступая место людям более смышленым. Он просто чиновник, не хуже, не лучше других. При другой экономической системе быть бы ему батраком у Кости.

Огород у него номинальный, как у прочих, десять соток под картошкой. Вначале еще пытался посадить лук, морковку, капусту. Забросил, все заросло сорняком.

Каждый раз у него на подворье вспоминается Геродот, его рассказ, как один эллинский городишко Парос процветал, а соседний Милет — оскудел до последней крайности.

Жители Милета взмолились: посоветуйте что-нибудь, научите. Богатый Парос послал к соседям экспертов. Когда знатные жители Пароса прибыли в Милет, то увидели там дотла разоренных жителей и объявили, что желают обойти их поля. Так паросцы и сделали: они обошли всю милетскую область из конца в конец. Если им случалось заметить хорошо возделанный участок, то они записывали имя хозяина. Лишь немного таких участков им удалось найти при обходе всей страны.

По возвращении в город паросцы собрали народное собрание и передали управление тем немногим хозяевам, чьи участки были хорошо возделаны. Сделали они так потому, что, по их словам, тот, кто хорошо заботится о своем участке, будет так же хорошо заботиться об общем достоянии.

Очень сомнительно, чтобы паросцы назначили директором совхоза такого «хозяина». Директор живет в одном из казенных одноэтажных домиков. Но из живности у него лишь собака, огромный лохматый пес. Свою собаку директор вроде бы любит.

— Не забыть покормить собаку! — говорит он однажды вслух.

Вернулся он поздно, часов в десять вечера. Тут опять телефонный звонок. В совхозе вечно что-то случается; он забыл про собаку, выскочил и за руль УАЗа.

— Я скоро! — бросил на ходу.

Проходит час — нет его, два — нет... Собака извелась. Чем он хотел покормить пса? На плите громадная ведерная кастрюля с какой-то похлебкой из макарон, капусты, костей... Пес с голодухи выхлебал всю кастрюлю. Хозяин явился совсем поздно, такой же голодный, сразу к плите:

— Где кастрюля? Так это был мой суп!

Смех-то смех... Но к этому еще один «собачий» штрих — про будку. Зима, холодно, а пес спит на снегу.

— Порода такая, северная,— отмахивается директор.— Его не загонишь в будку.

Совершенно случайно, через год, обнаружилось, что у будки нет дна, мерзлая земля вместо пола. Директор сам эту будку делал, да, видно, отвлекли, он и запамятовал.

А Костя вот что сказал про низкие надои совхозных коров:

— Коровы спят выменем на голом мокром полу без подстилки, откуда быть молоку?

А ведь этого деловой суматошный глаз чиновника просто не видит. Но взглянешь Костиными глазами — и точно, спят без подстилки, на голых досках. Говоришь невзначай директору:

— А что, если назначить Костю заведующим фермой?

— Он и так в совхозе баклуши бьет. Очень ему надо идти на ферму.

Спрашиваешь у самого Графова:

— Костя, ты пошел бы заведующим фермой?

— Не, не пошел бы. Там начнут сразу молоко требовать.

Директор оказался прав. Костю не соблазнишь, даже предложи ему должность директора. Одна корова «платит» Косте зарплату больше директорской. А тщеславия нет у Кости.

Семейный подряд Костю не соблазнил. У хорошего хозяина — хорошая крепкая изба, коровник, ухоженная земля. Далеко кататься ему не с руки, а перевозить все хозяйство к ферме... Хороший хозяин в чем-то человек консервативный, сметливый и осторожный. Это бестолковому глазу мнится, что стены старой фермы вроде крепкие, крыша держится, в окнах ставни. Хозяин видит, что работы по ремонту здесь на два года не покладая рук. И к тому же ферма и земля чужие.

Другое дело свой устоявшийся, крепкий двор. Правда, у Кости одна корова, почему не завести больше?

— А корма? — отвечает вопросом Костя.

Это сразу, самое первое, самое важное, где взять корма. Корма — это земля. Вокруг Костиного дома совхозные поля. Отрезать землю Графову — Арсеньев скажет: «А мне?» Дать землю Арсеньеву — дохлый номер, он ее загубит, пропьет, забросит. Давать землю всем или никому? Давать выборочно? Как отделить овец от козлищ?

— А если бы дали землю?

— Завел бы коров десяток.

— Пахать, сеять совхозным трактором? — подначиваешь его.

Он супится, поглядывает на гараж с «Волгой», он знает, что «Беларусь» дешевле «Волги» в три раза, знает, что в совхозе полдюжины тракторов лишние, некому на них работать.

— Купил бы трактор. Если бы разрешили.— Из узких щелок весело поблескивают глаза.

Мы берем щепку и прямо на земле начинаем строить экономическую реформу. Сейчас от одной коровы он имеет в год четыре тысячи. От десяти, значит, сорок тысяч. Ого! Не много? И мы начинаем торговаться. Один, как будто он представляет всех крестьян, другой — людей с молочным бидоном. Что, впрочем, так и есть.

— Это сейчас тебе платят полтинник за литр потому, что молока мало.

— У меня молоко хорошее,— бубнит Костя.— В совхозе по тридцать копеек, а берут у меня, директор первый.

— На твое молоко от десяти коров покупателей здесь не хватит.

Это он принимает сразу.

— Значит, сдавать государству? А зачем государству по пятьдесят копеек? Это слишком дорого.

С этим Костя согласен тоже.

— По десять копеек за литр, как? Это семь тысяч в год.

— Семь тысяч — деньги... Деньги...— раздумчиво повторяет он.— А работы сколько? Доильный аппарат опять же, трактор, то да се...

— По двадцать копеек за литр? Государство по двадцать восемь продает, а твое еще везти в город.

— Надо подумать,— солидно говорит он.— Посчитать надо.

Пусть Костя пока считает. Заглянем к директору в контору. Он строит графики посевной. После дневных забот и хлопот допоздна просиживает в конторе над листами миллиметровки (метр в ширину, пять в длину), совмещает цветными линиями бригады, дни, технику... Ищет модус вивенди.

— В этом году,— сказал он однажды,—

посевная будет завершена такого-то числа.

Человек суеверный побоялся бы искушать судьбу.

— Все предусмотрено,— утверждал он,— до последней мелочи.

— Погода, ведь она...

— И погода!

— Техника может...

— И техника!

— Какой-нибудь случайный...

— Абсолютно все!

Впоследствии он избегал напоминаний о посевной. Ему было неприятно, тягостно. Из самолюбия он, наверно, вычеркнул предсказание из собственной памяти. Но па бестактный прямой вопрос — куда деваться? «Против лома нет приема!» Где была ошибка в его идеальной схеме? Он сказал с досадой и возмущением:

— Кто бы мог подумать, что сразу у трех, у трех одновременно тракторов...

Что-то там сломалось, и не было именно этой проклятой штуки на складе запасных частей. Потом, правда, злые языки намекали, что с поломкой тракторов удачно совпало не то вербное воскресенье, не то чьи-то похороны и поминки. Деревня гуляла с песнями: «Сей в грязь, будешь князь» — пока грязь не высохла. Впрочем, козни человеческого фактора в данном случае не совсем доказаны.

Наши симпатии на стороне директора. Он старается как лучше, как больше дать продукции, но... в рамках традиционной схемы. Когда он услышал про «Беларусь» для Кости, то прищурил прицельно глаз:

— «Беларусь»? Частнику? По государственной цене?! — И категорически, с неприязнью отрезал:— Никогда такого не будет!

Вот оно, пионерское воспитание!

Однако, наперекор директору, подсчитаем: десять совхозных бездельников, но хороших хозяев вроде Кости Графова, завели по десять коров. Итого сто. Сколько они дадут молока по сравнению с совхозом? Там четыре фермы по 150—180 голов, коровы дают по 8—10 литров. Костина — тридцать. Одна его корова соответствует трем совхозным. Условно получается: сто коров на семейных фермах почти равны двум совхозным фермам. Такой резерв скрыт пока в настоящей семейной ферме. Но это — подсчеты экономические, они не стоят гроша без человеческой психологии.

— Наживаться будут! — с отвращением говорит директор.

Вот это уже подсчеты психологические. Становится ясно, что по доброй воле директора Костя не увидит, как своих ушей, ни трактора, ни «отруба», ни ржавого гвоздя. Чем больше у директора появится самостоятельности и прав, тем меньше шансов у Костина двора стать семейной фермой.

При всем том, извиняюсь за низкие подозрения, что никто не отнимает у директора его должность. Никто не ратует сплошь за фермы, даже в полемическом задоре. Из четырехсот работников совхоза — триста девяносто сами предпочтут отбывать труд в совхозе. Совхоз останется. И директор останется, каков он ни есть. Ясно всякому, что назначать в хозяева — это все равно что назначать в оркестр первую скрипку по анкетным данным.

Для прогноза о семейной ферме полезно знать земскую статистику, но более неотложно — об отношениях Кости Графова и директора. Они антагонисты. Есть одна библейская притча о «человеческом факторе». Бог сказал человеку: проси у меня что хочешь, но соседу твоему я воздам вдвое. И что же попросил человек: сундук золота? дворец? царство? Лиши меня одного глаза, сказал человек.

Чтоб не наделать семейной ферме лишних недругов в лице разного рода сельских бюрократов, нелишне заметить, что на их должности семейная ферма не покушается. Наоборот, их функции стали бы более им по плечу — вместо организации и ответственности остается только контроль: проверка продуктов, налоги, севооборот...

Если бы экономист спросил, что конкретно делать, то ответ прежний: строить экономику снизу, от человека. Было бы ребячеством давать практические рецепты и вызывать обвинения в дилетантизме, но кое-что хочется подчеркнуть. Во-первых, следуя примеру экспертов из Пароса, нашим экспертам надо выявить всех хозяев типа Кости Графова. Потолковать с каждым: сколько чего они заведут и при каких условиях, обращая особое внимание, что на чужой земле человек — наемник, на своей — хозяин. Затем очень тщательно обдумать противоречия между совхозом и семейной фермой. И только после этого строить экономическую модель и законодательный регулятор.

Если, конечно, нас интересует реальная прибавка молока, масла, мяса.

«ЭКОНОМИСТЫ» ПРОТИВ ЭКОНОМИСТОВ

Попробуйте спросить громко, на всю страну: кто против хозрасчета, кто против реформ? Никто... никого... тихо... Никто не бегает по улицам с плакатами «Долой хозрасчет, да здравствует стахановское движение!».

Противники хозрасчета, они вроде есть, но образ их неясен, расплывчат. А что, если этот противник похож на обыкновенного служащего в сереньком пиджаке и галстуке, испуганного за свою зарплату? Он не борется против перестройки и мысли такой не имеет. Он борется за себя, и только, но с такой изворотливостью и гибкостью, что против реформы применяет средства реформы, а против экономических мер — экономические отмычки.

Это похоже на игру в шахматы: на каждый ход следует ответный ход, подчас неожиданный. Чтоб не проиграть, надо просчитать наперед игру противника. Иными словами, предвидеть последствия любого экономического хода.

Одна типичная история высвечивает интересы и мотивы довольно значительной группы общества, расстановку сил и т. п.

В областном арбитраже слушалось дело о штрафных санкциях к совхозам. Перед началом директор совхоза сунул мне в руки увесистый том «Официальных материалов по капитальному строительству». Директор ткнул пальцем в 41 пункт:

— Из-за этого пункта с нас хотят содрать семьсот тысяч! Впору перекреститься. Это годовой доход совхоза, даже больше.

Директор был взвинчен, возмущен, растерян...

— Вы что-то строили?

— Построили! Себе на голову. Все оборудование уже год на месте. Они год молчали, а теперь в геометрической прогрессии...

Итак, совхоз задумал новую ферму. Строительство поставили в план тресту. Совхоз представил документацию. А это горы, монбланы бумаг. Наконец строительство началось. И закончилось. Совхоз получил новую ферму, а трест в свой архив — десятки фолиантов с документацией. Лежали бы они на полках тихо-спокойно, но тут — какие-то новые веяния в экономике: хозрасчет, реформы. В тресте, видимо, задумались, как это отразится на них. И стали соображать, что радоваться нечему. Трест, в сущности, это большое здание, заполненное канцелярскими служащими. Как таковой он прибыли не имеет, а собирает ее со строительных организаций. Зачем нужен трест этим организациям? Они автономны, имеют собственную контору, печать, счет в банке. В перспективе само существование треста поставлено под сомнение. Значит, пока не поздно, надо набирать коммерческую плавучесть любой ценой. Трест оглядывается, как «там», в капитализме, обстоят дела? Увы, там вместо всего их штата работает одна ЭВМ.

Известно, что каждая организация, стоит ей появиться на свет, изначально обладает свойствами живого организма: инстинктом самосохранения, размножения, реакцией на опасность и т. п. Трест напрягает свой коллективный разум в поисках прибыли... И рождается в его недрах маленький экономический Макиавелли. Он мудрствует лукаво: тресту нужны деньги? Будут деньги! Он знает наизусть этих растяп-заказчиков, они никогда не имеют всех бумаг. Он снимает с архивных полок толстые папки и тихо улыбается от собственной правоты.

И посыпались на совхозы штрафные санкции на двести, пятьсот, семьсот тысяч рублей. Совхозные агенты с течением времени вызнали, что фамилия их злого гения Пейчев. Она тут же стала нарицательной. Одна мамаша, бухгалтер совхоза, пригрозила своему дитяти: «Будешь капризничать, отдам тебя дядьке Пейчеву».

В одном совхозе пошли на хитрость, пригласили Пейчева консультантом, чтоб застраховаться от его же козней. Потом возмущались: три месяца он нас «консультировал», получил денежки, а через месяц новый иск от треста на триста тысяч! Дескать, все заранее выведал, сам готовил иск, но намеком не обмолвился.

Напрашивается подсказка ведущим экономистам, которые разрабатывают узлы и детали хозяйственной реформы. Вам кажется, что построили идеальную экономическую модель? Пригласите Пейчева, он обнаружит такие дыры, что воз проедет.

Вернемся в арбитраж. Пейчев в кабинете арбитра — тих, корректен, сдержан. Зато директор совхоза, бурый, как свекла, весь кипит:

— Бетонные кормушки! — это не механизмы! Это материалы. Какой технический паспорт?! За один этот пункт нас грабят на тридцать восемь тысяч!

— Здесь заглавие: список оборудования,— арбитр смотрит на директора.— Это вы писали?!

— Нет, не я! — Директор хватается за соломинку, чтоб дезавуировать документ. Бланк совхоза, печать совхоза, но нет его личной подписи.

Арбитр говорит с некоторым даже сожалением:

— Документ имеет юридическую силу.

Совхоз проигрывает пункт за пунктом. На директора страшно смотреть, у него уже был инфаркт, вот-вот хватит другой. Директор идет ва-банк, он говорит, что строительство вообще незаконно, объект построен по измененному проекту, что оборудование старое, со старой фермы, что трест не имел права строить, а он принимать объект! Если на то пошло, пусть эту ферму разбирают на кирпичи и увозят с земли совхоза! Директор топит себя... Но все напрасно.

— Ваше право подать встречный иск,— говорит арбитр, понимая, что совхоз не решится на такой безумный демарш.— Удивляюсь я нашим совхозам, их беспечности к документации, «мы договорились, нам пообещали...», слова, слова, слова...

Иск треста признан законным.

Арбитр, конечно, догадывался о коммерческих манипуляциях треста, не первый иск, но буква закона это и есть закон.

Пейчев принял постановление с видом сфинкса. Не так уж плохо за сорок минут юридической процедуры отобрать триста с лишним тысяч. И эти деньги попали в кошелек треста.

Из какого кармана вырваны эти деньги? Из совхозного? Нет, из нашего с вашим. Это дотации сельскому хозяйству из государ-

ственного кармана. Вот почему себестоимость молока на этой ферме будет 50 копеек за литр. Вот куда уходят миллиарды, о которых с недоумением писал Н. Шмелев в «Новом мире»: «При неслыханно высоких капиталовложениях миллиарды и миллиарды уходят практически бесследно в песок, темпы роста сельскохозяйственного производства составляют у нас меньше процента в год, а то и со знаком минус». Да не в песок они уходят, они рассасываются по карманам пейчевых и иже с ним.

Не учитывать пейчевых с их интересами, с их изобретательностью так же странно, как для слесаря не знать, из какого материала у него в станке заготовка.

Есть такое крылатое выражение: «В каждой науке столько истины, сколько в ней математики». Как в любой крылатой банальности, в этой тоже далеко не вся истина. Особенно для науки под названием экономика; в этой науке столько истины, на сколько она учитывает природу человека со всеми его недостатками, коллективную психологию. Это наука человековедения.

В последние времена на страницах печати особенно беспощадным анализом достигнутых недостатков отличаются сами экономисты. Как положено, их статьи содержат два пакета: первый — критический, второй — конструктивный. Первый подкупает безоглядной честностью, и по инерции доверяешь второй части с панацеями от прошлых бед. Сделаем так и вот так, говорит экономист, тогда получим во-от такой результат. И так хочется, чтоб страна наконец стала жить светлее, богаче, лучше, что изо всех сил стараешься верить апостолу. Его концепции кажутся безупречно логичными, математически точными, совершенно научными. И вдруг спохватываешься: опять забыли включить в это идеальное уравнение коварный человеческий коэффициент! Стоит представить, как поступят при условии «так и вот так» реальные, живые люди, начинаешь подозревать, что «во-от такой результат» никак не получится, зато кошмарные последствия явятся без задержки.

В сложных экономических реформах оправдан, наверно, некий допуск на негативные последствия. Но одно дело, если эти последствия просчитаны и предвидены заранее и не превышают выгоду, а совсем другое, если они внезапно свалятся нам на голову.

Прораб из совхоза с вытаращенными глазами хватает тебя за рукав, он раскрыл коварный заговор: «Я был в строительном управлении, курил на лестнице... Там еще трое. Обсуждали, как повысить сметную стоимость. Они из специального отдела. Они сначала завышают стоимость, а потом, во время строительства, якобы экономят на рацпредложениях. И вся экономия идет в чистом виде в бюджет управления». Нет, фамилий этих «экономистов» он не знает, лиц не запомнил. «Я прислушивался спиной».

Явление из того же ряда, что случай с трестом. Оно психологически неизбежно, а следовательно — предвидимо.

Какие радикальные средства для борьбы с такими «экономистами» есть в нашем распоряжении? Взять да упразднить все эти важные учреждения? Легко сказать...

Еще одна деталь из выступлений экономистов. Они говорят, к примеру, о компенсациях. «Мы доплатим по 15 рублей в месяц на душу населения. Это компенсирует повышение цен на продукты питания. И даже те, кто покупал меньше продуктов из-за своей низкой обеспеченности, будут покупать больше». Смущает не сама идея доплат, а мотивировка. Неужели экономисты думают, что в семье, тем более малообеспеченной, эти деньги, эти 15 рублей, пойдут на питание? Мать их будет откладывать, чтоб купить дочке какие-нибудь модные туфли. А отец... Про отца во времена повышения цен на водку народный фольклор не преминул высказаться: «Сын встречает отца с радостным возгласом: „Папа, на водку цены подняли, теперь ты будешь меньше пить!" — „Нет, сынок,— отвечает папа,— это ты теперь будешь меньше есть"».

Для создания изобилия продуктов питания есть два пути. Первый — увеличивать количество продуктов. Второй — повышать цены на продукты. Народ у нас имеет такую дурную привычку — питаться, есть. Значит, можно поднимать цены, пока не пропадет аппетит?!

Со студенческих лет застрял в памяти один случай, когда студенту пришлось пять или шесть раз пересдавать политэкономию социализма. После третьего или четвертого «захода», так получилось, студент и преподаватель вышли из университета вместе, и нерадивому школяру пришлось выслушивать добрые и нравоучительные сентенции. А у него с языка сорвался жгучий вопрос: «Неужели вы всерьез принимаете свой предмет и сами верите в то, что читаете на лекциях?»

Уже потом, через много лет, пришло понимание, какой скверной и мстительной была эта выходка. Преподавателю политэкономии, если он не глуп, было и так невесело. Но доцент ответил твердо: «В теории все верно. Теория правильная».

А практика, если это ей не нравится, пусть пеняет на себя...

Так и Морелли с его слащавой доктриной. Она противоречит природе человека. Но у нас в стране внедрили что-то очень с ней схожее. И во многих законах, директивах, постановлениях продолжаем поступать с такой же прямолинейной удалью. Хотя никто не принимает этих решений специально во зло и ради вреда людям. Только во благо и на пользу.

К сожалению, красивую теорию вечно портят... люди.

Ольга Берггольц

ИЗ ДНЕВНИКОВ

28/III-42

Только что была ВТ [1]. В Москве во время ВТ работает радио, поют, говорят и играют. Вначале меня рассмешило, как дикость, когда сразу после воя сирены дали разухабистую русскую песню, а потом даже понравилось,— что ж, пускай поют, не слышно бомб...

29/III-42

Опять воздушная тревога. В комнате громко говорит радио, и рокота зениток почти не слышно. Не уходили из номера, и это зря — надо было бы поберечь Муську. Я не то что совсем не боюсь, а как-то не могу решить — идти в убежище или нет.

Сегодня была на 7 симфонии Шостаковича. О, какая мука, что нельзя рассказать об этом Коле, какая обида и несправедливость, что он не услышит ее. Как он любил музыку, как благоговейно он относился к ней.

Я внутренне все время рыдала, слушая первую часть, и так изнемогла от немыслимого напряжения, слушая ее, что середина как-то пропала. Слыхали ли ее в Ленинграде, наши! Мне хочется написать им об этом. Может быть, это можно будет передать по радио. Я завтра зайду к Шостаковичу, подарю ему свою поэмку, попрошу его написать несколько строк для ленинградцев и, если удастся написать о концерте, отправлю в Ленинград с оказией.

1/IV-42

Позавчера — огромные письма от Юрки [2],— пламенные и нежные до безбоязненности.

Он пишет, что любит меня, что жаждет моей любви «давно, безраздельной»; узнав, что ребенка нет, зовет в Ленинград. Наверное, он и в самом деле любит меня; странно, что это удивляет меня, вызывает какое-то недоумение, сомненье,— а вот Колина любовь была для меня несомненна и вызывала изумление гордое, я гордилась собой за то, что он меня любит. Я все еще ощущаю, и особенно после Колиной [3] смерти, Юрку как чужого и испытываю к нему иногда неприязнь за то, что Коля ревновал меня к нему, не любил его, я оставляла часто Кольку ради Юрки, когда была влюблена в него. И из-за этого я испытываю к нему неприязнь, что-то отталкивает меня от него. Я не могла бы сказать сейчас, что люблю его. Я чувствую к нему нежность, чуть покровительственную, он нравится мне, он мне мил и дорог. Позавчера была почти счастлива от его писем и думала о Ленинграде уже не как о месте гибели, но как о месте жизни, где дышать можно будет,— здесь я ничего не делаю и не хочу делать,— ложь удушающая все же! — здесь я томлюсь, и жизни во мне — только любовь к Муське. Но я уже вся — в Ленинграде. И когда я вернусь в Ленинград, я, наверное, буду любить Юрку настолько, насколько могу чувствовать сейчас вообще.

Я — баба, и слабая баба. Мне нужен около себя любящий, преданный мне мужик.

Иногда я думаю,— а, смерть на носу,

Окончание. См.: «Звезда», № 5, 1990.

В 1991 году «Звезда» продолжит публикацию из архива Ольги Берггольц.

солнце мое, ⟨*неразб.*⟩, Колька,— я отдам Юрке остатки сердца,— куда их мне, отдам ему счастье, которого он жаждет... Да, так и надо, надо отпустить сердце.

Но он стоит передо мною таким, как я видела его последний раз: со скрещенными, сведенными на груди руками, голый, мокрый (это он от холода так скрепил руки), с болезненной гримасой, растоптанный, размолотый беспощадной машиной войны... Нет, отпустила я его руки, устала и не могла превозмочь усталость, устала от него. Предала его. Нет, это неправда,— не предала, а оказалась слабой и малодушной.

Как зовет меня к себе Юрка! Но ведь это — изменить Коле!

Я НЕ ИЗМЕНЯЛА ему,— никогда. Отдать сердце Юрке — изменить ему...

Надо написать для радио о Хамармере [4], обещала им же об отце, но об отце писать не буду. Если не написать о нем всего, и о себе тоже — значит, соврать, а врать о Ленинграде я не хочу, Юрка правильно чувствует, что работать я могу только в Ленинграде; я написала им о концерте Шостаковича, по-моему, хорошо вышло. Жаль, если он не напишет ничего для Ленинграда, если ему не понравится «Февр. дневник», который я дала ему прочитать. У меня приняли книжку, приняли в «Кр. новь» «Февр. дневник», он вообще пользуется здесь огромным успехом вплоть до Ц. К. У меня сейчас хорошее имя. Зачем портить его ложью?

О Хамармере напишу во весь голос и не дам портить. Видимо, на этом мои отношения с радио кончатся. Ну, попробую написать о нем, потом выпьем с Мусей и буду писать стихи.

Скорей бы в Ленинград! Только как вот Муська моя! Как страшно с нею разлучаться! Э-хх, жизнь!

2/IV-42

Дни бегут неудержимо. Я, так сказать, не сделала в Москве ничего существенного. Полагаю, что этим не стоит удручаться,— все это было нужно только ради суеты. Правда, надо еще сделать попытку напечататься в «Правде». Но кое-что печатать не хочется, «Февр. дневник» не напечатают, а новое — не пишется. Вот даже Хамармера никак написать не могу, а о Ленинграде — и подавно невозможно. После смерти Коли ложь стала совершенно для меня непереносимой. Я, вообще, могу сейчас писать только о себе и только в связи с его смертью, даже не упоминая его. Эгоцентризм горя, видимо. Да, я очень мало «преуспела» в Москве. Ничего! Не в этом дело. Зато я не «затруднялась», как говорил Колька. Да. Нет смысла затрудняться,— и так паршиво жить, зачем создавать себе дополнительные тяготы в виде тщеславия и т. д.

3/IV-42

До удивления обкидало какой-то пакостью все лицо и даже грудь,— никогда ничего подобного не было. Наверное, перехватила витаминов — и вот, диатез... А впрочем,— неважно.

Получили письмо от отца, с какой-то станции Глазовой, от 28/III. Он пишет: «родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия и т. д.), но *освободите* меня отсюда». Он едет с 17/III, их кормят один раз в день, да и то не каждый день. В их вагоне уже 6 человек умерло в пути, и еще несколько на очереди. Отец пишет: «силы гаснут, страдаю животом...» Он заканчивает письмо — «простите меня за все худое...»

Боже мой! За что же мы бьемся, за что погиб Коля, за что я хожу с пылающей раной в сердце? За систему, при которой чудесного человека, отличного военного врача, настоящего русского патриота вот так ни за что оскорбили, скомкали, обрекли на гибель, и с этим ничего нельзя было поделать? А ведь «освободить» отца почти невозможно. Кто же будет заниматься спасением какого-то доктора? «Спасати народ»! К кому кинуться? Писать челобитные — я же знаю по опыту, что это просто волокита. Попробую поговорить завтра с Фадеевым, но разве этот вельможа сделает хоть что-либо реальное? Вот центр. клуб НКВД просит устроить им вечер и выступить у них. М. б., там удастся растрогать кого-нибудь из чинов и добиться до Берия или кого-нибудь в этом роде? Все это бесполезно, я знаю, но буду пробовать. Если отец выживет, он доберется до Красноярска, куда его направляют,— а м. б., он уже погиб? Где искать его? Кто этим сейчас будет заниматься? О, подлость, подлость.

Хотела писать для радио о Хамармере и стихи о себе для «Правды» — и после письма отца ничего не могу,— отрава заливает, со дна души поднялись все пузыри, все обиды. Черт знает что, преследуют и преследуют с самой юности — и меня, и друзей, и близких, да за что же, доколе же... Может быть, Коленька мой и впрямь счастливей меня?!

7/IV-42

В ночь на 4/IV на Ленинград было сброшено 200 бомб, гл. обр. на Васильевский остров, на корабли. На В. О. разрушено 40 домов. Юрка, Юрка! На город шло 130 самолетов, прорвалось 50, налет длился час. О, Юрка! Миновал ли его этот час смерти? Где он был в это время, в городе? О, неужели я и тут опоздала? Какие неласковые письма писала я ему отсюда,— я даже ни разу не написала «люблю»,— а он жаждет, чтобы я говорила ему это. Коля держал меня, я не могла написать этого, хотя писала ему, что он дорог мне, что я хочу быть с ним...

А город-то, бедный город, люди его: истерзанные голодом, обессилевшие — и еще это!

9/IV-42

Вчера получила письмо от Юрки от 3/IV, полное любви и преданности. 3/IV он был жив. Оказывается, я написала-таки в одном из писем — «люблю». Сама не помню, что писала. Ну, и хорошо, что написала,— он пишет, что счастлив, и, м. б., верно — счастлив. Почему же не обрадовать человека, если сам так несчастен. Я несчастлива в полном, абсолютном значении этого слова. Сегодня все время приступами — видение Коли во второе мое посещение госпиталя на Песочной: его опухшие руки в язвах и ранках, как он озабоченно подставлял их сестре, чтоб она перевязала их, и озабоченно бормотал, все время бормотал, мешая мне кормить его, расплескивая драгоценную пищу. И я пришла в отчаяние, в ярость и укусила его за больную, опухшую руку. О, сука, сука! Он был неузнаваемо страшен,— еще в первый день, в день безумия, он был красив, и тут — вдруг не он, хуже, чем во сне.

Мне нельзя жить. Это все равно не жизнь. Я оправдываю свое существование только тем, что слишком уж широк выбор гибели. Я, наверное, недолго просуществую,— все как-то, помимо меня, логически идет к этому, сокращается и сокращается жизнь, сжимается, как шагреневая кожа,— и вот человеку остается только одно — умереть; и если человек видит и знает, что она сокращается,— это ужас, этот человек несчастен.

В душе у меня сократилось очень и очень многое, она ссыхается. Я погружаюсь в себя, становлюсь равнодушной к людям или воспринимаю их только через себя — вот как сегодня такого же несчастного, как я, Юльку Эшмана [5]. Он потерял жену, отца,— теперь, видимо, мать и брата.

— Как ты живешь,— спросила я его.

— А я не живу,— ответил он.— Если живу, то только дочкой.

Мы сидели с ним в троллейбусе, плечом к плечу, и говорили — он о жене, я о Кольке. Оба чувствовали себя глубоко виноватыми перед ними, и я на мгновение ощутила всем существом, что у нас совершенно одно горе.

— Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны,— спросила я его.

— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь, приехав в Москву, вижу, что нет...

Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!) xxxxxxxxx * после телеграммы Жданова о запрещении делать индив. посылки в Ленинград, после разговора с Поликарповым — и т. д. и т. д. «ОНИ» делают с нами что хотят.

> Мы были слугами весел, но владыками морей...[6]

Мы, владыки морей,— слуги весел!

Была сегодня у секретаря парторганизации НКВД,— мордастый такой «деятель тыла». «Беседовали...» (не могу без судороги ненависти говорить о них!) Взял мое заявление, обещал сегодня ночью доложить наркому? Неужели что-нибудь сделают? Что-то плохо верится.

Ох, скорее бы в Ленинград, скорее бы!

Васька Ардаматский [7] говорил, будто Жильцов (пол. ПВО Л-да) говорил, что бомбы упали гл. обр. на Парголово и центр не пострадал,— значит, Юрка жив? Он все же хороший и его любовь греет меня.

11/IV-42

Самое скверное, что, может быть, не улечу в Ленинград еще очень долго,— это может быть и 10, и 15 дней.

Надо было, плюнув на все и на всех, рваться в Ленинград в самом начале апреля, вот тогда, когда отправляла груз.

Сейчас — говорят в Аэрофлоте — развезло аэродромы, и недели полторы может не быть самолетов.

А мне кажется, что это врут, что это просто сговорились люди, опекающие меня, от Муськи до самодура Ставского [8], которые считают, что я «делаю глупость», стремясь в Ленинград, считают себя вправе заботиться обо мне, навязывать мне свою опеку и тягостную заботу о моем здоровье.

О, как я одинока без Коли,— он один, при всей трепетной его любви и обмирании за меня, не давил на меня, не отягощал меня своею любовью и заботой.

Я очень, очень люблю Муську, и мне страшно оставлять ее, маленькую, одну, но у меня же есть — пусть ошметки какие-то СВОЕЙ жизни.

Я хочу в Ленинград, хочу приняться за какое-то дело, хочу к Юрке, ждущему и жаждущему меня.

Мне день ото дня невыносимей в Москве. Да и стыдно,— агитировать за ленинградский героизм в то время, когда там Юрка и Яшка работают по 18—20 часов в сутки, а я тут разоряюсь насчет Ленинграда, да мне еще все карнают и выхолащивают, как хотя бы очерк о Шостаковиче.

Была на заводе № 34, в трех цехах читала и говорила о Ленинграде,— рабочие очень хорошо слушали, этот день доставил какую-то хорошую отраду. Они написали письмо в Ленинград.

Сегодня был вечер в клубе НКВД. Чита-

* Густо зачеркнуто автором.

ла «Февральский дневник» — очень хлопали, так что пришлось еще прочитать «Письмо на Каму»,— тоже хорошо приняли. Что ж, среди них тоже, наверное, есть люди,— а в общем, какие они хамы, какими «хозяевами жизни» держатся,— просто противно. Но к этому надо относиться спокойнее. Секретарь парткома сказал на мой звонок об отце, что передал мои заявления секретарю наркома и что они «решили действовать через Кубаткина[9], т. е. через Ленинград». Ну, это для того, чтоб отделаться — и только. А от отца с 3/IV нет известий — жив ли? Просто не знаю, как доживу эти дни в Москве,— такое чувство, что просто никогда уже не увижу Л-да, Юрки,— что-нибудь опять стрясется. Скорее бы шло время.

Попробовать, что ли, писать свои стихи? Из стихов для Ц. О. о себе что-то ничего не выходит...

12/IV-42

Тоска. Машин на завтра на Ленинград — нет.

Делать мне уже абсолютно здесь нечего. День сегодня был необычайно длинен,— большею частью лежала на кровати, томилась жизнью.

Господи, о господи, будет ли мне выход? Я видела сегодня во сне смерть Ирки и Коли. Я думаю, что вот так хочу в Ленинград, а ведь там тоже нет Коли. Там пустая квартира на Троицкой,— некуда, некуда деться. Там Юрка,— но как же я лягу с ним на ту же постель, где 8 лет лежала с Колей, столько радостей и горя испытывая. Если б он еще был жив,— другое дело! А тут — еще раз похоронить его. И я знаю, что Юрка будет внутренне раздражать меня, никогда, никогда не станет он мне так близок, как Николай, хотя вчера я о нем грустила и думала с нежностью. И, может быть, еще буду жалеть о сегодняшнем своем бесцельном времяпровождении,— об этой теплой комнате, о совместных вечерах с Муськой, полных тоски и томления.

Нет, не найти мне места на земле! Но наиболее из этих мест утоляющее на сегодня — это все же Ленинград. И я хочу туда. И знаю — хотя бы первые дни с Юркой будут радостны. Тихонов тоже рвется в Ленинград. Я знаю, что влечет нас туда: там ежеминутно человек живет всей жизнью, там человеческие чувства достигают предельного напряжения, все обострено и обнажено и ясно, как может быть ясно перед лицом гибели.

Конечно, преждевременно одряхлевшая наша система в ее бюрократическом выражении дает себя знать и там,— чего стоят эти Шумиловы и Лесючевские[10], и все же это не то, что в Москве.

Вчера объявили сталинских лауреатов. Это мероприятие ничего общего не имеет с искусством. А сколько возле него возни, оскорбленных самолюбий, интриг. И за что награждают! Рядом с титанической Седьмой симфонией — раболепствующая посредственность и льстивая бездарность, и ее — больше всего. И за нее — возвеличивают, платят. Брр...

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу!

Только бы они догадались пожертвовать все свои деньги в фонд обороны. А то народ будет очень раздражен,— и не без справедливости. Нет, в таких условиях искусство будет только хиреть. Оно должно быть совершенно независимо. Этот «непросвещенный абсолютизм» задавит его окончательно. Эти премии — не стимул, а путь к гибели иск-ва.

Как хорошо, что я — не орденоносец, не лауреат, а сама по себе. Я имею возможность не лгать; или, вернее, лгать лишь в той мере, в какой мне навязывают это редактора и цензура, а я и на эту ложь, собственно говоря, не иду.

Лауреаты сегодня пируют, меня никто не позвал,— ну, и не надо. Зато рабочие завода № 34 принесли мне письмо для ленинградцев. Я на днях пойду в детдом, где собраны ребятки из быв. оккупированных районов. Почитаю им «Рассказ об одной звезде», поговорю. Не надо мне правительственного почета, хотя разумнее было бы напечататься в Ц. О.— так же отдать в Л. К. Еголину прочитать поэму. Это «возвысит» меня как-то перед г. г. Шумиловыми и, м. б., даст возможность говорить больше, чем до сих пор.

Пожалуй, это все же надо сделать. Хотя больше всего мне хотелось бы напечатать в «Правде» то, что было бы нужно людям...

Я думаю уже о том, что я буду писать в Л-де. Напишу им, как думают и говорят о л-цах «за кольцом»,— доваторцы, в госпитале, в цехах завода, м. б., в детдоме.

Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится. Это — как скпа в небе. Но я знаю, что нет другого пути, как идти вместе со страдающим, мужественным народом, хотя бы все это было — в конечном итоге — бесполезно.

Я выгляжу хорошо. Сошли все отеки с лица, почти нет морщин, кожа — немыслимо шелковая, как никогда; широкие, белые плечи, приятная, круглая и упругая грудь... Колюшка так и не дождался, чтоб я располнела,— дурачась, он говорил мне: «Берггольц, я хочу, чтоб у тебя были большие груди!» О, как он любил меня,— все мое тело, все мое женское естество,— он ведь всерьез считал меня «самой красивой женщиной в Ленинграде».

(По радио поют «И кто его знает»,— эту песню я слышала впервые в «слезе»[11], у Маргошки, когда был жив Коля... О, какими счастливыми мы были тогда! Нет, нет мне жизни!)

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
Меня на жизнь и счастие обрек.
Зачем, зачем?! Мне даже не баюкать,
Не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней — мука
И немота — понятнее всего.

И разве для меня победы будут?
В чем искупление тебе найду?
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — всегда и всюду
В твоем последнем, пасмурном бреду.

Ничьей любви, ничьих забот не надо.
Сейчас одно нужнее хлеба мне:
Над братскою могилой Ленинграда
Стоять, в безмолвии оцепенев.

Но ты хотел, чтоб я живых любила,
Сердилась, радовалась и жила
Всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила, дотла,
На песню. На пустяшные желанья.
На гнев. На страсть — пускай придет другой,—
На труд. На бесполезное страданье
С неласковою русскою землей...*

О, как я глубоко, глубоко жалею, что не была с ним в его последние минуты! Он наверняка пришел в себя (доктор сказал — «скончался тихо»), он ждал меня, и я проводила бы его с улыбкой, счастливым, успокоенным...

Так пусть же со мной будет все дурное, что может быть!

13/IV-42

Сегодня утром — телеграмма от Юрки, от 11/IV. Тот смертный час, что гремел над Ленинградом 4/IV, миновал его на этот раз. Слухи о 4 апреля все более страшные — говорят уже о 600 бомбах, о 4 разрушенных кварталах на Васильевском острове.

С отлетом все еще неопределенно, хотя Петрова сказала, что завтра, м. б., она что-либо определенное скажет. Звонила Тонька Гаранина, говорила что-то Муське, чтоб я «сейчас ни под каким видом не ездила в Л-д», вообще все смотрят на меня как на дуру или на героя — за возвращение в Л-д,— чудачье!

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

От отца с 3/IV нет вестей. Может быть, его уже нет в живых,— погиб в пути, как погибают тысячи ленинградцев? Ленинград настигает их за кольцом. У Алянского[12] в пути умерла жена, здесь — в Москве — сын. А почтенное НКВД «проверяет» мое заявление относительно папы. Еще бы! Ведь я могу налгать, я могу «не знать всего» о собственном отце,— они одни все знают и никому не верят из нас! О, мерзейшая сволочь! Ненавижу! Воюю за то, чтоб стереть с лица советской земли их мерзкий, антинародный переродившийся институт. Воюю за свободу русского слова,— во сколько раз больше и лучше наработали бы мы при полном доверии к нам! Воюю за народную советскую власть, за народоправие, а не за почтительное народодействие. Воюю за то, чтоб чистый советский человек жил спокойно, не боясь ссылки и тюрьмы. Воюю за свободное и независимое искусство.

Ну, а если всего этого не будет... посмотрим!

Юрочка пишет: «Писем нет, беспокоюсь, жду, целую, сообщи, когда прилетите». Скучает, наверное. Я отправила ему ласковую телеграмму, где написала «Юринька, родной» (самое желанное ему слово), написала, что тоскую, что скоро прилечу. Это, наверное, обрадует его. Боже мой, ничего нельзя жалеть для человека, ходящего под ежеминутной смертью.

Я не сберегла ни Колю, ни папу (надо, надо было идти к Кубаткину и орать!), пусть хоть ему достанутся остатки моего тепла, ему и маленькой моей Муське.

Как мне хочется беречь и лелеять ее, как бы это устроить. Но в Л-д пока боюсь ее брать, пока сама не погляжу, как там теперь. Я думаю, что если б было очень плохо, то Юрка не звал бы меня туда...

16/IV-42

Я все еще в Москве. Говорят, что раскисшие аэродромы могут продержаться в таком состоянии дней 10—12 еще! Неужели я не попаду в Ленинград?!

Вечер, или, вернее, ночь на 17/IV.

Коля все равно уже не прочтет этой тетради, как бы я ее ни прятала. Я могу положить ее на самое видное место, и он все равно не прочтет ее. Я могу писать что хочу. Я могу жить как хочу. Его нет.

Был днем некто Фефа. Он бывал на Троицкой, когда был жив Коля (О, что я говорю: «когда *был* ЖИВ Коля». Измена! Значит, я признаю его мертвым? Нет, милый псо, нет,— не бойся, не бойся, солнышко, я не признаю тебя мертвым,— я не дам тебе умереть.)

Я, видимо, пьяная, хотя вино после *голода* ни разу еще не приносило желанного самозабвения.

Коля! Коленька! Псоич, солнце. Сердце мое... Ты слышишь,— нет? Ты слышишь, я тебя окликаю. Сколько раз, когда я просыпалась около тебя, мне вдруг казалось,

* Здесь приводится еще не законченный текст стихотв. «29 января 1942 года», посвященного мужу.

что ты — мертвый, и я звала тебя: «псо!!» И ты открывал возлюбленные, милейшие, святые свои глаза и глядел на меня с неизменной любовью.

Песинька. Родненький. Милый мой. Это неправда, что тебя нет. Ты там. Ты на Троицкой. Если ты не постучишь, не ляжешь рядом со мной,— значит, меня нет.

Коля. Коленька. Мой милый Крест мой, мученье мое. Жизнь моя — веришь! * Ведь ты же любил меня. Как же ты не веришь **, что я так мучаюсь среди чужих людей. Ты ведь знал, что я останусь одна без тебя.

И главное — не рассказать. А я все думаю: увижу его, лягу рядом с ним, вадохну и скажу: «Ох, если б ты знал, до чего я МУЧАЛАСЬ по тебе!» И он обнимет меня и прошепчет: «псоич мой!..» То есть, как это? Так вот и не рассказать... Псоич мой. Нет. НЕТ.

26/IV-42. Ленинград.

За окном гудят патрульные самолеты. Иногда артстрельба. Начала эту страничку 26, а сегодня 28, но все то же. Видимо, через некоторое время начнется ВТ и бомбежка. Они бомбят наш флот и одновременно с бомбежкой ведут артобстрел, во время ВТ и так. Из окна нашей комнаты на 7 этаже видны крыши — они все в дырах от снарядов,— почти рядом с нашими окнами. Я до сих пор нервничаю, трушу, когда начинают бомбить и когда над самой крышей с плачем пролетает снаряд. Удивительное дело! А были дни в Москве, когда с полной искренностью писала — «в Л-д, ближе к гибели». Ленинград чист, он жив, он есть.

Я вернулась сюда к новому мужу, к новой любви и счастью — я вижу это теперь. (ВТ. Начнется сейчас бомбежка.) Я хочу жить. Я не боюсь смерти,— но мне не хочется расставаться с Юркой. (ВТ прошла и на этот раз мимо.)

Он любит меня страшно, не скрывая этого ни перед кем, сияя от счастья, как мальчик, получивший долгожданный подарок, он ходит почти бегом, он говорит громким, возбужденным голосом, он всем, ежечасно — хвастается мною, моими стихами, моими успехами. Даже постороннему человеку трудно не радоваться, глядя на него. Какие восторженные слова говорит он мне — обо мне же, о моих стихах. Не устает глядеть на меня, не устает целовать, трепещет и боится ежеминутно, что «уйду».

Когда я приехала, я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень теплую, даже с мягкой мебелишкой («на этом диване ты сидела в 50 хронике»), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он приготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жилье,— правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных [13].

3/V-42

Я почти ничего не пишу здесь — не хочу, чтоб Юрка заметил, что я веду дневник. Это только моя жизнь — нелепо и уродливо посвящать его в нее. Вчерашняя телеграмма от Маргариты Довлатовой [14] и так опечалила и встревожила его,— это был ее ответ на мое московское письмо о смерти Коли. Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда еще особая обида на него за Колю (как будто бы он в чем-то виноват!) держала меня и я скупилась на приветливость и заводила разговоры, чтоб сказать ему — «я все же любила Николая больше тебя»,— вдруг меня озарила мысль: «а может быть, мне еще придется видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов». Бог знает, сколько еще муки придется выдержать и ему и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки, и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае...

4/V-42

Вчера до 5 ч. утра — тягчайший разговор с Юрой о прошлом. Он старается уверить меня, будто бы с сентября я уже не любила Николая. Будто бы и сейчас не люблю его, а все выдумываю. Какая ерунда!

8/V-42—9/V-42

Все никак не остаться одной, чтобы писать здесь и работать для себя.

За время приезда в Ленинград была два раза на фронте. В 42-й армии — это за «Электросилой», около Дворца Советов, и в 55-й, в Рыбацком и Усть-Ижоре. Как странно, пронзительно-печально, удивительно идти по знакомейшим местам, где было детство, юность, а теперь — фронт. Ощущение единства жизни, горючего, бесплодного, содержательного, грустного не покидало меня, и очень отчетливо чувствовалась поступь жизни. Сколько я прожила, можно уж целую книгу писать... Уже прожита одна, целая человеческая жизнь; в городе нет отца, нет Коли. Нет его родных, умерли мои тетки, давно умерли мои дети. Этого ничего нет. Нет. И невозвратимы — юность, мужание — и все прошлое. Началась, независимо от моей воли, и идет уже совсем-совсем другая жизнь, и я сама — та — тоже как бы умерла.

Со стеклянным звуком ложатся где-то снаряды, вчера и сегодня летели через крышу, отвратительно стеная и воя. О, печаль, печаль!

Я в Ленинграде уже 20 дней. Почти не работала,— только написала одно стихотворение «Ленинградцы» — среднее, хотя есть хорошие строчки, и выступления — «ленинградцы за кольцом» — ничего, его бы прослушали с удовлетворением. «Проходит инстанции» — еще, м. б., и не дадут читать. Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, «руководство» тупо и бездарно.

Я живу, главным образом, «медовым месяцем» с Юркой. Три раза выступала с «Февральским дневником» — потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе — просто ликование. В 42 и у торпедников — бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор — у торпедников,— просто слава. Но мне уже как-то больше неудобно с ним выступать, пора писать что-нибудь новое. Успех — и в Л-де, и в Москве,— ошеломляющий успех «Февральского дневника» смущает меня потому, что теперь следующее надо написать еще лучше, а мне порой кажется, что это был мой потолок. А как я писала ее — в феврале,— тупая, вся опухшая, с неукротимым голодом,— я тогда только что начала есть, Юркино, с остановившимся, окаменевшим от недоумения и горя сердцем... Как долго не могла раскачаться, злилась — Юрка торопил, я чего-то строчила тупо, с неохотой, а потом вдруг, почти непонятно, начала с бедного, простейшего — и стало выходить... Но, конечно, не совсем вышло, я-то знаю, хоть и не говорю.

Надо написать — смутно вырисовывается нечто вроде поэмы — лирически-балладный цикл «Ленинградцы» — о той самой человеческой эстафете.

Много о чем надо написать и записывать. О Мэри Рид, сестре Джона Рида, умирающей от голода (кое-чем поддерживаем с Юркой, и он старается устроить ее в стационар). О 55-м — вручении гвардейского знамени — бедное торжество на фронте, находящемся в черте города (цикл или стихотворение — «Ленинград — фронт»). О ленинградских детях, романсы и песни. Да, да, надо работать, надо войти в быт города. Я на своей верхотуре, в комнате теплой и светлой и полной еды,— оторвалась от города, от людей, стала эгоистичной и самовлюбленной. Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас «личной жизнью», но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на «Февральский дневник»,— ко многому обязывает меня.

Блокаде конца не видно. Пока я тут — немцы дважды атаковали город, но безуспешно. Все уже как-то притерпелись к тому, что фронт начинается на улице Стачек, 100, а за больницей Фореля — немецкая зона! Умирает меньше народа — слишком уж много умерло. Да, умерла Маулишка и Лидия Николаевна [15]. Это очень ударило меня. Какая я скотина, что не позвонила ей в январе... Верно, я ничем не могла бы помочь тогда,— они умерли в те же дни, в те чудовищные январские дни, когда и Коля. О, как больно, как хочется исправить это — прийти на ту квартиру, сказать ей: «Маулишка, да что ты? Ну же, вставай, живи!» Я дружила с ней с 30 года, и она была верной моей подругой. Ах, боже мой.

Юрка спит и храпит ужасно. Вчера, до 8 ч. утра,— опять страшнейшее объяснение... «Ты пойми, что это вовсе не сцена ревности»,— говорил он мне, а это была классическая сцена ревности, и пошлейшая притом, но он так молод сердцем и так рационалистичен, что сам не понимает этого. Были у нас Фадеев, Тишка [16], Прокофьев,— пили, я совершенно невинно повертела хвостом перед Сашкой Прокофьевым — отнюдь не больше того, как обычно с ним — человеком, глубочайшим образом безразличным мне и знакомым свыше 10 лет. То есть более общего, что ли, кокетства, нельзя и придумать. Тем не менее Юра поднял это, плюс звонки одного торпедника — на небывало принципиальную высоту — «ты оскорбляла меня весь вечер, ты разогревала Прокофьева, ты зазывала торпедника, ты показала, что ничуть не дорожишь нашей любовью» — и т. д. Дурачок, дурачок! Он и не подозревает, какая огромная, изумляющая меня самое — его победа то, что я смеюсь с ним целыми днями, как ласкаю его с искреннейшей ненасытностью. Мучительная и любимейшая Колина тень останавливается. Я по-настоящему целыми днями счастлива бываю и обмираю от влюбленности в Юрку,— а он строит какие-то вавилонские башни на трепотне с Сашкой. Знал бы он, как это мне все равно, что это лишь — тоска... Но вчера мне было очень плохо. Сашка упился и стал безобразно грубить и лезть. Юрка наговорил мне несправедливо-обидных вещей — зря, зря. Я с отчаянием почувствовала себя абсолютно одинокой,— ничего подобного не допустил бы Коля, понимая, что все — ничто по сравнению с любовью к нему, что все не более, чем ничего не значащее кокетство.

Ну, при Юрке хвостом не повертишь! Крут, что и говорить. Он так натянет удила, что весь рот в крови будет. Хозяин, поглотитель, собственник. Отчасти (вот баба!) это мне нравится, что свидетельствует о том, что любит крепко, по-настоящему. Не м. б. это нравится, пока свежо? Ведь если такие беседы, с таким криком будут практиковаться, если он собирается так контролировать все мои (чисто внешние) знакомства,— то что же это будет? Как гово-

* Можно прочесть и — «вернись».

** Можно прочесть и — «терпишь».

рится — извиняюсь, я к курям не присужденная! Мне, действительно, никого, кроме него, сейчас не надо, и игра ничуть не есть для меня самоцель, но ведь от таких пустяков он может пойти и дальше, и дело дойдет просто до Домостроя, а это уже — тоска и одиночество.

Я, несомненно, люблю его. Да, как ни ужасно это, но новая жизнь — это факт. Она уже есть. Я уже живу ею — живу без Коли... Коли-то нигде нет. Все еще, ежечасно — невольно — думаю — «расскажу Коле». И нет его. Шли сегодня с Юркой от Тихонова,— все в его квартире связано с ТОЙ жизнью,— шли, и весенний город был пуст, гулок, здания почему-то казались огромными. Весна в Ленинграде — а Коли нет. Тучкова набережная, Тучков мост, где 8 июня 1930 года я сидела ранним утром у воды после первой ночи с Колей,— а Коли нет... Его нет в городе. Нигде нет в нашем Ленинграде!.. Пока Юрка рядом, в комнате,— я пою ему, целую его, счастлива и влюблена в него,— он ушел, я осталась одна — и мгновенно проваливаюсь в холодную, черную прорубь, с ужасом думая: «Да, все это так, это хорошо, но ведь Коли-то все-таки нет?!»

Эти провалы реже сейчас, но тоска — снедающая всю душу,— наверное, еще вернется. Я боюсь ее. Я бегу к Юрке, ныряя в его любовь, в цельное его, милое сердце,— зажмурясь, бегу от самой себя.

Так долго нельзя все же. Должна наступить ОДНА жизнь. Она придет наверное. Я уже не отказываюсь от нее. Но обе жизни еще борются во мне. Я еще думаю иногда — не лучше ли умереть. Но все чаще, как распахнется дверь в сердце — и ахнешь,— ведь может, может быть жизнь — свободная, мощная, одна — жизнь с ОДНИМ Юркой. Ничего, договоримся,— вчерашний скандал — т. с. для пускового периода: так, значит, идти на нее? Идти?

Завтра — во-1-х: отец. Звонок Кубаткину, звонок на ф-ку (деньги).

Мэри[17].
Работа.
Филармония?

11/V-42

Не то ВТ опять начинается, не то обстрел. Минуты тишины в городе теперь очень редки, и чувствуешь себя в это время как-то странно и даже беспокойнее, чем во время стрельбы,— как-то удивительно, что тихо, и такая недобрая эта тишина, подозрительная, томящая.

13/V-42

Сегодня я могла бы написать — «о вчерашнем моем выступлении говорит весь город»... Это, конечно, не так, но только в одном радиокомитете я выслушала сегодня столько признаний, благодарностей и трогательнейших слов — от знакомых и незнакомых людей. Какая-то страшная пожилая женщина говорила мне: «Знаете, когда заедает обывательщина, когда чувствуешь, что теряешь человеческое достоинство, на помощь приходят ваши стихи. Они были для меня как-то всегда вовремя. В декабре, когда у меня умирал муж, и, знаете, спичек, спичек не было, а коптилка все время гасла, и надо было подталкивать фитиль, а он падал в баночку и гас, и я кормила мужа, а ложку-то куда-то в нос ему сую — это ужас,— и вдруг мы слышим ваши стихи. И знаете — легче нам стало. Спокойней как-то. Величественнее... И вот вчера — я лежу, ослабшая, дряблая, кровать моя от артстрельбы трясется,— я лежу под тряпками, а снаряды где-то рядом, и кровать трясется, так ужасно, темно, и вдруг опять — слышу ваше выступление и стихи... И чувствую, что есть жизнь». И еще — такие же отзывы, письма. А это ведь и в самом деле грандиозно: ленинградцы, масса ленинградцев лежит в темных, промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые (господи, как я по себе знаю это, когда лежала без воли, без желания, в ПРОСТРАЦИИ), и единственная связь с миром — радио, и вот доходит в этот черный, отрезанный от мира угол — стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче — голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им — пусть мимолетной, пусть иллюзорной,— ведь это неважно,— значит, существование мое оправдано.

20/V-42

Вчера были у Матюшиной, тетки Тамары Франчески. Тамара — сестра Игоря Франчески и близкая подруга Леньки Анка[18],— двух людей из 6, которые оговорили меня в 38 году, и из-за них я попала в тюрьму. Они не виноваты, их очень пытали, но все же их показания чуть-чуть не погубили меня. Тамара довольно часто бывала у нас, рассказывала нам о тетке и жаловалась на нее, и мать Леньки говорила, что будто тетка испортила ей жизнь. В деревянном старом домике на Петроградской, на Песочной улице когда-то бывали молодой Маяковский, Хлебников, Елена Гуро. На Песочной улице, в конце ее — умерла моя Ирочка[19]. В другом конце Песочной, в военном госпитале — зимой необратимо захворал Коля. Сюда я несколько раз ходила 6 января, к нему. Пришла, а он лежал связанный, безумный, среди чужих людей, бредил гитлеровским пленом, и сразу узнал меня ⟨...⟩ О, нет! Если начать вспоминать это, то сплошная рана открывается внутри и ясно становится душе, что нельзя, нельзя жить после этого ⟨...⟩

Я не знаю все еще, как же жить. Не умом не знаю, а практически ⟨...⟩

Матюшина, как и многие другие, тоже говорила мне о моей передаче «Ленинградцы за кольцом» — восторженно и тоже благодарила. Надо написать еще лучше — «Ленинград — фронт», надо написать грустно и сурово, в чувстве ожидания новых испытаний для уставших ленинградцев. Говорят, что обстановка на лен. фронте складывается неблагоприятно для нас. Бог знает, что еще будет. Сегодня в городе непривычно тихо, слышно было даже, как в саду отдыха кричали птицы. Ну, а завтра? Немцы подтянули резервы к городу, разбомбили плотину на Ладожском, по Неве все же идет ладожский лед, и среди него — много мин. Говорят, что уже взята Керчь. Как это все щемит и болезненно душит — эти прошлогодние сводки — «наши войска отошли»... Выйдет ли что с Харьковом, и как все это — непонятно. В приказ — окончить войну с Германией в 42 году — что-то не верится. Демагогия. Конца блокады не видно. О, суровые, замкнутые в себе, черные и голубые лица ленинградских детей. Вчера увидала такую девочку в булочной, и опять пронзило — «Как можно жить, терпя этакое?» Хорошо, что Юра уложил Мэри Рид в больницу. Хорошо, что мы отдали свои пропуска в столовку Дома писателей — Мариным. Это их сильно поддерживает, они — старейшие друзья мои и Коли, Коля одобрил бы это.

Но ведь это — капли в океане. А люди голодают и голодают, и многие еще отчаяннее, чем в феврале. Маруся, Фриц, Мари, Мироновы[20] — прямо об этом и говорят. Уже последние запасы сил выходят. Прендель рассказывал недавно, что трупоедство растет — в мае в их больнице 15 случаев вместо 11 — в апреле. Ему же пришлось и все еще приходится держать экспертизу по определению вменяемости людоедов. Людоедство — факт, он рассказывал о двух людоедах, которые сначала съели трупик своего ребенка, а потом заманили троих — убили их и съели. Это было в апреле. Когда Прендель об этом говорил — мне почему-то было смешно, совершенно искренне смешно, тем более, что он еще пытался как-то оправдывать их. Я сказала: «Но ведь ты же не скушал свою бабушку»,— после этого уже не могла всерьез относиться к его рассказу о людоедах. А как все это опротивело — людоеды, продырявленные крыши, выбитые стекла, идиотическое разрушение города — тоже, героика, романтика войны! Вонючее занятие, подлое и пакостное. Все героическое живет лишь в том, что идет вопреки войне и не естественно ей. И до скрежета зубовного, до потери дыхания от ненависти — жаль людей, и противно, противно, душно во всем этом... Неужели, действительно, этому смраду будет конец?

Иногда кажется — так это и будет тянуться без конца и края.

Сегодня кончила обозрение — ничего, кажется, если хорошо поставят, это способно будет вызвать улыбку. Жалко все это, конечно. Надо писать настоящие вещи, надо писать «Ленинградцев». Надо упорядочить быт — я мало, вернее, «беспорядочно» сплю, уже осунулась и похудела ⟨...⟩

Нет, не надо темнить любовь тоской моей, всей этой существующей (пока? навсегда?) жизнью, мучающей его. Буду справляться с нею одна. Буду жить в ней одна. Не буду искусственно ни отгонять, ни питать ее.

...Для всех живых — твоя жена,
А для себя — вдова.

Я сказала Юре: «Я хочу, чтоб была одна жизнь». Да, хочу. Наверное, так и будет. М. б. эта одна жизнь начнется с ребенка. Я ничего не делала, чтоб его не было, хотя понимаю все безумие этой затеи сейчас, пока еще приказ тов. Сталина о закрытии Германии — не выполнен. Но я хочу жить всей жизнью, уместить в этот отрезок все — и для него, и для себя. Пусть будет ребенок. Господи! Я так очерствела, что мне трудно представить — неужели это я буду кормить и пеленать ребенка и буду любить его? Разве я способна еще на это? Иногда какой-то сторонний интерес испытываю я к себе — «А ну-ка, как выйдет это? А что? Что? Можешь? Интересно!» Нет, я не выдумываю все это. Юра мой и не знает, какого окоченевшего человека принял он себе в сердце! Я коченею давно. Колина смерть — последняя точка, последняя утрата в цепи страшных утрат — и личных, и общественных, которые начались еще в 33 году. Шагреневая кожа почти на исходе. Юра — мое последнее желанье — на исходе ее.

Или я преувеличиваю свою омертвелость?

К черту! Надо работать, надо больше общаться с простыми и живыми людьми,— нет, силы еще есть, и надо отдать их на конкретное дело — помочь карабкаться людям, которые хотят жить... И не думать пока о том, что ждет душу после выполнения приказа т. Ст... Большая жизнь или микро-жизни? Цепь микро-жизней...

Писала весь вечер, а Юрка спал. Сейчас разбужу его, сооружу что-нибудь на ужин, м. б., ночью буду с ним,— нет, нет, я еще не утолена им — нисколько, мне надо и надо его... Это большая жизнь?

ДА. Да, да!..

26/V-42

Дни идут быстро и бесплодно, хотя позавчера, наконец, передавали мое сатирическое обозрение — получилось действительно смешно. Если в Ленинграде, слушая его, улыбнулось несколько человек — значит, мой труд не прошел даром.

Обязательно сегодня ночью закончу «Ле-

нинград — фронт», кажется, уже есть то внутреннее состояние горького настоя и одиночества, и строгости, и отхода от личного, при котором можно написать это.

Нас не ориентируют, как обычно,— попробую написать с точки зрения самоориентирующегося человека, с точки зрения человека, лишенного ориентации и смутно предчувствующего повороты жизни.

Несмотря на ежедневные обстрелы, в Ленинграде все же какое-то затишье. Бомбежек нет и последнее время нет даже тревог. Видимо, он бросил все на юг. Он взял у нас Керченский полуостров. Тяжелое чувство прошлогодних бегств и позора возникает вновь. Господи, что-то будет, что-то будет еще. Впрочем, понятно, что: миллионы новых смертей, новых вдов и сирот. Я знаю теперь, что это такое. И несмотря на то, что, когда особенно начинает крушить тревога, я думаю: «А мне-то что? Все мои горести, весь страх позади — я уже потеряла все, и мне нечего больше терять. Жизнь — это уже не утрата». И все же, несмотря на это, сердце сжимается от жалости и боли к СЕСТРАМ, к женщинам, таким же, как я. Уж пусть лучше я одна! Уж пусть лучше только мне досталось бы это свирепое зияние внутри, но не другим. О, если б можно было ценой своего горя купить покой и отраду другим. Так ведь и этого нет. Бесплодно и бессмысленно.

У меня странно как-то: масса планов и проектов, и жажда — работать, а работаю — ужасно мало, неинтенсивно, и как подходит время — реализовать свои же планы,— так и охоты нет, никак не собраться, не «размозолиться».

Мне нужно гораздо больше одиночества — Юрка почти все время рядом, и я отвлекаюсь на него, разбивается собранность, чувствую себя все время под наблюдением, озабочена из-за этого внешностью, т. к. хочу нравиться ему, и из-за этого работаю медленно. Сегодня он очень занят,— я одна в нашем блиндаже, и можно было бы наработаться всласть, используя это щемящее чувство отрешенности от личного, одиночества и ощущения движения жизни. А я долго маникюрила ногти, мыла голову, потом опять вынула из шкатулки письма Ирины [21] к Юрке, внимательно перечитывала их, неприязненно отчуждаясь от него, потом слазила к нему в карман пальто и обнаружила ответ Ирины на его апрельскую телеграмму. Он писал ей в апреле: «Обеспокоен удивлен четырехмесячным молчанием, сообщи, означает ли молчание прошлогоднюю историю». (В прошлом году она ему изменила.) Он писал ей это в то время, когда я была в Москве, и он писал мне такие нежные, влюбленные письма, полные несомненной искренности. Он тревожился за любовь с нею!..

По приезде я обнаружила черновик телеграммы и, так сказать, потребовала объяснений. Он уверял меня, что не послал этой телеграммы. Оказывается (как я и думала), не только послал, но и получил ответ: «Упреки несвоевременны, обидны, послала массу писем на Пушкарскую». Ответ пришел уже тогда, когда я была здесь. Он мне солгал самым трусливым образом...

Это как будто мелочь, но ничего подобного за все 11—12 лет не было у Николая. Если б случилось так с ним — это было бы для меня почти катастрофой. Я молилась на его любовь. Но сейчас этот эпизодишко только способствует состоянию внутреннего одиночества — и причиняет боль тупую, почти внешнюю. Я ничего, разумеется, не скажу ему. Постараюсь не сказать. Надо обязательно постараться не сказать — это унизит его, ему станет стыдно, тревожно и пусто. И я теперь так много понимаю! Так много допускаю! В людях, по крайней мере. Я допускаю, что могла быть эта тревога у него, могла быть в порядке простого интереса, могла быть и глубже. Я знаю, как властна может быть инерция отношений. Я знаю, что сплошь и рядом эту инерцию люди принимают за самое любовь, за жизнь. А многие держатся за нее больше, чем за жизнь. Он не был еще уверен во мне, а там — все как будто проверено, там была целая жизнь, одному остаться — страшно, приятно, чтобы тебя любили,— о, сознание защищенного тыла — «хоть кто-нибудь любит»,— это серьезная вещь.

Когда я приехала и стала жить с ним, и позволила сказать людям, что я — его жена, возможно, что ему самому посылка этой телеграммы показалась ненужной. «Все уладилось». Я рядом. Возможно, что он заново, м. б., даже всерьез, всей душой полюбил меня с 20/IV. Ему хотелось, м. б., считать эту телеграмму небывшей, не касающейся до меня и нашей новой жизни. И он сказал, будто не послал ее,— соврал. Он не предполагал же, что я буду проверять это. Он не знает, как необходимо мне, чтоб он был действительно только моим, безраздельно, всем сердцем, всеми помыслами. Его прошлая жизнь мучит меня темной, неприязненной ревностью. Я хотела бы вытравить из памяти его все, что было до меня, хоть и знаю, что это невозможно. И я тайно от него проверяю, выслеживаю — что осталось в нем от нее? И вот обнаружила — что осталось, что живо! Нет! Как бы ни понимала и ни допускала я всего, а нехорошо это — слать ревнивые телеграммы, свидетельства любви — другой, когда я люблю его, и когда он знает это.

Он может возразить: «А ты? А осень? А теперешняя тоска?» Мне нечего ответить. Я понимаю. Но НЕ ПРИНИМАЮ этого. Дело не в том, что он любил меня, как Николай,— так никто никогда не сумеет. Но хотя бы в том же ключе...

А, зря все это. Можно ли жить с людьми по нормам Кольки? Он несколько раз был в комнате, он чувствует, что я ушла в раковину, а мне невозможно сделать нейтральный и ласковый вид...

Ну, ничего. Вздремну сейчас, м. б., разойдусь. Но — молчать, молчать, боже упаси причинить ему стыд и боль... М. б.,— обойдется. М. б. забудет ее.

27/V-42

Ну, что ж,— разошлось... Сегодня уже только саднит, но не больше.

(Стрельба. Кажется, работают наши береговые, а м. б. немец кладет снаряды не по нашему району. Если береговые, вернее, корабли, то сейчас он станет отвечать. О, морока проклятая!)

Я ничего не сказала Юрке, хотя не удержалась от намека. Нет, он, конечно, любит меня. Надо было видеть вчера и сегодня утром потухшие его, печальные глаза. У меня сердце поворачивалось, но злость была сильнее, не могла себя одолеть и приласкать его. А сегодня с половины дня как-то само отошло.

Была в Московском районе сегодня. Очень польстило, что они не сняли меня с учета, хотят, чтоб я осталась там, в районе, работала над историей района за год войны, на «Электросиле» и т. д. Завод перебрался обратно, восстанавливают цеха, кое-какие цеха начинают работать. Забавно, что еще до «Эл-силы», от ветки — начинается фронт, стоит первая застава. Что ж, я очень рада.

Ездить туда, конечно, мало приятного — каждодневный обстрел (вот и сегодня тоже, пока была в райкоме), часто шрапнельный, но я теперь почти не испытываю этого омерзительного, не зависящего от ума, животного страха, какой иногда нападал раньше. И это во сто раз лучше, чем в Союзе,— это ж курам на смех, тамошняя партийная организация из трех человек! А здесь я смогу принести реальную пользу людям — меня там знают и уважают.

Господи, да ведь я, кажется, в самом деле стала популярным человеком — персонально приглашают на выступления, вот завтра — сразу два, потом 1 числа на антифашистский женский митинг в Куйбышевском райкоме.

Но пора и честь знать. Сейчас в Ленинграде неудобно выступать даже с «Февральским дневником» — уже не та обстановка. Еще умирают в домах, где с зимы держится холод и тьма (окна-то забиты), но общий тонус выше, и жажда жизни говорит все громче, нет того чувства всеобщей обреченности, как в феврале.

Писать, писать.

29/V-42

О, какая весна.

Теплый, теплый, благодатный день и воздух, где-то играет радио (рояль), пахнет листьями, нежная зелень одевает деревья, из окна моего среди розовых, продырявленных крыш видны зеленые клубы деревьев,— а Коли нет.

Не слышно ни стрельбы, ни зениток. Мгновение мира.

А Коли нет.

Я умру в первый день окончания войны, в первый день мира, потому что его не будет и в этот день, и это будет означать, что он уже никогда не придет.

Мне страшно думать об этом дне.

Мне кажется, что я умру, хотя я знаю, что не покончу с собой,— снова, как сразу после Колиной смерти, не хватит сил.

Что мне делать? Коля всюду, каждую минуту, неотступно со мною. Даже в сладчайшие и страшные минуты с Юрой я каждый раз непроизвольно едва-едва не восклицаю — «Коля, Коля», потому что и само наслаждение связано с ним.

Я не хочу забвения. Но так долго не проживешь. Что-то лопнет внутри, как чрезмерно натянутая струна.

Тем более, что я действительно люблю Юру. Я люблю его все больше, все серьезней. Сейчас мне было бы очень трудно без его любви. Она — настоящая, радостная, трепетная. Меня иногда дрожь охватывает — господи, кому он ее доверяет, полупаралитику, человеку, не сумевшему сберечь самое драгоценное, что у него было.

Я, я отпустила Колю!

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
Как я ненавижу плакучие древние срубы! [22]

О, как болит сердце, пронзительно, нестерпимо.

Весна, и смертная тоска о Коле, и трепетная любовь к Юрке, и сознание вины перед ними обоими — и одиночество, одиночество...

Попробую писать стихи.

Сегодня обязательно надо написать «Ленинград — фронт». Это как раз то, что сейчас людям нужно, тем более, что говорят — немцы готовятся к новому натиску на город.

31/V-42

Вчера было совещание писателей армии, города и флота.

Объективно — грандиозно. В блокированном городе художники собираются, как бойцы, обсудить свой опыт, наметить дальнейшие пути борьбы славнейшим людским оружием — словом.

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города [23].

А субъективно — плохо прошло. Неделовито, неподъемно. Эти тупые «руководите-

ли» — Маханов, Фомиченко[24],— чем они могут зажечь? Да и личный писательский состав — в основном — сер и лениво-мыслящ.

Я тоже выступала плохо, почти без подъема, потому что в середине совещания совершенно очевидна сделалась его никчемность. Я вообще не люблю этого организованного лицемерия, хотя из этот раз его было значительно меньше, чем в ⟨*неразб.*⟩ время.

Меня много хвалили — хвалил Тихонов в докладе, дважды Фадеев в своем выступлении, Вера Кетлинская в докладе, Юрка, выступая.

Мне же неудобно до крайности: сколько время вожусь с «Ленинград — фронт» — и одна трепотня, а работа ни с места, а другое, насущнейшее — ждет. Трепло я, и все. И стихи пишу какие-то «вумные», холодные, взяла тон непомерно высокий,— проще, проще, проще надо, ближе к сердцу каждого.

Нет, сегодня хоть спать не буду, а выступление закончу, а то и так уже перестает. Сейчас поем — и за дело.

Слишком много сил уходит на личную жизнь. Появились систематические головные боли — это от непрерывного недосыпания,— грызем с Юркой друг друга ежедневно.

Он любит меня — это факт. Я уже вхожу в его любовь, как в свою комнату.

И все же я сказала ему все с телеграммой. Он долго рассказывал мне обо всей истории с Ириной,— как это все дико,— и его «разочарование» в женщинах, и его, как он говорит, «суки-сынский» период в обращении с ними. Видимо, он в значительной мере все это только облекает в такие теоретические декорации. Чем-то от всего этого веет чрезмерно извечным, очень далекая проблематика, типа начала века. Гм... оказывается, и в наше время это имеет место.

Сегодня облачное небо, видимо, будет ВТ. Целый день отдаленная воркотня орудий, около 4-х — очередной обстрел, били по нашему району.

Третьего дня в час ночи была дикая зенитная пальба, налет, на Выборгской бомбы,— оказывается, со стороны Карельского было наступление.

Упорно говорят, что немцы готовятся к страшнейшему натиску на город.

3/VI-42

Третьего дня у меня была Галка[25]. Милый мой, верный, прекрасный друг. Как я рада ей была, говорили до 10 часов утра, поплакали, пели. Рассказывала ей о Колиной смерти, почти спокойно, т. к. когда говорю об этом — все кажется, что что-то выдумываю, что это — неправда, недоразумение.

А Юра прочел мой дневник, говорит, что будто бы только от 1/VI, и было объяснение. А-ах, господи, как это все мучительно. Я понимаю, что ему тяжело оттого, что я тоскую о Коле, я бы, наверное, просто не смогла жить с ним, если б у него было так, как у меня, но что же я могу поделать?!

Его борьба с Колиной памятью томит и мучит меня еще потому, что книгу стихов, самую лучшую, самую мою, которая должна быть,— я обязательно хочу посвятить Колиной памяти. Я буду еще писать о нем, если б удалось мне выразить это в слове — какой он был добрый, прекрасный НАШ человек... Что ж, Юрка будет страдать из-за этого,— ведь не хочу я причинять ему боли и не могу не помнить Колю всем сердцем.

Но вчера был удивительный вечер: Юрка купил по дороге большой пучок березовых веток. Мы принесли их, поставили в комнате, а окно было открыто настежь, видно было тихое, могучее небо, прохладный ветер веял в окно, в городе было очень тихо — и так пахло березой, так пахло, что вся жизнь, самые счастливые дни ее ожили во мне и — в чувстве — шли через душу счастливо, страстно, ликующе. Вечера, сырые и пахучие, в Глушино[26], в детстве; наш самый первый вечер с Колей на Островах, где он первый раз поцеловал меня — молодой, красивый,— а я была в вышитой русской рубашке,— там тоже пахло березой, так же, как вчера. И я жила той неясной, томительной отроческой тоской глушинских вечеров, и ясной, слепящей радостью вечера на Островах, и теперешним вечером — этой минутой тишины и радости, когда около лежал красивый, любящий мой теперешний муж, и я ощущала всем существом, что это счастье — что он лежит сейчас около меня и любит меня, и я люблю его, и тихо, и пахнет, пахнет, пахнет свежей березой. Все это сливалось в одно, без боли, вернее, со счастливой болью — все это было счастье, то есть жизнь, все это было неистребимо, прекрасно и едино. Если б мне удалось выразить это, наверное, я написала бы гениальное произведение. Но это невыразимо, это, наверное, тайна, которую нельзя выразить. Так ясно было душе, что нет времени, нет горя, что жизнь — и есть счастье, что высший мой день — сегодняшний, вообще — каждый день жизни — и есть высший ее день; но все же, может быть, высший день именно был вчерашний вечер, высшая жизнь — теперь, потому что у меня уже так много накопилось счастья — опыта жизни, потому что у меня уже ЕСТЬ ЧЕМ ЖИТЬ — и детством, и сияющей любовью с Колей, и сегодняшней любовью, и предчувствием, основанным на опыте,— что счастье будет. И это ощущение слиянности, единства, независимости от времени, это ощущение счастливого напоминания — это есть зрелость, лучшая пора человеческой жизни.

Юра пошел дежурить на ночь в 6 этаж,— сегодня я, пожалуй, напишу «Ленинград — фронт», напишу его именно на этом ощущении зрелости, зенита жизни: «Вот для чего я жила, и что бы ни было сейчас со мною и с миром, я в этом живу, живу всем сердцем, потому что это мой зенит, потому что я жила для этого давно».

И — страшно писать — глядя на Юрку вчера, вдыхая глушинский, кировско-островской запах березы, запах детства и юности, запах как бы прошлого счастья, я думала: «Да, все складывалось так, чтоб я дошла до него, и все как бы для этого и было, для этого вечера с ним,— *и это* моя судьба, *и это*, как война, как Ленинград — моя зрелость, мой зенит. Принимаю? Да, принимаю!»

8/VI-42

Аще забуду тебе, Иерусалиме...[27]

Сегодня — 12 лет нашей жизни, нашей любви,— нашего брака с Колей.

Я помню все так, что ничего не надо ни вспоминать, ни записывать. Наверное, скоро кончится моя жизнь. Наверное, скоро кончится. Где-нибудь за углом уже подстерегает меня конец. Потому что невозможно человеку долго жить на такой острой высоте, ходить по таким остриям, как я сейчас живу и хожу. Последние дни меня ранит и терзает какое-то дикое, безумное счастье, ощущение счастья, жизни предельное. И я чувствую — это уже все. Это уже предел, дальше которого ничего нет, ничего не может быть. Или смерть, или с ума сойду. Потому что (кощунство, может быть) — память о Коле вдруг стала сияюще-счастливой. Как будто бы не видела его с ввалившимися вороночкой щеками, в моче, со сведенными руками ⟨*неразб.*⟩ этот образ без боли и исчезнет,— да нет, не было, не было такого! А был и есть тот — золотоглазый университетский Коля Молчанов. И он со мной. Я радуюсь ему, и знаю, что он рад, что я счастлива с Юрой, что я люблю Юру. «Хорошо?» — спрашиваю я Николая и вижу, как, смеясь, уже почти не грустя, он говорит мне: «Хорошо, псо, хорошо». О, душа моя, совесть моя, верный мой и преданный друг! Как я чувствую тебя, светлого и прекрасного, в себе, как счастливо мне знать, что ты любишь меня, раз благословляешь на жизнь и счастье.

Все хорошо. Все почему-то эти дни легко. Все жизнь.

Сегодня получила письмо от Сережи[28]. Удивило оно меня, обрадовало и озарило — и настоящей человеческой радостью и помельче — женской, тщеславной.

Мальчик явно вырос и возмужал духовно — безмерно. Это видно хотя бы по стихам. По самому письму — суровому, сдержанному его тону. Он не забыл меня! Он удивительные слова пишет обо мне вначале, он вдруг заканчивает письмо — «Я люблю тебя, Оля. Люблю». Он женился, у него родилась дочь, он назвал ее Ольгой — моим именем. Я искренне говорила Юрке, который прочел письмо и немножко побушевал, что расцениваю это «люблю» как чисто человеческое, но Юрка уверяет, что — нет, мол, вовсе не человеческое, а специфическое. Гм... странно! Он никогда не писал мне этого в письмах и даже не говорил этого с такой прямотой и силой, как в этом письме. Неужели и впрямь вспоминал, понял и полюбил? И хотя мне это не нужно — это веселит и лукаво радует меня. Любви с ним не может быть. Я слишком зрелее его сердцем.

— Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви,—

так говорили мы с Колей, чувствуя, какое зрелое, несравнимое ни с чем, двойное, обоюдное чувство у нас с ним, любовь, включающая в себе всю жизнь... И вот, опять-таки, кощунственно, быть может, но я чувствую, что такой же, подобной же зрелости и глубины наступает любовь с Юрой, любовь, обнимающая жизнь. И в этом нет оскорбления Коле.

А я люблю Юру уже жизнью своей, все свободнее, все преданней. Я принадлежу ему с восторгом, и даже сегодня, в наш с Колей день, ласкала его и говорила ему о любви из сердца, и это сливалось со светлым ощущением Колиной жизни.

17/VI-42

За 14/VI в «Кр. Звезде» — прекраснейший фельетон Эренбурга о Париже. Дело не в том, что этот фельетон стоит всего его романа о Париже. Здесь ни при чем литературные оценки — это выше их. О, дикое, страшное, позорное и прекрасное наше время! Неужели ты не принесешь людям хотя бы долгого отдохновения, если не прозрения? И как я рада, что дни июня 1940 года, когда немецкие танки на нашем бензине шли на Париж,— я всей душой протестовала против этого, ощущая гибель Парижа как гибель какой-то большой части своей души, как наш позор — нашу моральную гибель. Я тогда писала —

— Я знаю, как ты погибал, Париж,
По бессилию своему...
...Я зову, как ты восстанешь, Париж,
По ненависти моей!..

Сюда надо было бы вписать многое: о детском доме и о детях, где я была. О вчерашнем разговоре с Юркой, опять до утра — родной мой Юрка, как он меня мучит, он сам не знает того!.. Но я буду писать стихи, хорошо бы выступить с ними 20/VI. Немцы стягивают силы и готовят наступление на город с трех концов. Быть может, скоро тут начнется сущий ад. Быть может,

мне и Юрке жить осталось недолго. Так жить же и жить и успеть что-то сказать людям...

24/VI-42

Опять постылый свист снарядов,
И город, падающий ниц.
Не надо, Господи, не надо,—
Мне все страшнее эти дни...

На харьковском наши отступили, Севастополь, видимо, на днях падет. Недавно безумно обстреляли наш район, снаряды врезались в пельменную, где мы с Колей всегда брали пельмени, в набережную перед самым райкомом,— я пришла туда через час после обстрела — аж ноги отнялись: если б там, в этих комнатах, сидели люди — их разорвало бы стеклом! И вот сейчас опять грохот — это по городу, не очень далеко от нас,— и с каждым этим ударом — убивают Колю. ЕГО УБИВАЮТ И УБИВАЮТ — каждого убитого я воспринимаю сейчас как его, каждую смерть — как его смерть. Мне трудно объяснить это. 〈...〉

2/VII-42

«Тихо падают осколки...» Весь день сегодня то и дело зенитная пальба — по разведчикам, и время от времени слышен гул немца. Неужели они возьмут Севастополь? Подумать об этом больно,— пожалуй, верно сказал Яшка [29], что людям, защищавшим его, останется только одно — умереть. Немцы продвигаются на Харьковском, видимо, и на Курском направлении, когда же, когда же их погонят?! И все падают, и все умирают люди. На улицах наших нет, конечно, такого средневекового падежа, как зимой, но почти каждый день видишь все же лежащего где-нибудь у стеночки обессилевшего или умирающего человека. Вот как вчера на Невском, на ступеньках у Госбанка лежала в луже собственной мочи женщина, а потом ее волочили под руки двое милиционеров, а ноги ее, согнутые в коленях, мокрые и вонючие, тащились за ней по асфальту.

А дети — дети в булочных... О, эта пара — мать и девочка лет 3-х, с коричневым, неподвижным личиком обезьянки, с огромными, прозрачными голубыми глазами, застывшими, без всякого движения, с осуждением, со старческим презрением глядящие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, грязная, коричневая лапка застыла в просительном жесте — пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вытянута так перед неподвижно страдальческим личиком... Это, видимо, мать придала ей такую позу, и девочка сидела так — часами... Это такое осуждение людям, их культуре, их жизни, такой приговор всем нам — безжалостнее которого не может быть.

Все — ложь,— есть только эта девочка с застывшей в условной позе мольбы истощенной лапкой перед неподвижным своим, окаменевшим от всего людского страдания лицом и глазами.

Все — ложь,— есть только эта девочка, есть Коля со сведенными руками и померкшим Разумом — его светозарным разумом,— все остальное ложь или обман, и в лучшем случае — самообман.

Вспоминая эту девочку и Колю непрестанно, я чувствую всю ложность своего «успеха». Я почему-то не могу радоваться ему,— вернее, радуюсь, и вдруг обожжет стыдом, тайным, бездонным, холодным. И я сбиваюсь, мне отвратительно становится все, что я пишу, и вновь, вновь и вновь осознаю — холодно и отчаянно, что жить нельзя.

Сложное какое-то внутреннее существование: то вот это, о чем написала только что, то сознание, что — нет, все-таки говорю что-то нужное человеческим сердцам.

Меня слушают — это факт,— меня слушают в эти безумные, лживые, смрадные дни, в городе-страдальце. Нет смысла перечислять здесь всех фактов взволнованного и благодарного резонанса на «Февральский дневник» — отзыв Коткиной, электросиловцев, еще каких-то незнакомых людей, группы студентов ин-та Покровского, от которых приходил делегат за рукописью «Дневника»,— и т. д. и т. д.,— многое я уже просто забыла.

В ответ на это хочется дать им что-то совсем из сердца, кусок его, и вдруг страх — не дать!

Очень трудно, рассудочно идет «Эстафета», видимо, потому, что слишком ясна идея, и одолевает трясучка...

Но завтра с самого утра сяду за нее... На той неделе — поэма, «Дети Ленинграда».

Но это как-то не особенно актуально. Актуально — это об ожесточенных боях, о том, что — е. т. м.— они все же двигаются!

«Ты проиграл войну, палач,— едва вступил на нашу землю!»

Об этом сейчас надо!

В Ц. О. от 30/VI — напечатали «Ленинграду». Правда, сняли одну ценную строфу,— но в целом — это акт, достойный удивления: пропущено и «наше сумрачное братство», и «наш путь угрюм и ноша нелегка». Это — первое мое выступление в Ц. О., и оно не стыдное — честное, и стихи неплохие, хотя и не отличные. В них есть, по крайней мере, боль и чувство. Юраш очень доволен этим, больше, чем я. Записали также на пленку — для Москвы, хорошо было бы, если б оттуда дали на эфир — это сокращенно «Ленинград — фронт», и это будет интересно людям. В «Смене» — без ред. извращений напечатали «Дорогу на фронт», и это тоже приятно и удивительно,— стихи суровые, прямые.

Ах, скорее надо закончить «Эстафету». М. б., ее сделать с вступлением — проза или стихи — об июле-августе прошлого года — ведь скоро год — господи, год, как мы в блокаде!

Видимо, скоро немцы кинутся на нас вновь...

Не охота записывать о том, что Юрка несколько пыжится на меня. 〈...〉

3/VII-42

Вчера немецкое радио сообщало, что 1/VII в 12 ч. дня немецкие войска взяли Севастополь. По нашим сводкам — «рукопашные бои на окраинах города» — ну, наверное, взят. Нет слов, чтоб выразить мучительную печаль о Севастополе и людях его.

Очень угнетенное состояние, прорезаемое бешеным, холодным ожесточением.

Почему, черт возьми, он все еще сильнее нас?!

Значит, из таких городов остались одни мы, один Ленинград. Оборона Киева, Одессы, Севастополя кончилась трагически. А м. б. немцы все-таки врут насчет него? М. б. совершится чудо — и город отстоят? Неужели — так-таки нечем и не с чем?! Ясно, что теперь немцы кинутся на Ленинград. О, какой ад они тут устроят! Навряд ли мы выживем. Только я не хочу теперь переживать еще и Юрку — нет, нет,— если суждено, то пусть сперва меня, не надо мне еще и такой смерти, что это за судьба: все время быть свидетелем гибели самых дорогих людей — и все же жить.

Гнет на душе, томительное ожидание гибельной беды.

Хорошо, если б это настроение сменилось вызывающей дерзостью, как было днями в прошлом году. Но навряд ли... И вот забавно — уже три дня задержки,— неужели беременна? Но пока не убежусь окончательно — ничего не скажу Юре, не хочу его зря волновать надеждой. Это хорошо было бы, пусть хоть и под гибель,— все-таки все бы в жизни было исполнено.

Надо написать письма родным — м. б. скоро будет уже не до писем, м. б. это будут мои последние письма. Надо бы хоть коротку записочку все же послать Сереже.

6/VII-42

Три дня назад, позавчера,— мы сообщили об оставлении Севастополя...

Мне хочется сказать им, севастопольцам, простейшие и торжественнейшие слова, но таких нет.

Вечная память павшим,
Вечная слава — живым.

В городе по этому поводу некое смятение умов, количество желающих уехать резко подскочило: «очередь за нами»...

Да! Что-то будет? Ну, что бы ни было — все равно уж.

9/VII-42

Третьего дня мы с Юркой переехали с нашего 7 этажа, из «блиндажа» с небом — в пятый этаж, в отдельную квартиренку из 2-х комнат. Это, как и сотня квартир в Л-де,— вымершая квартира. Ее хозяин, какой-то киноактер, убит на фронте, брат его умер зимой. В моей комнате,— она же наша спальня,— рояль, книжный шкаф с книгами, которые человек подбирал, видимо, специально, в этом же шкафу ящики с фото — в изобилии снимки какой-то славной, мирно улыбающейся, спокойно глядящей женщины, и шкаф, который был набит разным домашним барахлом: старые шляпы, наполненные медицинскими банками, лоскуточки, посуда (масса блюдечек и две подходящие к ним чашки, ситечко неизвестного назначения, ржавая мясорубка и т. д.).

Я разбирала и осваивала все это, расставляла мебелишку, раскладывала наше белье со смутным, многослойным чувством недоумения, иронии и печали. Мой быт накладывался на чей-то чужой, потухший, умерший быт. Меня не покидало ощущение, что это — чужая квартира, что хозяева еще могут вернуться, хотя я знаю, что этого не будет. Вот и я не живу на Троицкой, и я лишена своей квартиры, своей прежней жизни, и, приходя туда, замираю в удивлении и внутренне мечусь: неужели я, теперешняя я, жила там, и у меня был Коля, и была жизнь, абсолютно не похожая на эту? Все сдвинуто, перемещено, плоскости отдельных чуждых жизней пересекают друг друга, и вернуть прошлое — нельзя. Мне все еще часто кажется, что сегодняшний мой быт — это «невзаправду», «понарошку», нечто вроде игры, или какая-то вторичная жизнь — как на том свете, как после смерти. Это не сплошь, не все время. Юра — это жизнь, это взаправду. Но иногда — такая томящая неуверенность в реальности существования!

Неужели же я настоящий,
И действительно смерть придет? [30]

Ощущение печальной нереальности, недоуменности своего бытия обострилось в связи с переездом в эту вымершую квартирку. И вчера весь день и особенно вечер, когда мы с Юрой разбирали чужие пожитки, часть выбрасывали, а часть оставляли себе,— неотступно было передо мной лицо Коли, и вспоминала, вернее — видела его только в минуты, когда я наносила ему обиды: как в одну из бомбежек, когда мы вышли на улицу, вечером, это был уже

ноябрь, конец ноября, я нервничала, т. к. стреляли зенитки и падали бомбы, и я просила его — довольно зло — прибавить шагу, а он шел не быстро, и рассердился на меня, и на углу Невского и Фонтанки сказал, что зайдет в аптеку — переждать тут, а я помчалась в р. к. Мне хотелось добежать до подвала быстрее, т. к. было страшно, я прибежала туда, и сразу стало стыдно, что бросила Кольку на улице. Но через минут 10—15 Юрка сказал мне: «Пришел Коля»,— я так обрадовалась, вышла к нему в вестибюль и, кажется, усадила его потом — но не в «нашей» с Юркой комнате, а в общей. Коля сказал: «Я знал, что ты нервничать будешь, что я остался на улице». Боже! Он все время в те дни думал не о своей опасности, а о том, чтоб я не нервничала и не боялась за него. Ох, ну, не надо...

И только совесть с каждым днем сильней
Беснуется: великой хочет дани...

В «Комсомольской правде» от 5/VII напечатан «Февральский дневник» — полностью, без единой поправки и купюры. Ну, что ж, хоть и задним числом обнародовано,— но все-таки это здорово... А стихи, надо прямо сказать, отличные. Читала их в газете сама с волнением и со слезами. Такие можно было, наверное, написать один раз, и уж, наверное, лучше ничего не напишу. Я сама поражена сейчас — как я написала их — тогда? Откуда все это пришло — эта суровая, прямая мысль, точная формулировка, внутренняя, рыдающая, жгучая страсть при внешней — почти холодности. Ведь я была просто психом тогда на почве голода, а Колина смерть, вырвавшая из меня душу с корнем? Непонятно. Перечла сейчас свой январский дневник — господи, это сплошной голодный бред, и только. Я сейчас в ужасе — как я не ходила к Коле ежедневно, как я могла одна сожрать печенье, присланное Мусей, как я могла ЧАСАМИ писать о еде? И из этих страниц видно, что я была ненормальным человеком. И ведь я тогда еще рассказы о партизанах писала! Но — вспоминая, что же я могла делать? Я ведь что-то запасала — на предмет, когда Коля выйдет, что-то делала, а сидеть рядом с ним, безумным, ничего не понимающим,— и ему даже белья нельзя было сменить — не было! И что мы знали о дистрофии тогда!

Ах, эти все записи бесплодны, и я — бесплодное и жалкое существо: не сберегла Колю, не умела его любить, а сейчас мучу тоской своей Юру — он все видит и понимает, и я не могу и не хочу скрывать ничего...

«Эстафета» идет очень плохо и явно перенашивается. Надо писать по ночам. Трясучка днем одолевает — и то одно, то другое. То Юрка зайдет, то звонки — я в моде, мне предлагают всякие заказы и т. п., в общем, висят над душою. И Юра торопит с поэмой, спрашивает о ней — трясучка еще злее.

Главное — такой период, что хотя на время работы надо быть одной, совсем одной — и внутренне тоже. Это всего достижимее ночью, когда ничего не висит.

12/VII-42

Понурое, расслабленное состояние. Видимо, сказывается почти бессонная ночь — до утра работала над поэмой, потом долго не могла уснуть, а ночью снились мучительные, томящие сны: война, бомбежки, я убила какую-то страшную старуху (я иногда убиваю во сне ужасных старух) и Ирочку видела — будто она ослепла, но так хорошо видела ее личико, живое, а не оборотня.

Колю во сне никак не вижу.

Это тяжелое, унылое какое-то, бескрылое состояние тянется довольно давно, и я не могу найти конкретной ему причины. Тут и ровноноющая тоска о Николае, и тоскливое ожидание штурма города — бессмыслицы всей этой кровавой, и тупое терзание из-за общих наших дел — т. е. от сознания, что гибнут и гибнут люди, такие же, как Николай, и все растет и растет ком страданий.

О, что мне до них, что мне до всей этой большой жизни, большой земли,— с досадой думаю я иногда,— довольно, довольно! У меня есть Юра с милыми его пушистыми глазами, человек, любящий меня, красивый и желанный мне. У меня есть какой-то отрезочек времени — «до штурма», до всей этой идиотской катавасии, когда уж нельзя будет вздохнуть,— ну, и живи, радуйся весь этот отрезочек.

И все же томит, темнит жизнь, отымает легкость в душе — пусть и горькую...

Наверное, на днях немцы возьмут Воронеж. Они — в области Дона, форсировали его. От Купянска до Россоши они махнули в неск. дней,— видимо, наши бежали, произошла какая-то катастрофа, говорят о гибели наших 2-х армий. И это после того, как был приказ № 130! Нет, наверное, хватил тут Иосиф зря. Но люди правы, нужно выстоять до открытия второго фронта. Просто выстоять, чтоб не погибло государство. Немцы должны же изнемочь, захлебнуться в крови. И тогда, когда ударят по ним с запада,— мы начнем фронтальное наступление здесь. Логически — все верно. Но что будет к тому времени с нами — с Л-дом, со мной, с Юркой, с будущей нашей жизнью? Это никому не интересно.

Пример Севастополя сильно повлиял на психику ленинградцев. Из Л-да бегут. Вообще, настроения подавленно-панические — даже «военная группа» писателей собирается дать тягу под разными предлогами. Все ждут штурма и боятся его.

Я тоже боюсь... А может, нет. В общем, если расчет не на жизнь, а на «дожитие» — то все равно, даже хочется крикнуть, как хотелось тогда, когда немец кружил и выл над домом, кружил и выл,— «Да ну, бросай скорей, сволочь, бросай бомбу, убивай»... И боюсь — и ни под каким видом не уеду.

Нет. Ни к черту все эти мои рацеи не годятся. Живешь, так живи, как человек... Это расчет на «дожитие», на «скорей бы кокнуло» — предательство по отношению к Юре и — и к Колиной памяти тоже. От боли за наши поражения — не отделаешься. Но надо жить «стиснув зубы, с железной решимостью». Надо радоваться тому, что есть. Надо говорить что-то людям,— ну, если мы все так опустимся,— а мы уже так устали,— что будет?

Что будет — то и будет. Времени нет. Есть вся жизнь в сегодняшнем дне. Жить им и говорить об этом.

Поэма может быть хорошей, а если подниму финал — перед колыбельной, то и отличной, не хуже «Февральского дневника», хотя другого типа.

Видимо, все же беременна — уже 13 день задержки и что-то вроде легкой тошноты. Ну, и все это — «перед штурмом», перед разлукой с Землею? Зачем же привязываться к ней — любовью, ребенком, работой? Не лучше ли обрубить все связи с нею? Но это означает — сдаться раньше, чем тебя возьмут.

Нет. Не сдаюсь. Я просто не выспалась — плохо сплю последние дни вообще,— еще не приспособилась спать вдвоем с Юрой...

18/VII-42

Сегодняшняя сводка немного получше: «Бои в р-не Воронежа и южнее Миллерова, на остальных — без изменений». Неужели они — захлебываются уже? О, если бы! Эти сводки — как пульс держишь у больного, любимейшего человека,— как у Ирочки держала, как у Коли — во время статуса...

О, вытяни, выдержи, выстои, земля моя, мое войско, потому что я хочу жить, потому что ты сможешь жить, даже пролив столько крови.

В Ленинграде тоже очень тихо, даже дня два, как обстрелов нет. Наша судьба, конечно, решается на юге. У нас еще есть время — до штурма, м. б. недели две, может быть, целый месяц. М. б. если их там поколотят — штурма не будет. Но пропаганде даны новые — тревожные — установки: не пропагандировать победы в 42 году — что, мол, фатализм. Не пропагандировать непобедимости антигитлеровской коалиции,— это значит — не надейся на союзников; пропагандировать, что Л-д получил лишь временную передышку и что штурм обязательно будет,— надо готовить к нему людей, отрешиться от благодушия и вообще «бить в набат».

Да, невесело. Эти директивы были получены дня три назад, и настроение у людей было очень напряженное, Юрка даже начал говорить о том, что я «в случае катастрофы» должна буду уехать из Л-да и т. д. И у меня было смутное, бередящее, раздраженное состояние ожидания несчастья, катастрофы, конца, хотя, конечно, мысль о бегстве — вернее, перспектива его — еще ужаснее... К чему, ну, к чему спасаться, тем более — бросив тут Юрку, собственно говоря, единственное, что держит меня на поверхности, не дает с головой погрузиться во мрак? Потом это чувство сгладилось, т. к. пошли мелкие и мельчайшие бытовые дела, суетность, за которой все скрывается.

Получила от портнихи черное бархатное платье — идет, очень идет, «страх, как мила», и пальто новое летнее идет — просто душка в нем,— ну, разве может быть при этом гибель, катастрофа и т. п. Пальтишко, конечно, подправить нужно,— ну, ничего, она подправит,— рвач, расчетливая, корыстная баба, неискренняя со мной, но отличная портниха.

Написала поэму — и ведь получилось явно ничего, местами так прямо здорово; лучше, глубиннее всего, конечно, начало, и мне нигде не удалось подняться до него — так оно неповторимо по самой ситуации (это уж от меня не зависит... хотя... ведь стык то — «не отдам» — «возьми» — я придумала!), так трагично, и открывает какие-то новые людские отношения — без объяснения их. Затем — отрывок с Мусей, затем — Семен Потапов, потом озеро. Истребитель Митя Карамазов — никуда не годится, фальшив и жалок, надо переписать все, и уж не знаю — выйдет ли, тем более сейчас, когда хочу спать,— почему-то недосыпаю перманентно, и в башке — муть. Но, однако, даже с этой мутью попробую дожать.

20/VII-42

За окнами — гул артиллерийской интенсивной стрельбы. «Может быть, это начался штурм?» Мы встречаем этой фразой, шутя, теперь — каждый очередной обстрел — и сейчас Юрка так пошутил,— а м. б., и в самом деле — так. Ведь это же реальность — будущий штурм. В центре города матросы строят бойницы в домах, особенно оборудуют и укрепляют углы домов на перекрестках,— боже мой, неужели это может пригодиться? Мне кажется, что если немцы войдут в город — то ничего уже не поможет.

Страха смерти нет. (Это стрельба — на передовых, ясно. Ходоренко зачем-то срочно вызвал Юрку.)

М. б., завтра мне не удастся уже прочесть мою поэму по радио? Читала ее сегодня

в ДК, на собрании женщин нашего гарнизона. Приняли — исключительно, с восторгом, хотя Юра говорит, что читала плохо и многого не доносила. Вчера читала у Марина, для работников Публички. Марины перебрались из своей комнаты с 996-ю медведями во второй этаж, в вымершую квартиру (и тоже, почему-то, с роялем!); у них были работники Публички, и Танька Г. была, исключавшая Колю из комсомола за то, что он не хотел отказаться от меня, когда я сидела в тюрьме (он сказал: «Это недостойно мужчины»,— и положил свой комсомольский билет, который носил, как знамя, с 1924 г.), и Филиппова была [31], приходившая ко мне как к жене бойца, когда Коля был мобилизован во время Чехословацкого конфликта, и все другие, с кем он работал,— были, а его — не было. Непонятно! Нет, непонятно... Я читала им, пела, а жила в это время не этим, а в себе, совсем одна, жила только тем, что его нет, и что это — непонятно и изумляюще-несправедливо...

23/VII-42

Оказывается, действительно был штурм, только с нашей стороны.

25/VII-42

Многого не записывала — моталась. Главное: Юрку уволили из радиокомитета и разбронировали по военному учету. Значит, его могут в любую минуту взять в армию, даже рядовым, значит — реальна наша разлука. А я почти наверняка уверена на этот раз, что беременна, хотя еще не проверялась.

Что же, так и не даст мне жизнь счастья — никогда?

Стоило вылезать из могилы, выходить с того света, с такой мукой продраться к нему, привязаться — чтоб разлучиться и — боже, боюсь верить сердцу — наверняка потерять его.

Его уволили потому, что по его отделу, по радио была дана поэма Шишовой. Горком запретил ее и сказал об этом Широкову, преду РК, а Широков забыл сказать об этом Юрке, и когда горком осатанел,— «как так ослушались и дали»,— Широков свалил все на Юрку. И его уволили. Виктор и Яшка [32] вели себя при этом как последние бляди, особенно Виктор. Вот цена зимы, проведенной ими всеми вместе! Вот «новое» в отношениях ленинградцев... О, сволочи, сволочи. Яшка теперь что-то «выправляет»,— но боюсь, что никто не поможет.

Скорей бы он пришел и рассказал все. Главное — чтоб не разлучаться...

За эти дни я особенно как-то почувствовала, как он мне дорог, с милыми его, серыми, пушистыми, немножко близорукими глазами, почти всем, что в нем есть хорошего, как-то сближающийся с родным моим Колькой.

Я думала иногда, что настолько омертвела, настолько стала собственной тенью и живу какой-то вторичной жизнью, что новое горе — например, утрату Юры — уже не восприму... Нет. Боль, наверное, будет уже последней, объединяющей все предыдущее, замыкающей все — иначе,— смертельной.

3/VIII-42

Вчера было 2 ВТ, по 2 ч. 50 м. каждая, но самолетов над городом не было,— видимо, бои шли на переднем крае или бомбился наш передний край. Сегодня — с рассвета и до сих пор дичайшая наша канонада,— говорят, наступление наше, и хорошее. Опять Лигово берем? Уже три раза брали и три раза нас оттуда выставляли — за конец июля.

А на юге — ужасно. Немцы прорвались к Сальску,— махнули от Ростова в неск. дней. Вот и сейчас по радио говорят — «обстановка на юге усложняется». О, Господи... Я уже ни ужасаться, ни болеть — не могу: жмуришься при каждой сводке, точно сейчас тебя раздавит. Но странное дело: хотя опасность больше даже, чем в прошлом году — есть какая-то внутренняя успокоительная уверенность — «Выдержим. Не возьмет...» Недооценка угрозы — нежелание уставшей души воспринять ее? Или то, что выжил сам в такой дикой зиме,— дает эту общую уверенность? Или то, что это — «далеко, не у нас»...? Но ведь понимаю же я, что сегодня «не у нас», а завтра — у нас, и как!..

— А завтра детей закуют...
о, как мало осталось
Ей дела на свете...

Да, устала,— как все, устала от войны,— от дергающего нервы быта, от работы своей,— точно телеграфные ленточки со значками тяну и тяну из души, с болью и кровью, и расшифровываю их с мучительным трудом.

Вот Юрка поехал в полк за продуктами,— каждый этот его поход стоит и нервов, и известного унижения,— эх, как все это осточертело, как приходится перелезать через все это, как через колючую проволоку...

4/VIII-42

Ночью наша артиллерия буйствовала, и, ей-богу, это было даже приятно слушать.

Сегодня извещение — что взяли пункт Я, армия Свиридова,— видимо, Ям-Ижору? Говорят, что это хорошо, что оттуда можно ударить в тыл по Пушкину ⟨...⟩

После поэмы — ничего нового не написала, хотя набрала ряд заказов, и с ними надо справиться в срок, особенно для союзников,— это прозвучит у них,— о Публичке, о Седьмой симфонии.

Успех поэмы превзошел все мои ожидания. Нет смысла записывать все перипетии борьбы за нее — походы к Маханову, разговоры с Шумиловым и т. д. Главное, что с *очень небольшими*, непринципиальными словесными изменениями (разумеется, ненужными и ухудшающими эти строки) она была напечатана в «Лен. Правде» от 24 и 25 июля и читана мною по радио 21/VII.

И вот — огромное количество восторженных, взволнованных и несомненно искренних отзывов — от Всеволода Вишневского (который даже письмо мне прислал) — до техсекретаря С. П. И много писем — большинство с фронта и с флота, от людей неизвестных мне. Особенно дорого мне письмо одной фронтовички, Чижовой, матери, которая вместе с сыном пошла на фронт, и сын ее там погиб «спасая жизнь друга, сражаясь за родину». Прекрасно, что во время войны так приблизилось к человеку понятие Родины, так конкретизировалось — «спасать жизнь друга» в бою — это и значит сражаться за Родину! Она пишет — «великое спасибо, от русской женщины-ленинградки», она пишет о том, как с новой силой вспыхнула в ней ненависть к врагу после прочтения поэмы... И очень дорого сегодняшнее письмо в стихах, написанное «Красноармейцем Полиной Кагановой по поручению бойцов и командиров части, где командиром капитан Кожевников и военком старший политрук Харичев».

В наивном, слабоватом стихе описывается, как читали в -ской части, на фронте «Ленинградскую поэму»:

— Когда читали, в это время
Казалось, что Вы рядом, здесь,
И мы увидели в поэме
Всю нашу силу, нашу честь.
И вот, в дыму больших пожарищ,
Примите наш привет простой;
Клянемся Вам, поэт-товарищ,
Что скоро наш победный бой.

Я хожу сегодня целый день взволнованная, возрожденная и смущенная. О, милые мои люди! А мне — чем благодарить вас за это признание?! Только бы не обманывать, только бы не обмануть вас в дальнейшем — и найти в себе силы сказать вам о вас самих самое жгучее, самое сокровенное, самое окрыляющее. И я согласна ради этого вновь пухнуть и бродить в темноте, и ежиться от близких разрывов и стоклятого свиста бомб. Господи,— они *мне* клянутся, что «скоро победный бой»! Я помню, когда я читала Коле письмо одной дружинницы у Будилкиной [33] — «клянемся, тов. Будилкина, Вам и правительству, что ничего не устрашимся»,— он сказал — «вот это авторитет...» И вот — и мне написали так незнакомые люди. И еще письма — от моряков,— «эту поэму должен знать каждый грамотный человек в СССР», и от какого-то комиссара,— «мы взяли ее на вооружение», и рассказ Ёськи Горина [34] о том, как какой-то командир, отыскивая список поэмы, предлагал за нее ХЛЕБ, и сегодняшний подарок от дивизионной газеты, где редактором — муж Галки, Соркин [35], но политрук, принесший этот хлеб, консервы и сахар, сказал, что «это от всех нас»,— как все это драгоценно мне,— сказать не могу.

И еще письма о «Февральском дневнике» — от О. Хуас [36], от Аньки Рубин,— письма из глубокого тыла, полные волнения и восторга, и письмо к А. Крону, где пишут, что «Февр. дневник» исполняет в Сибири Алиса Коонен и артисты Александринки — с громадным успехом. И т. д. и т. д.

Что же это — слава? Да, похоже, что слава, во всяком случае — народное признание. Меня знают в Ленинграде почти всюду. Недавно выступала в большом госпитале,— а там у комсостава в списках «Дневник», давно известный им... Из московского райкома мне звонят — «т. Берггольц, мы приглашаем вас и других *знатных* женщин»... А у меня — ни ордена, ни лауреатства, ни прессы! Я ни на минуту в стихах не потрафляла начальству, не подделывалась под народ, не снижала мысли. Известность пришла ко мне не через Союз, не через печать обо мне, в труднейшее время, когда человек необычайно чуток на ложь, известность пришла суровая, заработанная только честным трудом, только сердцем — открытым, правдивым,— я ни в чем не лгала себе. Даже Маханов сказал: «Какое вы хорошее имя себе заработали»,— да, это так. Самое главное в этом хорошем имени можно сформулировать так: «Она пишет правду».

О, мне сейчас будет очень трудно — мне надо очень беречь это имя и писать так, чтоб не приносить разочарований моим читателям.

Я искренне и непосредственно рада этим письмам, хотя знаю, что — «восторженных похвал пройдет минутный шум»,— и все, следующее за этим. Пусть хватит сил до конца войны! А там — неважно... Признания начальства — тоже неважно. Хлеб за поэму и «клянемся Вам, поэт-товарищ» — больше и реальней любого ордена. Ночь, снова гул и шум нашей артиллерии. О, если б Коля, любимейший, чудесный мой Коля — знал и видел все это! Боже мой! Ведь если верно, что в послеянварских стихах появилась и особая мускулативность, и

сжатость, и глубина стиха при скупости и даже скудости слов — то ведь главная-то причина этому — его гибель...

Это горе, такое огромное, что я не могу рассказать о нем, даже Мусе не могла ничего приоткрыть, горе, которое испытывают, м. б., одни Молчановы — его кровь,— вот это горе дало моему стиху ту «мужественность», которая так нравится всем. Его гибель... Нет! Я ничего, ничего еще не написала,— НИЧЕГО, и только одна я знаю это. Я всем обязана ему — и этой, ТАКОЙ славой тоже. Он учил меня ценить только народное признание,— и слабые знаки его — хотя бы десятки писем детей — так радостно принимал, так радовался им. «Какой тебе славы еще нужно»,— говорил он, узнав, как заучивали в тюрьме мои стихи. Как он переживал мои неудачи с калеченьем книги, как настаивал на том, чтоб я не шла ни на какие компромиссы с цензурой и редакторами,— и он был непримирим, и сам никогда ни за что не шел на беспринципные уступки.

Как он учил меня *пренебрегать* внешней славой, прессой, отзывами «высокопоставленных»,— даже иногда перегибая в этом,— но я всегда буду следовать ему в этом. Как радовался первым моим успехам во время войны, и поддерживал как, и говорил: «Ты всегда делаешь то, что нужно! До войны ты была, в меру сил, на защите «угнетенной личности», и это было правильно,— сейчас — с борющейся за страну демократией, с народом, и это верно»... А строгость его, почти тираническая и придирчивая! Он не прощал ни пафоса, ни пустых слов, ни риторики, ни «учительства»... О, вдохновение мое, разум мой, свет мой безмерный... Если б дал бог — написать о тебе, рассказать о тебе людям, чтоб и для них, даже не знавших тебя, остался ты вечно живым — светом, опорой! Если б дал бог...

Не ценой ли тебя купила я эту славу, боже мой? Не потому ли, хоть и дорога она мне, но мучит меня она в то же время, как нечто, приобретенное почти преступлением — моим? Но ведь я хотела уехать с ним, я делала для этого все, господи...

Я знаю, что так же очень многим обязана я Юрке и его любви,— но основным, решающим, главным — все же ему, Коле... Он писал мне в тюрьму: «предан тебе в этой жизни до смерти — и в вечном бытии»... И его преданность, как живую, чувствую я в себе непрестанно...

В городе тихо. Утро. Много работала над заготовкой новых стихов — м. б. что-либо выйдет. Надо написать о сегодняшнем моменте — об отступлении нашем, о том, что нужно все выдержать,— в ОДИНОЧЕСТВЕ выдержать, без второго фронта, ведь эти буржуи, они ненавидят нас,— вот о чем надо писать, я знаю... И я об этом тоже буду писать, но тема, данная Юркой, тоже интересная, и может получиться...

7/VIII-42

Ай ты, боже мой, до чего не получается с работой,— просто перед Юрой неудобно. Да и вред делу. Просит меня, сейчас писать для т. н. союзников — США и Англии — Информбюро. И надо было бы срочно отправить очерк о Седьмой симфонии и нашем оркестре — 14 у них в США премьера, и для «К. П.»[37] надо написать, а у меня время идет как-то зря, в башке — муть.

8/VIII-42

Мутит до обморока — ужасно. Надеюсь, что это — беременность, а не что-нибудь иное. Я рада, если это так,— хоть за что-нибудь надо держаться в этом хаосе и нереальности, в буре всеобщего разрушения.

Немцы уже в Армавире. Они идут неудержимо. Они выходят на Волгу, к Сталинграду, до Грозного — всего 500 км, они движутся неудержимо! Они перережут наши нефтяные коммуникации, кубанская пшеница вытаптывается и сжигается (навряд ли ее успели всю убрать и вывезти) — значит, голод все реальнее, и — наши отступают и отступают.

Не отчаянье, а тупое, тягостное недоумение, тоска, почти парализующая, охватывает каждую клетку мозга, души, тела... Все, что делаешь,— кажется ненужным. Надо во что бы то ни стало написать о Седьмой симфонии — неудобно перед Юрой и перед ТАССом, но это же ни к чему, хоть и интересно.

Хочется крикнуть Западу: «Да что же вы, сволочи, медлите? Вам же хуже будет, если нас погубят!» Хочется крикнуть Югу: «Стойте же — все равно погибнете, даже если будете бежать! Стойте, у нас нет выбора,— смерть идет на нас, стойте,— быть может, тогда спасемся!»

Стихи «Имением Ленинграда» могут получиться, да отвлекает эта Седьмая. Попробую сейчас отстучать ее, чтоб освободиться и писать стихи. Но не стихами решается там наша судьба, я же знаю! Даже невероятный успех «Ленинградской поэмы», которая стала событием в жизни множества ленинградцев, чему получаю все новые и новые свидетельства,— не обманывает меня.

11/VIII-42

О, бедный Homo sapiens,
Существованье — бред...[38]

Немцы уже в районе Краснодара, Майкопа, Армавира. Черт знает что! Немыслимо вдумываться даже в размеры этого поражения, грозящего катастрофой. Э-эх, дела!

Вчера с Яшкой были у Маханова по поводу Юры,— не безуспешно,— по крайней мере, в приказе не будет никаких компрометирующих его политически формулировок и «руководство» поставлено в известность обо всей этой грязной истории. Юра, видимо, останется здесь редактором — это хорошо в смысле того, что мы сможем жить здесь, в радио, где есть свет, а след. может быть, относительно тепло. Видимо, если немцы не кинутся на Л-д и не возьмут его — придется и вторую зиму зимовать в кольце. Надеюсь, что прошлогоднего кошмара не повторится, принимаются меры — люди переселяются в первые этажи, покучнее, готовится топливо, говорят, что есть продуктовые запасы, хотя вот за июль академического пайка так и не дали, сволочи, но все же надо готовиться к худшему — к трудной, нудной зиме...

Ох, как мы увязали! Вчера шли с Яшкой из горкома и говорили о том, какая уже усталость гнездится в душе, сознание бесперспективности какой-то, долгих-долгих дней лишений, нужды, напряжения страшнейшего...

Нервозное, раздраженное, угрюмое состояние, немыслимо трудно работать, хотя едим неплохо и в городе после местных боев — тихо, то ли сбили ихние батареи, то ли они готовят чудовищный удар. Но работаю с диким усилием,— все кажется ненужным, смехотворно жалким по сравнению с положением в стране, и чувство собственной личной беспомощности — трудно преодолимо. Да и распустилась я, наверное,— «лавры» опьянили. Надо попытаться написать стихи «Имением Ленинграда», хотя дуб-Маханов в чем-то прав, когда говорит, что пора перестать кричать о героизме ленинградцев, надо написать стишки для 42-й — уж очень они привязались... Надо собрать и сдать книжку — собственно готовую уже, и как-то все кажется глупым, хотя я и знаю, что слово сейчас — это тоже сила...

От Сережи нет писем,— неужели мальчик погиб, ведь он где-то там был, на юге... Надо запросить его мать,— мне так хочется, чтоб он вышел из этой каши живым.

Боже мой! Неужели никогда уже не вернуться нам всем к морю, к безграничному, единственно нужному человеческому счастью — слиянию с природой и покоем? Я, наверное, все же хочу жить, хотя иногда кажется, что все равно — жить ли, погибнуть ли...

Странно, я люблю Юру и жду его ребенка, и хочу его,— а вот жажды жизни, ожесточенного протеста против гибели — нет. Может, это и лучше? А м. б., это равнодушие просто потому, что в Л-де сейчас спокойнее, чем где бы то ни было?

13/VIII-42

Говорят, что немцами уже взят Пятигорск, хотя об этом у нас не сообщалось... Они отрежут у нас нефть — ясно.

...Все равно, надо жить,— м. б., уже недолго осталось. А если долго, если еще впереди много серого существования, мрака, тяжкого труда — тем более надо жить. Что же еще делать?

Личная жизнь омрачается круглосуточной тошнотой в соединении с февральским голодом, акцентированным на потребности острого, которого нет.

А так вообще пищи — много. Прилетела из-за кольца Кетлинская — привезла разного, в том числе моя радость — кофе...

20/VIII-42

Завтра во что бы то ни стало — с утра — пошлю отцу все, что ему надо, и буду работать.

Напишу для Информбюро о комс. пожарном полку и о Публичке (Колпна Публичка), и надо стихи писать.

Я просто завалялась на лаврах — это становится неприлично. Сейчас с тошнотой чуть полегче, надо поменьше сил отдавать стряпне — и работать, работать. К этому обязывают меня хотя бы те многочисленные трогательные письма, которые продолжают поступать ко мне, гл. обр. с ленингр. фронта. Они радуют меня необычайно, горжусь ими страшно, но и смятенье охватывает: ведь в ответ на это надо что-то такое написать, что не разочаровало бы всех этих людей, ждущих от меня «новых вдохновенных песней...». Поэму массой отправляют за кольцо — родным, знакомым.

Я хотела бы написать несколько лирических песен-стихов, которые человек мог бы петь или бормотать один на один с собою,— ведь война идет через сердце все глубже.

Если б мне удалось написать что-нибудь вроде «Трансваля» — вот было бы счастье... Да разве такое простое и великое можно написать!

Разболталась я... Конечно, надо было иметь какую-то передышку после того, как оторвала огромную поэму, которая взяла массу сил, но уж, кажется — довольно. Сашка Фадеев говорил, чтоб ни на что не транжирилась, а сидела и писала значительные вещи, но это, пожалуй, люкс.

Да, надо еще для партизан, выступление. М. б., 27 поедем в Кронштадт,— к сожалению, выступать, но думаю, что увижу что-нибудь интересное, если по дороге не убьет немец — путь туда опасен. М⟨ежду⟩ п⟨рочим⟩ отв. ред. «Комс. Правды» прислал телеграмму, что будут печатать «Лен. поэму». Но пока еще не опубликовали. Ах, хорошо было бы! Но Сашка Прокофьев лопнет от зависти уже наверняка! Моя бешено взлетевшая известность после опубликования «Лен. поэмы» уязвила некоторых наших «инженеров душ» в самую печень. Решетов[39] и Прокофьев — теперь

мои враги! Прокофьев сегодня на совещании в Обкоме комсомола вел себя просто непристойно,— Иванов (секр. Обкома) стал говорить о том, что вот я собрала сборник «Молодежь Ленинграда», что они послали мне благодарность, а Сашка стал выкрикивать: «А она нам это не послала»,— и потом после заседания бормотал,— уже мне: «Мы заменим вас, т. Берггольц, заменим», да с такой злобой! Боже мой, точно я суюсь куда-нибудь, чего-то добиваюсь... Сашка у меня сегодня,— как отрыжка, вот идиот-то! Через горком должна идти моя книжка — через Паюсову, а муж Паюсовой — Решетов, уж он, конечно, наговорит такого, что книжка будет признана «вредной», «любованием зимними трудностями» и т. д. Ну, увидим. Тьфу, какая пакость — эта литераторская зависть,— даже в такое время люди не могут освободиться от нее! Ну, что нам всем — дела мало, места мало, читателей, что ли? Я просто понять всего этого не могу,— я радуюсь успеху «Жди меня» — ведь это наш брат, писатель, написал такое, милое всем,— а значит, как бы и я... Даже Ленке Рывиной [40], необычайно неприятной мне, я желаю всяческого успеха с ее поэмой, и хотелось бы, чтоб она получилась хорошей...

Юрка неожиданно имеет шанс ехать в Москву и тянет меня с собою, но это куча хлопот, и — неприличие, ездить за кольцо ни для чего... Он говорит, что там мы сможем обеспечить вылет в феврале-марте, к сроку моих родов,— но это мне кажется химерой, утопией. Что сейчас можно заранее обеспечить? За 6 мес. вперед? Вздор! Здесь нужно обеспечивать... Ну, он так хочет смотаться за кольцо, что, видимо, придется уступить, но м. б., ничего не выйдет?

Он хотел сначала ехать в Балашов — у него безнадежна мать, и я обалдела втихомолку от этого его желания — как, в такие дни оставить меня здесь?! Но я ничего не сказала ему, хотя задыхалась от обиды, и он сам решил без меня не ехать, даже в Москву. Юра мой хороший, милый, нежно люблю его...

На юге дела плохи — все погубил Ростов, сданный без боя, с перепугу... Оставлен Армавир, Майкоп, Краснодар... Дерутся в Пятигорске. Черчилль был у Сталина,— неужели все же они, эти мудаки, откроют второй фронт? И вдруг — скоро конец? Трудно как-то этому поверить...

...Да, все это так — и слава, и завистники, и немцы на юге, и ребенок, который, видимо будет,— но ведь Коли-то все-таки нет? Ведь нет его все-таки!..

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Воздушная тревога.
[2] Георгий Макогоненко, литературовед.
[3] Николай Молчанов, муж О. Б.
[4] Комиссар одной из армий.
[5] Журналист, знакомый О. Б.
[6] Из стихотв. Редьярда Киплинга «Галерный раб» («Гребец галеры»).
[7] Журналист, знакомый О. Б.
[8] Писатель В. П. Ставский, в то время возглавлявший Союз писателей СССР.
[9] Начальник управления НКВД по Ленинграду и области.
[10] Шумилов — секретарь горкома партии, одно время — гл. редактор «Ленинградской правды». Лесючевский — главный редактор «Звезды».
[11] «Слезы социализма» — так называли дом в Ленинграде на Троицкой (Рубинштейна), 7.
[12] С. М. Алянский, книгоиздательский работник, в то время руководил издательством Ленинградского Союза художников.
[13] В. А. Марин и М. В. Машкова — университетские друзья О. Б., работники Публичной библиотеки.
[14] Редактор издательства.
[15] Маулишка — Маули, подруга О. Б., прототип героини повести «Ночь в новом мире».
[16] Шутливое прозвище поэта Николая Тихонова.
[17] Мэри Рид.
[18] Матюшина — художница, Ленька Анк — псевдоним журналиста, прототип Банко в повести «Журналисты».
[19] Дочь О. Б.
[20] Работники радиокомитета. См. о них в «Дневных звездах», ч. I.
[21] Ирина И., одна из конфиденток Г. П. Макогоненко.
[22] Начало стихотв. Осипа Мандельштама (сб. «Tristia»).
[23] Из стихотв. Николая Гумилева «Слово» (сб. «Огненный столп»).
[24] Маханов — секр. Ленингр. обкома.
[25] Галина Пленкина, подруга О. Б.
[26] Хутор на Новгородчине, куда Берггольц ездила летом.
[27] Из Библии (136-й псалом Давида).
[28] Поэт Сергей Наровчатов.
[29] Я. Л. Бабушкин, худ. руководитель Ленинградского радиокомитета.
[30] Из стихотв. Осипа Мандельштама «Отчего душа так певуча» (сб. «Камень»). У Мандельштама: «Неужели я настоящий...».
[31] Секретарь парткома Публичной библиотеки.
[32] В. А. Ходоренков и Я. Л. Бабушкин.
[33] Работник Московского райкома Ленинграда.
[34] Актер.
[35] Муж Г. Пленкиной Соркин, работал в газете на станции Дно.
[36] Критик.
[37] «Комсомольская правда».
[38] Неточная цитата из стихотв. Бориса Пастернака «Образец» (сб. «Сестра моя — жизнь»). Надо: «Существованье — гнет...».
[39] Александр Решетов, ленинградский поэт.
[40] Елена Рывина, ленинградская поэтесса.

Публикация и примечания М. Ф. Берггольц

Н. К. Телетова

«ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО»

За полтора столетия после гибели Пушкина то одно, то другое его творение оказывалось особым центром внимания, связывалось с главными проблемами современности.

Последние два десятилетия вывели в первый ряд трагедию «Моцарт и Сальери».

Пушкин утвердил несовместимость гения и злодейства устами великого музыканта. Чтó есть злодейство — вопрос этот не представлял интереса по самоочевидности его смысла. Злодейство есть убийство одним человеком другого — при любых побуждениях поступка. Странным кажется иное — в критике не поставлен и не разрешен вопрос о том, кого Моцарт относит к гениям, чтó вкладывается в это понятие.

Проблема Гения существует на протяжении многих столетий, она меняет свой смысл в зависимости от времени, страны, господствующего направления в искусстве. И разрешается эта проблема порою взаимоисключающими определениями, чтó считать гениальным, чтó является свойствами Гения.

Отсутствие вопроса привело к отсутствию сомнений в том, что «гений — это высшая творческая одаренность» [1]. Между тем это раскрытие смысла вовсе не выражает значения этого слова, как оно понималось в пушкинскую эпоху. Исходя из такого определения, расшифровка слов Моцарта примитивна: очень талантливый человек не может совершить злодейство. Это утешительно и оптимистично. Рождается мысль об идеализации Пушкиным человеческой природы.

А между тем мы совершенно искажаем смысл фразы Пушкина — Моцарта: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». И причина тому — непонимание, чтó значило слово «гений» для всей эпохи и для Пушкина.

Странные, глухие к его идеям и идеалам трактовки трагедии возникают в XX веке — вследствие этого непонимания.

Так, в 1922 году О. Э. Мандельштам, полагая, что ремесленник победившему пролетариату ближе, чем «аристократический мечтатель», пишет: «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию».

Утрачивался постепенно самый смысл гениальности — как понимала ее Россия до 20-х — 30-х годов XIX века, как понимал ее Пушкин.

В пьесе три персонажа. Два говорят, третий молчит. Это тот нищий, которого Моцарт привел с собою к Сальери. Слепой скрипач фальшиво, стараясь изо всех сил, играет «из Моцарта».

Сальери возмущен: в доме, где два славных музыканта,— этот неведомый, этот несовершенный. Он прав — правдою рангов и надлежащих им почестей. Моцарт этого не ведает, у него нет представлений о рангах. Есть бесконечная снисходительность и доброжелательство (так сам Пушкин всегда захваливал слабые таланты. Щедрость благородства и дара).

Зачем этот третий Пушкину? Затем, что в нем ключ к Моцарту. Доброта, открытость миру, единство со всем живущим — это

[1] «Словарь языка Пушкина», т. 1. М., 1956, с. 46.

Телетова Наталья Константиновна, кандидат филологических наук, автор книги «Забытые родственные связи А. С. Пушкина» (1981) и работ по истории русской и немецкой культуры. Живет в Ленинграде.

и есть неиссякаемый источник полноты его чувств, а они — источник творчества.

Исподволь ему подчиняется все — будет ли это слепой музыкант или невольник минутного чувства, плачущий Сальери.

Краткое появление третьего в пьесе открывает нам первого, первейшего. Третий мог быть десятым — по удаленности от Моцарта. Но ему он так же близок и далек, как «дольней лозы прозябанье», как «горних ангелов полет».

Моцарту до всего есть дело — он завязан скрепцением судеб мира как узлом, на нем сошедшимся. Он брат всему, он отец и сын всего.

Сух, сторонен ложный аристократ, сноб, труженик и кузнец своей музыкальной карьеры, владелец «глухой славы» Сальери.

Это итальянец в Австрии, сохранивший в память о родине жгучие страсти горячей головы и холодного сердца, а еще — яд, прославивший Италийский полуостров со времен Рима, а затем властителей Медичи.

Искусство потребовало от него вдохновения, но он заменил его своими алгебраическими расчетами. Таков композитор Сальери у Пушкина.

Третий открыл нам, таким образом, и первого, и второго; а Моцарт, говоря о злодействе и абстрактном злодее, которого тут, рядом, и быть не может,— назвал на деле присутствующего.

Легкость, о которой непременно приходится говорить, определяя поведение Моцарта, есть следствие невидимой и неведомой работы, в нем происходящей и происходившей. Эта легкость есть триумф, итог, вершина, путь к которой — таинствен и совсем не прост.

Эта легкость дает ощущение пластичности. Пластичность же убеждает в несомненной красоте Моцарта.

Гармония всего в Моцарте может быть определена понятием калокагатийности, употреблявшимся Шефтсбери в его эстетике. Термин этот родился вместе с философией — в Греции в VII в. до н. э. Калокагатия означала тогда красоту, следствием имевшую и доброту человека. Callos cai agathos — красота и доброта.

Естество не терпело дисгармонии и наделяло прекрасного соответствующим ему внутренним благородством. Она была залогом богоизбранности.

Философы-моралисты — Сократ, Платон и их последователи — отменяют первенство красоты и видят в ней не источник, а следствие, либо одновременно возникающий союз этих свойств. Сократ склоняется к тому, что добродетель первична, как бы переставляя тем самым порядок слов в определении калокагатии.

Знаток и поклонник античности в XVIII веке лорд Энтони Шефтсбери (1671—1713) пробуждает это слово и понятие к новой жизни, но, в сложившейся сократовской и христианской традиции недоверия красоте, переставляет причину и следствие. У Шефтсбери благая суть человека — причина его внешней красоты (т. е. преобразование одухотворенностью).

Моцарт Пушкина — носитель калокагатийности. В нем тело, дух, разум гармонизированы некими властительными силами, манифестирующими себя во всем его «я».

Шефтсбери утверждает, что калокагатия — неотъемлемое свойство гения. На языке пифагоровых чисел, обусловливающих гармонию в творце, гармонию в творчестве, Шефтсбери скажет: «Если писатель от природы не видит и не слышит этих внутренних Чисел, едва ли сможет он судить о внешних пропорциях и симметрии целого, составляющей полноправное произведение искусства».

Примечательно то внимание, которое Шефтсбери, в самом начале XVIII века, уделяет проблеме творческой личности. Он создает термин «странствующий энтузиаст», который через сто лет подхватят немецкие романтики.

Под воздействием его идей зачинатель английского сентиментализма Эдвард Янг (1683—1765, фамилия переводилась как Юнг) пишет стихотворение «К гению» и эссе, имевшее значение манифеста,— «Размышления о самобытном сочинении» (1759). Эссе на русский язык перевел священник Грацианский и издал в 1812 году под названием «Мысли Юнга об оригинальном сочинении». Оно оказало большое воздействие на русские умы. Имеем все основания подозревать, что «Мысли Юнга» известны были и Пушкину.

Главная идея Янга — гений иррационален. «Оригинальный художник никому не дает отчета», он подобен растениям, «которые производит одна природа». «Небо не допускает партнеров при созидании своего духовного избранника... Они вступают в свет уже совершенными... Гений отличается от здравомыслящего, как волшебник от хорошего мастера: первый возводит строение невидимыми средствами, второй при помощи искусного употребления обычных инструментов. Сие всегда заставляло думать, что гений содержит в себе нечто божественное».

Далее особо знаменательные строки. «Неизвестные совершенства, коим нет примера и кои суть отличительные свойства гения, находятся вне пределов, в коих господствует ученость и предписывает свои законы. Правила суть костыли, которые для хромого необходимы, но мешают и удерживают ход крепкого и здорового человека.

Чем *менее* имеют *гения*, тем *более* чувствуют нужду быть *учеными*».

Цитирование Янга показывает, сколь многие его мысли о творчестве станут близки Пушкину. Интуитивизм, видимая легкость, неведомость источника шедевра — все это перейдет в трагедию о Моцарте.

Гений неподражаем, и сам он не идет, по утверждению Янга, известными путями. Вспомним сетования на этот счет Сальери, для которого лишь массовидное, целая школа «решенных задач» представляются достойными существования, полезными:

> Наследника нам не оставит он.
> Что пользы в нем?

Величие и избранность Моцарта как раз в том, что он одаривает мир неведомыми до того ангельскими звуками. Создавать им подобные невозможно и, вероятно, кощунственно.

В том же 1759 году, через несколько месяцев после Янга, в Германии другой создатель поэтики сентиментализма Иоганн Гаман (1730—1788) напишет «Сократовские достопамятности». Здесь, видимо, вне зависимости от Янга, он разовьет новые идеи.

Он определит различия между гениальностью и талантом (виртуозностью): «Гений творит, талант погружается в творение». Поэт у Гамана «стал носителем Божьей милости, воплощением Божественной гениальности. Истинная поэзия есть типичный акт пророчества» [1].

Как избранник высших начал гений полон силы. Ему свойственно интуитивное мгновенное проникновение в суть явления, схватывание. Он не останавливается а своей вечной устремленности — тут и сейчас, он проходит сквозь, как бы походя бросая то, что другому будет видеться как важное и окончательное.

Так и Моцарт у Пушкина произносит фразу о гении и злодействе как бы между другими словами беседы с другом, но она оказывается для Сальери убийственным и окончательным над ним судом.

Моцарт Пушкина знает об импульсинном, неведомого происхождения источнике творчества своего, а потому уверенно говорит о гениальности — Бомарше, Сальери и самого себя. В этом нет кажущейся нескромности — если неверно понимать значение слова «гений». В этом — лишь указание на источник. Источник — свыше.

Работы Янга и Гамана подготовили умы к восприятию искусства так, как это будет свойственно в начинающемся сентиментализме. Слово «гений», зазвучавшее у этих двух авторов, приобретает новый смысл.

Однако саморазвитие смысла слова на этом не кончается. Оно привязывается к Шекспиру, и в течение нескольких десятилетий его личность и творчество будут использоваться как образец гения и гениальности.

Одна из первых работ этого ряда — «Опыт о шекспировых творениях и гении» (1767) Генриха Вильгельма фон Герстенберга (1737—1823). Он определяет гений Шекспира, исходя из нравственной природы его творений. В трехтомном своем труде «Письма о достопримечательностях литературы» (1766—1770) Герстенберг атрибутами гения полагает оригинальность, сильную восприимчивость, чувствительность, страстность. Именно Герстенберг первым скажет о том, что гений — это *не степень одаренности, а сумма качеств*, свидетельствующих о бунте против обывателя. Вследствие этого нарождается термин, определяющий немецкий сентиментализм,— Geniezeit — время гениев, а носитель его именуется Kraftgenie — мощный гений. Когда в 1776 году появится пьеса Клингера «Sturm und Drang» — «Буря и натиск», молодых новаторов станут называть еще и поэтами бурных стремлений, штюрмерами.

Слово «гений» делается необычайно популярным и обращается вскоре уже и к каждому оригинальному и оригинальничающему субъекту, порой ни с каким творчеством не связанному. Герстенберг называет 70-е годы XVIII века Geniezeit.

Следом за ним его друг Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803) будет развивать сходные идеи, в частности руссоистский культ непосредственности, первенства прирожденного над взращенным.

Признав «натуральный гений» Шекспира, Гердер устремился к натуральности и именно этот компонент полагал определяющим в пору «бурных стремлений». Гердер собирает и прославляет песни диких, неиспорченных народов. Ученик Гамана, он употребляет термин «гений» в том же смысле, что и его учитель.

Идеи Гамана с предельным уклоном в сторону интуитивизма продолжит друг юности Гете швейцарец Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801), который в своих знаменитых «Физиогномических фрагментах» (1775) замечает, что «поэт есть открыватель природы, вне его никто не знает естества, и с самого начала мироздания без поэзии и пророчества оно и не могло быть познано... Гениальность не наблюдает. Она видит (созерцает). Она чувствует (переживает)».

Подчеркнут не только интуитивизм, но и подчиненность гения, как бы проводящего через себя токи свыше.

Ранний период толкования слова «гений» завершился к концу семидесятых годов. После Янга, Гамана, их единомышленников и произведенной ими революции в понимании сути гения открылось наново и полно то, что с давних пор называлось «божественным вдохновением».

«Так от Гамана стало исходить для Германии истолкование поэзии как великого импульса, соразмерного чувству, появилось понимание божественных изначаль-

---

[1] B r u n o M a r k w a r d t. Geschichte der deutschen Poetik. B. II. Berlin/West, 1958, S. 361.

ных сил — источников для всего поэтического»[1].

Готовящаяся новая, романтическая эпоха как бы манифестирует в пору сентиментализма свои чуждые рационализму основания. Ханс Август Корф в замечательной монографии (5 томов) «Дух времени Гете» пишет: «Революция художественных взглядов в начале времени Гете обнаруживается прежде всего в перевороте всех ценностей, который начинается вместе с рождением парадоксального понимания: *истинное искусство должно быть натурой*, а не культурой».

Далее Корф отмечает, что Янг, говоря об импульсивном характере художественной деятельности гения, дал начало периоду раннего Гете, новому восприятию искусства.

«Как природа выражает *себя* в своих созданиях, так выражает *себя* в своих творениях поэт — из иррациональных глубин гения, его неосознанного естества и в нем действующей природы». Его творчество — «выражение его жизни». Глубина переживания и сила интуиции — условия появления гения.

Размышлял, писал о сути гения и Гете. В письмах на протяжении пятидесяти лет (1780—1832) он снова и снова возвращается к этому понятию.

Богоданность гения, пассивность его перед силами неба, рекламируемые Лафатером, его раздражают. Однако Гете излагает мысли, близкие к сложившейся традиции тех лет.

3 апреля 1801 года он пишет Шиллеру: «...все то, что гений делает именно как гений, происходит неосознанно... Однако сам гений может путем размышления и работы постепенно возвыситься до того, что создаст под конец образцовые произведения».

За несколько дней до смерти он снова в письме Вильгельму фон Гумбольдту скажет о том, что в гении приобретенное связывается с прирожденным, в нем наличествуют «многообразные связи между сознательным и бессознательным».

Шиллер почти не отличается от Гете по своим позициям в интересующем вопросе. Сошлемся лишь на одно из его писем к Гете от 23 августа 1794 года: «Вам... приходилось вновь возвращать идеи к их интуитивному истоку и превращать мысли в чувства, поскольку гений может творить лишь с помощью последних». Далее Шиллер утверждает, что Гете, то есть подлинный гений, объединяет в себе отвлеченный дух, исходящий из единства мира, и интуитивность, проистекающую из многообразия этого мира.

Как представители позднего Просвещения (или Веймарского классицизма), прошедшие в юности школу сентиментализма («Бури и натиска»), Гете и Шиллер стоят на позициях гармонического слияния в гении интуитивного, развитого трудом и размышлением.

И Гете, и, в особенности, Шиллер опирались не только на идеи 1770-х —1780-х годов, но и на мысли Иммануила Канта. В своем труде «Способности суждения» (1790) он выводит четыре свойства гения и в значительной степени рационализирует (как поздний просветитель) само понятие. Он пишет: «Гений — это прирожденные задатки души (ingenium), через которые природа дает искусству правила».

Слово ingenium входит в постоянный обиход и философии, и литературы тех лет[1]. Им выражается вся сумма представлений, сложившихся в 1750-е —1780-е годы о сущности гения. Ingenium — это врожденные, свыше вложенные богатства, которыми одарены только гении. Слово это подразумевает однозначную и самоочевидную корреляционную связь Абсолюта с избранником его. Между тем Кант, совершенно как и Гете, пишет, что этот носитель ingenium'а должен дополнять данное ему размышлениями, трудом: «Гений — это воображение и рассудок».

Говоря о новых правилах искусства, обнаруживаемых лишь гением, Кант делает замечание о том, что эти правила не регламент, а, скорее, демонстрация еще одного способа проникновения в естество природы, мира: «произведения гения...— это пример не для подражания, а для преемства со стороны другого гения, в котором оно пробуждает чувство собственной оригинальности и стремление быть в искусстве свободным».

Гений — неподражаем. Мысль знаменательная для пушкинской трагедии.

Романтики в первые годы XIX века усвоили тенденции, развиваемые сентименталистами и, в частности, последним представителем этого направления в Германии. Им явится Жан-Поль Иоганн Рихтер (1763—1825).

Итог полувекового накопления представлений о том, что́ есть гений, кредо было высказано им в «Приготовительной школе эстетики» (1804).

«Безошибочная примета гениального сердца — это новое созерцание жизни и мира».

Жан-Поль в традициях его предшественников последовательно противопоставляет талант и гений: «В философии простой талант бывает исключительно *догматичен, даже математичен и оттого нетерпим*».

[1] B. Markwardt, B. II, S. 361.

[1] Так, девизом Дерптского университета, открытого в первые годы XIX века, станут слова Ingenio et stadio — Одаренностью и ревнительностью; на памятнике Ф. М. Клингеру (Смоленское лютеранское кладбище в Петербурге) поставлены будут слова Ingenium magnus, probitate major — Одаренностью великий, скромностью величайший.

(Выделено мною.— *Н. Т.*) Гений же, «великий философ», как на этот раз скажет Жан-Поль, «пребывает в средоточии чуда».

«Поскольку нет ни образа, ни оборота, ни мысли гения, которых не достиг бы талант в своем высочайшем порыве,— только целого он не достигает, то талант на время могут принимать за гений, и часто случается даже, что талант, словно зеленый холм, гордо блестит рядом с каменистой вершиной Альп... Таланты могут взаимно уничтожать и подменять друг друга, будучи степенями одного, но гении не могут, будучи целыми племенами».

Целым Жан-Поль именует Универсум, который открывается гению, а порой с ним сливается[1].

В главе «О гении», продолжая гамановское различение гения и виртуоза, Жан-Поль пишет о художественном *инстинкте* виртуоза, однако снова утверждает неполноту этого инстинкта, обретающего многообразие у гения.

У гения, замечает он, должен быть особый орган, преобразующий мир, «как то было у Моцарта», и тогда «слепая безошибочность инстинкта» оказывается совершенной.

Жан-Поль утверждает также единство тела и духа у гармонических натур. Оно отражается и на мировосприятии. Только тот, кто близ Универсума, в центре мироздания, то есть гений, соединяет эти два начала, которые на периферии, как бы разбегаясь друг от друга, образуют круги разных радиусов, разных устремлений. Единство расщепляется, давая все более дисгармоничную личность, чем далее она отстоит от центра, от гения. Эта гармоническая слиянность представляет, собственно, вариант той калокагатии, который представляет Шефтсбери.

«Гений соединяет в себе и своем творчестве Луну и Землю,— пишет Жан-Поль,— в то время как таланту "всегда недостает неба", он растаптывает все высокое, дотянуться до которого ему невмоготу, его дни и идеи "волочатся вперед на ножках и кольцах гусеницы"».

Итак: гений есть тот, «первый и последний признак которого — созерцание Универсума».

В России Жан-Поль был известен в отрывках. Во французском переводе «Мысли Жан-Поль Рихтера», опубликованные в 1829 году, были подарены Пушкину Ю. Н. Бартеневым 31 августа 1830 года. Примечательно, что «Моцарт и Сальери» был завершен 26 октября того же года.

Последним выразителем понятия «гений» — в его англо-немецком смысле конца XVIII — начала XIX века — явится Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854). Его позиции близки Жан-Полю, хотя каждый из них по-своему подводил итог синтезированию понятия «гений». После них начнется анализ, расщепление и распад смысла.

Как Жан-Поль, Шеллинг соотносит полноту созданного гением с Абсолютом. Силу, вносящую завершенность, объективность в творение, «определяем таинственным понятием гения»,— пишет он.

Как Кант, он утверждает, что гений может обнаруживать себя *только* в искусстве. Науки, область иного рода деятельности, не дают образа гениальности, а только способностей, может быть, таланта. «Гений отличается от всего того, что не выходит за рамки таланта или умения своей способностью разрешать противоречие абсолютное и ничем иным не преодолимое». Абсолют же «не ведает противоположности ни над собой, ни в себе, а ведает ее только ниже себя... к природе Абсолюта относится и то, что форма в нем есть сущность, а сущность форма».

Гимном творчеству, искусству оказываются слова Шеллинга: «Художник, создавая — пусть даже совершенно намеренно — то, что в его творениях истинно объективно, кажется подчиненным некоей силе, обособляющей его от всех остальных людей и заставляющей его высказывать или изображать то, чего он и сам полностью не постигает и смысл чего бесконечен по своей глубине... Искусство остается для нас единственным откровением, чудом».

Последние строки Шеллинга так непосредственно примыкают к трагедии Пушкина, что она видится словно подводящей итог пятидесятилетнему культу «гения», где ранний период завершается в 1780 годы, а поздний — в начале XIX века. Периоды разнятся, прежде всего, «мерой спроса» с гения.

Если в начале понятие сопрягается более с оригинальностью и бунтарством, то к концу гений уже не только избранник свыше, но и совершенное выражение Абсолюта (Универсума).

Из всего вышесказанного ясно, что эпоха Гете в Германии, а у нас эпоха Жуковского — Пушкина имела вполне сложившийся образ того, что сопряжено с понятием «гений». Это импульсивность, интуитивизм, избранничество свыше или, по-иному, связанность со стихиями, природой. Гений всегда противоположен однозначности рационализма, урбанизма. Он — сын естества, через которое говорит с ним пантеизированный бог.

Гений накоротке со всем, что определяет собою жизнь. Силы естества наполняют его, а он выражает их словами, красками, звуками.

Все это знал Пушкин. Все это и выражал

[1] Термины Абсолют и Универсум употребляются на равных, хотя Абсолют отождествляется с божеством, а второе понятие включает и Абсолют, и зависимое от него мироздание.

он своим Моцартом. Созидая Сальери методом «не то и не то», он еще ярче обводил контур Моцарта, который был «то». Антитеза «гений» и «талант» работает здесь, персонифицироавнная в лице двух музыкантов. Один, рационалист, выражал свое кредо точно, последовательно, логично. Другой, дитя природы и высших сил, обнаруживал свою инобытийность в музыке, в беглых замечаниях — вполне, однако, достаточных для понимания его.

Моцарт бесконечно богат, а оттого бесконечно щедр — на доброту к нищему музыканту, к Сальери, типичному таланту, которого он царственно производит в гении.

Сын природы, избранник Абсолюта, не может быть темен и скуден (скуден Сальери), не может быть зол и завистлив — кому и завидовать, если нет его выше? Созерцающий и вмещающий гармонию, один из воплотителей самого Абсолюта, естественно, быть злом или совершить зло не может.

Гений и злодейство происходят из разных миров. Отпавший от света и его законов переходит во тьму и ее законы. Отторгнувшийся от Бога оказывается приблизившимся к Сатане. Несовместны, альтернативны их миры.

Мысль эта совершенно аксиоматична только тогда, когда известно, *что* есть гений, каковы его неотъемлемые свойства. ***Гениальность — не мера и степень. Это качество.***

Гений как *самоочевидное* проговаривает фразу, которая звучит словно бессознательное воспроизведение слов, неведомо откуда взявшихся, лишь идущих через него. Фраза устремлена вдаль, она сентенция — как бы и без адреса: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Но ею Сальери обречен находиться среди не вовсе, может быть, бездарных, но середнинно-серых, принадлежность к которым ему, всю жизнь стремившемуся к некоему демонически одинокому избранничеству, горше адских мук. В гениальности ему отказано, и сам он подтвердил правильность суда своим поступком, свершенным сразу после слов Моцарта.

Он логик, и одной фразой его формулу, заранее решенную, не разрушить. Задумается он над словами Моцарта, примет их правду как высший к нему снизошедший Логос чуть позже.

Почти бессознательно он дословно повторит фразу Моцарта. Но Моцарт говорит эмоционально и легко, с певучей интонацией, обозначенной разделяющей интонационной запятой (в неакадемических изданиях она заменена логическим тире). Сальери скажет фразу спокойно, он проборомчет ее как нечто отныне вживленное, гипнотически вошедшее в его сознание и совесть. И Пушкин снимает знак, снимает неуместную живую интонацию у своего рассудочного персонажа.

Убийство было математически вычислено. Божественное, неподражаемое не должно смущать детей земли, отвлекать их от обыденного. Жизнь равна формуле, и ей не следует выходить за пределы регламента.

Сальери в этом принижении духа и души человека, тварного мира вообще, видит некое свое величие. Безусловно, великий инквизитор Достоевского — его наследник.

Он мнит, что убийство может иметь в себе нечто величавое, если свершается по традиции, «как у всех». По его понятиям, *смешной* Бомарше не мог быть отравителем. А Моцарт утверждает иное — отравителем не мог быть гений.

Себя и свое мнимое величие Сальери пытается уподобить Буонарроти из легенды. Тот якобы убил натурщика, чтобы естественнее изобразить провисавшее тело распятого. Фраза Моцарта озадачила его. Он полагал, что во имя искусства можно убить жизнь, но гений Моцарт сказал ему, что жизнь важнее и только то искусство гениально, которое это постигает. Благоговея перед жизнью — пусть это слепой музыкант — как перед чудом, сознавая в ней волю Абсолюта, присоединяясь к этой воле,— творит гений, творит Моцарт.

Нравственный урок преподан для Сальери. *Абсолют — жизнь — искусство.* Это три нисходящие ступени. Жизнь во имя искусства убита быть не может, как мать во имя рождения ребенка. Гений не может убить. Теперь Сальери понял, что «создатель Ватикана» не был убийца, а он убийца, потому что не гений и не избранник высших сил, того Абсолюта, который о нем не ведает.

И Моцарт, и Сальери, и их создатель Пушкин вкладывают в понятие «гений» один и тот же смысл. Так же воспринимали это слово и предшественники Пушкина, и современники. Для примера приведем письмо 1821 года одного душевно близкого Пушкину поэта к другому — Кюхельбекера к Дельвигу: «Искренность первое условие вдохновения, чернь не способна даже к заблуждениям великих... наслаждайтесь их гением, идите по пути, который вам указывают... Вернейший признак души поэтической — страсть к высокому и прекрасному... поэт действует по вдохновению и столь же мало гордится своею жизнию, как и своими творениями, ибо чувствует, что все ему данное есть дар свыше, а он только бренный сосуд той божественной силы, которая обновляет и возрождает человечество». Одиночество и преследования ждут его, «юноша-гений знает все это — и решается быть поэтом».

Но кончилась пора романтизма, перестали утверждать избранничество свыше гения, пророка. Уже в следующие десятилетия в России забылось то, что знали в 1820-е —1830-е годы.

Была и другая причина забвения, а затем смысловой деформации слова. Постоянные контакты с французской литературой, аккуратные публикации переводов почти всего, что издавалось во Франции, и все более глохнущие связи с немецкой традицией и, тем более, английской.

Янг, кажется, совсем не перешагнул порог XIX века (исключая его «Мысли»), Шефтсбери переведен не был, как и немецкие сентименталисты Гаман, Герстенберг, Гердер. Несколько лучше представлялся Жан-Поля.

Немецкие романтики почти не переводились на русский язык и были достоянием изысканного круга читателей.

Кант и Шеллинг, утверждавшие в философии типичные для романтизма и предромантизма идеи о гении и сути гениальности, стали уходить в область забвения, а порою и косвенной насмешки — и вот, толкуя фразу Пушкина о гении и злодействе, стали опираться на французское объяснение этого понятия. Получился совершенно иной, чем диктуется Пушкиным, смысл: «Гений — это высшая творческая одаренность».

Именно так, вполне рассудочно, на протяжении столетий понимают гениальность во Франции. Гениальность — это комплекс предельных возможностей человеческого разума. Так, Вольтер пишет: «Термин гений, по-видимому, должен означать не просто большой талант, но талант, наделенный творческой изобретательностью».

Между тем как у Пушкина, так и у англо-немецких мыслителей до того, «высшая творческая одаренность» и «талант, наделенный творческой изобретательностью», могут быть атрибутами гения, но могут и не быть ими.

Гений — это иное качество, чем талант и даже одаренность. У него иной источник. Противостояние вдохновенного рассчитанному, импульсивного рассудочному обозначило в конце XVIII — начале XIX века победу гения над талантом, победу сентиментализма и романтизма над двумя столетиями классицистической размеренности и нормативности, подавлявших свободу творившей личности.

В этой традиции возрос, воспитался Пушкин. Сложившаяся современная трактовка не только обедняет и мысль, и нравственный суд поэта над вторичными явлениями в творчестве, но и приписывает ему совершенно чуждую и ему, и его эпохе концепцию.

Источником нравственной красоты Гения для Пушкина было единство его с творящим Универсумом мира, единство с природными, стихийными, плодоносными началами, бесконечность созидательных сил, которые обратны уничтожению, злодейству. Это утверждал русский гений Пушкин.

С. Н. Носов

ВЕХИ АБСУРДА

Когда-то Иванов-Разумник, жестко критикуя творчество Розанова за «юродство» формы — безответственное жонглирование как словами, так и идеями, бесконечные смысловые выверты и «нечистоплотные» идеологические ухищрения,— заметил, что Розанов в качестве ответа на подобные упреки, конечно, заявит, что небесные светила движутся не по прямой, а по кривой траектории, «а по прямой летают только вороны». Такая возможная самозащита Розанова казалась Иванову-Разумнику лишь очередным проявлением литературного каприза, не заслуживающим серьезного внимания. Яркий представитель неонароднической критики начала XX века, Иванов-Разумник, наследуя идеи русского демократического «шестидесятничества», стремился видеть в художественном образе только наглядную «оболочку» идеи и неизменно искал в художественных, а тем более литературно-критических и публицистических произведениях (заметим, что большинство статей и книг Розанова можно охарактеризовать как своего рода «лирическую публицистику»), определенную смысловую полезность, четкую — что-то доказывающую и что-то опровергающую в кругу «проклятых вопросов» бытия — идейную подоснову. Естественно, в розановском неприятии «прямых траекторий» художественного мышления — а мыслил Розанов, бесспорно, художественно, избегая самой логичности и не любя всякую последовательность,— усматривал Иванов-Разумник дерзкое в своем сознательном юродстве покушение на честность мысли. Но Розанов не по прихоти лишь превращался по мере своего творческого роста в анархиста в обращении с идеей и словом. Некое узаконивание «каприза», как идейного, так и образного, легализация образной и идейной беспорядочности налицо в его поздних произведениях. Его «каприз» демонстративен, вызывающ. Но анархизм литературный, равно как и анархизм политический, есть поиск свободы, причем свободы абсолютной, не во имя чего бы то ни было, а вопреки чему бы то ни было утверждаемой, безмерно эгоистической по глубинной своей сути.

Рассмотрим один из простейших и вместе с тем наиболее экстравагантных примеров. В «Опавших листьях» Розанов пишет: «Вся, напр. моя (многолетняя и язвительная) полемика против Венгерова и Кареева вытекла из того, что оба — толстые, а толстых писателей терпеть не могу. Но «труды» их мне нисколько не враждебны (или «все равно»)». В этом заявлении ощутимы обнаженный, демонстрируемый читателю душевный излом, «выверт» и следующее из него кривление смысла или — проще — кривляние. По сути дела, перед нами псевдооткровенность пресыщенного добропорядочностью или уставшего от нее писателя, целенаправленно «дразнящего» своего читателя. Вполне понятно, что критиковать труды ученого лишь вследствие того, что этот ученый «толстый»,— мягко говоря, неэтично. Розанову этот момент — сообщение о собственном неблагородстве — как раз и интересен. Его соблазняет демонстративный выход из-под контроля нравственности — алогизм бесцельного «выговаривания» как бы подноготной собственных поступков и производимый этим «выговариванием» эффект абсурда. Розановым явно запрограммирована сложная читательская реакция на свое откровенничанье — смесь раздражения, заинтересованности и озадаченности. Заметно психологическое родство розановских вывертов с известным поэтическим «требованием» Маяковского: «причешите мне уши». В обоих случаях — и для Розанова, и для Маяковского — важна, искушающа возможность, так сказать, рассмеяться в лицо миру. Смех этот — не только смех, рождающийся при погружении в состояние «нравственной невесомости». Он и философичен — «зол» на жизнь и печален одновременно. Философически определяет «качество» этого в общем-то старинного скоморошьего смеха воинствующе футуристическая (да и нигилистская по сути) поэтическая декларация Хлебникова:

> И я думаю,
> Что мир —
> Только усмешка,
> Что теплится
> На устах повешенного.

Вспоминается в этой связи и знаменитая хлебниковская звукопись на тему смеха:

> О, рассмейтесь, смехачи!
> О, засмейтесь, смехачи!
> Что смеются смехами,
> Что смеянствуют смеяльно...

Трудно оспаривать отсутствие в этих строках не только большого, но и какого-либо смысла, идейного или понятийного содержания. Этот хлебниковский поэтический эксперимент — игра слов, манящая и значимая своим звуковым эффектом. Обращает на себя внимание, что Хлебников использует не просто однокоренные слова, но слова родственные, «рифмующиеся» и по смыслу почти взаимозаменяемые. Поиск гармонии слов, их смыслового и звукового единства намеренно доведен поэтом до абсурда — создана псевдогармония, состоящая из «бубнения» одного и того же. Можно сказать и так: идея гармонии воспринята «по-армейски» как единообразие. На языке живописи сходным с хлебниковской звукописью окажется, к примеру, изображение на пространстве всего живописного полотна переливов стоячей воды, ее тонких до неразличимости оттенков. Самое большее, что может сохранить поэт или художник в таком случае,— это настроение. Но Хлебников не стремится и к литературному импрессионизму — он стремится погрузиться в глубины первородного бытия слов на фоне смыслового вакуума. Слова теряют при этом свою «служебную» функцию — для выражения идеи, чувства и т. д.,— существуя как бы сами по себе, непроизвольно выговариваются и непроизвольно заговаривают, не подчинены разуму и чувству, а властвуют над ними. Если вернуться к Розанову, то и он «заговаривал» читателя, беспардонно выбалтываясь перед ним. Читатель, погружаясь в «розановщину», погружался и в энергетическое поле алогической розановской психики, в неясный мир гипнотизирующей чувственности.

Подобный разгул подсознания в литературе не случайно сочетался с увлечением алогическими извивами образного мышления. П. Струве в посвященном Розанову очерке «Большой писатель с органическим пороком», подводя итоги сопоставлению взаимнопротиворечивых «левых» и «правых» политических статей и высказываний Розанова, заметил, что розановское отношение к жизни — чисто художественное, не считающееся вследствие гипертрофированного эстетизма с категориями добра и зла. Деление на истинное и лживое заменяется в сознании Розанова — в какой-то мере, конечно, поскольку как мыслитель Розанов проявлял себя и подлинным правдоискателем — делением на художественное и антихудожественное: художественное для Розанова всегда ценно, какую бы правду или неправду ни утверждало. В сущности, Розанов ищет одно-единственное — эмоциональную интенсивность. И искомыми раздражителями чувств становятся для него чаще даже не светлые, а темные и потаенные «струны» бытия, неправедные стремления и сама антиномичность жизни. Впасть в противоречие (особенно без видимого повода) для Розанова — наслаждение. Культивируя непоследовательность, алогизм, Розанов стихийно опирался на то свойство художественного мышления, которое можно определить как сближение, сталкивание несовместимого. Используем для пояснения азбучно простой пример: писатель, характеризующий глаза героя как «стальные», приписывает им тем самым свойства стали. Понятно, что стремится он наглядно продемонстрировать отраженные в глазах героя жестокость или бездушие, что обращение данного писателя за помощью к сравнению глаз со сталью естественно. Но и объективный мир не случайно расчленен в человеческом восприятии на группы сходных и несходных предметов и явлений — глаза есть глаза, сталь есть сталь. Сравнивать глаза со сталью можно — вне метафорического виденья мира художественность умирает, вытесняемая логичностью,— однако смешение разнородного чревато и хаосом сознания, подводит к абсурдизму. Сравнение и следующее за ним совмещение (в метафоре) предметов и явлений в принципе — при полной свободе — разрушительно по отношению к любым логически стройным или научным представлениям о мире. Один из современных поэтов сравнил бурлящее море со свалкой велосипедных рулей. Читатель вправе задать вопрос и вправе знать: что же все-таки изображено — свалка или море. А поэт претендует на право на этот «старомодный» вопрос не отвечать — он предлагает читателю только изображение своего «самоценного» ощущения, отбрасывая как несущественный вопрос о его объективном источнике. В общем-то может данный поэт и не отличать — скажем, по эстетическим качествам — моря от пригородной свалки, сообщая свою слепоту читателю, увлекаясь и увлекая ею. Собственно, и Розанов, демонстративно не различая «трудов» ученых Венгерова и Кареева и их внешнего вида, стремится заразить читающего его признания своим «наплеватель-

---

Носов Сергей Николаевич (р. 1956), кандидат исторических наук. Автор работ о славянофилах, В. В. Розанове, В. С. Соловьеве, монографии «Аполлон Григорьев» (1990). Печатался в журнале «Русская литература», сборниках «История и историки», «Исторические записки» и др. Живет в Ленинграде.

ским» отношением к отвлеченным научным проблемам, хаотичностью своего сознания.

Розанову, как и другим тянущимся к алогизму и художественному хаосу сознания писателям, явно тесно и душно в знакомом и правильном мире выверенных причинно-следственных связей. Не только Розанову — многим (примерно с рубежа XX века начиная) очень и очень надоело все хоть сколько-нибудь ясное, рационально объяснимое. Если Розанову еще хочется избавляющей от диктата разума мистики, таинственности, священнодействия, то его прямым и косвенным преемникам на пути сладостного «врастания» в мир алогического уже неприятна и религиозность: им надоело само стремление к знанию.

Симптомы подобной всепоглощающей скуки — причем презрительной, агрессивной — заметны в прозе Набокова, разрастаются в ней, торжествуя в его последних английских романах. Рассказывая о своей жизни в «Других берегах», Набоков, при всей стилистической изысканности манеры повествования, очень похож порой на ехидничающего и как-то горько кривляющегося, утомленного жизнью и придавленного ею плебея Розанова. Характерен, скажем, такой отрывок: «Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814—1889), патолог, автор таких работ, как „О развитии идеи болезни" или „Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц" — в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных, и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были „Теперь понимаю: все — вода..." Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетевшая птица». За этими строками маячит скучающая и безадресная насмешка. Неблагообразное и комичное, нелепое — изломы и выверты бытия — особенно влекут Набокова. И диковатое предсмертное изречение его родственницы «все — вода», и вспоминание случая с птицей, испражнившейся на шляпу известного художника во время рассказа о том, как довелось ему видеть Пушкина,— все это комическое, нарушающее благообразие бытия существование нравится Набокову, развлекает его.

Созвучен цитированному набоковскому описанию характерный отрывок «Уединенного» Розанова: «На цыпочках, с довольным лицом, подходил к нам Шварц или Шмидт и проговорил с акцентом: „Сегодня будут мозги". Это в разряжение вечного „крылышка гуся", т. е. кости, обтянутые шероховатою кожею, которую мы обгладывали „без божества, без вдохновенья"». Розанову настолько нравится, что за обедом приходится порой «съесть мозги», что пустяковый эпизод в кухмистерской он включает в книгу как находку, ощущая прикосновение диковатого, будоражащего комизма.

Заметно тяготение к алогическому в прозе Платонова. Разрушение логики рождает или таинственность (страшное, загадочное), или смех (нелепое, комическое). Платонов, естественно, тяготеет к последнему — «неулыбающийся» мистицизм в XX веке все-таки несвоевремен для человека с развитым сознанием: слишком зримы в нем отблески наивного романтизма. Возвышенно-романтическое и проверяется в прозе Платонова иронией, и подвергается (за счет вторжения ядовитой иронии) безостановочной идейной «коррозии». Один из героев «Чевенгура» заявляет: «У нас все записано и по ртам забронировано. Фельдшера звали, чтобы норму пищи без предрассудка навсегда установить». Фельдшер, устанавливающий «навсегда» и «без предрассудка» норму пищи, «забронированную по ртам»,— конечно, диковато, веет абсурдом. Серьезная деловая и официальная речь уродуется в итоге идиотического применения — высекаются искры едкой, убийственной для примитивного идеализма иронии. Впрочем, ирония Платонова очень целенаправленна, социально заострена — лишь иногда она вырывается из-под авторского «присмотра», становится неразборчивой, как бы демонстрируя свою всепоглощающую разрушительность.

Генезис алогической литературы «безмыслия» и абсурда, первопричины ее шествия на литературный небосклон XX века становятся очевидны при обращении к творчеству Д. Хармса. В абсурдистской прозе Хармса — признанного основателя этого направления не только в русской, но и в мировой литературе — очень ощутимо напряжение первого рискованного рывка из-под «опеки» здравого смысла. По-настоящему абсурдны и абсурдистски «веселы» — воплощают анархически раскрепощенное сознание, преодолевшее «законы тяготения», свойственные реальному миру, миру жестких причинно-следственных связей — лишь лаконичные пародии, стихотворения и «микрорассказы» Хармса. Они — своего рода вспышки победившего алогизма, обрывающиеся столь же неожиданно, сколь неожиданно и рождались на фоне «трезвой» будничности. При обращении Хармса к более крупным формам — обыкновенному по объему рассказу — можно наблюдать обратное: вторжение реальности в мир алогического, мир, теряющий в итоге независимость от очевидного, герметичность. Характерна в этом смысле повесть «Старуха». Она мрачна той «густой» мрачностью, которая не развеивается надеждами на счастливое социальное переустройство общества или замечательное нравственное перерождение человека; чувствуется, что изображаемая в ней жизнь — некая данность, константа, что эта жизнь всегда такая...

Героя повести посещает кошмарное видение — отвратительная старуха, обретающая над ним таинственную власть и в его комнате умирающая. Явление старухи сливается с кошмаром самой реальности, олицетворяет его. Оно столь же реально в контексте повести, как и Ленинград 1920—1930-х годов, окружающий героя, как и иные переживаемые им события и встречаемые люди. Можно сказать, что явление старухи и столь же реально, как сама действительность, и столь же нереально, как эта действительность. Все объективно сущее, по Хармсу, есть затянувшийся кошмар. Ища избавления от прорвавшейся в явь кошмарной галлюцинации, герой задумывает убить старуху, не доверяя факту ее смерти (ведь любая бессмыслица — и особенно бессмыслица страшная — может, как подсказывают ему собственные ощущения и опыт, случиться в этом мире). Вырисовывается явственная параллель с замыслом убийства старухи-процентщицы Раскольниковым. И герою Достоевского, и хармсовскому герою мечтается достичь избавления от кошмара реальности путем убийства; Раскольников при этом мечтает о счастье всеобщем, герой повести «Старуха» только о собственном — и не вследствие эгоизма, пожалуй, а вследствие реализма. Как для Раскольникова, для героя Хармса образ старухи воплощает всю низость мира и все его зло. Однако если для Раскольникова задуманное убийство — следствие гордыни, сопричастно помыслам об искоренении зла, то герой хармсовской повести только защищается от кошмарных гостей из внешнего мира. Видение старухи, присвоившее себе все черты реальности, этому, маленькому в общем-то, герою необходимо вытолкнуть в несуществование любым доступным способом. Убийство совершить ему не приходится — смерть старухи оказалась действительной, и дважды умереть покойница не может. Герою приходится лишь упрятать в чемодан труп старухи и вывезти его в пригород, чтобы закопать, скрыть следы происшедшего. Черты расправы с кошмарной покойницей в такой развязке остались, хотя и в сглаженном варианте, не дающем почвы для рассуждений о том, все ли позволено герою во имя самосохранения. Но позволено Хармсом своему герою тем не менее многое, в частности — явная недоброта по отношению к окружающему. Так, по поводу мешающих ему заснуть дворовых мальчишек этот герой размышляет, погружаясь в злорадные фантазии об их наказании: «С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться... Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и все они околевают». Косвенно подобные жестокие фантазии — следствие общей жестокости мироустройства. О тех же дворовых мальчишках, например, в повести попутно замечено: «Я вышел на улицу. По противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку».

Перед читателем бесстрастное изображение детской жестокости. Не вполне объяснимым поэтому может показаться обращение Хармса, так по-кафкиански смотрящего на жизнь в повести «Старуха», к литературе для детей — можно предположить, что писатель заранее не особенно любит своего детского читателя и без энтузиазма приспосабливается к его запросам. Но работа Хармса в области детской литературы и естественна — им апробируется выход в спасительную детскость мировосприятия, позволяющую игнорировать несветлые реалии бытия, погружаться в бездумную, а потому и безоблачную фантазию. В известном смысле для Хармса мрачна всякая мысль — мрачна и (что особенно существенно) скучна. Безмыслие для писателя — состояние идеальное, блаженное. В детском мироощущении, не обремененном тяготящим глубокомыслием, оно казалось родным.

Притягательное своей веселостью и простотой, детское восприятие жизни, которое Хармс примеряет к своим творческим поискам, не оказывается, однако, детски безобидным. «Детскость» мышления для Хармса — форма псевдоневинного дурачества, скоморошества. За этой блаженной детскостью скрывается намеренное оглупление окружающего мира. «Точка зрения» ребенка избрана во имя пародирования жизнеустройства. Иронизируя лишь как бы невинно, Хармс остается очень часто лишь как бы весел. За его смехом — озлобление. Показателен такой, например, стишок:

Дни летят, как ласточки,
А мы летим, как палочки.
Часы стучат на полочке,
А я сижу в ермолочке.
А дни летят, как рюмочки,
А мы летим, как ласточки.
Сверкают в небе лампочки,
А мы летим, как звездочки.

В этом рассчитанном на взрослого читателя стихотворении есть и остаточная, так сказать, детскость — сюсюкающая интонация, «ласкательные» наименования, этакая невинная глуповатость. Но, конечно, воспроизводится Хармсом нелепость «взрослого» мира, в котором «мы летим, как палочки», а «дни летят, как рюмочки». Гримируясь под ребенка, писатель язвит над добропорядочным мировосприятием, от которого веет духовной сытостью. Насмешкам Хармса трудно «перечить» — в мире действительности предостаточно (в любые времена) самого разнородного зла. Но все-таки его мировоззрение лишено милосердия. А это грозит безмерной гордыней. И гордыня Хармса явлена и его творчестве. Процитируем, скажем, такие выразительные строки:

Не держите меня за руки,
Я рукам волю дать хочу.
Расступитесь, глупые зрители.
Я ногами сейчас шпыняться буду.
Я пройду по одной половине и не пошатнусь,
По карнизу пробегу и не рухну.
Не перечьте мне. Пожалеете.
Ваши трусливые глаза неприятны богам.
Ваши рты раскрываются некстати.
Ваши носы не знают вибрирующих запахов.
Ешьте суп — это ваше занятие.

Хармс избегает трагического, преодолевает его посредством иронии. Это выявляет, пожалуй, новое качество категории трагического в литературе — человечность. Трагизм в известном смысле — следствие гуманизма. Абсурдистский оптимизм Хармса — подлинен, но он оказывается жестоким оптимизмом.

Морализаторство в оценке явлений литературы — позиция неблагодарнейшая. Эстетически ценное практически нельзя осудить — оно неизбежно побеждает своих оппонентов, имея в своем арсенале прекрасное оружие: художественность. В самом общем виде, кроме того, «гений и злодейство» действительно несовместны — анархически бунтующий Хармс был, думается, влеком какими-то глубинными течениями человеческого мировосприятия, которые, противясь традиционным ценностям и предостерегая человека от «закисания» в духовном благополучии, в конечном счете вели к новой духовной свободе, оказывались созидающими. Трудно отыскать созидание у самого Хармса, но оно существенно для его преемников.

Писатель-абсурдист — неизбежно максималист: лишение действительности качества «разумности» (демонстративный спор с формулой Гегеля: все действительное разумно) не может не отозваться гиперболой, как, впрочем, и доказательство безупречной целесообразности всего происходящего в мире. В «пустоты», образовавшиеся от сдвинутого с господствующего положения культа разума, и устремилась модернистская литература с абсурдистским «привкусом». Устремилась жадно, устраивая порой — в драматургии Ионеско например — призванные обличить бессилие разума вакханалии абсурда. Но по мере освоения алогического мира, в котором причинно-следственная детерминированность событий и явлений недействительна, воинственность литературы, искушенной «демоном абсурда», иссякает и должна иссякать. Мир «безмыслия», утвердив себя, становится и вполне миролюбивым — предназначенным для законного отдыха от тягот жизни. Такие примирительные тенденции явно господствуют в прозе Николая Исаева — единственного систематически, а не эпизодически проходящего сквозь «горнило издательств» современного отечественного писателя, всецело преданного абсурдизму как жанру. Как и Хармс, утверждавший, что «интересно только чудо как нарушение физической структуры мира», Исаев увлечен чудесными происшествиями, которые в его изображении близки по смыслу к происшествиям нелепым, — «чудотворческая» роль принимается, но оказывается одновременно и традиционной ролью пародиста. Чудо необходимо, однако и порождает смешное, и само является смешным, точно так же не внушающим доверия, как и «трезвая» действительность. Одомашненное или «ручное» чудо в прозе Исаева всегда под боком — рождение чуда настолько привычно, что не является даже событием. Это симптоматично — мир алогического теряет свою чрезвычайность, становится обыденным.

В повести Исаева «Гений на островах», посвященной фантастическому совместному путешествию Пушкина и черта по николаевской России, помещенный в реальный земной мир представитель «нечистой силы» ведет себя весьма миролюбиво, в отличие от булгаковского Воланда, скажем, не только не стремясь к возмездию, но и не творя ничего особенно сверхъестественного. Черт оказывается просто удобным спутником и приятным собеседником поэта — с ним интереснее и веселее. Правда, явно неподобающим образом, компрометируя себя, действуют в повести «посланники Бога» — например, архангел Михаил, осуществляющий туманные полицейские функции. Но и почтенный архангел в конечном счете просто забавен — всерьез он не принимается, но и не «критикуется». Повесть решительно лишена демонического начала, автор ни с кем и ни с чем всерьез не спорит. Сама борьба добра и зла обращена Исаевым в карнавальную шутку — без сверхъестественного ему явно скучно. Конечно, черт в повести «Гений на островах», при всей безобидности, верен себе — «чертовски» язвителен и постоянно нацелен на «мелкий подвох». Но для Пушкина он — вполне традиционный придирчивый поклонник. Характерен такой диалог поэта и черта:

«— Решившись писать сражение,— успокаивал Александр себя и других,— конечно, предпочтительнее выбирать схватку конницы...

Черт, нетвердо стоявший на ногах и внятно любивший больше Грецию до греков, соглашался:

— Да это, конечно, получше, чем перестрелка пехотных батальонов с их однообразными рядами... это и вообще твой случай. Я вот в „Вестнике Европы“ читал, что ты любишь употреблять эпитеты: нагие, полунагие...

— За какой год, не помнишь?

— ...в одной сорочке! У тебя даже и холмы нагие...

— А номер, ты задержал его в памяти, наверное?!

— ...И сабли нагие... Любишь проговариваться, изъясняться двусмысленно. Намекать, если сказать прямо не позволено!»

Опираясь на произвол разгулявшейся фантазии, в мире которой смыты границы между реальным и нереальным, Исаев создает комфортный, уютный «уголок абсурда», где читатель может забыть свою серьезность и «покуражиться» над окружающим в свободное время... Нетрудно видеть, что писатель скромно оценивает роль своего творчества, как бы уверяя себя и других: я просто шучу и не намерен никого «травмировать». Трагическое Н. Исаев, естественно, игнорирует, заменяет комическим. Например, столкновение Пушкина с Николаем I изображено им следующим фантастическим образом:

«Александр взошел.

Николай взял в руки папку с бархатным верхом, растворил ее на середине, повесил голову и прочитал:

— Уряу с водой уронив, об утес ее дева разбила.

После чего прямо посмотрел на присутствующих. Большинство видимым образом осудило нерасторопную деву. Николай продолжил, справясь по папке:

Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из уряы разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно почальна сидит.

Николай прямо и не мигая посмотрел на собрание и сказал:

— Здесь каждая строка содержит по одному двухсказуемому предложению, деепричастному в первых трех стихах, адъективному в четвертом...

Никто не возражал.

Николай вновь пустился в папку и объявил следующее: „Второй стих отличается от первого конечным положением побочного главного сказуемого“».

Изображаемое фантасмагорическое императорское судилище над Пушкиным теряет какие-либо устрашающие черты и даже мрачный колорит вследствие своего полного идиотизма. Так же — идиотизмом — парализовано зло в «Приглашении на казнь» Набокова или в сцене королевского крокета в «Алисе в стране чудес» Л. Кэрролла. Ужасное никогда не бывает смешным, комическое же всегда нестрашно, а нелепое не стоит переживаний — из этого и исходит Н. Исаев, лелея и созидая только абсурдное. В цитированном отрывке адресат его иронии, кстати, двойствен — изображенный этаким педантом-литературоведом Николай I производит карикатурное и очень «нестрашное» впечатление, но попутно высмеивается Н. Исаевым и безжизненная пушкинистика, остроумно связанная писателем с отношением к Пушкину царя и его окружения. Конечно, и литературоведческое гонение на живую художественность пагубно. Однако это гонение — лишь «бумажное», на него можно в конце концов и «махнуть рукой».

Наукообразная и официальная речь, все формы научности вообще становятся благодатнейшим объектом карикатурного «обезображивания» в прозе абсурда. Это очень закономерно — научность, как и логичность, обесценена в глазах писателя-абсурдиста.

Как в алогической прозе Н. Исаева — по сюжетам исторической и культурологической,— литературоведческие штудии изображены как форма нелепости и планомерной бессмыслицы; так, скажем, в характернейшем для современного абсурдизма рассказе Аркадия Бартова «Игры с природой» («Родник», 1988, № 6) нелепыми изображаются наукообразные этнографические описания. Типична, например, этнографическая «белиберда», составляющая начало этого рассказа: «На острове Туамоту живет много таитян. Их значительно больше, чем мангаревцев, но меньше, чем туамотян. Совсем мало живет на острове Туамоту тубуайцев, однако их больше, чем маркизцев. Есть также французы, которых меньше, чем твитян, но больше, чем тубуайцев. Некоторые французы женятся на туамотянках. Их дети носят французские имена, говорят по-французски, едят французскую пищу, ведут французский образ жизни. На Туамоту живут также китайцы. Они занимают неопределенное положение, так как имеют культурные особенности и происходят из Китая». И так далее.

Идиотизмом веет от обыденности точно так же, как от «заумной» научности. Можно сказать, что если былое раблезианское противопоставление «плотской» реальности жизни высокому и идеальному было воплощением действительного противоборства «духа и плоти», их дисгармонии, то для Бартова противопоставление замещающей высокое идиотической научности столь же идиотической обыденности, откровенно воплощающей плотски-низкое, носит чисто игровой характер — нелепая ученость тож-

дественна нелепой будничности. Гармония «науки и жизни» вышучивается — нелепая реальность заслуживает и нелепого наукообразного обобщения.

Рассказ А. Бартова, заканчивающийся ироническим заключением, что его герои «Сидоров, Волков, Васильев, жена Тимофеева, Петров, француз, Иванов, Мухин — все они, представители типа хордовых, подтипа позвоночных, класса млекопитающих, подкласса плацентарных, отряда приматов, семейства людей, рода человека, вида разумного» вступили в порочные «игры с природой», слишком схематичен по замыслу и простоват по исполнению. Высмеивается в нем цивилизация, растворена в рассказе и уже очень традиционная нелюбовь к «среднему человеку» — автор и высказывает свои обиды на жизнь, и погружается в их «самолечение» при помощи смеха...

В другом опубликованном рассказе Бартова «Неторопливое описание пятнадцати дней из жизни маршалов императора Наполеона I» (сборник «Круг», Л., 1985) под «коркой» абсурдизма таится редкая в порвавшей со всякой «лирикой» прозе воинствующего безмыслия поэтическая интонация — едва различимая, почти воздушная печаль о тщете бытия великого полководца. Этот рассказ одухотвореннее, он сохраняет черты той душевности, которую абсурдизм, так сказать, классический обрек на изгнание.

Литература, близящаяся к абсурдизму, параллельно приближается и к воинствующему безверию. В мире абсурда не только удобно, но и приходится ни во что не верить. Показателен в этом смысле следующий диалог из повести Евгения Звягина «Корабль дураков, или Записки сумасброда» (сборник «Круг»): «Очкарик положил ложку, промокнул салфеткой узенький рот.

— Я атеист! — сказал он с гордостью.

— Что вы под этим подразумеваете? Свое неверие в Христа, Сиддартху, Одина, Ягве, Велеса? Или отрицание причинно-следственных связей в мире?

— Не купите! — хихикнул очкарик.— И то, и другое!

— Стало быть...

— Стало быть, мир безумен, возмездие не последует за преступлением, и то, что мы не ходим вверх ногами,— обычная аномалия».

Литература, искушенная демоном абсурда, кажется присоединяющейся к тезису Михаила Бакунина: страсть к разрушению есть творческая страсть. Разрушая, она и творит, конечно, поскольку осваиваемый ею космос безмыслия не оказывается пустыней для чувств. Стоит вспомнить в этой связи замечание Жуковского, что ум есть низшая способность души «потому, что он совершенно подчинен закону необходимости», в то время как высшая способность души — творчество — свободно, «божественно» по природе, необходимостью не руководствуется. Оспаривая несомненность причинно-следственных связей, детерминизм, споря с законами необходимости, абсурдистская и близящаяся к ней литература неожиданно пересекается с «старозаветным» романтизмом — она так же гордо верит в свободное творчество. Кстати, повесть Звягина, типично абсурдистская по идее, может быть истолкована как затаенно романтическое произведение. В ней пассажиры «корабля дураков» отправляются в забавное добровольное плавание к собственной гибели. Они — праздно-любопытные туристы в небытие, развлекающиеся смертью, теряющей тем самым свою несомненность. Вековечный ужас несуществования насмешливо преодолевается, как и сама «здравомыслящая» обыденщина.

Возвышенное во всех своих привычных проявлениях и метаморфозах (идеальная любовь, гордое страдание, святая ненависть и т. д.) уже к началу XX века оказалось в значительной мере истертым от нещадной эксплуатации в посредственной литературе. Симптоматично, что с пародии, с высмеивания сентиментального и псевдоидеального начинал, скажем, Чехов, осознававший всю сложность пути к подлинному лиризму. Но на уровне пародийности можно и остаться, в пародийности можно заблудиться. С искушением алогизма связан и искус безоглядного пародирования окружающего. Показателен в этом отношении рассказ Т. Толстой «Сомнамбула в тумане».

Т. Толстая использует в этом рассказе многие абсурдистские приемы, приемы Хармса, если быть точнее. Так, один из персонажей, сочинительствуя для детей, характернейшим образом переводит с научного языка на детский сведения о «пищевом рационе» волка:

«Волк. Канис люпус. Пищевой рацион. Пищевой рацион волка разнообразен.

Волк имеет разнообразный пищевой рацион: грызуны, домашний скот.

Разнообразен пищевой рацион серого: тут тебе и грызуны и домашний скот.

До чего ж разнообразен пищевой рацион волчка-серого бочка: тут тебе и заиньки и кудрявые овечки».

Процесс движения сочинителя от наукообразия к описанию, пригодному для детского восприятия, изображен автором как переход от одной нелепости к другой, переход, сопровождаемый разрастанием «кошмарной» сентиментальности, когда в пищу «волчка-серого бочка» попадают и «заиньки», и «кудрявые овечки». Собственно, на подобном обыгрывании надоевшей сентиментальности построены и расхожие подростковые стишки — дворовый абсурдизм, так сказать; «бабушка внучку из школы ждала, в ступе цианистый калий толкла, дедушка бабушку опередил, внучку гвоздями к забору прибил». В обоих случаях юмор несколько грубоват — Толстая отказывается от соблюдения дистанции между литературой и «улицей». Это тем более существенно, что в рассказе «Сомнамбула в тумане» писательница далека от какого бы то ни было «опрощения». Она активно использует набоковскую изысканно-насмешливую интонацию и изощренную стилистику: «Особенное сомнение вызывало существование Австралии. В Новую Гвинею, в ее мясистую, с писком ломающуюся зелень, в душные болота и черных крокодилов он еще готов был поверить: странное место, но пусть. Допускал он также цветные мелкие Филиппины, голубоватую пробку Антарктиды допускал — она висела прямо над его головой, рискуя отвалиться и засыпать колотыми кубиками айсбергов».

Обесценивая окружающий «трезвый» мир, насмешливость оказывается заманчивой тем, что позволяет свысока взирать на его проблемы, отшучиваться от них, отшучиваться и отмахиваться, как от не стоящего внимания, от всего идеального, она узаконивает литературный «каприз», высмеивает прописную добродетель. Добропорядочность, добродетельность часто связывалась — и именно в России — с буржуазностью. Ею пренебрегали как герои Набокова (Гумберт Гумберг в «Лолите», например), так и босяки Горького. Вспоминаются и слова Мандельштама в «Четвертой прозе»: «Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, по которой взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми». Но пренебрегающий прописной «порядочностью» и обыденщиной искатель свободы вынужден остерегаться не демонизма даже (и его производного — озлобления, жестокости), а просто позы, преувеличения своей избранности.

Возможности литературы, тяготеющей к абсурдизму, объявившей войну идеологизму во всех проявлениях, на наш взгляд, в целом ограничены — человек неискоренимо стремится к познанию, и литература «безмыслия» может привлекать его лишь в минуты душевной усталости (хотя в историческом времени это могут быть и годы, и целые эпохи). Может быть, впрочем, мысль и не умирает в литературе с абсурдистским привкусом, лишь «гримируясь» в насмешливое отрицание, в алогические словесные и сюжетные выверты. Новые оттенки жизни — ее изломы, противоречия, причудливые «химические соединения» — эта литература прямо и косвенно освещает, исследует. Ясно одно: от лобового штурма «проклятых вопросов» бытия абсурдистская литература отказалась, утверждает, что такой штурм наивен, обречен на неудачу, остался уделом неискушенных.

«Кривизна пространства», по которому движется художественное мышление в XX веке, порой просто головокружительна: «кривление» словосочетаний и образов, бессодержательность, сталкивание самого разнородного или намеренное нагромождение однородного, «бубнение» одного и того же. «Опека» здравого смысла, логики и рассудка очень по-разному, но с одинаковым упорством отбрасывается, высмеивается. Эта «опека» и действительно стала навязчивой, не без оснований ощущается как примитивно-запретительная, а главное — бесполезная. Человек в изображении абсурдистской литературы не желает и не умеет слушаться своего «доброго разума», на который некогда слишком понадеялся,— ведет себя не просто своевольно, но непредсказуемо, абсурдно, превратившись в стихийного анархиста. «Доза» свободы в огромной степени возросла — важно, чтобы не обратилась эта свобода в бездумный, разрушительный произвол.

Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1941—1943 гг.

Как я уже упоминал, за несколько месяцев до начала войны командующим Дальневосточного фронта был назначен генерал армии Опанасенко Иосиф Родионович. Даже внешностью своей он был нам неприятен, не говоря уж о том, что за ним и впереди него шла слава самодура и человека малообразованного, неумного. По внешности он был как бы топором вырублен из ствола дуба. Могучая, но какая-то неотесанная фигура, грубые черты лица, голос громкий и хрипловатый, и и разговоре с большинством имеет какой-то издевательский оттенок. Когда ругается, выражений не выбирает, как правило, делает это в оскорбительном тоне и с употреблением бранных слов. Может быстро прийти в бешенство, и тогда виновник пощады не жди. И хуже всего, что это состояние наблюдаемо. Вдруг из-под воротника кителя шея начинает краснеть, эта краснота быстро распространяется вверх — краснеет вся шея, подбородок, щеки, уши, лоб. Даже глаза наливаются кровью.

В общем, все мы были не в восторге от смены командующего. Однако очень скоро те, кто стоял ближе к Опанасенко, убедились, что идущая за ним слава во многом ни на чем не основана. Прежде всего, мы скоро отметили колоссальный природный ум этого человека. Да, он не образован, но много читает и, главное, способен оценить предложения своих подчиненных, отобрать то, что в данных условиях наиболее целесообразно. Во-вторых, он смел. Если считает что-то целесообразным, то решает и делает, принимая всю ответственность на себя. Никогда не свалит вину на исполнителей, не поставит под удар подчиненного. Если считает кого-то из них виновным, то накажет сам. Ни министру, ни трибуналу на расправу не даст.

Почти одновременно с Опанасенко приехало много работников высшего звена фронтового управления, которые были отобраны самим Опанасенко. Все эти люди умные, что само по себе говорит в пользу Опанасенко. Чем-то он ведь привлек. Прибыл и новый начальник оперативного управления генерал-майор Казаковцев Аркадий Кузьмич. Георгий Петрович Котов, как только передал ему оперплан, уехал к новому месту службы — на Украину. О передаче оперплана устно и письменно доложили начальнику штаба, а затем командующему. Опанасенко сразу же пожелал лично ознакомиться с оперпланом. Начали с плана прикрытия. Докладывал я, так как был ответственен за эту часть оперплана. Казаковцев стоял рядом. По мере доклада Опанасенко бросал отдельные реплики, высказывал суждения. Когда я начал докладывать о расположении фронтовых резервов, сказал: «Правильно! Отсюда удобнее всего маневрировать. Создастся угроза здесь, мы сюда свои резервы,— и он повел рукой на юг.— А создастся здесь, сманеврируем сюда»,— двинул он руку на запад. Казаковцев, который молчал, когда рука Опанасенко двигалась на юг, теперь спокойно, как о чем-то незначительном, бросил: «Сманеврируем, если японцы позволят».

— Как это? — насторожился Опанасенко.

— А так. На этой железной дороге 52 малых туннеля и больших моста. Стоит хоть один из них взорвать, и никуда мы ничего не повезем.

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—5.

— Перейдем на автотранспорт. По грунту сманеврируем.

— Не выйдет. Нет грунтовки, параллельной железной дороге.

У Опанасенко над воротником появилась красная полоска, которая быстро поползла вверх. С красным лицом, с налитыми кровью глазами он рявкнул: «Как же так! Кричали: Дальний Восток — крепость! Дальний Восток — на замке! А оказывается, сидим здесь, как в мышеловке!» Он побежал к телефону, поднял трубку: «Молева ко мне немедленно!»

Через несколько минут вбежал встревоженный начальник инженеров фронта генерал-лейтенант инженерных войск Молев.

— Молев! Тебе известно, что от Хабаровска до Куйбышевки нет шоссейной дороги?

— Известно.

— Так что же ты молчишь? Или думаешь, что японцы тебе построят! Короче говоря, месяц на подготовку, четыре месяца на строительство. А ты,— Опанасенко повернулся ко мне,— 1 сентября садишься в газик и едешь в Куйбышевку-Восточную. Оттуда мне позвони. Если не доедет, то, Молев, я не завидую твоей судьбе. А список тех, кто виновен, что дорога не построена, имей в кармане. Это твою судьбу не облегчит, но не так скучно будет там, куда я тебя загоню. Но если ты по-серьезному меня поймешь, то вот тебе мой совет. Определи всех, кто может участвовать в строительстве — воинские части и местное население,— всем им нарежь участки и установи сроки. Что нужно для стройки, составь заявку. Все дам. И веди строгий контроль. У меня на столе каждый день должна быть сводка выполнения плана. И отдельно — список не выполнивших план.

1 сентября 1941 года я приехал на газике из Хабаровска в Куйбышевку-Восточную и позвонил Опанасенко. На спидометре у меня добавилось 946 километров. Я видел, что сделано, и в начале, и в конце этой дороги поставил бы бюсты Опанасенко. Любой более образованный человек остановился бы перед трудностью задачи. Опанасенко же видел только необходимость и искал пути достижения цели, борясь с трудностями и не останавливаясь перед ними. В связи с этой дорогой легенда о его самодурстве пополнилась новыми фактами. За время стройки двух секретарей райкомов он сдал в солдаты, что впоследствии было использовано против него как доказательство его диктаторских замашек.

Не таким был и грозным, как казалось, этот командующий. Его страшные приказы о снятиях, понижении в должности и звании были известны всем. Но мало кто знал, что ни один из наказанных не был забыт. Проходило некоторое время. Опанасенко вызывал наказанного, давал достойное назначение и устанавливал испытательный срок: «Сам буду смотреть, справишься — все забудем, и в личное дело приказ не попадет. Не справишься — пеняй на себя!» И я не знаю случая, чтобы человек не исправлялся.

И все же основания для обвинения Опанасенко в самодурстве несомненно были. С началом войны командующим фронтами было предоставлено право присваивать воинские звания до капитана включительно. Вскоре после того, как это право было получено, на Дальний Восток приехала на гастроли Тамара Ханум. На первом ее концерте присутствовало все фронтовое управление. После концерта Опанасенко устроил для артистов прием. На приеме, как водится, выпили. И то ли под влиянием винных паров, то ли благодаря женским чарам Ханум, Опанасенко присвоил ей звание капитана и преподнес погоны и военный костюм. Приказ писался на следующий день. Начальник штаба Иван Васильевич Смородинов — штабник до мозга костей и тонкий дипломат — попробовал было оформить все вчерашнее «хитрой грамотой» о том, что Тамара — «капитан» в своем ансамбле, но Опанасенко на него так рыкнул, что он сразу ушел в кусты и единственно что отстоял, что приказ подпишет не первым, как обычно, а последним, после командующего и члена военного совета. Видимо, Иван Васильевич рассчитывал, что член военного совета такой приказ не подпишет. Но Яковлев беспрекословно подписал. Однако Смородинов, как выяснилось впоследствии, свою подпись так и не поставил и доложил об этом факте начальнику Генерального штаба. Месяца через два, когда Сталин пришел несколько в себя от первых поражений на фронте и от собственного испуга, он приказ отменил. Причем Опанасенко отделался указанием на «неправильное использование предоставленных прав». Яковлев же был отстранен от должности члена военного совета «за беспринципность».

Начало войны по-особому высветлило облик Опанасенко. Не могу сейчас утверждать, в какой день от начала войны, но, несомненно, в самом начале ее пришло распоряжение отгрузить немедленно на Запад весь мобзапас вооружения и боеприпасов. Смородинов, который долгое время был руководящим мобработником Генштаба, возмутился: «Какой же дурак отбирает оружие у одного фронта для другого. Мы же не тыловой округ, мы в любую минуту можем вступить в бой. Надо идти к Опанасенко. Только его одного „там" могут послушать».

Как только Опанасенко понял, в чем дело, он не стал слушать дальнейших объяснений. Голова его быстро налилась кровью, и он рыкнул:

— Да вы что! Там разгром. Вы поймите, разгром! А мы будем что-то свое частное доказывать? Немедленно начать отгрузку! Вы,— обратился он к начальнику тыла,— головой отвечаете за быстроту отгрузки. Мобилизовать весь железнодорожный подвижной

состав и с курьерской скоростью выбрасывать за пределы фронта. Грузить день и ночь. Доносить о погрузке и отправке каждого эшелона в центр и мне лично».

Так впервые у нас на ДВК прозвучало слово РАЗГРОМ. В этой честной правде отличие Опанасенко от тех, кто информировал нас из Генштаба. Я написал «информировал», но это неправда. Нас по сути все время пытались дезинформировать. Не указывали, какой картой пользуются составители оперсводок. Указывая линию фронта, перечисляли наиболее незаметные пункты. Брали, например, небольшое селеньице рядом с крупным городом или даже высоту. А это сельцо или высота на картах разных масштабов названы (обозначены) по-разному. И вот расстилаем карты всех масштабов, и один читает, а все остальные операторы лазят по картам. И не находим. Да разве же догадаешься, что составитель вместо большого отданного противнику города называет высоту под городом? Помню, одну высоту так и не нашли. Вызываю по прямому проводу направленца ДВК, спрашиваю, где? Отвечает — не знаю, ищите! Так и пошли докладывать Опанасенко. Говорим, вот не нашли высоту. Он снимает ВЧ, вызывает того же направленца (полковника Шевченко): «Где такая-то высота?» Лицо Опанасенко мрачнеет. Он кладет трубку: «Высота!.. Вильно сдали». Вернулись мы от Опанасенко и сразу же нашли эту высоту на 100-тысячной карте. На всех других она не показана. Вот такие ребусы мы и решали каждодневно.

Но мы могли решать. Мы не воевали. У тех же, кто на фронте, этого времени не было. Да и квалификация у операторов там не наша. Значит, оперсводки Генштаба они вообще не расшифровывают и не знают, что происходит на всех других участках фронта. Для этого и затеяна эта шарада. Лживый общественный строй не мог не лгать и на войне. И лгал с привычным лицемерием. И сводка написана и послана, и истинное положение в сводке дано, да только никто этого не прочитает и истину не узнает. Тем более, что каждый раз надо искать по всей карте. Писалось так, что не поймешь: наступают, обороняются или бегут наши войска. Писалось, например, так: «Сокрушительными ударами войска (такой-то группировки) нанесли серьезные потери противнику, и, отбросив его, передовые подразделения ведут бои на рубеже...» Естественно, что, прочитав такое, начинаешь искать этот рубеж впереди вчерашнего рубежа. Потом уже начинаешь и позади, но где-то вблизи. Потом находишь где-то в 40—60 км сзади.

Мы понимали губительность такой информации, но опять первым высказался Опанасенко. Просмотрев карту очередной оперсводки Генштаба, он задумчиво сказал: «Значит, воюют все только за себя. Что у соседей, что на других направлениях, никто не знает». Это была правда.

Но Опанасенко не был пассивным критиком, брюзжалой. Он должен был действовать. И он начал. Первая мысль, которая ему пришла,— отобрать из частей учебные винтовки, пулеметы, минометы и орудия и привести их в боеспособное состояние. Но начальник вооружения доложил, что учебные винтовки, пулеметы, неисправные орудия и минометы, а также оружие устаревших конструкций и иностранных марок имеются в значительных количествах на складах. С этого и началось военное производство на Дальнем Востоке. Опанасенко, назначенный к этому времени представителем Совета Труда и Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования на Дальнем Востоке, взялся железной рукой организовывать это производство. Ему как представителю Ставки и СТО были подчинены крайкомы партии, крайисполкомы, предприятия всех наркоматов и уполномоченный НКВД по Дальнему Востоку Гоглидзе. И Опанасенко полностью использовал свою власть.

Первым делом начали превращать учебные винтовки в боевые. Их оказалось на складах свыше 300 000. Открыли мастерскую, которая стала заваривать отверстия, просверленные в казенниках винтовок. Затем открылось орудийно-ремонтное и реставрационное производство, начали изготавливать новые минометы, наладили производство телефонных аппаратов, радиостанций «РБ», начался выпуск артиллерийских снарядов и мин. Таким образом, в случае мобразвертывания мы могли хоть частично вооружить новые формирования. Но и Москва опомнилась. Вспомнила об опасности, грозящей Дальнему Востоку. Не забрав и половины нашего мобзапаса, она приостановила дальнейшую отгрузку. Но зато от нас потребовали оружие и боеприпасы вместе с воинами. Пришло распоряжение немедленно отправить восемь полностью укомплектованных и вооруженных дивизий на Москву. Темпы отправки были столь высокими, что войска из лагерей уходили на станции погрузки по тревоге. При этом часть людей, находившихся вне части, к погрузке не поспевала, в некоторых частях был некомплект вооружения и транспорта. Москва же требовала полного укомплектования, а Опанасенко был не тот человек, который мог допустить нарушение приказа. Поэтому была организована проверочно-выпускная станция — Куйбышевка-Восточная, резиденция штаба 2-й армии. На этой станции был создан резерв всех средств вооружения, транспорта, средств тяги, солдат и офицеров. Каждый эшелон с проверочно-выпускной станции должен был выходить и выходил фактически в полном комплекте.

С одной из уходящих дивизий (с 78 сд) едва не уехал и я. Командир этой дивизии полковник (впоследствии генерал армии) Афанасий Павлантьевич Белобородов, один из наиболее культурных и военно-грамотных командиров дивизий, пользовался особой

симпатией Опанасенко. И вот теперь зашел проститься с ним. Я находился в это время в приемной, а у Опанасенко кто-то уже был. Поэтому мы, поздоровавшись, уселись рядом с Белобородовым поговорить. Афанасий Павлантьевич сказал: «Хочу напомнить Иосифу Родионовичу, чтоб не забыл в Куйбышевке подсадить ко мне начштаба. Мой же уехал на дивизию, а начальник первого отделения слабоват». У меня мелькнула мысль, и я сказал:

— Попроси меня. Иосиф Родионович тебя любит и согласится. Попроси!

— Ты это серьезно? Действительно поедешь? С должности замначоперупра на начальника штаба?

— А что? Мне надо в войска. А то что я буду по большим штабам!

— Если серьезно, попрошу.

Вскоре его вызвали в кабинет, а некоторое время спустя позвали и меня.

— Серьезно хочешь в войска? — спросил Опанасенко.

— И в войска, и на фронт.

— Ну тогда собирайся, получай предписание и догоняй.

— А мне собираться нечего. Мой чемодан собран. Взять в руку и ехать. Если не задержат с предписанием, то я хотел бы ехать вместе с Афанасием Павлантьевичем.

Я заехал на квартиру, взял чемодан, подержал в руках фигурку спортсменки, потом сунул и ее в чемодан. Семьи не было. Отправлена в эвакуацию на Алтай. Оставил соседу ключи с записочкой и вышел. Белобородов ждал в машине. Два дня мы еще пробыли в Хабаровске, и я успел полностью включиться в работу штаба. Потом пошел и наш эшелон. Уезжая, жалел, что не смог проститься с Казаковцевым. Он отправлял эшелоны из Приморья.

В Куйбышевку прибыли часов в 5 вечера. Я только собрался выйти поискать начальника штаба 2-й армии, как Вавилов сам вошел в вагон, за ним следовал майор (я уже был подполковник).

— Ну, где твои вещички? — улыбаясь, спросил Вавилов.— Вот смену тебе привел. Твое начальство не хочет с тобой расставаться. Аркадий Кузьмич такой шум устроил, что Иосиф Родионович даже сам звонил: «Смотрите, не пропустите Григоренко».

Так бесславно закончился мой первый поход на фронт.

Возвратился я в Хабаровск злой и недобро настроенный против Казаковцева.

Когда я вошел в кабинет, он сидел, что-то писал. «Садитесь!» — буркнул он своим ровным глухим голосом, слегка кивнув головой. Я сел. Через некоторое время он отодвинул бумагу, положил ручку, поднял взгляд на меня.

— Ну что, сердитесь? Не дал вам совершить героические подвиги во славу Родины? Еще успеете совершить. Войне этой только-только начало. Вы прекрасно понимаете, что немец идет пока что по инорусским землям. Войдет в Россию — застрянет. Я не знаю, будут ли русские воевать за коммунизм, но Россию они не отдадут. Повремените. Придет и ваш черед. Те, кто сейчас воюют, только почву унавоживают. Они выносят на себе главную тяжесть войны. Основная их масса гибнет, а слава и ордена достанутся тем, кто кончать войну будет.

— А я не хочу ни славы, ни орденов. Я хочу защищать свою Родину.

— А смерти вы хотите?

— Во всяком случае, я к ней готов.

— А вот я не готов... к вашей смерти. Вы занимаете очень важную должность. И вы на месте. От нашей с вами работы зависит, вступят ли японцы в войну на стороне Гитлера, против нас. Если вступят, наше дело безнадежное, и ваши подвиги на Западе пойдут псу под хвост. Здесь вы нужны персонально, как личность, а там на ваше место, вы сами это видели, можно назначить любого майора. Но что мне вас уговаривать. Если у вас не хватит ума, чтобы все понять самому, то есть приказ: вы замначоперупра и обязаны подчиниться этому. Ну, а после работы заходите ужинать. Это уже не мой приказ, а жены. А жен не слушать нельзя.

Я так и не узнал, как воздействовал Казаковцев на Опанасенко, но факт этот показывает, что «непоколебимый» Опанасенко может иногда и отступать.

И еще одну прекрасную черту Опанасенко узнал я вскоре. Ни у кого не спрашивая, Опанасенко на месте убывших дивизий начал формировать новые дивизии. Была объявлена всеобщая мобилизация всех возрастов до 55 лет включительно. Но этого все равно было недостаточно. И Опанасенко приказал прокуратуре проверить дела лагерников и всех, кого можно, освободить и направить в войска. Меня он послал в Магадан с приказом — лично некоронованному царю Магаданского края Никишову организовать проверку лагерей и максимально возможное количество заключенных освободить и направить во Владивосток. Маленький, довольно противного вида, мозглявый полковничек, приняв меня в богатом кабинете дома с колоннами, странно контрастировавшего с пустынной местностью и лагерными вышками, начал читать мне лекцию о Магадане, о том, что здесь не держат маловажных преступников, и что он, если нависнет угроза, прикажет всех перестрелять, а оружие в руки никому не даст. Я не очень вежливо перебил его, сказав, что выполняю поручение представителя Ставки Верховного Главнокомандования и СТО и что у полковника есть его приказ, на который он обязан дать ответ. Полковник, который

в течение всего разговора ни разу не снял папаху, по-видимому, полагая, что она делает его выше и внушительнее, откозырял мне и сказал, что ответ он подготовит. Что он написал, я так никогда и не узнал. Знаю только, что Опанасенко вызывал Гоглидзе и долго с ним говорил. Из-за этой поездки или из-за другой, но я стал предметом разговора между Сталиным и Опанасенко. Опанасенко заранее знал, когда будет разговор, и приглашал кое-кого из должностных лиц. Во время одного из таких разговоров, на котором присутствовал и Аркадий Кузьмич, он услышал, как Опанасенко сказал:

— Григоренко? Есть такой, Иосиф Виссарионович.

Затем он внимательно что-то выслушал и заговорил снова:

— Иосиф Виссарионович, все это вымысел. Мои подчиненные, если едут по моему поручению, то выполняют мои указания самым точным образом. Григоренко тоже выполнял мои указания, и за то, что он сделал, несу ответственность я один.

Затем снова, после паузы:

— Нет, нет, Иосиф Виссарионович, проверять нечего. Я уже проверял. Григоренко прекрасно выполнил мое поручение. Вот же сволочи,— сказал он, положив трубку,— наплели такое, что только под расстрел.

Очевидно, если б Опанасенко повел себя по-другому, не писать бы мне этих воспоминаний.

Война ускорила течение времени. Дела и события наваливались с такой скоростью, что казавшееся очень важным еще вчера погребалось под грузом сегодняшнего и уходило в небытие. Только вчера мое партийное дело дамокловым мечом нависало надо мной, а сегодня ушло так далеко, что и не вспоминается. Дел, дел — невпроворот. Одних организационных, сверхважных хватило бы даже на удвоенный состав управления. Сейчас шла сверхсрочная отправка восьми дивизий на спасение Москвы. Потом приказали отправить еще 4, потом по одной, по две отправили еще 6. Всего 18 дивизий, из общего числа 19, входивших в состав фронта. Не отправлена только одна 40-я, да и то, видимо, потому, что вынимать ее из Посьета было очень трудно. Вместо каждой отправляемой на фронт Опанасенко приказывал формировать на том же месте второочередную. За эти формирования Опанасенко тоже заслуживает памятника. Ведь все формирования он вел по собственной инициативе и на собственную ответственность, при неодобрительном отношении ряда ближайших своих помощников и при полной безучастности и даже иронии центра. Центр знал о формированиях, но был убежден, что формировать что-либо на Дальнем Востоке без помощи центра невозможно: людей нет, вооружения нет, транспорта нет и вообще ничего нет. Поэтому центр, зная об организационных потугах Дальневосточного фронта, делал вид, что ему об этом ничего не известно. Пусть, мол, поиграются там в мобилизацию. Но Опанасенко все нашел. Провел мобилизацию всех возрастов до 55 лет. Основательно пообчистил лагеря, имевшие выход к шоссейным или железным дорогам. Даже из Магадана получил какое-то количество призывного контингента, в том числе офицеров. Таким образом, вопрос с людьми был решен. Несмотря на совершенно невероятные трудности, взамен всех ушедших были сформированы второочередные. Их было сформировано даже больше на две или три. Когда новые формирования стали реальностью, у Генштаба наконец «прорезался голос». Были утверждены и получили номера все вновь сформированные дивизии. Причем центр настолько уверовал в серьезность новых формирований, что забрал в действующую армию еще 4 дивизии, уже из числа второочередных.

Когда забрали последние 4 дивизии (уже второочередные), Генштаб, не имея сил и средств на создание такого же числа новых (третьеочередных) дивизий, приказал сформировать взамен каждой из них по стрелковой бригаде. Среди этих четырех бригад была и Хабаровская — 18-я отдельная стрелковая бригада. Меня назначили командиром этой бригады.

Где-то в конце января 1943 года было проведено большое двухстороннее учение с войсками. Темами для сторон были: 1) наступление на Хабаровск и 2) оборона Хабаровска. Руководил учением сам Опанасенко.

Мне после разбора этих учений Опанасенко написал отличнейшую характеристику. Я стал перспективным работником для Дальнего Востока, и меня с группой других офицеров отправили на стажировку в действующую армию.

В Москву прибыли мы 21 марта 1943 года. Меня сразу же потянуло хотя бы взглянуть на тот дом, где жила единственная женщина, которую я так и не смог забыть. По слухам, она будто вышла замуж... и я от этого похода отказался. На следующий день моей решимости не хватило. Человек всегда ищет себе оправданий. Вот я и думал: «Еду ведь не к теще на блины... на фронт. На стажировку, конечно, а не на постоянно. Но фронт есть фронт. Ни пуля, ни снаряд не разбираются, где тут идет стажер, а где кадровый фронтовик. И если мне придется умереть, я никогда себе не прощу того, что мог ее видеть и не видел».

Подагитировав таким образом сам себя, я после работы над картами и документами в Генштабе отправился на Хамовнический плац. Мысль о том, что я иду только на дом взглянуть, была напрочь забыта, когда я увидел этот самый дом. С замирающим сердцем поднялся на третий этаж. Дверь открыла мать Зины — Александра Васильевна. Встретила очень тепло.

— Раздевайтесь. Зина сейчас придет.

Я разделся. По-приятельски поздоровался с отцом Зины, Михаилом Ивановичем. Внимательно осмотрелся и явно не ощутил присутствия в этом доме другого мужчины, кроме Михаила Ивановича. Вскоре пришла Зинаида. Мы дружески обнялись, радуясь встрече. Казалось странным, что не виделись четыре года.

Спустя некоторое время Зинаида, смутившись, сказала: «Мне надо ехать на вокзал встретить жениха. Я выхожу замуж, кстати, он тоже Петр». Я как бы окаменел. Задохнулся. Затем тоном приказа сказал: «Женой будешь моей — пойди и скажи ему». Зина задумалась, долго молчала и, как-то посветлев, тихо сказала: «Да будет так». Пока она ходила, трудно передать мое состояние.

Мне казалось, я не могу дышать.

Зина вернулась быстро. Легкой походкой подошла, обняла и сказала:

— Ну что же, пойдем рядом. Выезжай на фронт и знай, что я жду тебя. Жду.

Улыбнувшись, добавила:

— Никаких женихов больше не будет. Сам виноват, долго раздумывал.

С праздничным чувством, переполнявшим грудь, поехал я и на фронт. Да и там все время что-то светлое и радостное шло со мной, хотя обстановка к радости не очень располагала.

Меня назначили дублером командира 202-й стрелковой дивизии. Это была довольно сложная ситуация. С одной стороны, в указаниях о моей стажировке было распоряжение передать управление дивизией в мои руки, дать мне возможность приобрести опыт командования дивизией в боевой обстановке, а с другой стороны, основной командир дивизии не освобождался от ответственности за дивизию. Поэтому все подчиненные слушали дублера и одновременно поглядывали на командира дивизии. Но мы с ним сумели найти общий язык. Когда надо было принимать ответственное решение, я сам согласовывал его с основным комдивом. И у нас за весь месяц стажировки не было ни одного недоразумения. Большую половину срока стажировки дивизия стояла в обороне. Потом перешла в наступление. Ну а если быть точным, то в преследование, так как противник сам начал отвод своих войск. Но так как отходил он не торопясь (за неделю мы продвинулись на 30—40 км), то эти действия можно было назвать и наступлением. Дивизией командовал генерал-майор Поплавский, и знакомство с ним, по-моему, было наиболее достопримечательным событием моей стажировки.

В Москву я летел как на крыльях. Правда, недолго я там пробыл, но это были счастливейшие дни в моей жизни. 23 марта Зинаида стала моей женой. Под впечатлением этого счастья проделал и обратный путь на Дальний Восток. Тем более, что жена позаботилась о поддержании этого настроения в пути. Она заготовила письма на каждый день дороги и дала одному из моих спутников, чтобы он каждый день вручал их мне. И хотя я понял после первого же письма, что они будут ежедневно, но нарушать игру не захотел и не требовал от «почтальона» письма наперед. На каждое письмо я отвечал. Время от времени посылал телеграммы.

Снова встретились мы с Зиной через два месяца. Она приехала на Дальний Восток.

Наш маленький домик на могучем Амуре оставил самые теплые воспоминания. Великолепная Уссури, на которой был лагерь бригады, на всю жизнь запомнится широким разливом вод и прогулками на быстроходном катере. Хорошо было полежать после купанья в прохладной воде, на мелком уссурийском песочке. Правда, и гнус донимал, но мы были молоды и счастливы своей любовью. И этого никакой гнус отнять у нас не мог.

Сразу по приезде Зина подала заявление в армию. Сдала экзамен по программе медсестры и была аттестована в звании старшего сержанта с назначением на работу в медчасть бригады. И так она рядом со мной стала военнослужащей.

Но небо не может быть всегда безоблачным. Молнией разнеслась весть, что СТО освободил Опанасенко от всех его должностей — командующего, уполномоченного СТО и Ставки Верховного Главнокомандования. Неделю не показывался Иосиф Родионович. Потом сел в свой вагон и отбыл, не попрощавшись и не дождавшись нового командующего — генерала армии Пуркаева. Самое главное, что особенно потрясло Опанасенко,— это то, что решение о нем пришло письменно и что Сталин не захотел разговаривать с ним.

Впоследствии Василий Георгиевич Корнилов-Другов, который ехал по вызову в Москву в вагоне с Опанасенко, рассказывал:

— Всю дорогу Иосиф Родионович был в мрачном состоянии. Много пил, не пьянея при этом. Со спутниками по вагону почти не общался. Прибыли в Москву во второй половине дня. В тот же день, вернее, в ночь, он был принят Сталиным. Разговаривали больше двух часов. В вагон возвратился под утро, в приподнятом настроении, воодушевленный и вдохновленный. Рассказал о встрече со Сталиным и говорил об этом, вспоминая все новые и новые подробности, остаток ночи, все утро и каждый раз, когда сходились в вагоне, в течение тех нескольких дней, что они оба были в Москве.

Передаю этот рассказ, как он мне запомнился, пытаясь сохранить строй речи и интонации Василия Георгиевича.

Первый вопрос Сталина, который встретил Опанасенко стоя:

— Ну что, обидэлся на меня?! Нэт, нэт, нэ отвечай! Сам знаю: обидэлся. Ну как же, так старался, а Сталин недооценил. Нэ довэряет. Снимает со всэх постов, повэрил навэтам. Так же думал, когда цэлую нэдэлю адин пыл у сэбя на квартирэ? Нэ отвэчай! Садысь! Все равно нэправду скажэшь. Заявышь, на Сталына ныкогда нэ обыжался. Это, может, и правда, да нэ вся. На Сталина как на чэловэка, можэт, и нэ обыдэлся, а на его дэйствие обыдэлся. Каждаму чэловэку абидна, еслы он старается, а к нэму с нэдовэрием.

Да только к тэбэ-то нэдовэрия и нэ было. Скажи, кому я еще так довэрял, как тэбэ? Ну, скажи! Нэ скажэшь! Патаму что ныкому. Тэбэ на Дальнэм Востокэ власть была дана болшэ, чем царскаму намэстнику. Тэбэ я подчынил всё и всех. Боркова (секретаря Хабаровского крайкома.— *П. Г.*) подчынил. Пэгова (секретаря Приморского крайкома.— *П. Г.*) подчынил. Самаво Гоглидзе (уполномоченный НКВД по Дальнему Востоку.— *П. Г.*) и Никишэва (начальник Дальстроя — царь и Бог Колымского лагерного края.— *П. Г.*) тожэ подчынил. А каво нэ надчынил?! Всех падчынил. А как ты думаешь, им это панравылось?! Как думаешь, им нэ хотэлось из-под твоей власти уйти? Хотэлось! И дабывались. Пысали. И на тэбя пысали. Чего только нэ пысали! Дажэ то, что ты хочэшь отдэлить Дальний Восток от Рассии и стать царом на Дальнэм Востокэ. А я повэрил? Нэт! Нэ повэрил! Я знаю, что ты прэданный партыи и... Сталыну чэловэк. А вот ты нэ подумал об этом довэрии Сталына. Ты забыл это, когда мы тэбя освободыли от всэх пастов. Я знаю, что если б и тэбэ позвонил и сказал: знаэшь, Иосыф, партии ты нужэн в другом мэсте, ты бы и нэ подумал возражать или обыжаться. Ты бы с радостью пошел дажэ на понижэние. Но я нэ хотэл этого. Я хотэл тэбя поучить. Ты подумал, что Сталын забыл дабро, а я так поступыл, чтоб научыть тэбя нэ забывать сталынское дабро, нэ забывать то огромное довэрие, каторое было оказано тэбэ.

Ну, а тэпэрь я тэбэ объясню, почэму мы тэбя освободыли с Дальнэго Востока. Во-первых, Дальний Восток тэпэрь уже в ином положэнии, чэм был в началэ войны. (Далее по тексту не соблюдаются сталинские интонации).

Нападение японцев на Дальнем Востоке теперь практически исключено. Этим мы обязаны, прежде всего, нашим победам на советско-германском фронте и, не в последнюю очередь, твоей деятельности на ДВК. А в условиях относительной безопасности советско-маньчжурской границы нет смысла оставлять там руководителя такого масштаба, как ты. Теперь там можно обойтись и Пуркаевым как командующим фронтом. Одновременно «выпустить на волю» Боркова и Пегова, Гоглидзе и Никишова. Главное же, что я не хочу терять из руководства таких преданных людей, как ты. Что было бы, если бы мы тебя оставили на Дальнем Востоке? Боркова, Пегова, Гоглидзе и Никишова все равно пришлось бы освобождать от твоей опеки. Обстановка не требует сохранения промежуточного лица между ними и Москвой. А что они сделали бы, освободившись? Наверняка наделали бы тебе всяких неприятностей. И вот заканчивается война, а она уже через зенит прошла, и кто ты? Командующий не воевавшего фронта. Да еще командующий, на которого наветов написано не меньше, чем Дюма романов написал.

Поэтому я решил дать тебе возможность покомандовать действующим боевым, воюющим фронтом. Чтоб войну ты закончил маршалом, возглавляющим один из решающих фронтов последнего периода войны. Но начнем не с командования фронтом. Надо сначала освоиться с условиями боевой обстановки и поучиться. Поэтому поедешь сейчас заместителем командующего фронтом к Рокоссовскому. Я знаю, что он в свое время был у тебя в подчинении. Но на это ты не обижайся. Он уже третий год воюет. Прекрасно командовал армией. Теперь один из самых сильных командующих фронтами. У него есть чему поучиться. И я уверен, что ты без амбиций будешь учиться. Долго я тебя в заместителях не продержу, потому учись быстрее.

Слушая Василия Георгиевича, я думал: «Какой же заботливый человек Иосиф Виссарионович и как же мудро он все обосновал». Одновременно и другая мысль, касавшаяся уже меня лично, вытекала из этого рассказа. Мне думалось: «Но ведь и я к концу войны могу остаться человеком без боевого опыта. Об Опанасенко позаботился Сталин, а о себе придется думать мне самому». И я подал рапорт новому командующему генералу Пуркаеву об откомандировании меня на фронт.

На второй или третий день в наш домик на Амуре позвонил начальник отдела кадров фронта полковник Сергеев.

— Как настроение?

— Настроение бодрое. Идем ко дну,— невесело пошутил я.

— Ну тогда приезжай за назначением.

— За каким?

— Ты же просился на фронт. Вот и решили удовлетворить твою просьбу.

— Ну спасибо! Еду! — Я подхватился как угорелый и умчался в штаб фронта.

Получив документы, зашел к Пуркаеву.

— Я рекомендовал вас для использования на должности командира дивизии,— сказал Пуркаев.

Когда мы уже стояли у дверей, он, взяв мою руку, промолвил:

— А жаль все-таки, что вы уезжаете. Мы бы с вами, очевидно, хорошо сработались. Как там у вас сложится на новом месте... А здесь вы пользуетесь уважением. Так что, если передумаете, примем обратно.

— Нет, хочу повоевать.

НА ФРОНТ

Я возвратился в тот домик, где с нетерпением ждала меня единственная. На фронт решили ехать вместе. Немного дел нам оставалось здесь, на хабаровской земле. Собрать все, что можно завезти в Москву, приобрести железнодорожные билеты, проститься с моими сыновьями и с нашими друзьями. И еще одно дело мы обязаны были сделать, отъезжая под пули и снаряды,— юридически оформить наш брак. Развод я взял еще до приезда Зины, а наш брак с нею оставался неоформленным. 23 ноября, ровно через 8 месяцев после фактического брака, мы зарегистрировались. Вскоре, провожаемые друзьями и изрядным снежным бураном, выехали из Хабаровска.

В Москве мы пробыли недолго. Я получил приказ Главного управления кадров (ГУКа) № 92, в котором меня направляли в 10-ю гв. армию 2-го Прибалтийского фронта с предназначением на должность командира 66 гв. сд. Тяжело было Зинаиде уезжать от больного сына, от стариков-родителей. Однако она мужественно отвергла мое предложение походатайствовать о ее демобилизации.

— А если тебя убьют,— сказала она,— ведь я же никогда не прощу себе, что не поехала с тобой.

В 10-ю гвардейскую армию прибыли в начале декабря 1943 года. Командующий армией — генерал-лейтенант Сухомлин Александр Васильевич, с которым мы дружили в Академии Генерального штаба, встретил меня широкой улыбкой. Не дав мне произнести предусмотренное в таких случаях формальное представление, пошел ко мне с раскрытыми объятиями, восклицая при этом:

— Кого вижу?! Какими судьбами?

— Прибыл в ваше распоряжение на должность командира 66-й гвардейской дивизии.

— Ну что ты! Генштабист на должность командира дивизии! С каких это пор мы такими богатыми стали? Нет, это не пойдет! У меня должность заместителя начальника штаба по Вспомогательному Пункту Управления (ВПУ) не занята. Вот эту должность и займешь. А 66-й дивизией пусть Дмитриев еще покомандует...

— Но ведь есть приказ ГУКа.

— Это пусть тебя не беспокоит. Это моя забота.

И тут же сделал заказ по ВЧ — «Голикова».

А я тем временем соображал. Мне уже было известно, что армия через два дня переходит в наступление. Принимать в таких условиях ответственность за не мною подготовленную к наступлению дивизию мне не хотелось. Я боялся, что в непривычных боевых условиях я могу попасть в очень трудное положение. Должность в штабе создавала более благоприятные условия для постепенного привыкания к боевой действительности. И я согласился.

— Временно попробую, что получится,— сказал я.

Но получилось то, чего ни я, ни Александр Васильевич не ожидали. Наступление никакого успеха не имело. Войска, поплутавши перед передним краем обороны противника, возвратились на свои исходные позиции. Кара последовала немедленная и решительная. Были сняты со своих постов командующий армией, начальник штаба, начальник оперативного отдела, начальник артиллерии. В общем, все руководство армейского управления. Не тронули, по сути, только меня, по-видимому, из-за очень маленького срока пребывания в этой армии. Однако этот мой «выигрыш» сразу же превратился в чистый проигрыш, как только прибыло новое командование.

Я в глазах нового командования превратился в случайно оставшегося человека из старого руководства. Меня прямо обволокло недоверие и предубеждение. С большим трудом пришлось мне продираться сквозь эту пелену. Я сжал зубы и работал. Беспрекословно выполнял все задания, но вместе с тем твердо отстаивал свои мнения. Начальник штаба — генерал-майор (впоследствии генерал-полковник) Сидельников, человек не глупый, постепенно стал прислушиваться и считаться со мной.

Командующий армией — генерал-полковник (впоследствии генерал армии) Михаил Ильич Казаков — присматривался с явным недоверием. Один раз ко мне, запыхавшись, вбежал адъютант:

— Командующий приказал вам ехать с ним.

— Куда?

Но адъютант уже умчался. Я выскочил из землянки. Моя машина только подъезжала. В ней сидел офицер-разведчик. Машина командующего отъехала и сразу, взяв высокую скорость, понеслась в северном направлении, без дороги. Я бросился на переднее сиденье:

— Гони, Павлик! Не потеряй ту машину.

Павлик с места резко пошел набирать скорость.
— Куда едем? — спросил я разведчика.
— Не знаю. Он никогда не говорит, куда ехать собирается.
Я быстро развернул карту. Сориентировался и начал следить. Приметных ориентиров нет. Села и хутора снесены, уничтожены, и место их покрыто снегом. Нет и дорог. В разных направлениях проходят колеи. Леса, рощи, перелески утратили ту конфигурацию, которую имели во время топографических съемок, и потому тоже не могут быть полноценными ориентирами. Единственно надежные ориентиры дает рельеф местности. А в этом деле у меня навык порядочный.
Едем 20—30—40 минут в сторону переднего края обороны противника. Машина командующего вошла в танковую колею и, не снижая скорости, мчится по ней.
— Куда же он?! — мелькает у меня мысль.— Вон выскочим на горбочек и прямо под немецкие пулеметы.
— Павлик! Надо быстро обогнать командующего. Обязательно, вон до того бугорка. Гони!
Павлик почти вплотную подошел к машине командарма, вырвал свое авто из колеи и вышел на уровень той машины.
— За мной на предельной скорости! — крикнул я шоферу командующего.
И вид мой, видимо, был такой повелительный, что он, даже не взглянув на командующего, погнал за Павликом, который по моему указанию мчался в лощину, чтобы по ней скрыться в опушке леса. И в это время ударил крупнокалиберный немецкий пулемет. За ним застрочили «станкачи». Они, видимо, ждали нашего появления на возвышенности, но увидев, что мы разворачиваемся, открыли огонь по просматриваемому сектору. Но сектор этот был так узок, что мы его проскочили очень быстро. И все же на машине командующего было несколько пулевых пробоин, в том числе был пробит бензиновый бак.
Когда мы, добравшись до леса, остановились, я подошел к командующему.
— А в чем дело? Откуда здесь немцы? — спрашивал он удивленно, разглядывая свою карту.
— А где же им быть?! Вот передний край обороны немцев. Вот здесь мы начали разворот. Здесь нас обстреляли. А здесь мы стоим сейчас.
С этого дня жизнь моя превратилась в ад. Казаков без меня никуда не ехал. Посылал разыскивать заблудившихся и проверять правильность донесений о местоположении войск. На это уходила масса времени.
Боевая деятельность 10-й гв. армии в период моего пребывания в ней (январь-февраль 1944) была необычной. Прибыл я перед самым началом наступательной операции, которая, как я уже писал, полностью провалилась. После этого были проведены еще две операции, почти столь же неудачные. Убывал я на исходе еще одной операции (четвертая при мне), которая имела небольшой частный успех. Каждая из этих операций проводилась после перегруппировки на новое направление. Поэтому наступательные бои перемежались продолжительными маршами. Времени для отдыха не было. Да еще и погода. Ударит мороз — выдадут валенки. Отберут ботинки — оттепель. И бредут воины армии в промокших тяжелых валенках по жиже, в которую превратились зимники. Никогда не забуду эти дороги и бредущих по ним измученных, подавленных, ко всему безразличных людей. Только раздадут ботинки, отберут валенки — ударят 20—30-градусные морозы. Затем снова валенки и распутица и т. д. Люди вымотаны до предела, простужены, а многие и обморожены. А тут еще эта странная осведомленность немцев.
Операции армии рассчитаны на внезапность. Фронт (2-й Прибалтийский, бывший Калининский) действует на второстепенном направлении. Поэтому у него нет ни боеприпасов на фронтовую наступательную операцию, ни необходимого пополнения. В подобных условиях другие фронты зарываются в землю и готовят войска к отражению возможного наступления противника. Маркиан Михайлович Попов — человек умный, предприимчивый, инициативный — избрал иной образ действий. Он посадил в оборону весь фронт... За исключением одной армии — 10-й гвардейской... Этой армии было отдано все поступающее пополнение, основная масса поступающих фронту боеприпасов. Предполагалось, что она, скрытно сосредоточившись на каком-то направлении, нанесет внезапный удар с частной целью — нанести противнику потери, разорвать его оборону и развить успех в глубину, привлекая тем самым к этому району вражеские резервы. Потом армию незаметно оттянуть, сдав завоеванный рубеж соседям, и скрытно перебросить на новое направление.
Очевидно, что главное в этом плане — внезапность перегруппировок и ударов 10-й гвардейской армии. Но именно внезапности у 10-й гв. армии и не получалось.
Накануне первой из намеченной серии наступательных операций немцы разбросали в исходном положении войск армии листовки:
— 10-я гвардейская! Вы пришли сюда наступать? Ну что ж, пожалуйте бриться! Завтра мы вас побреем!
И побрили. Единственный результат первой наступательной операции 10-й гв. армии — огромные потери.

Следующая операция тоже была предварена немецкими листовками, чуть измененного содержания:
— 10-я, ты сюда пожаловала? Ничего, побреем тебя и здесь!
Попов приказал отложить эту операцию на сутки и в течение дня демонстрировать противнику перегруппировку на другое направление. Результат получше. Потери несравненно меньше и небольшое продвижение вперед — от двух до восьми километров.
В исходном положении для третьей операции немцы снова встретили нас листовками. Среди личного состава возмущенные разговоры:
— Где-то в штабе сидит предатель.
В штабе армии разговоры те же, но пункт, где находится шпион, указывается более точно. Операторы почти в открытую говорят:
— Сведения утекают из булганинского окружения.
Таково, очевидно, мнение и командующих армии и фронта — Михаила Ильича Казакова и Маркиана Михайловича Попова.
Каждая операция готовилась примерно следующим порядком. Фронт шифром сообщал исходное положение для предстоящей операции и маршруты для движения из района сосредоточения в исходное положение. По этим данным штаб армии сразу же приступал к разработке плана перегруппировки. Одновременно командующий армией вызывался к командующему фронтом. С ним должен был ехать начштаба или один из двух его заместителей. При мне готовилось три операции. Я ездил с командующим дважды. У командующего войсками фронта, когда прибывали мы с командармом, собирались начальник штаба фронта, начальник оперативного управления, начальник разведки, командующий артиллерией фронта и командующий фронтовой авиацией — и прорабатывался разработанный штабом фронта план предстоящей операции армии. Когда проработка заканчивалась, если не было члена военного совета фронта Булганина, который извещался о проработке заранее, но мог не прийти на нее, Маркиан Михайлович звонил ему, и он либо приходил, заставив нас изрядно подождать, либо повелевал принести ему на подпись в его резиденцию. Во время первой моей поездки с командующим Булганин изволил повелеть принести ему. И мы с начальником оперуправления фронта выполнили эту миссию. Документы уже числились за мной. Я расписался за них сразу после проработки.
Процедура подхода к Булганину впечатляющая. Совершив полукилометровый марш-бросок, мы услышали приглушенное: «Стой!» Остановились. Из кустов вышел офицер в форме НКВД. В кустах угадывался другой или даже двое, державших, по-видимому, нас на прицеле.
— Удостоверение личности! — потребовал НКВДист, у которого в руках была какая-то бумажка. Он проверил удостоверения, сличив наши фамилии с написанным в бумажке.
— Следуйте за мной. Строго по моим следам. Отклоняться опасно.
И мы пошли. Вскоре новое «Стой!» и новая проверка документов. Наш провожающий исчез.
— Проходите.
Проверяющий показал нам на дом. Эдакий передвижной дворец. Пошли. У входа еще одна проверка удостоверений. И наконец нас завели в приемную. Полковник, видимо для поручений, указывая на стол у стены, распорядился:
— Развертывайте карты здесь!
В это время, вертя задочком, вошла девушка, видимо, из того булганинского гарема, о котором говорил весь фронт. Она мило улыбнулась и поставила на стол в центр поднос с печеньем и сахаром.
— Я здесь развертывать карты не имею права.
— А в чем дело?
— Сюда имеют доступ посторонние лица.
— Больше никто не зайдет! — И полковник прикрыл дверь.
— Вы для меня тоже посторонний. В этом доме я имею право показать план только члену военного совета.
Полковник явно опешил. Начальник оперативного управления предупреждающе подмигивал, остерегая меня от скандала. Наконец он сказал, как бы извиняясь перед полковником:
— Товарищ подполковник не знает вас в лицо, товарищ полковник!
И обращаясь затем ко мне, произнес:
— Полковник — для поручений военного совета!
Но останавливать меня было уже поздно. И я ответил генералу сдержанно, но твердо:
— Я и сам понял, кто это. Но полковника нет в списке допущенных к плану операции.
Вышел Булганин. Он был, как мне показалось, трезв, хотя о его постоянном пьянстве ходили буквально легенды. Я представился. Он приветливо поздороваался с нами обоими и произнес:
— Ну что ж, раскладывайте свои карты.
— Я не могу этого сделать, пока в помещении есть посторонние.

— Кто же здесь посторонний? — улыбнулся он.
— В списке допущенных к плану операции нет полковника.
— Ну я его допущу. Что, вам написать это?
— Нет, мне достаточно и вашего устного распоряжения. Я разверну карты и сделаю полный доклад, но по окончании этого обязан буду донести в Генштаб, что произошло разглашение плана операции.
— Ну, если такие строгости, не будем нарушать. Законы надо уважать всем. Даже и члену Политбюро.
Он подчеркнул последнее слово.
— Оставьте нас одних,— обратился он к полковнику. И тот вышел.
Когда мы возвратились в домик к командующему, он встретил нас смехом. Меня он знал еще с Дальнего Востока и сейчас, смеясь, сказал:
— Ну что, дальневосточник, поучил нас, как относиться к законам? Звонил Булганин. Он, кажется, не очень доволен, но на словах хвалит.
Эта операция тоже была по сути безуспешной. В первый день продвинулись максимально около десяти километров. На второй и третий день успеха тоже не было. Но особенность... листовки, обращенные к 10-й гв. армии, появились только на второй день операции. Это, безусловно, указывало на утечку информации из окружения Булганина. Урок был учтен. Последняя при мне операция готовилась с особо строгим соблюдением тайны.
Во время проигрыша у Попова пришел Булганин — пьяный «до положения риз». Лицо сизо-красное, отечное, под глазами мешки. Подошел к Маркиану Михайловичу, сунул руку и свалился на стул рядом. А остальным даже не сделал общего поклона. Командующий увидел подход булганинской своры в окно и закрыл карту и другие документы. Когда все улеглось, Попов сказал Булганину:
— Николай Иванович, попроси всех пришедших с тобой перебраться в приемную.
— Я не могу оставлять члена Политбюро одного,— резко и с явным вызовом произнес громила в НКВДистской форме.
— Николай Иванович, я еще раз прошу. Я не могу продолжать работу, пока здесь будет хоть один посторонний.
— Вот вы как все заразились подозрительностью. Нужно же понять и товарища — начальника моей охраны. Он тоже имеет инструкции и не вправе их нарушать. Я ему дам распоряжение, а он сейчас же донесет, что я мешаю ему нести службу.
— Не знаю, не знаю, Николай Иванович, но я при посторонних рассматривать план операции не буду.
Они еще поперечились немного. И в конце концов Булганин приказал всем своим выйти. Всю остальную часть проигрыша он продремал. В конце подписал все не глядя.
Эта операция была самой успешной из упоминавшихся четырех. Продвинуться удалось более чем на тридцать километров и расширить фронт прорыва до двадцати километров [1]. Был занят районный центр Калининской области — город Пустошка. Это положение, сложившееся на третий день операции — на 28 февраля 1944 года. Больше в этой операции я не участвовал, но знаю, что она развивалась еще и в глубину, и по фронту.

Продолжение следует

---

[1] Здесь опущена глава «Нежданный отдых» и часть главы «Четвертый Украинский». На опущенных страницах — тяжелое ранение автора (конец февраля 1944 года), едва не повлекшее за собой ампутацию ноги; лечение в Москве, отдых в Кисловодске; направление на 4-й Украинский фронт (август 1944 года); назначение начальником штаба 8-й стрелковой дивизии. Характеристики сослуживцев и начальников: командующего фронтом И. Е. Петрова; командующего 27-м стрелковым корпусом, затем 18-й армией — Гастиловича; командиров дивизии Смирнова и Угрюмова; первая встреча с начальником политотдела 18-й армии Брежневым и т. д.

ПОЧЕМУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ «СТЕСНЯЕТСЯ» НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

«...в революционной идеологии, в сознательных идеях не оказалось места для идеи национальной, а в революционном сознании было болезненное отщепенство от нации».

Н. Бердяев, 1908 г.

Национально-освободительное движение в союзных и автономных республиках — один из главных процессов, от характера развития которого зависит сейчас судьба всех преобразований, идущих в стране. Во многих республиках это движение уже не только стало на ноги, но уверенно делает далеко не первые шаги.

Исключительное положение в этом плане занимает Россия, в которой общедемократическое движение, достаточно широко развитое, не имеет никаких оттенков национально-освободительного, но в то же время активно и большей частью позитивно поддерживает народные фронты и иные движения подобного типа в союзных республиках. Анализ причин такого положения — дело весьма трудное и требует специальных знаний, поэтому я попытаюсь лишь поделиться собственными соображениями на этот счет.

В сложившейся на сегодняшний день ситуации можно, по-видимому, обозначить несколько основных моментов, которые ставят народы России, особенно русский народ, в тяжелейшие условия, заставляют людей искать выхода из почти непримиримых, во всяком случае, на первый взгляд, противоречий.

С одной стороны, широкие круги общественности уже включились в общедемократическое освободительное движение. Не случайно большое число демократических организаций РСФСР, в том числе и в Ленинграде, восприняли название «народный фронт», пришедшее к нам из Прибалтийских республик. Однако в программе Ленинградского народного фронта (я не берусь судить о других организациях РСФСР) национальный вопрос ставится лишь в самом общем виде.

С другой стороны, многие, в том числе и я, обеспокоены (и на это есть серьезные основания) судьбой русскоязычного населения в союзных республиках: с помощью интерфронтов, «рожденных» и провоцируемых аппаратом, оно противопоставляется коренному населению и предстает в образе «поработителя», сопричастного и даже ответственного за преступления правителей.

Третья сторона проблемы состоит в том, что в России существует откровенная приверженность части населения идеям великодержавного шовинизма и имперского высокомерия. Как показал опрос общественного мнения («Огонек», 1989, № 43), в РСФСР те, кто желают добра СВОЕМУ НАРОДУ, считают необходимым прежде всего заботиться о единстве и сплоченности СССР (63,4%) и практически не видят необходимости сосредоточить все силы на СОХРАНЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ (8,8 %). В Прибалтийских республиках картина прямо противоположная (соответственно: 10,2 в 52,9 %).

Эти цифры, как я думаю, отражают целую гамму мыслей и чувств народов, населяющих РСФСР, и в частности русского народа. Тем не менее, на первое место выступает забота о сохранении «тела» СССР, т. е. сохранении той великой державы, которая была создана именно на российской основе. Сохранение же русского языка как бы и не требует заботы, так как его насильственное насаждение в других республиках привело к тому, что он фактически стал государственным языком великой империи. Забегая вперед, напомню, что русская культура уничтожалась в этой империи столь же безжалостно, как и культура всех других народов.

И, наконец, четвертое — беспокойство за судьбу демократических преобразований в стране, которые могут быть просто подавлены вооруженной силой на почве раздуваемых самими властями межнациональных конфликтов. Поскольку подобные конфликты происходят, главным образом, в союзных республиках, а не в РСФСР, то и «вина» за эту тревогу, за возможность столь нежелательного исхода как бы и ложится на народы этих республик, а не на «старшего брата», который относительно мирно «отсиживается» в своей «метрополии». Это положение усугубляется тем, что средства массовой информации преподносит широкому читателю, слушателю и зрителю одностороннюю и одиозную информацию. Если учесть, что корни-то межнациональных конфликтов уходят в глубь

той жесточайшей национальной политики, которую все 70 лет осуществлил партийно-бюрократический аппарат, то становится очевидным стремление и здесь переложить вину с больной головы на здоровую, т. е. на народы, борющиеся за свое освобождение, за само существование своей нации и своей государственности.

Все эти действительно трудно примиримые противоречия отражают, пожалуй, лишь верхушку того айсберга, который в действительности является причиной отстраненности демократического движения России от национальной идеи, от идеи освобождения народов «метрополии», в том числе русского народа, из-под ига собственных правителей. Однако результат этой отстраненности известен — национальная идея в России отдана в руки «Памяти», извращается ею до степени фашизма в чистом виде, не встречая должного отпора со стороны прогрессивной общественности.

Н. Бердяев полагал, что «Союз русского народа», черная сотня — «это ПОСЛЕДНЯЯ ВСПЫШКА того нравственного идиотизма, который воспитывался силой слишком застаревшего деспотизма» («Совершенно секретно», 1989, № 3). Будущее показало, что это, напротив, было лишь началом процесса, благоприятные условия для развития которого возникли именно тогда, т. е. в 1905 году, и были многократно усилены последовавшими за первой русской революцией годами реакции и всей дальнейшей историей России.

Именно в 1905 году на сцене русской истории впервые сошлись две силы, которым предстояло в дальнейшем сыграть страшную роль в судьбах не только русского народа, но и народов всего мира, силы, с которыми, по мнению Н. Бердяева, общение на почве всечеловеческих норм совести и разума являлось (и является) невозможным. Это, с одной стороны, «истинно русские люди», с другой — «представители лагеря прямо противоположного, помещавшегося на классовой точке зрения». Прямая противоположность этих двух сил состояла в том, что первые выступали под знаменами национальной идеи, христианства и монархии, а вторые вышли со знаменем, прежде всего, классовой идеи, начали проповедь марксизма, а несколько позже выдвинули и идею диктатуры пролетариата.

Эта прямая противоположность уже и тогда была кажущейся, так как первая сила — черная сотня — олицетворила не национальную идею, а дикий зоологический инстинкт национализма, не вечную правду и истину христианства, а языческий быт темных «христиан», защищающих смертную казнь, жестокость, тьму, насилие над совестью, не ту просвещенную монархию, на которую уповали лучшие славянофилы, а деспотическую власть, которая сама разнуздала эту «анархию рабов», этот «хаос дикости», с тем чтобы «превратить его в орудие борьбы с революцией».

Вторая сила — идеологи первой русской революции — уже тогда заменила проповедь национальной исключительности проповедью классовой исключительности и подготовила почву для создания новой религии со своими идолами, своей моралью, не имеющей ничего общего с моралью общечеловеческой («весь мир насилья мы разрушим до основанья...»); эта сила только на мгновение остановилась на мысли демократической — «власть — народу», в действительности же установила невиданную по жесткости «диктатуру пролетариата», по сравнению с которой деспотическая монархия — детские игрушки.

В России 1905 года и последующих годов не было третьей силы, способной противостоять первым двум. Н. Бердяев объяснял это тем, что «реакционный характер власти произвел большие опустошения в освободительном сознании, внушил отвращение к самой идее нации», в результате чего движение «по *психологическому контрасту* приняло характер не национальный, КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЙ». «Корыстное и бесчеловечное отношение к другим национальным личностям мешает сознать свою национальную личность»,— считал Бердяев.

Истина действительно состоит в том, что не может быть свободным народ, угнетающий другие народы. С моей точки зрения, не менее справедливо утверждение, что народ как общность не может быть угнетателем, а является лишь исполнителем воли и желаний своих правителей. Однако образ угнетателя переносится именно на народ, а не на тех, кто, угнетая и порабощая свой народ, с его же «помощью» угнетает и порабощает другие народы. И чем дольше длится этот процесс, тем в большей степени народ государства-поработителя становится «сопричастным» делам, творимым поначалу и без его воли, но его руками, тем в большей степени психология правителя становится психологией народа. «Соучастие» в деянии, пусть подневольное, не проходит бесследно и безнаказанно.

Русский народ постигла именно эта трагедия. Со времени своего освобождения из-под татарского ига он не раз был включен в орбиту захватнических войн, безмерно увеличивших географическое пространство его расселения и ассимиляцию с другими народами. Пределы экспансии были положены лишь естественными границами: с севера и востока — океанами, с юга — горами и пустынями. С запада, где подобные преграды отсутствуют, продолжалось присоединение новых территорий всеми мыслимыми и, преимущественно, немыслимыми способами. Даже Великая *Отечественная* война началась для России оккупацией независимых государств и их народов, а закончилась полным подчинением своему влиянию всей Восточной Европы.

Но самое страшное, на мой взгляд, в этой политике «приобщения» народа к злодеяниям правителей заключается в том, что, начиная с 1917 года, русскому народу непрерывно внушалась мысль о его мессианском предназначении в реализации идеи социализма. Явился новый «бог» в лице марксизма, его «апостолов», его «священнослужителей», которые проповедовали создание «реального» царства коммунизма на грешной земле. Мессией же, призванным осуществить это царство, был избран (кем?) русский народ. Семена этой проповеди народа-избранника, народа-мученика упали на благодатную почву, так как в силу исторических обстоятельств идеи «национального мессианства, сознание великого призвания России, долга перед человечеством и миром» всегда присутствовали в русском самосознании:

«Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!»

В то же время идеи великого призвания России в русском самосознании всегда шли рука об руку с проповедью национальной корысти и национального самодовольства, т. е. попросту с проповедью национализма. И это также было

использовано официальной партийной пропагандой, старательно создававшей образ «старшего брата». Сталин в 1943 году, когда перелом в ходе Великой Отечественной войны стал очевиден, заявил, что «главная сила в нашей стране — великая великорусская нация...» и что сама война «ведется за спасение, за свободу и независимость нашей Родины во главе с великим русским народом» («Огонек», 1989, № 46), а не за «спасение еврейской нации», а следовательно (можно сделать и этот вывод) — не за освобождение Европы и мира от чумы фашизма.

Такая постановка вопроса также близка некоторым русским, которые думают, что власть — носительница национальной идеи, а освободительная борьба с властью национальную идею совершенно отрицает. В этом и кроются корни отождествления себя (народа) с властью, почти слепая вера в батюшку-царя («За Родину, за Сталина!»), который стоит на страже народных интересов. И хоть пропаганда такого подхода велась достаточно осторожно, откровенные преследования евреев в послевоенные годы (дело врачей) говорили сами за себя.

Фактически партократия приняла «монополию хранителя национальной идеи» прямо из рук абсолютной реакционной монархии и так же, как и она, охраняла лишь «тело» России, но не ее дух, честь и достоинство. Однако справиться с охраной «тела» СССР в условиях жесткого тоталитаризма можно было только с помощью народа метрополии, т. е. русского народа. Для этого его следовало «приобщить» к системе управления тюрьмой народов. Я попытаюсь назвать только самые основные методы, с помощью которых достигалось не только «приобщение», но и упорное «воспитание» в русском народе великодержавного сознания, черт имперского высокомерия.

1. Насильственное насаждение русского языка, закрепленное постановлением Совнаркома от 1938 года за подписями Сталина и Молотова об обязательном изучении русского языка в Союзе ССР. Результат известен: закрывались национальные школы; русское население республик не считало нужным изучать язык коренного народа, полагая, наоборот, обязательным приобщение к русскому языку коренного народа, причем в этом действительно возникала необходимость, так как на русском языке велось (и ведется) все делопроизводство, функционирует армия, работают все центральные средства массовой информации, и т. д. и т. п.

2. Создание института русских наместников в союзных республиках, обязательно занимавших (и занимающих) посты вторых (а в автономиях — нередко и первых) секретарей обкомов и прочие ключевые посты. Власть этих прокураторов до самого последнего времени являлась практически неограниченной, и, в отличие от Понтия Пилата, им не приходило в голову хотя бы «умыть руки» при «пролитии невинной крови» тех народов, которыми они фактически управляли. Вряд ли они будут канонизированы какой-либо церковью.

3. Насильственное изменение сложившейся структуры экономики и экономических связей союзных республик под лозунгом создания единой экономической системы и интеграции, далеко не всегда отвечавших интересам коренного населения.

Под предлогом интеграционных процессов велось строительство новых предприятий и происходило заселение союзных республик русскоязычными «мигрантами», не повинными ни в чем, кроме того, что они решились на переезд. Коренное же население физически уничтожалось, и это привело в конце концов к тому, что в ряде республик коренной народ оказался в меньшинстве. Привело это и к другому результату: русский народ, и так безмерно расселенный на огромных пространствах, все в большей степени утрачивал связи с Родиной и все в большей степени терял свое историческое самосознание.

4. Положение России (РСФСР) в структуре СССР, отличающееся от всех других республик тем, что это, во-первых, Федерация внутри Федерации, а во-вторых, тем, что это странное образование не имеет ни своей столицы, ни своих общественных организаций, ни своей Академии наук и т. п. И это — не случайно, это только еще раз призвано доказать исключительность именно России, которая свою исконную столицу — Москву — сделала одновременно столицей всей державы, которой не нужна Российская Академия наук по той простой причине, что в АН СССР примерно 90 % ее членов составляют представители РСФСР; которой не нужно и свое Политбюро, так как на сегодня, скажем, в Политбюро ЦК КПСС вообще нет ни одного представителя союзных республик.

Теперь самое время понять, был ли русский народ мучеником или стал лишь послушным и бездумным исполнителем воли своих правителей, восприняв их мораль?

Я убеждена в том, что «богоизбранность» русского народа обошлась ему слишком дорого и что он мучился и страдал ничуть не меньше других народов нашей страны. Кроме двух мировых войн русский народ, так же как и другие народы СССР, пережил и третью — «беспрецедентную в истории войну тоталитарного режима против собственного народа, в которой погибли десятки миллионов людей, погибли целые социальные слои: крестьянство, национальная интеллигенция, национальная аристократия, т. е. носители бытового уклада и исторической памяти, а также этнического самосознания своего народа» (Г. Старовойтова, «Материалы конференции демократических движений и организаций страны», Л., 1989). В результате всего этого у русского народа, возможно, больше, чем у других народов, прервана этнокультурная традиция и в значительной степени потеряно историческое самосознание, которое упорно и настойчиво вытеснялось идеей «великой нации на великой территории».

Подобное положение и отражает результат действия тех двух сил, которые впервые так очевидно появились на сцене русской истории в 1905 году: с одной стороны, силы, исповедующей классовый подход и изничтожающей историческое самосознание нации, с другой — пропагандирующей и насаждающей национализм и великодержавный шовинизм. Тот же Н. Бердяев в трагическом 1938 году писал: «Расовая идеология представляет собой большую степень дегуманизации, чем классовая пролетарская идеология. С классовой точки зрения человек может все-таки спастись, изменив свое сознание, например, усвоить себе марксистское мировоззрение, хотя бы он был дворянин или буржуа по крови, он может даже стать народным комиссаром» («Дружба народов», 1989, № 10). Величайшее заблуждение! И именно потому, что «избранная раса есть такой же миф, как и избранный класс». Нет, спастись не удалось никому, даже тем, кто заблуждался, быть может, вполне искренне: «Я с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви».

Проведение политики насильственного уничтожения национального самосознания народов сопровождалось насаждением зловредной идеи создании новой общности — СОВЕТСКОГО НАРОДА, что привело к уничтожению колоссального пласта национальных культур всех народов, в том числе и русского народа.

Но в результате такой политики, как я думаю, именно русский народ стал первой жертвой пропаганды этой идеи, так как это и был главный способ «приобщения» его к управлению тюрьмой народов. И это подтверждается тем, что именно население РСФСР больше всего озабочено единством и сплоченностью СССР, а не сохранением родного языка и культуры. Тем самым русский народ сполна расплачивается за свою роль Мессии, продолжая нести крест идеологии и политики своих правителей.

Надежды Н. Бердяева на новую русскую интеллигенцию, которая соединится с ширью народной жизни, отнимет у реакционной государственности национальную идею и выставит ее на знамени освободительного движения русского народа, рухнули. Рухнули прежде всего потому, что была физически и морально уничтожена практически вся русская интеллигенция. Ее место заняла не та НОВАЯ интеллигенция, о которой мечтал Н. Бердяев, а интеллигенция, «болезненное отщепенчество» которой от идеи нации приняло, в силу уже не реакционного, а тоталитарного характера власти, настолько уродливые формы, что излечение будет длительным, трудным и далеко не однозначным.

И в этом нет ничего удивительного. Каждый новый акт вандализма против других народов («очищение» Дальнего Востока от китайцев и корейцев, а Невской дельты — от ингерманландцев; уничтожение «в одночасье» Республики немцев Поволжья; расправа с калмыками, чеченцами, ингушами, балкарцами, крымскими татарами, карачаевцами, месхами; насильственное включение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана; оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и последовавшие за этим репрессии по отношению к народам, населяющим эти республики и территории; ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию; неправедная по отношению к афганскому народу и безбожная по отношению к нашим молодым людям и их матерям война в Афганистане; непрекращающиеся преследования евреев, кровавая расправа в Тбилиси, связанная с именем советского генерала с русской фамилией — Родионов...) мог вызвать и вызывает до сих пор у русской интеллигенции лишь ужас бессилия перед великодержавной геноцидной политикой.

Именно эта политика и приводит к тому, что демократическое движение России «стесняется» национальной идеи, вызывает ничем не оправданную и опасную отстраненность от идеи свободы собственной нации, боязнь показаться националистом в глазах прогрессивной общественности народов СССР и Мира при самом произнесении звука — РОССИЯ! Ведь вся эта вакханалия геноцида (да простят меня те народы, которые не поименованы в этом скорбном перечне) исходила из Москвы, все из той же исконной русской столицы.

Надежды Н. Бердяева в 1908 году на то, что «кончится период скитальчества русской интеллигенции и она возвратится на Родину, к своему народу», также рухнули. Наоборот, ныне мы переживаем уже третью эмиграцию. Те же русские интеллигенты, которые находили в себе силы остаться со своим народом или вернуться к нему, те русские интеллигенты, которые всегда исповедовали идею нации в ее идеальном выражении: «нации, как личность, должна себя охранять и укреплять не во имя свое, а во имя своего высшего назначения»,— подверглись жесточайшим репрессиям. Но они, эти русские интеллигенты, стали совестью нации, и имя этой совести — Дмитрий Лихачев.

Сегодня русская интеллигенция, как никогда в истории России, обязана вернуться к своему народу. К русскому народу обязана вернуться та русская интеллигенция, на знамени освободительного движения которой, ЗНАМЕНИ РОССИИ, будет написано: «Свободная ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ — единственный путь к возрождению национальной идеи, к возрождению самосознания русского народа, к возрождению России».

Сегодня, как и в начале века, на пути создания свободной, демократической России, на пути национального возрождения всех ее народов стоит разрушительная сила «патриотического» фронта «истинно русских людей» и все тех же таинственных верхов, при полном попустительстве которых эта разрушительная сила ведет разнузданную пропаганду идей шовинизма, национализма и расовой исключительности. И русская интеллигенция обязана вести с этим беспощадную МОРАЛЬНУЮ борьбу.

Сегодня от демократического движения России, от всех ее народов зависит судьба страны. Свобода России — это свобода всех народов СССР. Но мы должны понять, что сможем быть вместе с народами других республик только в том случае, если наши мысли, наше сознание будут свободными. Мы должны изжить идеи великодержавного шовинизма; навсегда покончить с имперским высокомерием; покончить с тем, что называют, и справедливо называют, колониальной Россией. Мы должны убедить всех на деле, что русский народ остался верен искони присущим ему свойствам добра и человеколюбия, что, стремясь к своей свободе, он будет стремиться к ней во имя блага всех и каждого.

Сегодня, как и в прошлом веке, колокол должен звать народ к освободительной борьбе, он должен звать к свободной и демократической России, а не к России фашистской. Сегодня мы должны помнить вещие слова Пушкина: «Россия вспрянет ото сна!». Сегодня мы должны, мы обязаны гарантировать себе и своим потомкам эту бессонницу ради демократической России. Тогда мы победим.

Ноябрь 1989 г.

М. Е. Салье,
член Оргкомитета МАДО,
член Правления Ленинградского народного фронта

ПОДВОДНЫЕ РИФЫ ОДНОБОКИХ РЕШЕНИЙ

Время гласности дало возможность многое в нашей жизни переоценить, увидеть в истинном свете, освободившись от иллюзий, которые, как известно, ничего, кроме вреда, не приносят. К сожалению, одним из самых неблагополучных звеньев в жизни общества в этом истинном свете увиделось наше здравоохранение — та система охраны здоровья, жизненных сил народа, от которой в значительной степени зависит все благосостояние государства. Опубликованные цифры детской смертности, средней продолжительности жизни, да и многие другие, которых мы прежде не видели, со всей очевидностью обнаружили тяжелую картину, требующую незамедлительных мер, неотложной и глобальной перестройки.

В выступлениях министра здравоохранения Е. И. Чазова неоднократно звучало, что без существенного увеличения ассигнований на медицину уровень ее по-настоящему не поднять. Но кому, какой форме развития надо помочь в первую очередь? И в каких пределах? Каков должен быть механизм контроля правильности использования народных денег? Существующая организация здравоохранения в стране ответить на эти вопросы пока явно не готова.

Как мне представляется, в развитии здравоохранения особенно важно разработать стратегию, определить приоритетные направления не только потому, что сама по себе эта система очень пестра, так как включает совершенно разные по масштабу пласты — от фундаментальной науки до огромной сети разнокалиберных лечебных и профилактических учреждений. Разработать стратегию необходимо еще и потому (и сегодня многие наконец это осознают), что во всей существующей громадной системе главное — не пресловутые показатели, а живой конкретный человек, с его недомоганиями, с его не только физическим, но и душевным состоянием. Исходя из этой концепции, которой, судя по статье «Вокруг финансового „пирога“» («Экономическая газета», № 43, октябрь, 1989), придерживается также член-корреспондент АМН СССР А. П. Нестеров, и нужно распорядиться теми средствами, которые готовы вложить в здравоохранение государство, многие организации и отдельные люди.

Одна из важных форм развития системы здравоохранения должна приблизить врача к больному, сделать его более широко эрудированным в вопросах первичной медицинской помощи. Нынешний участковый врач из-за обилия обращений, вызовов, огромной пустой писанины практически теряет своего пациента, не способен следить за состоянием его здоровья в динамике и выполнять главную задачу медицины: предупреждать заболевание.

Как было бы разумно воскресить старые добрые традиции отечественной земской медицины и восстановить статус семейного врача. Здесь очень пригодился бы накопленный в нашей стране опыт работы врачей широкого профиля, работающих в детских, спортивных, армейских, флотских и других коллективах. Естественно, речь идет о хорошо знающих свое дело специалистах.

Конечно, подготовить врача действительно широкого профиля—такого, который смог бы распознать любой недуг и принять неотложные меры квалифицированно и вовремя,— непросто (без перестройки преподавания в медвузах это даже невозможно). Нелегко и обеспечить ему материальную и моральную заинтересованность. Местные власти, как это сделано, например, на Кубе или в Швейцарии, обязаны создать семейному врачу необходимые условия, обеспечив его и жильем, и кабинетом в соответствующем микрорайоне, а для этого, конечно, потребуются немалые средства. Но думается, что вот здесь-то мог бы сыграть очень большую, если не решающую роль, например, арендный подряд, который сейчас набирает силу.

Второе звено в цепи перестройки в медицине — оно тесно связано с первым — это выведение на принципиально новый уровень наших хилых, слабооснащенных поликлиник. По планам министерства, в следующей пятилетке в стране будет создано ни много ни мало — 150 крупных медицинских диагностических центров, укомплектованных опытными специалистами разных профилей и оснащенных дефицитной дорогостоящей аппаратурой. Они замкнут на себя все окрестные небольшие медицинские учреждения и, конечно же, семейных врачей. Уверен, что эти большие затраты вкладываются в очень важное дело: здесь можно будет не только на порядок поднять уровень диагностики — эти центры станут базой профессионального усовершенствования врачей, причем не только узких специалистов из существующей сети поликлиник, но и семейных врачей, если бы удалось возродить этот вид медицинской помощи на местах. И тогда в случае необходимости больной мог бы, пройдя в указанном центре требуемое обследование, лечиться потом не в больнице, а дома, под наблюдением того семейного врача, который постоянно его опекает и которому он, больной, беспредельно доверяет. Последнее, как известно, в успехе лечения имеет если не решающее, то очень большое значение.

И, наконец, третье звено связано с развитием в системе здравоохранения тех учреждений, которые предназначены для оказания больному специализированной помощи в стационаре. Это и НИИ, и клиники вузов, где проводится большая исследовательская работа и вырабатывается система, методы лечения. Это и крупные, многопрофильные больницы, и узкопрофилированные лечебно-реабилитационные центры, и, наконец, недавно созданные межотраслевые научно-технические комплексы (МНТК).

Как раз в этом, наиболее разветвленном, наи-

более сложном звене четкая стратегии еще не разработана, и, более того, именно здесь уже наметились некоторые перекосы. Оглядываясь назад на нашу историю, понимаешь, как важно вовремя осознать, что односторонние увлечения успехами какой-то частной формы развития могут отрицательно сказаться на общем прогрессе науки, и медицинской в частности. Именно эта мысль, это убеждение и побудило меня взяться за перо.

Появление и развитие МНТК явилось крупным событием в нашей медицине. Большим благом для советских людей было решение Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятое в апреле 1986 года, о создании по инициативе С. Н. Федорова одного из первых в нашей стране МНТК «Микрохирургия глаза». Не надо объяснять, как важно для каждого человека сохранить или восстановить утраченное зрение. Как важно для государства в целом, что многие люди получают возможность снова жить и работать в полную силу. Именно поэтому правительство сочло возможным отпустить на реализацию этих проектов 120 миллионов рублей, более половины которых являются инвалютными, так как предназначены для приобретения американской аппаратуры, западногерманской оптики и для строительства красавцев-корпусов с помощью фирм Финляндии.

Мы знаем — об этом немало говорится в печати и по телевидению,— что Святослав Николаевич Федоров показал себя прекрасным организатором и, вопреки предсказаниям скептиков, как он сам говорит, сумел «перехитрить» систему. И действительно, в полном соответствии с планами, в стране созданы уже все 12 намеченных филиалов (модулей) МНТК. Богатейшее оснащение диагностических линий и операционного блока в этих учреждениях сочетается с не менее великолепными условиями, в которых находятся пациенты. Более того, С. Н. Федоров превратил МНТК в хозрасчетное предприятие, в несколько раз повысил зарплату сотрудникам, а кроме того, на «остающиеся» средства взял в аренду не только институт, но и сельскохозяйственную ферму. Кроме того, он получил от государства еще около 30 млн. инвалютных рублей на переоборудование судна в плавучую клинику, рассчитывая тем самым получать немалый доход, в том числе и в валюте.

Как видим, результаты действительно впечатляющие, и можно было бы их только приветствовать и стимулировать дальнейшее развитие, если бы не некоторые соображения, которые невольно возникают, когда начинаешь оценивать развитие этого МНТК не обособленно, а в контексте общего состояния той части медицины, которая призвана возвращать людям зрение.

Да, действительно, огромный рывок вперед, проделанный МНТК «Микрохирургии глаза» под руководством С. Н. Федорова, в одной из отраслей показал принципиальную возможность при соответствующем финансировании поднять медицину от буквально бедственного состояния до уровня, вполне соизмеримого по технической оснащенности с передовыми рубежами мировой медицины. Этот рывок показателен и для перестройки всей нашей экономики, потому что он наглядно показал, каких успехов можно добиться в развитии отрасли, если, освободившись от бюрократических цепей, проявить энергию и коммерческую инициативу в освоении больших государственных субсидий.

Однако, на мой взгляд, здесь наметился и неоправданный перекос.

У МНТК и всех его филиалов цель одна: делать стандартные операции трех наиболее отработанных типов: половина пациентов — это пожилые люди с катарактой и глаукомой, другая половина (примерно, конечно) — молодые люди с близорукостью. Операцию, которая, к слову сказать, не безвредна (из-за послеоперационных рубцов путь ко многим профессиям для этих людей закрыт), делают, в сущности, из косметических соображений — чтобы не носить очки. Большая часть этих операций технически несложна. Так, канадский врач Гимбел и без конвейера, один делает 2500 (даже более) сложных глазных операций в год. Вот и встает вопрос: не слишком ли это большая роскошь — так энергично развивать *только* конвейерную офтальмологию? Тем более что за каждую операцию, по расчетам специалистов МНТК, государство должно заплатить комплексу 214 рублей (другие московские институты, как отметил Е. И. Чазов, за то же самое получают почти в 3 раза меньше). Да еще приходится также из государственной казны оплатить и бюллетень в среднем за четыре недели, а это, по его словам, составляет потери для государства в среднем 26 рублей в день. Таким образом, каждый такой оперированный «больной» стоит государству примерно 1000 рублей.

Дальновидно ли производить особые затраты на организацию помощи больным со стандартной, иными словами, рядовой патологией органа зрения, неизбежно нанося этим ущерб, или уж во всяком случае оставляя в смысле финансирования далеко позади программы по борьбе с другими, наиболее сложными заболеваниями глаз, например, связанными с получением травмы на производстве или в быту, с опухолями, с заболеванием зрительно-нервного аппарата и др.?

В одном из своих выступлений на страницах «Правды» академик Г. И. Марчук очень верно, на мой взгляд, говорил о необходимости сочетать быстрые сдвиги в отдельных областях науки с бережным отношением к сложившимся продуктивным научным учреждениям, имеющим за плечами прекрасные традиции глубоких и перспективных исследований. Я невольно вспомнил об этом выступлении, размышляя о несоизмеримом финансировании МНТК — старейших клиник вузов, специализированных НИИ. Возникает парадоксальная ситуация: МНТК «Микрохирургия глаза», отбирающая себе на конвейер больных узкого профиля и с отменным общим состоянием, имеет в своем распоряжении уникальное импортное оборудование. При этом очень дорогостоящие операционные микроскопы, предназначенные по своей конструкции для операций в труднодоступных зонах глаза, используются меньше чем на половину их возможностей. В то время как военные офтальмохирурги, занимавшиеся лечением тяжело пострадавших в Афганистане, в различных аварийных ситуациях, не имели не только импортной, но и в достаточном количестве отечественной офтальмологической техники. Причем создание последней уже много лет, не без активного участия С. Н. Федорова, стопорится на предприятиях Казани, Горького, Изюма, Ленинграда, Загорска и Новосибирска.

Самое парадоксальное, как мне представляется, заключено в том, что МНТК рассматривается перспективной базой для развития отечественной науки. Между тем по логике вещей понятно, что по трафарету, спущенному сверху, творческая мысль развиваться не может. Видимо, пора вспомнить истину, которую четко сформулировал академик Б. Раушенбах: «Экономить на настоящей фундаментальной науке глупо — скупой платит дважды и, кроме того, платит необходимостью плестись в хвосте прогресса». Отраслевая наука, которая вырастает из фундаментальной, держится на ней и потому не должна, грубо говоря, «объедать» фундаментальную. Недаром в США на фундаментальные аспекты науки уходит 41 процент от федеральных расходов на всю медицинскую науку.

У проблемы развития офтальмологии по типу МНТК «Микрохирургия глаза» есть, на мой взгляд, и еще один аспект — социально-нравственный. Разве можно считать социально справедливым исключительное положение работников МНТК в оплате за труд, в привилегированном праве прежде других получать жилье, льготную путевку за рубеж и прочее. Разве непонятно, что врач или медсестра, работающие на конвейере, пусть даже отлично выполняющие по ходу десятка операций свою задачу, не требующую особого напряжения мысли, *не должны*, исходя из социальной справедливости, получать за свой труд больше, чем их коллеги, которые за те же 7—8 часов провели, например, одну сложнейшую, рискованную операцию, потребовавшую от них не только высочайшего профессионализма, не только физического напряжения, но и сильного эмоционального переживания. Точнее сказать, медики, идущие на риск, исследующие и прокладывающие путь в завтрашний день медицины, не должны получать меньшее вознаграждение за свой труд. И врачи, берущиеся за самые сложные операции, немыслимые на конвейере (но кто-то же должен бороться за жизнь и здоровье и таких больных!), не должны от этого материально проигрывать. Ведь именно здесь, как, быть может, нигде, проявляется человеческое милосердие, высочайшая степень сопереживания. То подлинное милосердие, без которого нет и подлинной Медицины.

Конечно, коллектив, получивший с помощью вложенных государством денег большую прибыль, в рамках хозрасчета волен распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. Я отнюдь не проповедник уравниловки. Но мне представляется, что творческий научный коллектив не должен забывать, что он возник и существует не сам по себе и что Большая наука, которая его, в сущности, вырастила, находится в очень стесненном, если не сказать — в трагическом положении, потому что у нее недостает необходимого оборудования и препаратов.

Разумно было бы, отказавшись, как говаривали в старину, от удельных интересов, отчислять на потребности развития «ничейной» фундаментальной науки от «своих» прибылей достаточно высокие суммы.

Вывод, к которому и подвожу читателя всеми своими аргументами, состоит в том, что нельзя полезный и успешный опыт МНТК «Микрохирургия глаза» превращать в единственный образец для перестройки здравоохранения в нашей стране. Нельзя забывать, что отраслевые, в том числе и межотраслевые, как МНТК, подразделения медицинской науки способны лишь модернизировать *существующую* технологию. Для создания принципиально новых подходов необходимо развивать фундаментальные исследования. Вот здесь-то, с учетом мнений наиболее компетентных специалистов страны, и должен быть сформирован государственный заказ на исследования, выгодные и нужные не какому-то кругу исполнителей и не сегодня, а всему обществу и иногда лишь в отдаленной перспективе. Можно надеяться, что с распространением экономических отношений на науку заказы на фундаментальные исследования будут выполняться не только за счет субсидий из госбюджета, но заказчиками выступят и местные Советы, и общественные организации, кооперативы, отдельные люди.

В свою очередь, очевидно, будет расти и вневедомственный сектор организаций-исполнителей, свободных от внедренческих обязанностей. Единственным критерием и стимулом его станет состязательность между различными фирмами.

Итак, перестройка в системе здравоохранения, по моему твердому убеждению, должна иметь под собой тщательно разработанную, ориентированную на перспективу стратегию. Вырабатываться же она должна не келейно, в верхах, а коллегиально, в результате широкого и свободного обмена мнениями компетентных в своем деле специалистов. Они должны установить приоритетность научных направлений, требующих финансовой поддержки всего общества. Только такой путь убережет нас от перекосов, от увлечения какими-то одними формами в ущерб другим. Только такая научно обоснованная стратегия развития может помочь нашей Медицинской науке вернуть себе былую славу. А главное, только такой путь даст нам возможность решить основную задачу: сделать объектом всех медицинских учреждений (наконец сделать!) реального человека с его нездоровьем, с его вопросами к нам, врачам.

В. В. Волков,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР,
доктор медицинских наук

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

ПУБЛИЦИСТИКА

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

КРИТИКА

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

ИЗ ПОЧТЫ «ЗВЕЗДЫ»

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ